

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

М. Б. Попов

ПРОБЛЕМЫ СИНХРОНИЧЕСКОЙ
И ДИАХРОНИЧЕСКОЙ ФОНОЛОГИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА

Филологический факультет
Санкт-Петербургского государственного университета
Санкт-Петербург
2004

Р е ц е н з е н т ы:

проф. д-р филол. наук *В. В. Колесов* (СПбГУ),
д-р. филол. наук *А. А. Бурыкин* (Институт лингвистических исследований РАН)

Попов М. Б.

П58 Проблемы синхронической и диахронической фонологии русского языка. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2004. — 346 с.

ISBN 5-8465-0293-8

Монография посвящена актуальным и дискуссионным вопросам как синхронической, так и диахронической фонологии. Теоретические проблемы фонологии рассматриваются автором в духе Щербовской школы. Значительное место в работе занимает анализ спорных проблем звукового строя современного русского языка, таких как фонематический статус /ы/ и долгих мягких шипящих, а также теории чередований фонем. Многие из этих проблем рассматриваются как в синхроническом, так и в диахроническом аспектах. В главах, посвященных исторической фонологии русского языка, рассмотрены важнейшие праславянские и древнерусские изменения, в частности, палатализации и возникновение цоканья, падение редуцированных, переход /e/ в /o/ и другие. Работа рассчитана на лингвистов, в первую очередь фонетистов и фонологов, специалистов в области истории русского языка и русской диалектологии. Монография может быть использована в учебном процессе в качестве пособия по спецкурсу, а также на практических занятиях по фонетике современного русского языка и исторической грамматике.

ББК 81.2 Рус

Предисловие

В прошлое ушли времена, когда в лингвистике было модно все и вся разделять — синхронию и диахронию, фонологию и фонетику, лингвистику и психолингвистику и т. д. Этот «разделительный» пафос, видимо, был необходим науке о языке на этапе ее становления. Достаточно вспомнить неустанную борьбу И. А. Бодуэна де Куртенэ против смешения языковых фактов разных эпох (синхронных срезов) или страстный антисинхологический пафос работ Н. С. Трубецкого, когда он отстаивал права фонологии на самостоятельность. Однако в настоящее время вряд ли кто-нибудь поставит знак равенства между статикой и синхронией. «Статический срез — это фикция; это всего лишь вспомогательный научный присем, а не специфический модус бытия», как справедливо указывал Р. О. Якобсон. Обращение к динамике функционирования и развития языковой системы снимает противоречие между синхроническим и диахроническим подходами к языку. В области изучения звукового строя языка анахронизмом признано сейчас резкое противопоставление фонологии и фонетики. Недаром Л. Р. Зиндер и В. В. Колесов свои обобщающие работы по исторической фонологии назвали соответственно «Историческая фонетика немецкого языка» и «Историческая фонетика русского языка», хотя исследования эти в полном смысле слова фонологические. Симптоматично в этом отношении и полемически парадоксальное название монографии Л. В. Бондарко «Фонетическое описание языка и фонологическое описание речи». Это связано с тем, что для фонологов Щербовской школы исследование звукового строя и его эволюции, не основанное на понятии фонемы и в отрыве от речевого поведения носителя языка, является бессмысленным. Впрочем, до сих пор на повестке дня стоит проблема приведения положений фонологической теории в соответствие с фактами, добытыми в последние времена экспериментальной фонетикой и психолингвистикой. Это очень важно и для исторической фонологии, которая, будучи лишенной возможности ставить языковые эксперименты, вынуждена экстраполировать на прошлые эпохи выводы, полученные в результате исследования современного языка.

Идеологической основой данной монографии является лингвистическая концепция Л. В. Щербы. Для этой концепции, с нашей точки зрения, характерно, во-первых, восходящее к Бодуэну де Куртенэ ясное осознание различия между статикой и динамикой при сдержанном отношении к резкому противопоставлению синхронии и диахронии, а во-вторых, глубокое неприятие разделения фонологии и фонетики. В основе этой

лингвистической концепции лежит внимание к речевому поведениюносителя языка и понимание того, что лингвист работает не столько с текстом, сколько с информантом. В конечном счете данный подход сохраняет свое значение и в исторической лингвистике.

Причисляя себя к сторонникам Щербовской фонологической школы, мы по возможности стремились избежать в книге полемики с иными фонологическими школами, представленными в русистике. В то же время в работе высказан ряд идей, вступающих в противоречие с положениями, традиционно принятymi в Петербургской фонологической школе. На наш взгляд, споры по теоретическим вопросам внутри школы значительно более плодотворны. Обстоятельная и глубокая разработка теоретических проблем фонологии в работах Л. Р. Зиндера, Ю. С. Маслова, М. И. Стеблин-Каменского, Л. В. Бондарко, М. В. Гординой, В. Б. Касевича, В. В. Колесова и других позволила нам, опираясь в целом на их идеи, сосредоточиться главным образом на спорных проблемах и сделать в данной работе акцент на полемике, в том числе и с ними. Надеюсь, что читатель с пониманием отнесется к этому обстоятельству.

В монографии две части. Первая посвящена некоторым теоретическим проблемам не только синхронической, но и диахронической фонологии. Однако их рассмотрение представлялось необходимым для решения конкретных спорных вопросов звукового строя современного русского языка в его динамике. Вторая часть состоит из серии исследований по исторической фонологии и посвящена конкретным фонологическим изменениям праславянского и древнерусского периодов. Теоретические проблемы диахронической фонологии затрагиваются главным образом в связи с конкретными изменениями, причем последние ни в коей мере не служат только лишь иллюстрациями к теоретическим положениям. Таким образом, исторический подход к языковым фактам проводится в обеих частях монографии, в частности в тех главах первой части, где рассматриваются спорные вопросы состава фонем современного русского языка. Также через всю работу проходит идея о решающей роли слова и межслововых границ в развитии звукового строя русского языка. Сандахиальные явления, на наш взгляд, оказываются ключом, позволяющим объединить *фонологию слова* и *фонологию фразы*, отделив их от *морфонологии*. Мы исходим из того, что «слово образует границу, вплоть до которой язык в своем созидальном процессе действует самостоятельно» (В. фон Гумбольдт).

При написании работы я пользовался постоянной поддержкой и советами моего учителя профессора В. В. Колесова, которому я приношу глубокую благодарность. Весьма плодотворным для меня было обсуждение многих вопросов диахронической фонологии с А. Ю. Русаковым. Считаю своим долгом выразить искреннюю благодарность доктору филологических наук А. А. Бурыкину за ценные замечания, сделанные при подготовке рукописи к печати.

Введение

Необходимо согласиться с теми лингвистами, которые считают, что звуковая сторона языка не является чем-то внешним по отношению к говорящему на данном языке индивидууму, — звуковой характер языка навязан человеку природой. С этим обстоятельством, в частности, связана известная противоречивость фонетики как области лингвистических исследований, ее многоаспектность: с одной стороны, фонетист наблюдает физическую реальность, с другой — ее функционирование в качестве языка, а с третьей — только речевое поведение носителя языка позволяет фонетисту делать умозаключения о функционировании языковой системы.

Звуки, которые произносит человек, для фонетиста не равнозначны. Например, звуковые оболочки языковых жестов, обозначающиеся на письме *тпру!* *бр!* *тс!* *гм!* *угу!* и т. п., не членятся на «отдельные звуки речи» (фонемы), которые входили бы в звуковой строй языка¹. Чтобы получить отражение на письме, их звуковые оболочки должны быть пропущены через «фонологическое сито» данного языка, что равносильно заимствованию. То же самое происходит при необходимости передать собственно языковыми средствами, например, петушиное пенис (*ку-ка-ре-ку*) или шум паровоза (*чух-чух-чух*). Итак, фонетист в первую очередь изучает звуки, которые служат для образования и тем самым для различения звуковых оболочек значимых языковых единиц, т. е. являются элементами фонетической системы языка.

В таких языках, как русский, центральной языковой единицей является *слово*. Слово, как любой другой языковой знак, двусторонне: звучание — это материальная сторона, смысл — это его содержательная, «духовная» сторона. В поисках ответа на вопрос, каким образом последовательность звуков выполняют функцию носителя смысла, была открыта *фонема* как реальная языковая единица, и возникло *понятие фонемы*, положенное в основу фонологической теории, но трактуемое по-разному представителями различных фонологических направлений. Фонема находится на пересечении звучания и значения, но сама не является ни звуком, ни смыслом, ни знаком.

¹ Щерба Л. В. О «диффузных» звуках (1935 г.) // Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. М., 1974. С. 147–149.

Важнейшим аспектом изучения звукового строя является *фонологический аспект*, связанный с исследованием функции фонетических единиц языка, т. е. их способности образовывать (конститутивная функция) и различать (дистинктивная функция) звуковые оболочки значимых единиц языка, в первую очередь слов. Стержнем фонологического аспекта фонетики является теория фонемы. На дофонологическом этапе науки звуки рассматривались прежде всего с артикуляционной и акустической точек зрения. Оба эти аспекта фонетики тесно связаны друг с другом, что, как известно, является свойством именно речевого сигнала.

Артикуляционный и акустический аспекты совместно противопоставляются фонологическому аспекту, а артикуляционно-акустические характеристики звуков речи рассматриваются как фонетические в узком смысле слова. В то же время следует подчеркнуть, что само существование артикуляторного и акустического аспектов имеет смысл только при учете фонологического и при опоре на него, поскольку само понятие «отдельного звука речи», в отношении которого производится артикуляционно-акустическое исследование, может быть выведено лишь на основе теории фонемы и в физической реальности не существует. Инструментальная фонетика показала, что акустические характеристики речевого сигнала не могут служить основанием для установления внутренних членений в потоке речи. То же можно сказать и об артикуляционных характеристиках: речевой акт — это безостановочное движение произносительных органов, при котором артикуляция следующего звука может происходить одновременно с артикуляцией предыдущего или даже предшествовать ей. Представление о речевом потоке как о цепочке следующих друг за другом «звуков речи» — это представление, не имеющее ничего общего с физической реальностью, но отражающее реальность функциональную: с фонологической точки зрения речевой поток представляет собой цепочку следующих друг за другом фонем.

Как же соотносятся друг с другом эти две на первый взгляд непересекающиеся реальности — физическая и функциональная? Или — другими словами — как лингвист от физической реальности «восходит» к реальности функциональной? В действительности такого «восхождения» не происходит. Стремясь выявить языковую структуру (в частности, состав фонем языка), лингвист, строго говоря, работает не со звуковым континуумом, а с носителем языка, который выступает в роли информанта. Не выявление артикуляторных и акустических свойств речевого потока, а анализ речевого поведения говорящего позволяет лингвисту установить состав фонем языка. Только после того как состав фонем установлен, можно приступать к артикуляторному и акустическому исследованию. Из сказанного вытекает, что, кроме фонологического, артикуляторного и акустического аспектов, фонетические

исследования имеют еще один важный аспект, который связан с изучением речевого поведения говорящего индивидуума, — *перцептивный*. Объектом перцептивной фонетики является прежде всего восприятие носителем языка звуков (фонем) своего и чужих языков. Именно этот аспект фонетических исследований имел в виду Л. В. Щерба, когда говорил о «субъективном методе» в фонетике и о лингвистическом эксперименте. Если артикуляторная и акустическая фонетика — это фонетика инструментальная, то перцептивная — фонетика по преимуществу экспериментальная. В процессе восприятия при опознании слов говорящий пользуется не только акустическими характеристиками речевого сигнала, но и знанием системы языка, в том числе фонологической.

Несколько упрощая, можно сказать, что главная задача фонетиста-экспериментатора — установить, какие звуковые сегменты носитель языка воспринимает как тождественные, а какие — как различные. Результаты таких экспериментов по изучению перцептивной деятельности носителя языка должны быть интерпретированы фонологически. То, что не различается носителями языка, не может выполнять различительной функции в языке. С другой стороны, фонолог исходит из того, что нормально носитель языка различает столько единиц, сколько фонем в системе языка, т. е. аллофонные различия в речевой деятельности им не осознаются. Но это «нормально» значит «в однородном языковом коллективе», чего в реальности практически не бывает, поскольку существуют диалектные, социальные, возрастные и другие различия в произношении, сталкиваются носители разных языков, распространено двуязычие в самом широком смысле (включая и ситуацию изучения иностранных языков). Вследствие этого говорящий индивидуум способен различать больше звуков, чем фонем в его родном языке (ср. хотя бы узнавание и пародирование иностранного акцента или особенностей говора соседней деревни). Эта способность отражается в экспериментах по восприятию «аллофонов» и своего языка в тех случаях, когда они выделены из естественного фонетического контекста. Так, русские хорошо «различают» выделенные из контекста аллофоны гласных фонем /a, o, u/ с i-образным переходом после мягких согласных и без такого перехода после твердых, в частности [á] и [á]. Конечно, из результатов такого эксперимента не следует, что в своей речевой деятельности носитель языка различает эти аллофоны в лингвистическом смысле, поскольку в речи аллофоны обусловлены позиционно, а будучи выделены из естественного фонетического контекста, они теряют связь с позицией и тем самым с важнейшим аспектом речевой деятельности. Тем не менее, имея в виду результаты такого рода экспериментов, говорят, что [á] и [á] различаются *перцептивно*, но не различаются *функционально*.

Фонема как фонетическая единица, потенциально связанная со значением, была открыта в процессе наблюдения над физической реальностью,

функционирующей в качестве языка. Первым лингвистом, который ясно показал, что *фонема как функциональная единица языка* не идентична *звуканию как физической реальности*, был И. А. Бодуэн де Куртенэ, который трактовал фонему как «психический эквивалент звука». Ему принадлежит знаменитое определение фонемы: «Фонема — это единое фонетическое представление, возникшее в душе путем психического слияния впечатлений, полученных от произнесения одного и того же звука»¹. Таким образом, по Бодуэну, звук — единица физическая, *фонема* — не физическая, а языковая. Понятие фонемы в трудах основоположника фонологии было определено в психологических терминах. Следующим важным шагом в развитии теории фонемы было открытие так называемой смыслоразличительной функции фонемы. Его в начале XX в. сделал ученик Бодуэна Л. В. Щерба, который впервые определил фонему с учетом «смыслоразличительной» функции. Главное же заключалось в том, что Щерба, основываясь на различительной функции фонемы, противопоставил понятия *фонемы* и *аллофона*² (в его терминологии *оттенка фонемы*). Собственно, с этого противопоставления фонемы и оттенка (аллофона, комбинаторного варианта) и начинается фонология. Таким образом, Л. В. Щерба — первый фонолог в современном понимании этого термина. Важнейшими положениями теории фонемы нам представляются следующие:

- 1) фонема как функциональная единица языка представлена в речевом потоке своими оттенками;
- 2) в каждой из возможных позиций фонема представлена особым оттенком, которых столько, сколько имеется позиций;
- 3) все оттенки одной фонемы равноправны, находятся в дополнительном распределении относительно друг друга и в речевой деятельности не осознаются носителями языка;
- 4) все фонемы конкретного языка образуют единую систему оппозиций отдельных фонем и их групп;
- 5) фонемы противопоставляются друг другу по фонологически существенным признакам, обладающим известной самостоятельностью, которая наиболее ярко проявляется в диахронии и позволяет описывать фонему как совокупность фонологически существенных признаков.

В русском языкоznании господствуют три фонологических направления³, каждое из которых так или иначе восходит к идеям Бодуэна де

¹ Бодуэн де Куртенэ И. А. Фонема (1899 г.) // Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкоznанию. Т. 1. М., 1963. С. 352.

² Под *аллофонами* здесь понимаются в первую очередь *обязательные аллофоны*. Так называемые *индивидуальные* (отражающие индивидуальные особенности говорящих) и *факультативные* (произносительные варианты в одинаковых фонетических позициях) варианты фонем несколько осложняют картину аллофонного варьирования.

³ Подробнее о нашем понимании концепций этих школ см.: Попов М. Б. Традиционные фонологические направления в русистике: Учебно-методическое пособие. СПб., 1999.

Куртенэ: Щербовская фонологическая школа (она же — Петербургская, или Ленинградская), Московская фонологическая школа (МФШ) и Пражская фонологическая школа (ПФШ).

Традиционно представители этих школ в разной степени включали в поле своего зрения те или иные аспекты изучения звукового строя. Например, в ПФШ наиболее подробно разрабатывались проблемы нейтрализации фонологических оппозиций и теория дифференциальных признаков фонем; представители МФШ всегда делали акцент на изучении связей фонемы с морфемой; последователи Л. В. Щербы ставили во главу угла языковое сознание и экспериментально изучали речевое поведение носителя языка. Однако есть такие фундаментальные проблемы фонологической теории, которые не могут быть обойдены ни в одной фонологической школе. И именно эти собственно фонологические проблемы (даже если их трактовка не эксплицирована в работах представителей того или иного направления) могут быть положены в основу сравнения различных фонологических концепций. Какие же проблемы можно рассматривать как ключевые в фонологических теориях?

Всякая фонологическая теория должна обосновать решение по крайней мере двух задач: 1) установление состава фонем какого-либо языка, 2) установление фонемного состава любого высказывания на этом языке, другими словами, фонематической транскрипции. Вслед за В. Б. Касевичем считаем, что теоретическое решение первой из указанных задач логически предшествует решению второй¹. Разумеется, фонологическая теория не ограничивается установлением состава фонем языка и высказывания, а раскрывает связи между фонемами, т. е. моделирует систему фонем. К понятийному аппарату фонологии относятся также такие понятия, как *позиция, оппозиция, дифференциальный признак, нейтрализация, функциональная нагрузка, аллофон* и другие, которые моделируются после того, как решена задача установления состава фонем. В отличие от многих понятий фонологической теории, в том числе и только что перечисленных, *фонема* — это не только и не столько понятие, сколько объективно существующая (но не физическая, а функциональная) реальность.

При исследовании и описании звуковых систем конкретных языков и, в частности, русского языка, представители разных фонологических школ, руководствуясь различными принципами и методами фонологического анализа, приходят в конце концов к весьма сходным результатам. Этот факт объясняется тем, что рассмотренные фонологические концепции имеют между собой значительно больше общего, чем различного. Например, при парадигматической идентификации фонемы

¹ Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. М., 1983.

все школы считают необходимым пользоваться понятием *дополнительной дистрибуции*. При этом все школы признают недостаточность условия дополнительной дистрибуции для установления принадлежности двух аллофонов к одной фонеме. ПФШ прибегает в данном случае к дополнительному критерию артикуляторного и акустического сходства звуков, Щербовская школа — к критерию чередования в морфеме, а МФШ — использует оба дополнительных критерия (первый при идентификации «звука языка», второй при идентификации «фонемы»). При этом Щербовская школа последовательно придерживается принципа «один оттенок — одна фонема», в то время как МФШ допускает принцип «один вариант — разные фонемы», сохраняя одновременно принцип «одна вариация — одна фонема».

Расхождения в оценке состава фонем (например, в русской фонологии споры относительно фонемы /ы/, бифонемности /ш':/, фонологического статуса мягких заднеязычных) объясняются не столько принципиальными расхождениями в фонологической теории, сколько тем или иным ограничением привлекаемого для решения этих спорных вопросов языкового материала, что тоже так или иначе связано с особенностями фонологических школ. В итоге сходство фонологических концепций обусловлено тем, что все они имеют дело с некой *объективной реальностью*, все они пытаются, каждая по-своему, объяснить и описать эту *объективную реальность* — звуковой строй языка, основным элементом которого является фонема. Таким образом, фонема — это *объективная* (но не *физическая!*) реальность. Та или иная фонологическая теория дает определение понятия фонемы, но сама фонема как единица звукового строя конкретного языка, как элемент фонетической системы существует независимо от фонологической теории. Поэтому фонема была открыта, а не придумана лингвистами. Последние придумывают лишь определения фонемы.

Фонема относится к таким языковым единицам, сущность которых, вероятно, всегда будет предметом дискуссий. Дело в том, что фонема, в отличие, например, от аллофона, это не только научное понятие, но языковая реальность, факт языковой действительности. Аллофон же — не языковая единица, а лингвистическое понятие, при помощи которого описывается физическая реальность¹. Аллофоны — это не кирпичики, из которых складываются фонемы, как можно было бы подумать, если исходить из логической последовательности процедур фонологического анализа. В этом отношении термин Щербы *оттенок фонемы* чрез-

¹ Обзор концепций аллофона в разных фонологических концепциях см. в работе: Воронкова Г. В. Проблемы фонологии. Л., 1981. С. 40–53. Однако трактовка Г. В. Воронковой аллофона как единицы некоего интеруровния, промежуточного между языком и речью, не представляется нам убедительной.

вычайно удачен: аллофон — это как бы тень, отбрасываемая фонемой как элементом функциональной, непосредственно не наблюдаемой структуры на физическую реальность. Другими словами, аллофон — это способ описания физической реальности, которая в фонологии трактуется как реализация или модификация фонемы. Понятие аллофона как бы связывает фонему с физической реальностью. Таким образом, фонема — это объективная реальность, а аллофон реально не существует, это лишь научное понятие, изобретенное фонологами для описания физической реальности. Понятие аллофона понадобилось потому, что фонема и физическая реальность лежат в двух разных несовместимых плоскостях. Наведение мостов между этими несовместимыми плоскостями возможно только при обращении к перспективному аспекту фонетики. Это теоретический аспект проблемы, но есть и практический аспект, который связан с тем, что неудобно и бессмысленно пользоваться осциллограммами и спектrogramмами для демонстрации различий между реализациями фонемы в разных позиционных условиях. Поэтому в качестве средства передачи физической реальности принято использовать значки так называемой «фонетической» (аллофонной) транскрипции, которая исполняет роль квазифизической реальности в фонологическом исследовании.

Наша трактовка *оттенка* (аллофона) расходится с трактовкой Ю. С. Маслова, который различал *фонему*, *аллофонему* (= аллофон) и *фон*, считая *аллофонему* языковой единицей¹. Нам ближе позиция Л. Р. Зиндера, который, признавая ошибочным мнение, что аллофоны не имеют никакого лингвистического значения, подчеркивал вслед за Щербой диахронический аспект проблемы: аллофоны являются «зародышами будущих фонематических различий, будущих самостоятельных фонем»². Видимо, в синхронической фонологии понятие фонемы противостоит понятию аллофона как фона (звука речи), в то время как в диахронической фонологии понятие фонемы противопоставлено понятию аллофона как аллофонемы (потенциальной фонемы). В диахронической фонологии аллофоническая реконструкция зачастую осуществляется, так сказать, задним числом, с целью объяснить уже известное фонемное изменение.

Принято считать, что историческая фонология как особый раздел лингвистики возникает одновременно с ПФШ. Распространение фонологической точки зрения на область звуковых изменений представляло собой распространение системного принципа исследования и на диахронию. Историческая фонетика младограмматиков превращается в историю фонологической системы, т. е. в историческую фонологию ПФШ,

¹ Маслов Ю. С. Введение в языкознание. 2-е изд. М., 1987. С. 48, 52–53.

² Зиндер Л. Р. Общая фонетика. 2-е изд. М., 1979. С. 51.

только тогда, когда любая фонологическая единица данной системы рассматривается «в ее взаимосвязях с другими единицами той же системы как до, так и после того, как произошло то или другое звуковое изменение»¹. Е. Д. Поливанов, призывая «рассматривать историческую фонетику не как совокупность разрозненных историй звуков и звукового состава отдельных слов, а как историю последовательной смены систем фонетических представлений (курсив наш. — М. П.)», формулирует важнейший принцип системного подхода — принцип целостности системы: «...ни одно из звукоизменений (как и ни одно, с другой стороны, из явлений статической фонетики данного языка) не должно и не может рассматриваться изолированно, без связи с данной фонетической системой в целом... Только при таком взгляде на вещи, т. е. на основе уже установленных фактов в области эволюции фонетической системы (как целого), возможно дать правильное прагматическое объяснение единичным фактам (рассматриваемым именно как детали в составе целой системы, логически зависимым от всего состава этого целого)»².

Итак, историческая (диахроническая) фонология строится на двух постуатах: 1) звуковой строй любого языка представляет собой фонологическую систему; 2) фонологическая система любого живого языка представляет собой *динамическую, исторически развивающуюся* систему. «Основное, что принесла с собой диахроническая фонология, — это исследование различного рода “системных”, или “структурных”, факторов звукового изменения и в первую очередь различных случаев “давления” системы»³. Обращение к истории науки показывает, во-первых, что диахроническое изучение звукового строя возможно только на фонологической основе, а значит, достижения «дофонологической» исторической фонетики хотя бы имплицитно предполагали эту фонологическую основу. Во-вторых, работы пионеров диахронической фонологии во многом заключались в переформулировании в новых (фонологических) терминах того, что уже было достигнуто традиционной исторической фонетикой, в лоне которой диахроническая фонология и зародилась. Таким образом, наука, изучающая историю звукового строя языка, едина: младограмматическая сравнительно-историческая фонетика и диахроническая фонология (в узком смысле) представляют собой два этапа развития единой науки, которую и следовало бы называть *исторической фонологией*.

¹ Якобсон Р. Принципы исторической фонологии (1931 г.) // Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985. С. 117.

² Поливанов Е. Д. Статьи по общему языкознанию. М., 1968. С. 95, 135, 136.

³ Стеблин-Каменский М. И. Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков. Л., 1966. С. 21.

Представляется несомненным единство синхронической и диахронической фонологии. Во-первых, оно естественно, поскольку «диахроническая фонология обязана синхронической своей основой, а именно представлениями о фонеме и ее аллофонах»¹. Во-вторых, оно необходимо: исследование развития объекта в целом идет от более известного и близкого к менее известному и более далекому. В общеметодологическом плане это понимали уже младограмматики, декларировавшие принцип, согласно которому «следует исходить из известного и от него уже переходить к неизвестному, эту задачу надо решать на материале таких фактов развития языка, история которых может быть прослежена с помощью памятников на большом отрезке времени и исходный пункт которых нам непосредственно известен»². Из этого вытекает и важность типологических исследований для диахронической фонологии.

Синхроническая и диахроническая фонология не только теоретически взаимодополняют друг друга, но и взаимопроникают. Тем не менее перед фонологией до сих пор стоит вопрос о синтезе синхронической и диахронической фонологии. Синхрония как статика — фиктивна, диахрония как эволюция — неуловима. Борясь за права синхронического подхода при изучении языковой эволюции, Р. Якобсон подчеркивал: «Восприятие движения существует также в синхронном аспекте...»³ Это и есть динамический момент в синхронии. Диахроническая фонология переняла от синхронической фонологии понятие *синхронного среза* и пользуется им в меру необходимости, но для диахронической фонологии понятие *синхронного среза* даже важнее. Синхроническая фонология пользуется этим понятием в целях большей компактности и экономности описания фонологической системы, сознательно ограничивая доступный материал. Диахроническая фонология пользуется *синхронными срезами* как некоторыми точками отсчета именно вследствие недостатка языкового материала. Одним из слабых мест некоторых концепций диахронической фонологии является недостаточно четкое разграничение понятий фонетического изменения и так называемого диахронического соответствия⁴. Сравнивая синхронные срезы развития одной языковой системы, историк устанавливает диахронические звуковые соответствия (различия) между ними, представляющие некий аналог так называемых регулярных звуковых соответствий в компаративис-

¹ Там же. С. 8.

² Остгоф Г., Бругман К. Предисловие к книге «Морфологические исследования в области индоевропейских языков» (1878 г.) // Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. М., 1960. Ч. 1. С. 155.

³ Якобсон Р. Принципы исторической фонологии. С. 130.

⁴ В этом отношении остроумная критика генеративной концепции диахронической фонологии представлена в: Andersen H. Diphthongization // Language. 1972. Vol. 48. № 1. P. 11–18.

тике. Само по себе такое диахроническое соответствие, например, псл. **k* > рус. č, только указывает на совершившееся некогда изменение, но мало что в нем проясняет, в том числе и то, сколько изменений скрывается за данным диахроническим соответствием, и совсем ничего не говорит о его механизме.

Одним из важнейших вопросов диахронической фонологии является вопрос о том, каким образом в языке уживаются изменчивость и стабильность, как сочетаются *функционирование* фонологической системы и ее *развитие*, другими словами — как фонетические изменения осуществляются без помех для языкового общения, т. е. каков механизм звуковых изменений? Но ведь это в значительной степени и проблема синхронической фонологии. Только здесь она формулируется не в терминах изменения и развития, а в терминах вариативности и вариантности. Проблема механизма звукового изменения (или механизмов звуковых изменений) — это по большому счету проблема синхронической фонологии, точнее, это проблема экспериментально-фонетического исследования в рамках *динамической фонологии*. Проблема механизма звукового изменения — это главная проблема динамической фонологии, в которой противопоставление диахронической и синхронической фонологии как бы «нейтрализуется».

Наиболее эффективно изучать механизм фонетического изменения можно на материале живых, еще не завершившихся, изменений (*sound changes in progress*). Лингвисты долгое время скептически относились к возможности экспериментального наблюдения за живым изменением в звуковом строе, полагая, что фонологическое изменение (мутация) происходит для этого слишком быстро, а аллофонное (кумуляция) — слишком медленно. Однако экспериментальные и инструментальные исследования последних десятилетий развеяли эти сомнения¹. Накопленный в этих исследованиях материал позволяет приблизиться к решению традиционной со временем младограмматиков и Г. Шухардта дилеммы относительно механизма звуковых изменений: является ли звуковое изменение *фонетически постепенным* и *лексически мгновенным* (все словоформы, имеющие изменяющуюся фонему, охвачены изменением одновременно), т. е. «изменяются фонемы» (модернизированная младограмматическая концепция), или изменение осуществляется *фонетически мгновенно* и *лексически постепенно* — т. е. «изменяются слова» (современная теория «лексической диффузии», развивающая тезисы лингвистической географии)². В фонетических изменениях мо-

¹ Лабов У. О механизме языковых изменений // Новое в лингвистике. Вып. 7. М., 1975; New Ways of Analyzing Sound Change. San Diego, California. 1991.

² Labov W. Resolving the Neogrammarian controversy // Language. 1981. Vol. 57. № 2. P. 267–305.

гут использоваться оба механизма. Фонетически постепенными и охватывающими сразу все словоформы являются аллофонные изменения, в том числе те, для которых аллофонное изменение предшествует расщеплению фонемы на две самостоятельные фонологические единицы. Фонетически мгновенными и лексически постепенными являются изменения в фонемном составе словоформ, т. е. так называемые синтагматические изменения. Во втором случае важнейшим фактором оказывается осознанность изменения носителем языка, что позволяет социализировать изменение. Таким образом, многие теоретические установки классической диахронической фонологии, в частности в трактате Л. Р. Зиндера и М. И. Стеблин-Каменского, выдержали испытание временем. Также подтверждаются многие идеи, касающиеся гипотезы о давлении системы и цепных реакциях, наиболее ясно высказанные в работах А. Мартине.

Поскольку диахроническая фонология является в значительной степени продолжением исторической фонетики, а последняя выступает как составная часть сравнительно-исторического языкоznания, естественные контакты существуют между диахронической фонологией и компаративистикой. Отражением этой близости является, в частности, сопротивительность (но не тождественность) понятий «родство языков» и «(наличие) регулярных фонетических соответствий (между языками)». Однако связь между диахронической фонологией и компаративистикой не только генетическая, т. е. обусловлена не только зарождением первой в лоне последней, — она глубже.

Во-первых, и компаративистика, и диахроническая фонология занимаются *реконструкциями*: первая — преимущественно праязыка, вторая — предшествующих состояний фонологической системы конкретного живого языка. Диахроническая фонология пользуется результатами реконструкции праязыка. Однако реконструкция праязыка и реконструкция предшествующих состояний каждого из сравниваемых языков тесно взаимосвязаны: чем глубже мы проникаем в историю каждого из зафиксированных языков, тем достовернее результаты реконструкции. Таким образом, сравнительная грамматика пользуется выводами исторической фонологии.

Во-вторых, и компаративистика, и диахроническая фонология пользуются методом *сравнения*: сравнительно-историческое языкоznание — родственных языков и диалектов, диахроническая фонология — синхронных срезов одного языка (с оговорками, приведенными выше). В значительной степени концепция диахронической фонологии — *полихроническая*, поскольку в основе ее лежит сравнение максимально возможного числа синхронных срезов. Сравнительная грамматика восстанавливает праформы путем сравнения морфем родственных языков и диалектов, но реалистическая трактовка реконструированных форм

возможна лишь при учете данных диахронической фонологии и, в частности, *относительной хронологии* фонетических изменений (и, как мы увидим дальше, в значительной степени с учетом данных типологии). Таким образом, внешняя реконструкция (главный метод компаративистики) и внутренняя реконструкция (главный метод диахронической фонологии) должны идти рука об руку.

В-третьих, объекты исследования обоих разделов исторической лингвистики в значительной степени пересекаются. Это обусловлено тем, что в основе компаративистики лежит младограмматическое понятие *звукового закона*, т. е. гипотеза регулярности звуковых изменений, а объектом диахронической фонологии, собственно, и является эволюционирующий звуковой строй. Однако, в отличие от сравнительно-исторического языкоznания, которое рассматривает тезис младограмматиков как постулат и не подвергает (не может подвергать) его сомнению, диахроническая фонология относится к этому тезису как к *гипотезе* и признает, что в полном смысле слова регулярными, т. е. безысключительными, могут быть только так называемые аллофонные изменения. Итак, сравнительно-историческое языкоznание в целом и историческая фонетика в частности во главу угла ставят гипотезу о *регулярности звуковых изменений*, а диахроническая фонология выдвигает свою гипотезу о *давлении системы*.

Если сравнительное языкоznание занимается установлением языкового родства, то типология устанавливает внешние, неродственные связи между языками. Фонологическая типология сопоставляет различные фонологические системы и выявляет такие, которые сводятся к единому инвариантному состоянию по тем или иным признакам. Типология исходит из того, что между фонетическими системами, существующими в настоящее время или существовавшими в обозримом прошлом, нет *принципиальных* различий. В отличие от концепции диахронической фонологии, концепция типологических исследований *панхронична*. Типология изучает свойства языка вообще (вне времени и пространства), выявляет в первую очередь то, что характерно для всех или подавляющего большинства языков, т. е. языковые *универсалии*.

Польза для диахронической фонологии типологических исследований очевидна, в частности при оценке правдоподобности той или иной реконструкции. «Типологические ограничения значительно снижают степень произвольности диахронических построений. Требование типологической правдоподобности, согласно которому реконструкция не должна, по крайней мере, противоречить тому, что нам известно о фактах живых или хорошо засвидетельствованных языков, ограничивает область выбора возможных решений. Оно имеет смысл, если фонетическая природа языков за последние два-три тысячелетия существенно

не изменилась»¹. Типологические сходства, например между старофранцузским и праславянским в отношении закона открытых слогов², или параллелизм между праславянскими и древнеяпонскими изменениями в отношении закона внутристологового сингармонизма³, позволяют значительно углубить наше понимание причин и механизмов фонетических изменений. Надо отметить, что типологические соображения при оценке реконструкций принимались во внимание всегда — так сказать, на уровне здравого смысла. Но и в настоящее время остается в силе возражение, что типологические исследования не могут охватить все языки и диалекты, не говоря уж о тех, которые навсегда исчезли, поэтому типологические ограничения никогда не бывают «окончательными». Из этого вытекает, что для компаративиста и фонолога-диахрониста конкретные результаты реконструкции имеют, по крайней мере, не меньшее значение, чем типологические ограничения. Все проблемы подобного рода осложняются еще и различными, в том числе вследствие принадлежности к разным фонологическим школам, подходами исследователей к установлению состава фонем исследуемых языков, что в известной степени снижает достоверность результатов типологических исследований.

В заключение отметим, что поскольку одной из декларируемых задач диахронической фонологии является анализ причин того или иного фонетического изменения, фонологи-диахронисты не могут игнорировать социолингвистические факторы звуковых изменений. В этом отношении особое значение имеют работы американской социолингвистической школы Уильяма Лабова, которая внесла значительный вклад в разработку проблем механизма фонетического изменения. Таким образом, фонолог, изучая фонетическое изменение в каком-либо языке или диалекте, не может отстраниться от того, что происходит в соседних диалектах, отмечаются ли аналогичные или похожие явления в соседних языках, сосредоточившись исключительно на внутриструктурных факторах рассматриваемого фонетического изменения.

¹ Чекман В. Н. Исследования по исторической фонетике праславянского языка. Минск, 1979. С. 214.

² Martinet A. Langue à syllabes ouvertes: le cas du slave commun // Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft. 1952. № 6. P. 145–163.

³ Shevelov G. Y., Chew J. Open Syllable Languages and their Evolution: Common Slavic and Japanese // Word. 1969. № 25. P. 252–274.

Часть I

ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

Глава 1

УСТАНОВЛЕНИЕ СОСТАВА ФОНЕМ

Лингвистическая теория в области изучения звукового строя языка должна обосновать решение как минимум двух задач. Первая задача — установить состав фонем конкретного языка. Вторая — определить фонематическую транскрипцию любой фразы, произнесенной в полном типе носителем данного языка. Фонологическая теория должна сформулировать принципы, процедуры и критерии, которыми пользуется лингвист при решении указанных задач. С позиций Щербовской школы решение второй задачи невозможно без решения первой.

Определение *состава фонем* предполагает, в свою очередь, выполнение двух процедур фонологического анализа. На первом этапе необходимо обосновать фонемную сегментацию речевого потока, т. е. выделить минимальные звуковые отрезки, на которые членится речевой поток, или — другими словами — определить количественный состав фонем («членораздельных звуков») в любой синтагме текста на данном языке. На следующем этапе анализа выделенные сегменты (они же аллофоны, оттенки — представители фонем в речи) должны быть отождествлены, т. е. выясняется, какие из них относятся к одной фонеме, а какие являются реализациями разных фонем. Таким образом, на первом этапе моделирования фонологической системы производится синтагматическая идентификация фонем, а на втором — парадигматическая. В результате парадигматической идентификации фонолог устанавливает состав фонем данного языка.

Исходной посылкой фонологической теории Щербовской школы является положение о том, что главная функция фонемы — функция *конститтивная*, а не *дистинктивная*. Дистинктивная функция является как бы следствием конститтивной. В основу фонологического анализа Щербовской школы положен принцип сходства, тождества, а не различия¹. Из двух функций фонемы — позитивной (отождествительной) и негативной (различительной) — на первый план выдвигается отождествительная, которая интерпретируется как конститтивная. И действительно, на начальном этапе фонологического анализа сходство важнее различия, фонологический анализ начинается с констатации тождества, а не различия². Важно не то, что звуковая оболочка словоформы *дом* имеет фонемный состав, отличный от звуковых оболочек словоформ *том* или *дымя*, а то, что словоформа *дом* «звучит» всегда одинаково (т. е. имеет одинаковый фонемный состав) для всех носителей русского литературного языка, независимо от того, какой смысл вкладывается в каждой конкретной фразе в это слово при его произнесении, и независимо от некоторых суперсегментных характеристик. Важно, например, что хрестоматийные фразы *Там арка упала*, *Тамарка упала* и *Та марка упала* в нормальной русской речи омонимичны (если говорящий специально не жалает при помощи пауз или кнаклаута подчеркнуть различие, что в принципе всегда возможно), т. е. «звучат» одинаково, несмотря на различие в значении, а значит, имеют одинаковый фонемный состав. Фонетическое различие — необходимое условие различия фонематического, причем из столкновения фонетического тождества и смыслового различия вытекает само понятие фонемы, поэтому тождества и различия могут быть только фонологическими.

Щербовская фонологическая школа в ее современном варианте решает указанные задачи фонологического анализа следующим образом.

1. Членение речевого потока на фонемы является функцией членения не морфемы: если звуковая последовательность разделяется морфемной границей, то она разделяется и фонемной границей, т. е. членится на две фонемы, причем аналогичная последовательность не на морфемной границе также членится на две фонемы.

2. Два аллофона принадлежат одной фонеме, если они могут чередоваться в одной морфеме и находятся при этом в состоянии дополнения.

¹ Ср. высказывание Ф. де Соссюра о том, что «механизм языка зиждется исключительно на тождествах и различиях, причем эти последние являются лишь обратной стороной первых» (Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1977. С. 141). Пражская школа и ее последователи, как известно, выдвигали на первый план различительную функцию языковых единиц.

² Ср.: Леонтьев А. А. О «префонологических тождествах» // Исследования по фонологии. М., 1966. С. 166–168; Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. М., 1983. С. 23, 32.

тельной дистрибуции. В операторном плане фонема как бы выводится из аллофонов, но на самом деле в системе языка существует только сама фонема, реализуемая рядом оттенков (аллофонов, комбинаторных вариантов), которых столько, сколько позиций.

Оба принципа чётко изложены и как бы канонизированы во 2-м издании «Общей фонетики» Л. Р. Зиндера, ближайшего ученика Щербы, а также в ряде других работ¹. Принципы фонологического анализа, разработанные Щербовской школой, представляются нам на настоящий момент наименее противоречивыми. Попытки некоторых лингвистов опровергнуть изложенные принципы сегментации речевого потока в пользу так называемого ассоциативного анализа в духе Н. С. Трубецкого очевидно непродуктивны. Необоснованно стремление некоторых лингвистов (это в первую очередь представители Московской фонологической школы) приписать школе Щербы понятие фонемы как звукотипа. Однако следует замстить, что понимание фонемы как звукотипа в некоторых аспектах не является бессодержательным и с фонологической точки зрения. О фонеме как звукотипе Щерба говорит в своем учебнике «Фонетика французского языка». Представляется вполне оправданным, что в аспекте сопоставительном, когда речь идет о взаимодействии двух разных систем фонем (либо при обучении иностранным языкам, либо при языковых контактах, заимствованиях) понимание фонемы как звукотипа может быть весьма полезным: в частности при исследовании того, какие звуки взаимодействующих языков будут отождествляться друг с другом носителями этих языков (ср., например, введение Э. Хаугеном понятие диафона и диафонического отношения²). Ведь имеется в виду уже не система противопоставлений фонем целиком, а дзэ независимые системы фонем, коррелирующие друг с другом.

В рамках Щербовской фонологической школы в последние годы развивается новый подход к традиционным проблемам фонологии. Отвергая «классическую» фонологию, сторонники этого направления намечают очертания новой фонологии, которая получает наименование «фонология речевой деятельности» (ФРД), или «фонология носителей языка». Но эта «другая фонология» в настоящее время может строиться только на основе отталкивания от традиционной (классической) фоно-

¹ Зиндер Л. Р. Общая фонетика. С. 53; Проблемы и методы экспериментально-фонетического анализа речи / Под общ. ред. Л. Р. Зиндера и Л. В. Бондарко. Л., 1980. С. 6–26; Гордина М. В. О различных функциональных звуковых единицах языка // Исследования по фонологии. М., 1966. С. 177–178; Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкоznания. С. 23, 32.

² Хауген Э. Языковой контакт // Новое в лингвистике. Вып. 6: Языковые контакты. М., 1972. С. 74.

логии и в сопоставлении с ее аксиоматикой. Поэтому ставится задача пересмотреть соотношение «между классическими представлениями о свойствах звуковых средств языка и реальными свойствами этих средств, которые обнаруживаются в речевой деятельности»¹.

Разработчики ФРД критикуют классическую фонологию за то, что в ней «в явном или неявном виде учитывается лишь полный тип произнесения, обеспечивающий однозначную фонетическую интерпретацию каждой сегментной единицы»², т. е. фонемы. Представляется, что само по себе это положение классической фонологии совсем не так плохо, особенно если оно эксплицируется, как, например, в Щербовской фонологической школе. Напротив, было бы довольно странно, если бы фонологическому анализу подвергались такие сегменты, фонетические свойства которых недостаточны для их фонемной идентификации. Это не означает, что в классической фонологии существование таких сегментов не подразумевается вообще, однако они как бы выводятся за пределы фонологического анализа, по крайней мере, на первом этапе моделирования фонологической системы конкретного языка (они помещаются на периферии фонологической системы, хотя количественно в речи могут преобладать)³. Это вынужденное ограничение, причем важно подчеркнуть, что квалификация таких «неопределенных сегментов» в рамках изучения, например спонтанной речи, где они, вполне вероятно, составляют большинство, возможна лишь на основе и на фоне предварительного исследования полного типа произнесения.

Итак, классическая фонология исходит из того, что фонемная идентификация каких-то сегментов в силу их неопределенности не может быть осуществлена. В отличие от традиционных фонологов, сторонники ФРД склонны предполагать, что эта неопределенность может быть преодолена (кем? фонологом или носителем языка?) после учета «дополнительных сведений — контекстных, грамматических или статистических — для принятия решения о фонемном составе и принадлежности того или иного сегмента высказывания»⁴. Соответственно, получается, что, например, грамматическая информация может дать ответ на вопрос о фонемной интерпретации «неопределенного сегмента». Таким образом, не в классической фонологии, а именно в ФРД подразумевается, что все — даже неопределенные сегменты — долж-

¹ Фонология речевой деятельности / Отв. ред. Л. В. Бондарко. СПб., 2000. С. 2.

² Там же. С. 8.

³ Классическая фонология не требует фонемной идентификации таких сегментов, как она, кстати, не требует этого для параконсонических парентез типа эканья-меканья, свойственного устной речи и выступающего в качестве суперсегментного знака хезитации, и для звуковых жестов типа *Гм!* *Бр-р-р!* *Тьфу!* *Тпру!* и т. п.

⁴ Фонология речевой деятельности. С. 8.

ны получить фонемную идентификацию. В традиционной концепции Петербургской фонологической школы грамматическая информация учитывается при установлении состава фонем, но не привлекается для решения вопросов фонемной принадлежности того или иного звукового сегмента после того, как состав фонем установлен. Что касается носителя языка, то ему не нужно устанавливать фонемный состав услышанной фразы, если понятен ее смысл, равно как и говорящему важно передать сообщение, а не продемонстрировать умение четко артикулировать звуки. Если же смысл не очень понятен вследствие недостаточно четкой артикуляции, у слушающего может возникнуть необходимость установления фонемного состава непонятого сегмента, а у говорящего — необходимость артикуляторно более четко реализовать соответствующую фонемную последовательность. Таким образом, «грамматическая информация» помогает установить не фонемную цепочку, а смысл сказанного. Например, грамматическая информация и контекст помогают понять смысл «недоартикулированной» в спонтанной речи словоформы [pol’?] (*пришел с поля, вышел на поле, работает в поле или у тёти Поли*). При неполном типе произнесения оказывается невозможно фонематически идентифицировать конечный заударный гласный на основании фонетических характеристик. Но, поняв, т. с. «осмыслив» и реконструировав данную словоформу, слушающий одновременно реконструирует и фонемную последовательность, закрепленную за этой словоформой для полного типа произнесения в КЛЯ (*вышел на поль/а/ или работает в поль/и/*). Если носитель не владеет полным типом КЛЯ, его фонемные цепочки будут отличаться от принятого в КЛЯ стандарта.

При решении проблемы определения *количества единиц*, используемых в речевой деятельности, ФРД исходит из того, что «количество используемых в РД единиц больше количества фонем, и в этом случае необходимо установить, какие процедуры позволяют перейти к фонемному описанию»¹. Представители ФРД полагают, что следует переходить от выявленных единиц РД к фонемному моделированию. С нашей точки зрения, направление исследования должно быть противоположным: от состава фонем к тем «единицам», которые предположительно используются в РД. В действительности так поступают и сами исследователи ФРД. Ведь очевидно, что при моделировании фонетических единиц РД они учитывают уже известный им состав фонем русского языка. Объясняется это тем, что состав фонем — самое определенное, что есть в звуковом строе языка, имеющего такие единицы, как фонемы. Как правило (за редкими исключениями), состав фонем конкретных языков устанавливается одинаково самыми противоположными фонологичес-

¹ Фонология речевой деятельности. С. 9.

кими школами, хотя они не сходятся в том, как они устанавливают этот состав. Присчитавшись выше положение ФРД приняло бы в классической фонологии следующий вид: безусловно, количество аллофонов больше количества фонем, и в этом случае необходимо установить, какие процедуры позволяют перейти к фонемному описанию. Вот об этих процедурах и спорят представители разных фонологических концепций.

Что же это за единицы РД, которых заведомо больше, чем фонем? Исследователи ФРД опираются на тот факт, что «носители русского языка способны различать большее количество гласных и согласных, чем количество фонем в системе...». Таким образом, системе фонем, насчитывающей 6 гласных и 36 согласных, в РД соответствует система аллофонов из 18 гласных и 41 согласного¹. Получается, что единицы РД — это особым образом выделенные «аллофоны» всем известных фонем. Однако понятно, что аллофонов на самом деле гораздо больше: их, строго говоря, столько, сколько позиций, т. е. практически бесконечное число. Впрочем, обычно аллофоны — для удобства описания — объединяют в группы, т. е. в своего рода «звукотипы», резко сокращая при этом количество аллофонов. Такое сокращение является результатом наложения на аллофонную систему сетки дифференциальных признаков фонем. Значит, эти аллофоны РД суть результат применения каких-то процедур идентификации аллофонов или результат некоего дробления фонем на аллофонемы в соответствии с действующими в системе дифференциальными признаками (например, 18 русских гласных «аллофонов РД» — это результат учета прежде всего ДП твердости—мягкости соседних согласных). ФРД опирается в этом вопросе на триаду Ю. С. Маслова: *фонема* — *аллофонема* (это нечто вроде звукотипа — как раз для РД) — *фен* (это аллофон в традиционной фонологии)²: «Отнесение аллофона к уровню языка (в этом случае термин “аллофонема” (Маслов 1987: 52) более точно отражает сущность явления), справедливое с точки зрения лингвистики, фактически подчеркивает то обстоятельство, что материальные корреляты и аллофон суть вещи нетождественные»³. Последняя фраза объясняет, почему возникла идея «аллофонемы» как промежуточного звена между фонемой и аллофоном. «Материальные корреляты» — это физическая реальность, а «аллофон» — понятие. Аллофон — это не физическая и не функциональная

¹ Там же. Этому, впрочем, как будто противоречит утверждение Л. В. Бондарко о том, что «число перцептивно самостоятельных единиц при восприятии согласных... меньше числа согласных фонем» (Бондарко Л. В. Фонетика современного русского языка. СПб., 1998. С. 148).

² Маслов Ю. С. Введение в языкознание. С. 52.

³ Фонология речевой деятельности. С. 56.

реальность: он не существует вне *описания* физической реальности; «аллофон» — это понятие, введенное для упрощения и удобства описания физической реальности. В результате в концепции ФРД аллофон как бы поднимается до уровня языка, до уровня единицы РД, и в таком качестве действительно может быть назван аллофонемой.

Итак, сторонники ФРД исходят из того, что аллофоны (или, точнее, аллофонемы) — это языковые единицы, которые имеют свою собственную материальную манифестацию. Эти аллофонемы и есть перцептивно самостоятельные единицы РД. Таким образом, аллофонемы и их взаимодействие с системой фонем изучаются в фонологии РД, а фонемы уступают «лингвистам» (т. е. фонологам). Действительно, если последовательно проводить классическую фонологическую концепцию, согласно которой аллофон есть материальная реализация фонемы, то следует признать, что аллофоны лингвистически реально не существуют, что это лишь удобный способ представления физической реальности. Исследователи ФРД, почувствовав «иллюзорность прямой связи между фонемой и аллофоном» в классической фонологии, решили построить некую буферную зону в виде *аллофонемы*, которая одной своей стороной опирается на функциональное основание, а другой — на физическое. Оправдание для такого подхода они нашли в том факте, что носитель языка может оперировать большим числом «фонетических единиц», чем количество фонем (и намного меньше, чем число позиций фонем, т. е. оттенков). Этим промежуточным фонетическим единицам и приписывается функциональная значимость в РД.

Однако насколько справедлив тезис о том, что носители языка могут уверенно оперировать большим количеством звуковых единиц, чем количество фонем? Результаты экспериментов показывают, что «при восприятии гласных они (аудиторы. — М. П.) правильно (?) — М. П.) классифицируют до 20 звуков кардинальной таблицы»¹. Более того, «в случае с комбинаторными аллофонами русских гласных испытуемые не только опознают их, но и определяют их место в системе: например, опознавая ударные гласные, выделенные из слов *сад*, *садик*, *сяду*, *сядь*, как разные, испытуемые интерпретируют эти различия, обозначая их следующим образом: [a], [a'], ['a], ['a']». Однако, судя по всему, условия эксперимента не позволяют делать столь далеко идущие выводы, поскольку не совсем понятно, какое отношение эти эксперименты имеют именно к *речевой деятельности*. Экспериментаторы не скрывают своей методики: «Давая такие обозначения, испытуемые определяют фонетическую позицию соответствующего аллофона, поскольку контекст, порождающий эти аллофоны, в таких

¹ Фонология речевой деятельности. С. 9.

экспериментах отсутствует¹. Но более или менее естественная речевая деятельность отличается от условий данного эксперимента тем, что всегда предполагает наличие фонетического контекста, в котором и реализуется фонема. Это слишком существенное различие, чтобы экстраполировать результаты эксперимента на РД носителя языка. В конце концов любой звук, в том числе, например, звуки, издаваемые животными, видимо, тоже может быть (и при желании экспериментатора будет) затранскрибирован. Было бы интересно провести эксперимент, при котором испытуемые оценивали бы отделенные от своего контекста сегменты (так называемые единицы РД) с точки зрения их принадлежности к звукам именно русского языка. Каков среди них будет процент «русских» и «иностранных»? Думается, многие из них не будут расценены аудитором как русские.

Вопрос о том, какая функция фонемы — конститутивная или различительная — важнее, является сакральным вопросом фонологии и, возможно, лежит в основе различия между фонологическими школами. Как было замечено выше, в ФРД исследование звукового строя ориентируется на особые единицы РД, т. е. акцент переносится с фонемы на аллофонему. В связи с такой переориентацией находится и постановка вопроса о функциях звуковых элементов. При этом делается вывод, что изучение РД не подтверждает представлений о первостепенной важности различительной функции, которая якобы важна лишь для фонолога, моделирующего систему фонем, но «очень часто несущественна для носителя языка, который при программировании высказывания или при его восприятии вовсе не занимается перебором возможных квазиомонимов»². Как известно, «смыслоразличительная функция», являющаяся сердцевиной классической фонологии, была открыта Л. В. Щербой :: введена в определение фонемы с целью противопоставить понятия фонемы и оттенка (аллофона). Но сторонниками особой ФРД различительная функция фонемы слишком прямолинейно связывается с наличием квазиомонимов. Действительно, многие фонологи сильно преувеличивают роль квазиомонимов, но приписывать такие взгляды всей фонологии в целом не совсем справедливо. Чисто иллюстративная роль минимальных пар давно осознана классической фонологией, в первую очередь благодаря работам Л. Р. Зиндера³.

Нельзя согласиться с тем, что смыслоразличительная функция важна для исследователя-фонолога и соответственно для «фонологии слова»

¹ Там же. С. 10.

² Там же. С. 11.

³ Зиндер Л. Р. О «минимальных парах» // Язык и человек: Сб. статей памяти П. С. Кузнецова. М., 1970. С. 105–109. Мы вернемся к этому вопросу в связи с обсуждением проблемы функциональной нагрузки фонемы в главе 9.

(это, видимо, еще один синоним для «классической фонологии»), а конститутивная — для носителя языка и соответственно для «фонологии связной речи» (она же — один из разделов ФРД). Эти две функции может противопоставлять фонолог-теоретик, но для носителя языка они слиты. В обсуждаемой концепции ФРД утверждается, что существует противоречие между фонологией слова и фонологией связной речи, они противопоставляются. Однако непонятна модальность этого утверждения: констатируемое противоречие — это ошибка, недоразумение, которое следует преодолеть, или оно неизбежно? Нам представляется, что фонологическая теория должна и может быть единой и для слова и для связной речи. Проблема не в том, что фонология слова отражает логику исследователя-лингвиста, а фонология РД — логику носителя языка, как, кажется, полагают сторонники ФРД. Проблема глубже. Фонология слова отражает в значительной степени и «логику» носителя языка, поскольку центральное положение *слова* в языках фонемного строя не придумано исследователями. Это фактически признается и в ФРД: «при порождении высказывания говорящий также должен преобразовать идеальную фонемную последовательность, характеризующую *каждое из слов* (курсив наш. — М. П.), в фонетическую цепочку, свойства которой зависят как от фонемных, так и от просодических составляющих»¹. Значит, в лексиконе носителя языка имеется идеальная фонемная запись каждого отдельного слова или словоформы. Таким образом, недостаток классической фонологии не в том, что она ориентируется на словоформу как центральную языковую единицу, а в том, что она недостаточно учитывает тот факт, что в речи словоформы соединяются в синтагмы, и недостаточно внимательна к процессам, происходящим на стыках слов и синтагм.

Касаясь проблемы сегментации речевого потока, фонологи — исследователи РД утверждают, что «в противоположность фонологическому описанию фонемы как минимальной сегментной единицы необходимо признать, что в РД могут проявляться какие-то другие свойства, противоречащие идеи минимальности»². В классической фонологии принцип «минимальности» фонемы имеет два аспекта. Во-первых, предполагается, что фонему нельзя представить как последовательность нескольких функциональных единиц, т. е. она в функциональном отношении «далес не членима». Во-вторых, предполагается, что нет другой (кроме фонемы) функциональной сегментной единицы, которую нельзя было бы представить как последовательность фонем, т. е. все остальные звуковые последовательности — фразы, синтагмы, фонетические слова (тактовые группы), слоги — принципиально могут члениться на фонемы (но могут, конечно, состоять и из одной фонемы).

¹ Фонология речевой деятельности. С. 10–11.

² Там же. С. 12.

Первый аспект принципа минимальности подвергается сомнению представителями «другой фонологии» на следующем основании: «фонема не является минимальной единицей членения потому, что она — в любом своем аллофоне — несет информацию о позиции и тем самым о соседних единицах или об их отсутствии»¹. Надо признать, что этот аргумент не может быть принят, поскольку с точки зрения классической фонологии (в частности, щербовской) фонема как раз не несет информации о позиции. Фонема потому и фонема, а не аллофон, что она независима от фонетической позиции. Информацию о позиции в принципе (согласно положениям некоторых фонологических школ) могут нести аллофоны, или — если угодно — аллофонемы. Однако некое «противоречие» здесь действительно имеется — между функциональным единством фонемы и разнообразием ее материального воплощения — но оно учитывается и как раз снимается в классической фонологии, причем это «противоречие» часто признается источником и фактором фонетических изменений и уж никак не свидетельствует против принципа минимальности фонемы в функциональном, синхроническом аспекте.

Второй аспект принципа минимальности подвергается сомнению сторонниками ФРД на том основании, что в РД обнаруживаются такие звуковые сегменты, которые, с одной стороны, «однородны по своим фонетическим характеристикам», а с другой — представляют собой «некоторую последовательность фонем». Это такие сегменты, которые, «будучи отделенными от своего контекста... не обнаруживают никаких признаков членности на более мелкие единицы»². Для классической фонологии здесь нет ничего необычного: звуковая последовательность, пусть даже и кажущаяся «однородной» по своим фонетическим характеристикам (как известно, еще Л. В. Щерба говорил, что однородных звуков не существует), представляет собой сочетание фонем. Видимо, в процессе фонетического эксперимента испытуемы, когда им без контекста предъявляют эти сегменты, не воспринимают их как членимые. В это вполне можно поверить, более того, так и должно, видимо, быть. Давно известно, что даже при наличии контекста мы часто слышим не то, что говорится, т. е. фонематически неадекватно интерпретируем звуковые последовательности.

Для сторонников ФРД произношенис, например, словоформы *желтая* (или *желтое*) как [žolte], иллюстрирует тезис о том, что «фонема, “вычисленная” лингвистами через сильную позицию, способна “расторваться” в заударных флексиях»³. Оставим без комментариев *выпад* против мифических лингвистов, «вычисляющих» фонемы, и воспроизведем

¹ Там же.

² Там же. С. 13.

³ Там же. С. 55.

ход рассуждения В. И. Кузнецова: «Так, например, лингвист, имея в виду категорию среднего рода и формы слов *другое, мое* и т. п., в соответствии с правилами фонемных чередований слово *многое* в фонематическом отношении транскрибируется как /mnogaj/ (видимо, речь идет о фонематической транскрипции, принятой в Петербургской фонологической школе. — М. П.). По правилам перекодировки фонем в аллофоны заударную флексию /aj/ в фонетической транскрипции следует обозначать комбинацией символов [ъjЛ] или [ъЛ]»¹. Но это в теории. А на практике «экспериментальный анализ реальных произнесений данной флексии при этом показывает, что на самом деле фонетическим коррелятом фонемного сочетания /aj/ является стационарный на всем протяжении гласный [ε], в восприятии носителя языка однозначно связываемый с фонемой /e/. Попытка сегментации этого гласного на элементы, соответствующие аллофонам, ведет к тому, что «он оказывается» (видимо, в тексте опечатка. — М. П.) реализацией [ε], являющейся, как это принято считать, основным аллофоном фонемы /e/»².

С позиций классической фонологии выявленное выше противоречие является плодом недоразумения. Начнем с того, что [ε] — и «как принято считать», и «в восприятии носителя языка» — связывается с фонемой /e/ и является ее основным аллофоном только в определенной фонетической позиции, а именно под ударением. Если *нечто похожее* (в глазах исследователя-фонетиста) оказывается в другой позиции, то это уже не будет аллофон фонемы /e/. Как правило, в большинстве русских слов фонема /e/ в безударной позиции после твердых согласных не встречается, чередуясь иногда с фонемой /ы/. Заударный аллофон /e/ после твердых, видимо, возможен. Однако перед нами совсем не тот случай. Во-первых, надо иметь в виду, что в словоформе *многое* в нормативном произношении 3 слога, поэтому, видимо, носитель языка и членит флексию на две или на три фонемы. Во-вторых, совершенно допустимо, что в быстрой спонтанной речи эта заударная флексия может быть реализована фонемой /e/, ее безударным аллофоном или какой-нибудь другой фонемой, например /a/. Вполне вероятно, что носитель языка не будет отдавать себе отчета в том, что он несколько нарушил нормативный фонемный состав словоформы. Это не страшно; если его поняли, он может и дальше проводить свои «эксперименты» над нормальным (нормативным) произношением, до тех пор пока его произношение понятно собеседнику. Все это вполне вписывается в концепцию классической синхронической и диахронической фонологии.

Ошибка состоит в том, что в своих построениях фонологи — исследователи РД исходят из орфографического облика слов. Видимо, это их

¹ Фонология речевой деятельности. С. 55–56.

² Там же. С. 56.

принципиальная позиция. В конечном счете их интересует решение чисто практической задачи — как при вводе в машину написанного текста получить естественное звучание на выходе. Другими словами, они решают проблему перекодировки графем в фонемы, а далее перевода фонемных последовательностей в акустический сигнал. Исходной точкой этой процедуры является орфографическая запись, поэтому ФРД не предполагает вариативности фонемного состава слова — ведь орфография не вариативна. Обнаружив реальную широкую вариативность фонемного состава слов, исследователи РД предположили, что фонема исчезла, как бы растворилась в физической реальности. Чтобы справиться с этими противоречиями, В. И. Кузнецов даже предлагает различать две фонетики — *учебную*, дающую, как он полагает, «четкие и простые схемы» (т. е., видимо, ту, которую преподают студентам), и *научную*, «показывающую неоднозначность и сложность каких бы то ни было схем» (ту, которой руководствуются в научных исследованиях)¹. Однако в научном исследовании совсем без схем трудно обойтись. С нашей же точки зрения, лучше искать золотую середину, а если отвергать любые схемы (ведь и «аллофонема» — это тоже не более чем схема), то можно попросту утонуть в экспериментально-фонетической реальности.

Попутно отметим еще одно, на наш взгляд неоправданное, теоретическое нововведение ФРД. Речь идет о понятии «мнимой акустической единицы». П. А. Скрелин обратил внимание на тот факт, что «вокализация /j/ между двумя заударными гласными приводит к полному «растворению» этого согласного в окружающих гласных»². Видимо, имеется в виду фонема /j/ в таких случаях, как *палкою*, *армию* и подобные. Здесь важно решить, какое это «растворение» — фонетическое или фонологическое. П. А. Скрелин называет такой /j/ «мнимой акустической единицей, которая воссоздается слушающим на основе реальных характеристик окружающих гласных и его знания морфемного и, следовательно, идеального фонемного состава данной словоформы»³. Приходится сожалеть о том, с какой легкостью представитель Щербовской фонологической школы фактически ставит знак равенства между знанием носителем языка морфемного и фонемного состава словоформы. С другой стороны, если /j/ «воссоздается слушающим на основе реальных характеристик окружающих гласных», то почему же этот /j/ объявляется «мнимой» акустической единицей? «Следы /j/ остаются только (курсив наш. — М. П.) в виде i-образного завершения первого из этих гласных и i-образного начала второго»⁴. Но ведь то, что П. А. Скрелин

¹ Кузнецов В. И. Вокализм связной речи. СПб., 1997. С. 212–213.

² Фонология речевой деятельности. С. 84.

³ Там же.

⁴ Там же.

называет «следами», и есть реализация фонемы /j/, причем вполне акустически реальная. У нас даже нет оснований считать, что здесь имеет место какое-то новое фонетическое явление, — возможно, что в этой позиции /j/ всегда (или уже очень давно) реализовался таким образом.

В то же время следует признать, что некоторые выводы, к которым приходит ФРД, на первый взгляд действительно противоречат положениям классической фонологии. В частности, «из экспериментально-фонетического анализа текстов значительной продолжительности» вытекает, что «у разных гласных имеется разное число аллофонов, не обязательно (?! — М. П.) совпадающее с числом (?!), выводимым из анализа звуковой системы языка. Так, например... в качестве аллофонов фонемы /a/ после твердых согласных вместо “теоретических” [а, л, ъ] выступает практически вся таблица кардинальных гласных Л. В. Щербы»¹. Приведенный пример показывает, что имеется в виду: в качестве реализаций фонемы /a/ в связной речи могут выступать практически любые гласные. Соответственно, «один и тот же в акустическом и перцептивном отношении звуковой сегмент может представлять аллофоны разных фонем... Например, звуковой тип [ε] в связной речи может представлять как фонему /ε/, так и /a/, а кроме того — фонемные комплексы, представляющие заударные флексии и морфные сочетания»². Здесь опять не совсем понятно, что значит «один и тот же в акустическом и перцептивном отношении сегмент»; выше мы поставили под сомнение утверждение, что [ε] как реализация фонемы /ε/ под ударением и [ε] как реализация заударного фонемного комплекса — «один и тот же звуковой сегмент». Тем не менее сами по себе эти выводы действительно противоречат главным принципам Щербовской фонологической школы. Возникает вопрос, насколько справедливы эти выводы и, если они справедливы, как их согласовать с фонологической теорией.

Исследование В. И. Кузнецова показало, что «при слуховой оценке (поддержанной соответствующими акустическими характеристиками) первого предударного аллофона фонемы /a/ он обозначается как [a] или [a], т. е. по степени открытости оценивается так же, как ударный; очень часто... как [ε]... особую группу составляют аллофоны, обозначаемые как [ʌ, ɪ, ы, ъ]... некоторые аллофоны обозначены как [ə]; наконец, есть и обозначения его как огубленного гласного переднего или заднего ряда [ø, œ или ɔ, ɑ]. Как [ʌ] этот гласный обозначен только 4 раза!»³ В. И. Кузнецов нигде не говорит об условиях эксперимента, но, видимо, слуховому экспериментному (!) анализу подвергались сегменты, вычле-

¹ Фонология речевой деятельности. С. 72.

² Там же.

³ Там же. С. 49.

ненные из контекста. Он думает, что анализирует единицы речевой деятельности, а на самом деле он подвергает анализу лишь физические сегменты, не имеющие никакого отношения к речевой деятельности. Дело не меняется от того, что эту физическую реальность оценивают в качестве «испытуемых» опытные фонетисты. Это, по нашему мнению, даже хуже. Кроме того, анализу подвергаются не аллофоны фонемы, а некоторые достаточно произвольно вычлененные из физической реальности сегменты. Фонетист не может вырезать «аллофон» из речевого потока, потому что аллофоны не существуют ни в физической, ни в функциональной реальности. Таким образом, получается, что один эксперт подвергает слуховому анализу сегменты, произвольно вычлененные из речевого потока другим экспертом.

Но о чём же говорят тогда результаты этого эксперимента? Как нам представляется, они подтверждают лишь то, что является общим местом классической фонологии, а именно, что у каждой фонемы практически бесконечное количество аллофонов: их столько, сколько позиций, причем позиций в широком смысле слова. Несоответствие между так называемой теоретической (или «идеальной», или «учебной», или «орфоэпической») и «реальной» (или «экспертной» применительно к данному эксперименту) транскрипциями объясняется тем, что первая основана на фонематической и лишь несколько видоизменена с учетом наиболее заметных для фонетиста позиционных и комбинаторных различий в реализации фонемы, а вторая — результат оценки изолированного звука. Следует учитывать и то обстоятельство, что «идеальная» транскрипция ориентируется на произношение отдельной словоформы, которая в каждом случае трактуется как синтагма. Таким образом, «идеальная» транскрипция воплощает поэзию фонологическую модель, а в речевой деятельности, видимо, реализуется посинтагменная фонологическая модель. Фонологическая теория должна учитывать взаимодействие этих двух моделей.

Итак, как показывают фонетические исследования, в русской связной (спонтанной) речи происходят разнообразные регулярные и нерегулярные «как бы нейтрализации (слияния)» противопоставленных в системе фонем. Эти флюктуации не замечаются носителями языка, хотя иногда могут выходить и на квазифонемный уровень. В. И. Кузнецов приводит примеры типа *неб[ʊ] было, тем[ɔ] была, золот[ɔ] осени, ф[ʊ]культет*, где имеет место влияние окружающих губных согласных или огубленного гласного в следующем слоге (т. е. как внутрислоговая, так и межслоговая ассимиляция и т. п.). С точки зрения классической фонологии, в этом нет ничего принципиально необъяснимого: соседние звуки стремятся ассимилироваться (эффект коартикуляции), но этому противодействует стремление языковой системы сохранить функционально важные различия. В речи всегда имеют место всевозможные

флуктуации, регулируемые в конечном счете фонологической системой, которая может принять, а может и отвергнуть возникающие «квазинейтрализации». Таким образом, мы не можем согласиться с тем, что в этом вопросе классическая фонологическая теория столкнулась с чем-то необычным и принципиально необъяснимым. Вывод В. И. Кузнецова о том, что один и тот же аллофон может воплощать разные фонемы, представляется нам теоретически бесперспективным и, главное, не вытекающим из проведенных экспериментов. Тот же факт, что в речевой деятельности имеет место вариативность как аллофонной реализации фонем, так и фонемного состава словоформ, что может приводить и приводит к фонетическим изменениям, достаточно убедительно объясняется, исходя из положений классической фонологии.

Сказанное не означает, что в так называемой классической фонологии все проблемы решены. В частности, одной из таких проблем давно является проблема осознанности или неосознанности носителем языка выбора из числа существующих вариантов произношения, которые имеют один и тот же статус в аллофонной системе, но разный социальный статус. Этот аспект вариативности серьезно изучается американской социолингвистической школой диахронической фонологии (школа В. Лабова). Эти вопросы в ФРД пока не ставятся, хотя внушительный экспериментальный материал, накопленный авторами, мог бы, видимо, пролить свет на проблему механизма звукового изменения применительно к русскому языку.

Итак, пока сторонники фонологии РД, на наш взгляд, не нашли фактов, которые серьезно противоречили бы положениям классической фонологии, по крайней мере, в ее «мягком» (щербовском) варианте, и нет никаких оснований предполагать, что так называемые аллофонемы являются функциональными фонетическими единицами. Особенности сегментации речевого потока в РД также пока не дают оснований для пересмотра основных положений классической фонологии относительно фонемы как минимальной сегментной единицы, по крайней мере, в редакции Петербургской фонологической школы.

Однако не все представляется нам убедительным и в традиционной фонологической концепции Щербовской школы. К решению проблем синтагматической и парадигматической идентификации фонем можно подойти и по-другому, сохраняя, впрочем, верность общим принципам и духу щербовского направления в фонологии. И главный вопрос, по нашему мнению, заключается в следующем: что именно конституируют и различают единицы звукового строя — звуковые оболочки *морфем или слов*?

Говоря о фонемах, Л. В. Щерба отмечал, что они способны «дифференцировать слова и их формы, т. е. служить целям человеческого об-

щения»¹. Слова и их формы означает здесь у Щербы не что иное, как словоформы. Под словом он понимал основную словоформу (например, Им. ед. имени существительного), а под формами — остальные словоформы данного слова, которые как бы выводятся из основной. Таким образом, Щерба явно связывает фонему со словом (словоформой), а не с морфемой. Один из видных старших представителей щербовского направления фонологии А. Н. Гвоздев, развивая идеи Щербы, отмечал в своей работе 1949 г., что «слово *наименьшая* (курсив наш. — М. П.) семантико-фонетическая единица, используемая при общении»². «Что касается морфем, — пояснял далее свою мысль А. Н. Гвоздев, — то они не используются при речевом общении как разграниченные фонетические единицы. Они фигурируют только в словах, причем слово ничем фонетически не обнаруживает своего деления на морфемы... Поэтому нет оснований связывать функционирование фонем с морфемами»³. Полностью поддерживая тезис А. Н. Гвоздева о том, что фонема в своем функционировании связана не с морфемой, а со словом, подчеркнем в то же время, что речевой поток также не обнаруживает своего членения и на слова (ср. отсутствия так называемых *пограничных сигналов*). Минимальной речевой единицей, обнаруживаемой в результате как смыслового, так и — что для нас в данном случае особенно важно — собственно фонетического (интонационного) членения, является *синтагма* (в понимании Л. В. Щербы⁴). Связь слова и синтагмы очень тесная. Это как бы две стороны одного целого. Словоформа — это минимальная единица языковой системы, могущая функционировать в речи в качестве синтагмы как единицы актуальной речевой деятельности. Другими словами, слово — своего рода предел свертывания синтагмы. Таким образом, по Щербе, «слово — это синтагма, включенная в систему языка»⁵.

Четкая синтагматическая вычленимость слова (словоформы) при отсутствии межслововых пограничных сигналов позволяет использовать границы между словоформами в синтагме в качестве главного критерия сегментации речевого потока на фонемы. Итак, мы приходим к выводу о том, что фонема в русском языке соотносится не с морфемой, а со словом и, соответственно, конституирует десигнаторы не морфем, а слов (точнее — словоформ), т. е. фонема является строительным

¹ Щерба Л. В. Фонетика французского языка // Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 132.

² Гвоздев А. Н. О фонологических средствах русского языка // Гвоздев А. Н. Избранные работы по орфографии и фонетике. М., 1963. С. 92.

³ Там же. С. 93.

⁴ Щерба Л. В. Фонетика французского языка. С. 80 и сл. В ранних работах для обозначения соответствующего понятия Щерба использовал термин *фраза*.

⁵ Виноградов В. В. Общелингвистические и грамматические взгляды академика Л. В. Щербы // Памяти академика Льва Владимировича Щербы. 1880–1944. Л., 1951. С. 58.

материалом для образования звуковых оболочек словоформ. Соответственно предлагаем изменить и основной критерий, используемый Щербовской фонологической школой при синтагматической и парадигматической идентификации фонемы: акцент в этих процедурах фонологического анализа переносился с морфемной границы на стык слов. Типологическому, психолингвистическому и историческому обоснованию этого положения посвящена следующая глава.

Глава 2

СЛОВО И МОРФЕМА В РАЗВИТИИ ЗВУКОВОГО СТРОЯ

Соотношение слова и морфемы в языковой системе представляет интерес и в типологическом, и в диахроническом аспекте¹. Для диахронической фонологии, в частности, важно выяснить, на каком уровне — слов или морфем — протекают звуковые изменения. Решить эту проблему можно, по-видимому, лишь обратившись к той роли, которую слово и морфема играют в речевой деятельности.

Вопрос о том, присущи ли слово и морфема как разноуровневые единицы языкам разных типов, является дискуссионным². Не давая дефиниций понятиям «слово» и «морфема», заметим, что нет оснований считать эти единицы неуниверсальными, т. е. во всяком языке, по-видимому, есть «слова», которые состоят, по крайней мере, из двух морфем. Таким образом, и слово и морфему можно выделить в языках любого грамматического строя, однако соотношение этих двух единиц и их роль в языковой системе будут различны. Слово в любом языке является основной единицей речевой деятельности, следовательно, единицей функциональной. Но в изолирующих языках оно так и остается единицей чисто функциональной, «субстанционально» не противопоставленной морфеме. Например, во вьетнамском языке подавляющее большинство морфем вьетнамского происхождения может выступать в функции отдельного слова, а большинство традиционно выделяемых многослож-

¹ Данная глава в основном повторяет и развивает положения статьи, написанной в соавторстве с А. Ю. Русаковым: Попов М. Б., Русаков А. Ю. О роли слова и морфемы в развитии звукового строя языка // Язык, культура, общество: Проблемы развития / Отв. ред. М. Н. Боголюбов. Л., 1986. С. 66–76.

² Яхонтов С. Е. О значении термина «слово» // Морфологическая структура слова в языках различных типов. М.; Л., 1963. С. 165–173; Солицев В. М. К вопросу о приложимости общеграмматических терминов к анализу китайского слова // Там же. С. 121–128.

ных слов отличаются от словосочетаний лишь семантически, в плане содержания, т. е. собственно так, как относятся связанные словосочетания к свободным во флексивных языках¹. Напротив, во флексивных языках, в частности в русском, слово состоит из морфем, по преимуществу не употребляющихся самостоятельно. При этом слово не равно сумме составляющих его морфем ни в плане выражения, ни в плане содержания. Таким образом, слово противопоставлено здесь морфемам *субстанционально*. Соответственно во флексивных языках повышается роль слова как центральной и организующей единицы. Это отчетливо видно на примере индоевропейских языков, история которых, согласно распространенным взглядам, представляет собой развитие от изолирующего строя к флексивному². При этом подобное развитие трактуется как ориентированное на становление слова в качестве языковой единицы³. В соответствии с изложенным выше можно было бы рассматривать этот процесс и как переход от слова как единицы чисто *функциональной* к слову как единице *субстанциональной*. С другой стороны, возможно, видимо, и обратное развитие. В частности, история германских языков, согласно идее, восходящей к Р. Раску, рассматривается как движение в направлении к языкам изолирующего строя⁴. Для нас в данном отношении важно следующее: в изолирующих языках центральной, «организующей» единицей системы является морфема, а во флексивных — слово.

Все эти вопросы существенны не только сами по себе, но и как отправная точка в решении ряда проблем, связанных с выработкой критерия и методов фонологического анализа. В частности, с кругом затронутых выше вопросов связано и понимание того, что же именно конституируют единицы фонологического строя. Строительным материалом чего — звуковых оболочек слов или морфем — являются фонемы в языках флексивного строя, например в русском языке?

Так, существует мнение, что фонемы конституируют и различают десигнаторы морфем и соотносятся *только* с морфемами; в слоговых

¹ Быстров И. С., Нгуен Тай Кан, Станкевич Н. В. Грамматика вьетнамского языка. Л., 1976. С. 14–37.

² Клычков Г. С. Типологическая гипотеза реконструкции индоевропейского прайзыка // ВЯ. 1963. № 5. С. 4–5; Плоткин В. Я. Типологические реконструкции динамики индоевропейской фонологической системы // Известия ОЛЯ. 1978. Т. 37. № 5. С. 393–394.

³ Герценберг Л. Г. Морфологическая структура слова в ирландском языке // Морфологическая структура слова в индоевропейских языках. М., 1970. С. 71–103.

⁴ Кузьменко Ю. К. От корреляции контакта к слогоморфемности (о тенденции развития датского языка) // Функциональный анализ языковых единиц. М., 1983. С. 123–129; более детально эта концепция представлена в книге: Он же. Фонологическая эволюция германских языков. Л., 1991. С. 117–135, 228–250.

языках, которые являются изолирующими по своему грамматическому строю (по-видимому, имеется сущностная связь между изолирующим типом грамматического строя и слоговым типом звукового строя языка), десигнатором морфемы является слог¹. Тем самым положение о соотнесенности фонемы или слога с морфемой, а не со словом, распространяется как на слоговые (изолирующие), так и на неслоговые языки. Это положение подкрепляется, в частности, тем общим соображением (оно, видимо, и является определяющим), что фонема может соотноситься лишь с морфемой как единицей ближайшего к фонемному уровня. Тем самым «перескакивание» с фонемного уровня языковой структуры к словесному через морфемный в процедуре лингвистического анализа признается незаконным². С этим положением, тем не менее, трудно согласиться — оно представляется нам слишком формальным. Поскольку пока мы знаем явно недостаточно о реальных иерархических межуровневых отношениях в языковой системе, в частности о соотношении уровня слов, морфем и фонем, сдва ли правомерно отрицать возможность непосредственной соотнесенности фонемы со словом на основании приведенного выше критерия. В. Б. Касевич продемонстрировал соотнесенность базовых звуковых единиц исключительно с морфемой на примерах из бирманского (слогового) и английского (ненеслогоового) языков³. Однако, если даже признать его рассуждение относительно бирманского примера убедительным, английский в данном случае оказывается нерелевантным, что, впрочем, признает и сам В. Б. Касевич. Тем не менее В. Б. Касевич в принципе согласен с тем, что в одних языках — акцентных — в качестве базовой словарной единицы выступает слово, а в других — тональных — морфема (слогоморфема)⁴.

Представляется, что в изолирующих языках единицы звукового уровня (в слоговых языках — слоги) действительно соотносятся в первую очередь с морфемами, но тем самым и со словами, которые отличаются от морфем, как уже было сказано, лишь функционально. Что касается языков иного грамматического строя, прежде всего флексивных, то в них, по-видимому, фонема соотносится с планом выражения слов.

Последнее положение подтверждается, в частности, и данными психолингвистики. Так, результаты психолингвистических экспериментов как будто свидетельствуют о том, что, по крайней мере, морфема основы не играет существенной роли при нормальных процессах порожде-

¹ Касевич В. Б. О соотношении незнаковых и знаковых единиц в слоговых и неслоговых языках // Проблемы семантики. М., 1974. С. 125.

² Там же.

³ Там же. С. 125—126.

⁴ Касевич В. Б., Шабельникова Е. М., Рыбин В. В. Ударение и тон в языке и речевой деятельности. Л., 1990. С. 225.

ния и восприятия слов, уже существующих в языке (исследование произведено на материале русского языка)¹. По всей видимости, производные слова во флексивных языках воспроизводятся в речи целиком, а не по составляющим их морфемам. Соответственно, целиком слова должны и храниться в лексиконе носителя языка². Подтверждением этого в каком-то смысле является, в частности, тенденция к стиранию морфемных границ, действующая во флексивных языках³ (отметим, что фузия как черта морфонологической системы и флексивность грамматического строя связаны, по-видимому, сущностно). Морфема основы не является, таким образом, единицей порождения и восприятия речи во флексивных языках, но служит, впрочем, для создания новых лексических единиц. Однако новое слово возникает не в результате использования носителем языка того или иного словообразовательного аффикса, а определяется самыми общими аналогическими процессами, причем звуковые комплексы, которые в том или ином случае выступают в роли словообразовательных аффиксов, могут не совпадать не только с этимологически выделяемыми аффиксами, но и вообще с морфемами, которые могут быть обнаружены на синхронном уровне, т. е. являются «квазиморфемами»⁴. Все это говорит о том, что слово является основной единицей и в динамических деривационных процессах. Итак, слово в русском языке выступает в качестве базовой словарной единицы.

Если посмотреть на обсуждаемую проблему в аспекте фонетических изменений, то снова обнаружится связка *фонема — слово*. Так называемый звуковой закон действует, как правило, на уровне слова, точнее — словоформы. Связь же фонемы с морфемой обычно усматривается на завершающих этапах фонетического изменения в широком смысле, когда собственно фонемное (парадигматическое) преобразование завершилось, т. е. на таком этапе, когда происходят процессы, традиционно называемые «выравниваниями по аналогии»: фонетическое изменение как бы «переходит» с уровня словоформы на уровень морфемы. Однако и здесь морфемный уровень в процессе фонетического изменения соотносится с фонемным через слово как парадигму словоформ.

¹ Русакова М. В. К вопросу о лингвистической и психолингвистической функции морфемы // Семантические аспекты языка. Л., 1981. С. 92–99; Русакова М. В., Русаков А. Ю. К вопросу о роли морфемы в речевой деятельности // Функциональный анализ языковых единиц. М., 1983. С. 168–177.

² Сахарный Л. В. Словообразование в речевой деятельности. Автореф. докт. дис. Л., 1980.

³ Володин А. П., Храковский В. С. Флексия, фузия, агглютинация // Тезисы рабочего совещания по морфеме. М., 1980. С. 30.

⁴ Malkiel Y. Genetic Analysis of Word Formation // Current Trends of Linguistics. 1966. Vol. 3. P. 322.

При этом фонетическое изменение, утрачивая связь со словоформой, престает быть собственно фонетическим: в свои права вступает морфонология. Морфонологическая система, имеющая дело с фонемой в составе морфемы, уже не оперирует фонемой в собственном смысле слова¹.

Итак, полагаем, что во флексивных языках именно слово является той основной единицей, с планом выражения которой соотносится фонема. Перейдем к рассмотрению некоторых существенных следствий, которые вытекают из данной констатации.

Если определить конститутивную функцию фонемы как *словообразующую* (и, соответственно, дистинктивную — как *словоразличительную*), то главным фактором, обусловливающим сегментацию речевого потока на фонемы (а это — исходный пункт фонологического анализа), следует признать фактор межсловной границы: если внутри звуковой последовательности в принципе может проходить стык слов, то она вследствие этого членится на фонемы. Другими словами, межсловная граница не может проходить внутри фонемы. При этом морфемная граница в принципе может проходить внутри фонемы.

Исходя из характерной для Щербовской фонологической школы идеи неразрывного единства фонетики и фонологии, мы признаем фонологическую однородность речевого потока в целом: одинаковы звучания внутри слова и на стыках слов должны фонологически интерпретироваться одинаково. Этому не противоречат данные экспериментально-фонетических исследований, которые показывают, что в русском языке сочетания звуков на стыках слова и внутри слова обнаруживают одни и те же фонетические закономерности². Следовательно, звуковой поток на стыке слов принципиально не отличается от звукового потока внутри слова. Таким образом, если звуковая последовательность делится межсловной границей на фонемы, то аналогичная ей звуковая последовательность внутри слова также представляет собой бифонемное сочетание.

Вместе с тем положение о том, что в речевой деятельности надежное членение на фонемы обусловлено в первую очередь межсловными границами, не является принятым в щербовской фонологии. Обычно представители этой школы в качестве основания фонологической членности речевого потока, как уже отмечено, пользуются критерием морфемной границы, откуда и выводится положение о том, что морфемный шов не может проходить внутри фонемы³.

¹ Колесов В. В. Динамическая модель и изменение фонем // Фонология. Тамбов, 1982. С. 81.

² Бондарко Л. В., Зиндер Л. Р., Светозарова Н. Д. Разграничение слов в потоке речи // ВЯ. 1968. № 2. С. 68–81.

³ См.: Зиндер Л. Р. Общая фонетика. С. 36–42; Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. С. 17–33.

Интересную попытку сформулировать правило, которое позволило бы определять фонологический статус таких дополнительных фонетических характеристик, как палатализация, назализация и т. п., предпринял А. С. Либерман¹. Как известно, фонологу часто приходится отвечать на вопрос: что реализуется данной фонетической характеристикой — самостоятельная фонема или различительный признак? В первом случае палатализованный, назализованный и т. п. звук является бифонемным сочетанием, во втором — представляет собой монофонемную единицу, т. е. самостоятельную фонему, характеризующуюся соответствующим различительным признаком. А. С. Либерман полагает, что вопрос «фонема или РП?» — это суженный (поскольку не касается описания дифтонгов и аффрикат — типично проблематичных случаев при определении моно- и бифонемности) вариант вопроса «одна фонема или сочетание двух фонем?»

В качестве иллюстрации А. С. Либерман использует исландскую назализацию и русскую палатализацию. Он справедливо отмечает, что из всех правил определения моно- и бифонемности лишь правило о морфемной границе является обязательным, в то время как критерий слоговой границы (= слоговая граница не может проходить внутри фонемы) остается открытым. Впрочем, слоговое членение в большинстве случаев достаточно хорошо осознается. Это, видимо, происходит «потому, что слог есть не только определенное динамическое единство, не только известная последовательность артикуляций, обеспечивающая соответствующим механизмом, но также тот минимальный “квант” потока речи, который всегда соответствует целому числу фонем или, по крайней мере, стремится к такому соответствию»². Бифонемность исландских назализованных гласных А. С. Либерман обосновывает именно ссылкой на слоговые границы: при словоизменении конечно-слоговая назализация превращается в начально-слоговой согласный (*Jón* [*joun*] — *Jónar* [*jou:* -*nar*]). Однако для того, чтобы доказать бифонемность исландского назализованного гласного, все-таки нужно (если следовать установке самого Либермана) установить возможность прохождения внутри него морфемной границы, чего А. С. Либерман не пытался делать. Неожиданно возникает еще один критерий. Существенным оказывается не прохождение морфемной границы внутри интерпретируемого звукового комплекса, а *соседство* с ним такой границы. Понятно, почему: соседство смысловой границы дает возможность задействовать чередования звуков, которые часто происходят вблизи таких границ. Но это переводит всю проблему из синтагматического

¹ Либерман А. С. Фонема или различительный признак? // Фонетика. Фонология. Грамматика. М., 1971. С. 143–150.

² Леонтьев А. А. Слово в речевой деятельности. М., 1965. С. 128.

плана в парадигматический. Происходит своего рода перескакивание через синтагматический этап фонологического анализа.

Таким образом, вопреки А. С. Либерману, вопрос «фонема или РП?» в операторном отношении не есть лишь обратная сторона вопроса «одна или две фонемы?» Покажем это на русском примере, мельком затронутом А. С. Либерманом. «Если мы усомнимся, чем является палатализация в русском — различительным признаком согласных или реализацией фонемы /j/, — считает А. С. Либерман, — то достаточно сравнить формы *были* и — *был* и. Палатализация есть внутри слова, но не возникает в сандхи и, следовательно, может рассматриваться как различительный признак русского /l/»¹. С нашей же точки зрения, русское /l'/ является фонемой, а не бифонемным сочетанием, потому что внутри /l'/ никогда не проходит межсловная (и морфемная — что нам представляется менее важным) граница. Оборотной стороной этого является то, что в русском языке /l'/ и /l'j/ противопоставлены и внутри слова, и на стыке слов. Тот же факт, что в русском литературном языке палатализация не происходит в сандхи (перед начальным передним гласным следующего слова), действительно важен с фонологической точки зрения. Но он свидетельствует не о том, что /l'/ — единая фонема (это уже установлено с опорой на критерий межсловной или морфемной границы), а указывает на то, что /l/ и /l'/ — разные фонемы, а значит, палатализация является в фонологической системе русского языка различительным признаком (РП).

Возвращаясь к исландскому примеру, отметим, что А. С. Либерман не сумел при помощи своего правила доказать, что в исландском языке нет носовых гласных фонем (хотя сам по себе такой вывод кажется очевидным): «различительные признаки могут быть обнаружены только в этимологических (не сандхиальных. — М. П.) позициях; появление же той или иной характеристики и внутри слова, и в сандхи заставляет исключить ее из набора различительных признаков. Если бы в Jóns было носовое /o/ (т. е. фонема /ð/), то в Jón sá (носового гласного не было бы)². Последний вывод не кажется нам верным. В сандхи обязательно была бы носовая фонема, если бы она была представлена в форме Jón. Для окончательного решения проблемы носовых в исландском были бы показательны такие случаи, где назализованный гласный рассекался бы межсловным стыком, как в русском примере *о нравы*, который, как кажется, недвусмысленно указывает на бифонемность [он] в русском языке. К сожалению, часто возникают трудности с поиском слов, начинающихся с носовых сонантов перед согласным. Однако наличие хотя бы одного примера решает про-

¹ Либерман А. С. Фонема или различительный признак? С. 149.

² Там же.

блему. В то же время отсутствие искомого примера не означает наличия в системе носовых гласных фонем. Здесь уместны эксперименты с языковым сознанием носителей языка.

Интересно то «непонимание» (или, наоборот, «понимание») основной идеи А. С. Либермана, которое продемонстрировал в своем кратком отклике на статью последнего М. И. Стеблин-Каменский: «Основная мысль в статье А. С. Либермана, насколько я понимаю, заключается в общих чертах в том, что регулярное возникновение (соответственно — невозникновение) звука в результате сандхи, т. е. фонетического изменения на стыке слов, следует считать признаком того, что данный звук не фонема, а сочетание фонем (соответственно — не сочетание фонем, а фонема)... Не сводится ли критерий, предложенный А. С. Либерманом, к тому, что в языках, из которых взяты примеры, т. с. в исландском и русском, стык слов не может проходить внутри фонемы?»¹ А. С. Либерман при определении бифонемности меньше всего был озабочен проведением теста на прохождение межсловной границы; все его примеры — это примеры чередований *по соседству* с межсловным стыком. М. И. Стеблин-Каменский попытался осмысливать идею А. С. Либермана с позиций щербовской фонологии, приписав ему то, чего у того не было. Это, видимо, произошло потому, что в статье А. С. Либермана содержится глубокая и плодотворная мысль, которую и попытался развить в своей заметке М. И. Стеблин-Каменский. Это мысль о первостепенном значении для фонологического анализа сандхиальных позиций, которые поддаются анализу «сами по себе» и очень тонко реагируют на степень включенности различительного признака в систему. С нашей точки зрения, положение А. С. Либермана о том, что «в языке не могут существовать фонемы, встречающиеся только в сандхи», справедливо, но только если понимать его в редакции М. И. Стеблин-Каменского — «стык слов не может проходить внутри фонемы». Как мы уже отметили, у самого А. С. Либермана речь идет не о стыке слов, а фактически о *соседстве* стыка слов, т. е. о парадигматическом, а не о синтагматическом аспекте проблемы.

Таким образом, отвергнув правила определения моно- и бифонемности Н. С. Трубецкого и с недоверием отнекаясь к критерию морфемной границы, разработанному в Щербовской школе, А. С. Либерман не смог сформулировать приемлемого альтернативного правила фонологической сегментации. Его неудача связана с тем, что он смешивает синтагматическую и парадигматическую идентификацию фонем. А. С. Либерман исходит из определения фонемы как «пучка симультанно заданных различительных признаков», т. с. фактически из первичности понятия

¹ Стеблин-Каменский М. И. Заметка по сандхиальной фонологии // Фонетика. Фонология. Грамматика. М., 1971. С. 150.

различительного признака. Соответственно, уже на первом этапе фонологического анализа — на этапе синтагматической идентификации фонем — он работает с признаками. В этом случае проблема, которая стоит перед фонологом, заключается в том, чтобы решить, «симультанны» исследуемые признаки или нет: в первом случае перед нами — одна фонема, во втором — бифонемное сочетание. С нашей же точки зрения, исходным должно быть понятие фонемы, а не РП: если перед нами фонема — ее признаки симультанно заданы, т. е. представляют собой пучок. Итак, сначала — сегментация и установление состава фонем, затем — установление системы РП.

Глава 3

СИНТАГМАТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФОНЕМЫ

Принципы сегментации речевого потока как исходной операции при фонологическом анализе традиционно занимают важное место в трудах Л. В. Щербы и его последователей. Подход Л. В. Щербы к проблеме может быть проиллюстрирован его анализом аффрикаты [ʒ'] (в словах *езжу*, *дожди* и т. п.): «ввиду того, что она встречается лишь в сочетании с предшествующим ʒ, а морфологическая граница редко приходится между ними, самостоятельность ее очень слабо осознается мной, и я несколько склонен рассматривать все сочетание [ʒ'ʒ'] как одну фонему»¹. Таким образом, с точки зрения Щербовской школы, членность речевого потока на фонемы является производной от членения на морфемы: «Если звуковая последовательность разделяется границей морфем, то она вследствие этого членится на две фонемы»². Несколько видоизменив данное положение, можно сформулировать следующий принцип — морфемная граница не может проходить внутри фонемы: «Совершенно очевидно, что звуки, стоящие на стыке двух морфем и, следовательно, принадлежащие разным языковым единицам, не могут представлять одну языковую единицу, одну фонему»³. Критерий «морфемной границы» широко используется в фонологии при установлении однофонемности и бифонемности «сложных» звуковых комплексов (например, дифтонгов и аффрикат), которые могут

¹ Щерба Л. В. Русские гласные в качественном и количественном отношении // Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. М., 1974. С. 123.

² Проблемы и методы экспериментально-фонстического анализа речи. С. 8.

³ Зиндер Л. Р. Общая фонетика. С. 37.

быть вычленены на этапе, если воспользоваться термином В. Б. Касевича, условно фонологической сегментации¹.

Отметим, что другие фонологические школы не уделяют большого внимания процедуре синтагматической идентификации фонемы. ПФШ и некоторые представители МФШ вслед за Н. С. Трубецким пользуются методом «ассоциативного анализа», т. е. фактически осуществляют сегментацию на фонемы посредством сравнения минимальных пар². А один из основоположников МФШ П. С. Кузнецов и вовсе считал, что членение речевого потока на звуки осуществляется на артикуляторно-акустическом основании: «Любой звук речи может быть ограничен от звука речи предшествующего и последующего. Это может быть сделано с разной степенью точности, какими средствами — в данном случае безразлично. Несмотря на наличные артикуляционные и акустические переходы от одного звука к другому, такое разграничение проведет любой говорящий на данном языке, с большей степенью точности наблюдатель-лингвист, еще с большей степенью точности — прибор»³. Ясно, что такой подход к сегментации речевого потока отражает дофонологический и даже доинструментальный этап развития фонетики и в настоящее время неприемлем.

То, что членение речевого потока на фонемы в конечном счете опирается на смысл, на значимые языковые единицы, всегда было и остается незыблемым краеугольным камнем щербовского направления в фонологии. Вопрос об избыточности критерия «морфемной границы» на этапе синтагматической идентификации фонемы возникает в концепции щербовской фонологии в связи с тем, что существуют разные типы значимых единиц и, соответственно, их стыков. Для нас сейчас (применительно к русскому языку) важно констатировать наличие, по крайней мере, двух типов границ — межморфемных и межсловных, которые в теории часто рассматриваются как явления одного порядка. В то же время достаточно ясно, что понятие морфемной границы шире понятия межсловной: последняя всегда является одновременно и межсловной, но обратное неверно.

Есть ли какие-либо теоретические основания для разведения понятий «морфемная граница» и «стык слов» в плане сегментации речевого потока на фонемы? Ответ на поставленный вопрос тесно связан с тем,

¹ Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания: Автореф. докт. дис. Л., 1981. С. 6.

² Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М., 1960. С. 41. См. критику «ассоциативного анализа» по Трубецкому в кн.: Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. С. 19–26.

³ Кузнецов П. С. Об основных положениях фонологии (1959 г.) // Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии: Очерк. Хрестоматия. М., 1970. С. 473.

как понимается конститутивная функция фонемы, признаваемая в щербовской фонологии первичной. Обычно ее рассматривают как «функцию строительного материала в составе экспонентов морфем»¹, т. е. фактически как *морфемообразующую*. Иногда понимание более размыто, и данная функция определяется как слово- и формаобразующая², т. е. *словообразующая и морфемообразующая*. Представляется, что фонема как единица фонологического уровня не может в своей основной функции соотноситься одновременно и с уровнем слов (словоформ) и с уровнем морфем. Во всяком случае, эти отношения не должны рассматриваться как равноправные, расположенные в одной плоскости. Таким образом, конститутивная функция фонемы должна быть определена либо как морфемообразующая, либо как словообразующая. Первый подход ведет к принятию критерия «морфемной границы», второй — к принятию критерия «межсловной границы», т. е. «стыка слов» как фактора, обуславливающего сегментацию на фонемы.

В пользу второго подхода, опирающегося на связь «фонема — слово», свидетельствует то, что с типологической и, очевидно, с диахронической точки зрения такие единицы, как фонема и слово являются производными от соотношения базовых языковых единиц — слога и морфемы: фонема (и, соответственно, слово как единица, отличная от морфемы) может быть вычленена в качестве самостоятельной языковой единицы фонологического уровня наряду со слогом (в языках неслоговых с чертами силлабизма) или взамен слога (в неслоговых языках, к которым относится и русский) в тех языках, где возможна рессиллабация, создающая внутрислоговые морфемные границы³. Здесь, правда, следует иметь в виду некоторую терминологическую трудность, связанную с тем, что «морфема» слоговых языков и «морфема» неслоговых языков — принципиально различные вещи, поскольку в неслоговых языках морфеме противостоит слово, а в слоговых такое противопоставление отсутствует (что отражается и на терминологии: говорят не о морфеме, а о «слогоморфеме»).

Такой подход подкрепляется и некоторыми выводами, полученными в результате психолингвистических экспериментов, которые проводились, в частности, на материале русского языка. Психолингвисты отмечают: «Морфема не является единицей порождения и восприятия слов, уже существующих в языке... План выражения и план содержания слова не складывается из планов выражения и планов содержания

¹ Маслов Ю. С. Введение в языкознание. С. 50.

² Проблемы и методы экспериментально-фонетического анализа речи. С. 17.

³ Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания: Автореф. докт. дис. С. 20–22.

составляющих его морфем»¹. Характерно замечание В. З. Панфилова о том, что «если значение слова актуализируется и в синтагматическом, и в парадигматическом ряду, то значение морфемы актуализируется лишь в последнем из них»². Подобные отношения в плане содержания изоморфны отношениям в плане выражения: при сегментации речевого потока на фонемы (синтагматическая идентификация фонемы) следует опираться на критерий «межсловной границы», а не на критерий «морфемной границы».

Таким образом, фонема связана со словом и вычленяется в слове (словоформе), а не в морфеме (алломорфе); соответственно, конstitutive функция фонемы является функцией словообразующей, а не морфемообразующей, дистинктивной — словоизличительной.

Важнейшим фактором, обуславливающим сегментацию речевого потока на фонемы, является межсловная граница, или стык слов: если звуковая последовательность разделяется межсловной границей, то она членится фонологически, т. е. представляет собой бифонемное сочетание. Из этого положения вытекают два следствия: 1) стык слова не может проходить внутри фонемы (ср. формулировку М. И. Стеблин-Каменского: «Элементы, участвующие в образовании звука, являющегося одной фонемой, а не сочетанием фонем, не могут быть по разные стороны стыка слов»³); 2) морфемная граница может проходить внутри фонемы. Следует подчеркнуть, что стык слова является функциональной, т. е. фонологической, но не обязательно фонетической реальностью⁴.

В связи с обсуждением проблем сегментации речевого потока на фонемы обратимся к спору о фонологическом статусе долгого мягкого глухого шипящего [ш’]. Последовательно проведенная точка зрения МФШ, в соответствии с которой в тех случаях, когда через [ш’] проходит морфемная граница, представлено бифонемное сочетание, а тогда, когда морфемная граница отсутствует, выступает самостоятельная фонема /ш/⁵ или сочетание гиперфонемы /с|с’|з|з’|ш|ж/ с фонемой /ч/⁶, теоретически

¹ Русакова М. В. К вопросу о лингвистической и психолингвистической функции морфемы // Семантические аспекты языка. Л., 1981. С. 98.

² Панфилов В. З. Грамматика и логика. М.; Л., 1963. С. 215.

³ Стеблин-Каменский М. И. Заметка по сандхиальной фонологии. С. 151.

⁴ Ср.: «Его (стыка слов. — М. П.) наличие не безразлично для функционирования фонем, хотя он может не восприниматься на слух или при помощи аппаратурой» (Там же. С. 151).

⁵ Панов М. В. Русская фонетика. М., 1967. С. 228.

⁶ Касаткин Л. Л. Фонетика современного русского литературного языка. М., 2003. С. 146. Л. Л. Касаткин отрицает монофонемную трактовку [ш’] только на том основании, что сочетание фонем не может воплощаться в русском языке одной фонемой (с. 145), хотя на предыдущей странице отводит аналогичный аргумент Л. Р. Зиндеру, для которого данный аргумент никакого принципиального значения не имеет.

исприемлема с позиций Щербовской школы. В то же время известная интерпретация Л. Р. Зиндера, в соответствии с которой [ш':] реализует сочетание двух фонем /ш/ + /ч/, поскольку данный звуковой комплекс может разбиваться морфемной границей¹, вызывает в свете нашей гипотезы о морфемных границах возражения. Бифонемной трактовки придерживался и А. В. Исаченко, однако он считал, что долгий мягкий шипящий представлял собой сочетание фонем /шч/².

С нашей точки зрения, если исходить из того, что морфемная граница в принципе может проходить внутри фонемы, [ш':] должен во всех случаях рассматриваться как реализация самостоятельной фонемы /ш/, через которую, впрочем, стык слов действительно проходить не может³: ср. *гру/ш/ик, ра/ш/еска*, но — *бе/ш-ч/ести, на/ш-ч/еловек, пла/ш-ч/ерный*. Итак, в современном русском литературном языке на стыке слов в подобных случаях мы имеем сочетание фонем. Но, как всегда в таких случаях, необходимо решить вопрос о том, сочетание каких именно фонем. Это уже, собственно, проблема парадигматической идентификации фонем. Для представителей Щербовской школы (вслед за Л. Р. Зиндером) характерно следующее рассуждение: [ш':] противопоставлен всем возможным сочетаниям согласных, кроме [шч'], следовательно, [ш':] есть реализация сочетания фонем /шч/⁴. Однако в синтагматически сильной для согласных позиции — между гласными — [ш':] оказывается противопоставленным сочетанию [шч'], которое совершенно нормально воспроизводится на стыках слов: ср. [наш': от] «насчет» — [наш ч'от] «наш чет». Возможность противопоставления [ш':] ↔ [шч'] недвусмысленно указывает на фонематическую самостоятельность [ш':] = /ш/ ≠ /шч/. Следует иметь в виду, что перед [ч'] выступает в известной степени палатализованный согласный, который иногда описывается как «полумягкий» [ш·]. В современном русском языке имеется явная тенденция к нейтрализации /ш/ и /ш/ в позиции перед /ч/, таким образом, вопрос о фонематической интерпретации первого компонента бифонемного сочетания [ш·ч'] остается открытым: теоретически это может быть /ш/ и /ш/. Традиционно, учитывая нерелевантность признака твердости–мягкости для /ш/, а также, видимо, имплицитно принимая во внимание частотность фонем, решение принимается в пользу /ш/. С нашей точки зрения, при решении проблем

¹ Зиндер Л. Р. Фонематическая сущность долгого палатализованного [š':] в русском языке // Филологические науки. 1963. № 2. С. 137–142.

² Isačenko A. V. Морфонологическая интерпретация долгих шипящих [š':], [ž':] в русском языке // IJSLP. 1971. № 14. Р. 32–52.

³ За исключением особых случаев позиционных ограничений, например, когда конечный /ш/ первого слова и начальный /ш/ второго слова сливаются в один /ш/.

⁴ Зиндер Л. Р. Фонематическая сущность... С. 141.

такого рода важнее принять во внимание релевантность признака твердости–мягкости (ср. отсутствие смягчения /ш/ перед мягкими согласными — *шиль*, *шмель* и т. п., что говорит о релевантности твердости–мягкости и для /ш/) и нерелевантность признака долготы–краткости (ср. наличие кратких аллофонов у фонемы /ш/ в ряде позиций, например, в конце слова и перед согласными) для системы русского консонантизма в целом. Следовательно, более целесообразной представляется трактовка бифонемного сочетания [ш·ч'] как сочетания фонем /шч/. Видимо, нейтрализация /ш/ и /ш/ перед /ч/ является живым фонетическим изменением, которое еще не завершилось. С точки зрения последовательности этапов фонологического анализа важно, что сначала мы констатируем монофонемность или бифонемность сегмента, а затем решаем, какие фонемы реализуются в бифонемном сочетании.

Итак, прямым следствием сформулированного нами принципа синтагматической идентификации фонем является вывод о наличии в современном русском литературном языке самостоятельной фонемы /ш/. Этот вывод не связан с особенностями произношения анализируемого звукового комплекса. Произношение [ш·ч'] (в каком-либо говоре) теоретически также может иметь монофонемный статус, если оно противопоставлено в данном идиоме, например, сочетанию фонем /шч/, возможному на стыке слов. Нельзя исключить, что в истории русского языка возможность такого развития тоже существовала, если после отвердения шипящих внутрисловные [ш'ч'], сохранившие мягкий шипящий, стали противопоставляться сочетанию [ш·ч'] = /шч/. Тогда [ш'ч'] внутри слова мог переосмысляться как одна фонема, а утрата смычки была следствием этой монофонемизации.

Резкое противопоставление стыков слов и стыков морфем как двух типов границ в русском языке может показаться излишне догматичным. Действительно, морфемный шов между приставкой и корнем и морфемный шов между исходом корня и суффиксом — не одно и то же, как и стык предлога со знаменательным словом не идентичен стыку двух знаменательных слов, в частности, видимо, и в сознании носителя языка. Вывод о том, что морфемная граница в принципе может проходить внутри фонемы, не означает, что *любая* морфемная граница может проходить внутри *любой* фонемы. Можно предположить, что фонема не может находиться по обе стороны морфемного шва, разделяющего, например, основу и флексию или другую грамматическую морфему. Об этом моменте следует помнить при анализе звукового строя языков, для которых характерна тенденция к распространению открытых слогов. Например, в праславянском накануне падения редуцированных гласных звуковая последовательность [da] (и вообще «согласный + гласный») не могла разделяться стыком слов, что затрудняло членение слога

на фонемы¹, однако членение на фонемы все-таки имело место, так как внутри звукового сегмента [da] могла проходить граница между основой и флексией: ср. ст.-сл. **вод-а**, **вод-ы**, **вод-ѣ**, **вод-о** и т. д. Ср. ситуацию в древнегреческом: членение многих консонантных сочетаний «затруднено» вследствие невозможности их разбиения стыком слов, поскольку в конце греческих слов возможны только согласные *v*, *p*, *ç* и гласные. Может быть, с этим связано использование букв *ξ* и *φ* для обозначения бифонемных сочетаний [ks] и [ps]. В то же время на членение этих сочетаний указывают многочисленные факты на стыках основы и флексии: ср. **φύλαξ**, **φύλακος** «страж» и т. п.

Другой стороной проблемы является вопрос о том, насколько универсален тезис о невозможности нахождения фонемы по обе стороны стыка слов. Интересный пример приводит М. И. Стеблин-Каменский. В норвежском языке «две фонемы сливаются в результате сандхи в звук, все элементы которого одновременны»: из сочетания фонем /t/ возник альвеолярный глухой смычный [t̪], который в то же время продолжает регулярно появляться из соответствующего сочетания на стыке слов; будучи фонологически противопоставлен дентальному /t/, альвеолярный [t̪] не противопоставлен сочетанию /rt/, которым он может замещаться в стилистических вариантах, из чего следует, что альвеолярный смычный, являясь одним звуком, выполняет функцию двух фонем, т. с. является сочетанием двух фонем². М. И. Стеблин-Каменский особо подчеркивает, что данная ситуация отражает незавершенность фонетического изменения: альвеолярные смычные (кроме [t̪], также альвеолярные [d̪], [n̪], [l̪]) находятся в норвежском (сходная ситуация наблюдается и в шведском языке) в становлении, что приводит к пограничным случаям в функционировании этих новых фонем, которые по-разному интерпретируются фонологически³. На незавершенный, «живой» характер данного процесса указывает, в частности, регулярное возникновение альвеолярных звуков на стыке слов. Очевидно, со временем должно выработать противопоставление /t̪/ ↔ /rt/, причем за счет утраты сандхиальных форм.

Похожий процесс возникновения новой фонемы из сочетания фонем представляет появление в системе русского консонантизма фонемы /щ/ </шч/, причем в современном русском литературном языке про-

¹ С этим обстоятельством, видимо, связаны попытки выделить для праславянского языка такие основные фонологические единицы, как неразложимые на фонемы *группофонемы*. См.: Журавлев В. К. Развитие группового сингармонизма в праславянском языке. Опыт диахронической фонологии. Минск, 1963.

² Стеблин-Каменский М. И. Заметка по сандхиальной фонологии. С. 151.

³ Он же. Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков. С. 130. Здесь же указана литература по данной проблеме.

цесс становления фонемы, как показано выше, уже завершен, поскольку на стыках слов новая фонема не возникает в результате сандхи из соответствующего сочетания фонем, оказываясь тем самым противопоставленной сочетанию /шч/. Кроме того, новая фонема /ш/ демонстрирует дальнейшее распространение за счет фонемы /ш/, которая передает /ш/ своей палатализованный («полумягкий») аллофон, выступающий в позиции перед /ч/, в результате чего сочетание /шч/ преобразуется в сочетание /шч/, причем фонема /ш/ приобретает краткий аллофон. Такое перераспределение аллофонов возможно потому, что мягкость является признаком существенным, релевантным для системы в целом, а долгота — несущественным, по которому фонема может варьировать. В то же время, с одной стороны, не следует считать признак долготы совсем уж несущественным для самой фонемы /ш/, а с другой — надо признать, что с точки зрения морфонологической функции мягкость /ш/ не интегрирована в систему чередований твердых и мягких согласных фонем (т. е. пара /ш/ : /ш/ не идентична паре /т/ : /т'/ и т. п.). Из этого следует, видимо, сделать вывод, что фонема /ш/ слабо интегрирована в систему и обладает своего рода комплексным ДП «мягкость + долгота». В зависимости от фонетической позиции на первый план выходит то один, то другой компонент комплексного признака.

Рассуждая о законе, согласно которому стык слова не может проходить внутри фонемы, М. И. Стеблин-Каменский сделал, однако, оговорку, что, возможно, есть языки, в которых этот закон не действует. Можно было бы предполагать, что такой закон не работает в языках с развитым внешним сандхи, например, в древнеиндийском, где это явление было широко распространенным: в санскрите — *ra:jova:ca* < *ga:jā: uva:ca* «царь сказал», *kanyeva* < *kanya: iva* «как девушка» и т. п. Однако, как отмечают исследователи, восстановление фонетической сущности ведийского текста с помощью метрических данных «показывает сплошь да рядом сохранение зияния гласных, что свидетельствует о позднем и искусстенном характере многих сандхи — результате редактирования в брахманских школах», причем характерно, что зияние чаще встречается на стыке слов, а не на морфемном шве¹. Таким образом, в древнеиндийском закон, очевидно, также действовал, причем древнеиндийский материал частично подкрепляет идею о различии морфемных и словесных стыков в их отношении к фонемным границам.

Впрочем, оговорку все-таки следует сделать в связи с тем, что в языке возможны некоторые строго обусловленные позиционные ограничения на дистрибуцию фонем, затрагивающие и стыки слов, когда существующая фонема заменяет сочетание фонем на стыке слов в быстрой разговорной речи. Один из таких случаев наблюдается в современном

¹ Елизаренкова Т. Я. Грамматика ведийского языка. М., 1982. С. 113.

русском языке, в котором есть позиционное ограничение, связанное с действующими синхронными закономерностями и вызванное, видимо, именно наличием в системе фонемы /ц/. Внешне оно приводит к тому, что [ц] оказывается на стыке слов, но это не доказывает бифонемности аффрикаты. На самом деле мы имеем дело с нейтрализацией фонем /т/ и /ц/: в аллегровой речи (поэтому приводимая ниже фонетическая транскрипция носит условный характер) на стыке слов не допускается сочтание фонем «/тс/ и /цс/ + согласный»: ср. [вóцтóл] «вот стол», [кан'éцталá] «конец стола», но [котсам] «кот сам», [ат'естсам] «отец сам». В полном типе произнесения (а только он и важен в процедурах синтагматической идентификации фонемы) отношения восстанавливаются. Два последних примера указывают на однофонемность аффрикаты /ц/, поскольку она никогда не выступает в позиции перед гласным на стыке слов, т. е. по обе стороны межсловной границы. Данное позиционное ограничение является живой фонотактической закономерностью аллегровой речи, так как соответствующее сочетание фонем регулярно «приводится» на стыке слов («внешнее сандхи»). Фонологически здесь имеет место сочетание фонем —/вот стол/ «вот стол». Интерпретация фонетически сходных (но не идентичных) случаев на стыке морфем (так называемое внутреннее сандхи) будет иной, поскольку внутри фонемы возможно прохождение морфемной границы: *a/ц/кий, насле/ц/тво, о/ц/тавить*, и т. п. В отличие от примеров на стыке слов, в этих случаях сочетание фонем «/тс/ + согласный» не приводится каждый раз заново, так как само изменение «/тс/ + согласный» > «/ц/ + согласный» уже завершилось, а в новых словах воспроизводится возникшая морфонологическая модель (ср. также идентичные фонологически, но иные с морфологической и исторической точки зрения — *нeme/ц/кий, цa/ц/ка* и др.). Таким образом, на морфемных швах данное чередование целесообразно интерпретировать как историческое морфонологическое чередование. Возможно, особо следует рассматривать стык приставки и корня, занимающий промежуточное положение между другими типами морфемных швов и стыком слов.

Несомненной представляется связь закономерности, согласно которой стык слов не должен проходить внутри фонемы, с возникновением противетических согласных в праславянском языке. Традиционно протезы рассматриваются как средство устранения зияний, которые противоречили тенденции к открытости слогов. В. Н. Чекман обратил внимание на то, что «во всех языках с хиатной протезой в недавнем прошлом было или развито в настоящее время внешнее сандхи»¹. Можно рассматривать праславянские протезы как способ избежать контракции гласных, которая могла иметь место внутри слов, в том числе и на мор-

¹ Чекман В. Н. Исследования по исторической фонетике праславянского языка. С. 157.

фемных границах. В языках, где не действует закон открытого слога, зияние может преодолеваться назализацией первого гласного:ср. в ведийском — *urgan ókaḥ* < *urgá ókaḥ¹*; в др.-греч. *εἴκοσιν* ἑτη «двадцать лест», но *εἴκοσι μῆνες* «двадцать месяцев».

В речевой деятельности надежное членение на фонемы обусловлено межсловными границами: внутри [н:] слова *vanna* проходит граница между фонемами, т. е. [н:] представляет собой бифонемное сочетание /нн/, поскольку аналогичная звуковая последовательность может разбиваться межсловной границей — например [он: аш] «он наш». В тех языках, где отсутствует противопоставление долгих согласных сочетаниям одинаковых согласных фонем, невозможна фонологическая оппозиция /t/ ↔ /t:/ . Именно поэтому, например, долгие мягкие согласные в украинском и белорусском языках должны быть фонологически интерпретированы как бифонемные сочетания, хотя исследователи допускают трактовку укр. и бел. долгих согласных как самостоятельных фонем на основании того, что некоторые из этих согласных не встречаются на морфемном уровне². Ср. укр. *pідда/ш'ш'*/я «чердак», бел. *свi/н'н'*/я «свинья». В данном случае критерий морфемной границы вводит в заблуждение.

Почему же в рамках Щербовской фонологической школы утвердился критерий морфемной границы при установлении бифонемности или уни-фонемности звуковых комплексов? Возможно, это связано с тем, что морфемная граница практически более наглядна для иллюстрации членения речевого потока, чем межсловная. Данное смещение акцента, как это ни парадоксально, вызвано тем, что в щербовской фонологии именно слово (словоформа) рассматривается как основная (базовая) единица, к которой прилагается фонологический анализ, что отражает речевую деятельность. И действительно, если мы приводим в качестве примера речевого потока отдельное слово, то членимость на фонемы наглядно и рационально «доказывается» при помощи критерия морфемных границ и принципа аналогии. В большинстве случаев данный критерий работает, а иногда даже кажется единственным возможным. Например, бифонемность русского дифтонга [ай] обосновывается возможностью прохождения морфемной границы — *да-й*, *да-ть*, *да-ши* и т. д. Этот пример интересен тем, что внутри данного звукового комплекса, который выступает перед согласными и на конце слова, в русском языке невозможен стык слов, поскольку отсутствуют слова, начинающиеся на «/и/ + согласный». Однако в любом случае доказывать бифонемность ссылкой только на морфемную границу некорректно. Здесь, на наш взгляд, очень существенным оказывается то обстоятельство, что предполагаемый дифтонг [ай] при словоизменении и словообразовании (функциональный аспект)

¹ Елизаренкова Т. Я. Грамматика ведийского языка. С. 114.

² Зиндер Л. Р. Общая фонетика. С. 127. Здесь же имеются ссылки на другие работы.

может разбиваться слоговой границей (собственно фонетический аспект): сп. /дай/ «дай» — /да-йош/ «даешь», /тай-га/ «тайга» (если считать, что слоговая граница проходит после /й/, а не перед ним, причем последнее вполне вероятно) — /та-йо-жный/ «тайжный».

Возникает вопрос, возможны ли нарушения соответствующего принципа, сформулированного в синхронно-статическом плане, т. е. возможно ли в каких-либо ситуациях прохождение стыка слов по фонеме? Рассмотрим некоторые относящиеся к данной проблеме примеры.

Одним из распространенных типов звуковых изменений является фонемизация сочетания фонем, т. е. синтагматическое слияние двух фонем в одну, причем рефлекс слияния может совпасть с уже существующей фонемой, а может привести и к возникновению в системе новой фонемы. В связи с этим имеет смысл еще раз коснуться фонологической интерпретации русских звуков [ц] и [ш'].

Так, звук [ц] в позиции перед взрывным согласным встречается и внутри морфемы (*отец Коли, цацка*), и на морфемном шве (*детский, детство*), а в разговорной речи на стыке окончания и постфиксса (*мется, мыться*), префикса и корня (*отскочить, отставить*) и даже на стыке слов (*вот скот, этот стон*). В литературном произношении в полном типе произнесения /ц/ на стыке слов, видимо, невозможно, но и внутри слова на стыке приставки и корня имеется все-таки нс /ц/, а /тс/: *де/ц/кий* при *о/тс/кочить, во/т с/лон*. Однако если мы будем исходить из разговорного произношения, в принципе допускающего возможность появления [ц] на стыке слов, то, опираясь на предложенный выше критерий межсловной границы и принимая во внимание тот факт, что внутри звукового комплекса [ц] (= [ts]) может проходить стык слов, мы должны были бы интерпретировать его как бифонемное сочетание, видимо, как /тс/ и тем самым исключить /ц/ из системы фонем. Такое решение будет, однако, находиться в очевидном противоречии с языковым чувством носителей языка.

В. Б. Касевич, подробно рассмотрев проблему фонологического членения звукового потока, пришел к выводу, что «если некоторый сегмент членит морфологической границей, то он как минимум бифонематичен, и никаких дополнительных правил в этом случае не требуется»; в случае же отрицательного результата теста на морфологическую членимость сегмента, относительно которого можно подозревать его бифонематичность (видимо, исходя из языкового сознания носителей), необходимы дополнительные критерии фонологической членимости, причем «выбор решения должен определяться обстоятельствами эмпирического характера»¹. Случай с /ц/ в этом отношении противополож-

¹ Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. С. 25 и сл.

ный: тест на морфологическую членность как в отношении морфемных, так и межсловных границ (по крайней мере, в разговорной речи) дает положительный результат; несмотря на это, необходим поиск каких-то дополнительных аргументов в пользу монофонемности звукового комплекса [ц].

В такой ситуации полезно обратиться к диахроническому аспекту проблемы, а именно рассмотреть историю фонетического изменения /т + с/ > /ц/. Возникшее после падения редуцированных гласных сочетание /тс/ (< *тъс, *дъс) в позиции перед согласным было в конечном счтс отождествлено с уже имевшейся в системе фонемой /ц/¹. При этом данное отождествление и, соответственно, замена /тс/ > /ц/ происходила во всех случаях, когда бифонемное сочетание /тс/ находилось в положении перед согласным, в том числе и на стыках слов (не на стыках данное сочетание было редким: ср. *цка* < др.-рус. *дъска*, *цмя* < др.-рус. *тъствъ*). В современном русском языке внутри слова, т. е. внутри морфем и на морфемных швах, мы имеем дело с результатом уже завершившегося фонетического изменения, в то время как на стыках слов продолжает действовать живая фонотактическая закономерность: «глубинное» сочетание фонем /т + с/, регулярно провоцируемое на стыке слов, заменяется перед согласным фонемой /ц/, соответственно сочетание «/тс/ + гласный» (*вот сом*) регулярно «чередуется» с «/ц/ + согласный» (*вот стол*). Перед нами типичный случай фонотактического ограничения²: замена сочетания фонем одной фонемой происходит в специфической «слабой» фонетической позиции (перед согласным), в том числе и на стыках слов, что при синхронно-статическом фонологическом анализе может привести к ошибочному выводу о бифонематичности соответствующего звука, выступающего в случае такого позиционного ограничения. Надо отметить, что фонема /ц/ в истории русского языка проявляла очень высокую индуцирующую активность. Ср. переход «/чс/ + согласный» > «/ц/ + согласный»: др.-рус. *гръчъскии* > *гречъкий* > рус. *грецкий* и т. п., др.-рус. *чъсти* > *чести* > рус. *диал. цти* и др. Интересно, что это изменение, которое по результатам совпадает с рассмотренным выше, не сохраняется как живая фонотактическая закономерность на стыках слов (/ц/ внутри слова в таких просторечных формах, как *систематицкий*, *социалистицкий*, видимо, уже не отражает живого фонетического процесса).

Иную ситуацию имеем с фонемой /ш/, которую считаем монофонемной фонологической единицей в современном русском литературном языке. Звук [ш':] в полном типе произнесения никогда не встречается в

¹ Здесь мы сознательно отвлекаемся от реальных фаз протекания данного процесса.

² Подобное фонотактическое позиционное ограничение на стыках слов, видимо, имеет место в русском литературном языке и при чередовании по звонкости-глухости.

литературном произношении на стыке слов (ср. *наш* человек), тем самым [ш':], встречающееся внутри морфемы и на морфемном шве, оказывается противопоставленным сочетанию /шч/¹, что служит доказательством его монофонемности. Исторически, как известно, звук [ш':] возник из сочетания [ш'т'ш'] (= /шч/) в результате фонетического импульса — утраты смычки — и, как представляется, в связи с процессом отвердения шипящих, в частности [ш'] > [ш]². Важно, однако, что сочетание фонем /шч/ внутри слова, утратив после отвердения шипящих связь с сочтанием /шч/ на стыке слов, не было отождествлено с какой-либо фонемой *уже* существовавшей в системе фонем. В данном случае монофонемизация /шч/ > /ш/ означала прекращение действия живой фонетической закономерности. Звуковое изменение перешло на уровень словаря и закрепилось в нем. Это, в свою очередь, предотвратило закрепление фонотактического правила на стыке слов. Другими словами, с исторической точки зрения основной фонологический смысл того факта, что звук [ш':] регулярно не возникал на стыке слов, заключался в фонологизации долгого мягкого шипящего как самостоятельной фонемы.

Интересно сравнить с этим явлением русского языка историю фонологизации альвеолярного [t] в норвежском языке. М. И. Стеблин-Каменский показал, что процесс фонологизации там не завершился, так как данный звук регулярно возникает в результате сандхи на стыке слов из сочетания /тт/³. Любопытно, что, несмотря на внешнее сходство (и в том и в другом случае звук встречается и в сандхи), этот норвежский пример в важном отношении противоположен рассмотренному выше случаю с русским /ц/: в русском языке сочетание /т + с/, разделенное межсловной границей, регулярно заменяется уже существующей фонемой /ц/, в то время как в норвежском языке мы имеем дело с *живым* фонетическим процессом. Данное норвежское изменение, с одной стороны, не перешло еще на фонемный (парадигматический) уровень, или уровень лексикона (этим оно отличается от случая с русским /ц/), а с другой — не дало и фонемных чередований, связанных с фонотактическим ограничением (в отличие от случая с русским /ц/). В то же время изменение /тт/ > /ц/ по своему типу сходно с русским /шч/ > /ш/, так как и в том, и в другом случае не происходит отождествления рефлекса с уже существующей фонемой, однако если в русском фонологизация /ш/ уже, видимо, завершилась, в норвежском же фонологизация альвеолярности еще не закончилась.

¹ Именно реализацией данного сочетания фонем обычно считают долгий мягкий глухой шипящий сторонники его бифонемности.

² Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. М., 1980. С. 157.

³ Стеблин-Каменский М. И. Заметка по сандхиальной фонологии. М., 1971. С. 151–152; *Он же*. Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков. С. 130.

Рассмотрим еще ряд примеров, когда стык слов как будто проходит по фонемам. В некоторых славянских языках и диалектах действует следующая фонотактическая закономерность: на стыке слов сочетание двух одинаковых согласных заменяется простым одиночным согласным. Наиболее последовательно этот принцип проведен в словенском (ср. *lep pes* > *lcp̄es*, *sem mislil* > *sem̄islil*) и в словацком (*mám moc* > *má̄m̄ moc*, *chlap padá* > *chlá̄padá*, *pod dubom* > *pōdubom*)¹. В чешском литературном произношении это правило не действует, но в диалектах распространено широко². В принципе интерпретация этого явления должна быть такой же, как и в случае с русским /ц/: замена в сандхи бифонемного сочетания (/tt/) существующей в системе монофонемой (/t/) и возникновение фонотактического чередования (/t/ : #). Можно сделать лишь такое примечание. Русское изменение /ts/ > /ц/ очень сильно обусловлено позиционно, в то время как в указанных славянских языках отмеченная закономерность отражает широко представленную там тенденцию к утрате геминат: ср., например, словацкое изменение /ts/ > /cc/ > /c/ и др. независимо от позиционных условий³.

Роль стыков слов в процессах фонемизаций сочетаний фонем может быть также проиллюстрирована на примере возникновения новых долгих гласных фонем в ряде славянских языков. Их возникновение связано с процессами стяжения гласных (контракциями), пережитыми славянскими языками в разные периоды своей истории. Представляется, что долгие гласные как самостоятельные фонемы, противопоставленные кратким, могут существовать и соответственно быть выявлены в результате фонологического анализа только в тех языках, в которых внутри долгого гласного не может проходить межсловная граница и где долгие гласные внутри слова противопоставлены сочетанию соответствующих кратких гласных на стыке слов: например, /a:/ ↔ /aa/, причем сочетание фонем постоянно воспроизводится на стыке слов. Естественно, слогоделение чутко реагирует на подобные отношения в системе фонем: сочетание гласных фонем распадается по разным слогам в отличие от долгой фонемы, внутри которой невозможна слоговая граница. Такую ситуацию можно отметить, в частности, для чешского языка, в котором фонологизация долгих гласных предотвратила контракцию на стыке слов, где сочетание двух гласных характеризуется наличием придыхательного перехода от первого гласного ко второму⁴.

¹ Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1960. С. 267–268.

² Травничек Фр. Грамматика чешского литературного языка. М., 1950. С. 57–60.

³ Krajčovič R. A Historical Phonology of the Slovak Language. Heidelberg, 1975. P. 108–112. К сожалению, в своем обстоятельном описании процессов, связанных с утратой геминат, автор ничего не говорит о стыках слов.

⁴ Травничек Фр. Грамматика чешского литературного языка. С. 57–60.

Для русского языка, который в этом отношении является антиподом чешского, выделение долгих гласных как самостоятельных фонем неправомерно, так как «долгие» гласные, в середине слова (*баабаб*, *заааааа* и подобные) не противопоставлены «долгим» гласным на стыке слов (*мама Ани*). На первый взгляд уже сама двусложность «долгого» гласного говорит о его бифонемности (ср. противопоставление «долгого» двусложного /aa/ в *мама Ани* и удлиненного односложного /a/ в *у мамани*). И это действительно так, но двусложность является чисто фонетическим следствием бифонемности. Главное, конечно, — это возможность прохождения внутри «долгого» гласного межсловной границы. Эти же рассуждения применимы и по отношению к так называемым долгим согласным, хотя с ними ситуация сложнее, причем в первую очередь потому, что традиционные сложности с определением слоговой границы не позволяют дать однозначную интерпретацию геминат. Если учесть, что наиболее вероятно для русского языка такое слогоделение, когда в потоке речи (не перед абсолютной паузой) все слоги открытые и любая группа согласных отходит к следующему открытому слогу, то единственным критерием бифонемности геминаты будет критерий возможности прохождения внутри нее межсловной границы. Например, для украинского языка (и некоторых русских диалектов) неправомерным будет выделение долгих согласных фонем на основании таких форм, где долгий согласный, исторически возникший из сочетания с [j], находится не на морфемном швее (ср. укр. *життя*, *весілля* и подобные). Такие «долгие» согласные не противопоставлены сочетаниям соответствующих мягких фонем на стыке слов, а значит, являются реализациями этих бифонемных сочетаний.

Итак, прохождение межсловной границы внутри фонемы явно противоречит тенденциям, свойственным флексивным языкам, в частности тенденции к самостоятельности слова. Примеры подобного рода достаточно редки и обычно легко объясняются специфическим историческим развитием. Интересно, что для некоторых современных индоевропейских языков характерно уменьшение фонетической самостоятельности слова. Так, для французского и отчасти для кельтских языков едва ли применимо понятие фонетического слова: здесь слово выступает обычно в составе сложных комплексов, подчиняющихся особым фонетическим закономерностям. Ср. указание Е. Д. Поливанова на то, что «французские комплексы *je dis*, *tu dis*, *je te le dis*, *je te l'ai dit* и т. п. состоят из двух, четырех и пяти письменных слов (в связи с тем, что орфография отражает более древнее деление на слова), а между тем каждый из этих комплексов для современного французского языка является одним словом (как на основании критерия потенциальной изолируемости — ибо морфемы *je*, *tu*, *te*, *le ~ l'* и т. п. не способны изолироваться, — так и на основании акцентуационного критерия)¹. С одной

¹ Поливанов Е. Д. Толковый терминологический словарь по лингвистике // Поливанов Е. Д. Труды по восточному и общему языкознанию. М., 1991. С. 425–426.

стороны, это свидетельствует о вторичном уменьшении центральной роли слова в современных индоевропейских языках (ср. упомянутый выше переход некоторых германских языков к слогоморфемности), а с другой — указывает на то, что в различных языках традиционно выделяемые признаки слова могут иметь разный удельный вес. Там же Поливанов на основе критерия изолируемости дает определение *слова*: «С. (словом. — М. П.) называется настолько самостоятельный в смысловом отношении и логически законченный отрезок речи, что он оказывается способным изолироваться в качестве единственного состава произносительной фразы».

Ярким примером языка с развитым внешним сандхи и с межсловными границами, проходящими по фонеме, является санскрит. Однако подобное положение можно объяснить, с одной стороны, искусственным характером классического санскрита, в частности, и искусственным характером многих сандхи¹, а с другой — это может быть связано с особенностями грамматического строя санскрита (обилие гиперкомпозитов, именной стиль предложения, господство пассивных конструкций и т. п.²), также указывающими на уменьшение роли отдельного слова.

В то же время фонетические изменения рассмотренного типа на морфемном шве внутри слова в целом определяются ведущей тенденцией флексивных языков, и, следовательно, вывод о том, что морфемная граница может проходить внутри фонемы, отвечает этой тенденции. Однако следует заметить, что морфемные границы, в свою очередь, не являются однородными. Так, во флексивных языках существует явная тенденция к сохранению границы между основой и флексией, при этом если происходит «затемнение» этой границы в связи с фонетическими изменениями, то сдвигается *сама* граница (ср. знаменитый закон Бодуэна о сокращении основ в пользу окончаний в славянских языках³). В связи с четкой противопоставленностью основы и флексии во флексивных языках обращает на себя внимание тот факт, что изменения, которые обычно определяются как морфологически обусловленные фонетические изменения, как правило, действуют в границах флексии: ср. такие изменения в русском языке, как, например, отвердение /м/ во флексии Тв. сд. существительных (*столъмъ* > *столом*, но *семь*), переход /т/ > /в/ во флексии Род. ед. местоимений и прилагательных (*того* > *то-[в]о*, но *стро[г]о*), украинско-белорусское изменение /л/ > /в/ в фор-

¹ Елизаренкова Т. Я. Грамматика ведийского языка. С. 113.

² Зализняк А. А. Грамматический очерк санскрита // Кочергина В. А. Санскритско-русский словарь. М., 1978. С. 880–881.

³ Бодуэн де Куртенэ И. А. Заметка об изменяемости основ склонения, в особенности об их сокращении в пользу окончаний // Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. 2. М., 1963. С. 19–29.

мах муж. р. прош. вр. (даль > укр. дав, но столь > укр. стіл)¹ и подобные. В таких случаях флексия ведет себя как «самостоятельная словоформа», по сути же эти изменения являются морфонологическими.

По-видимому, тенденция к «отдельности» флексии определяется самим характером порождения словоформ во флексивных языках. В отличие от производных слов, хранящихся в лексиконе носителя языка «целиком», словоформы могут, вероятно, как храниться в лексиконе (по крайней мере, наиболее частотные из них), так и порождаться в момент речи по продуктивным схемам.

Итак, мы рассмотрели ряд фактов, которые на первый взгляд противоречат нашему тезису о невозможности прохождения стыка слов внутри фонемы. Все они, с нашей точки зрения, могут быть объяснены без того, чтобы подвергнуть сомнению данный тезис. Как уже было сказано выше, само по себе это положение возникает вследствие того, что фонема является строительным материалом для экспонентов слова (словоформы), а не морфемы (алломорфа). В связи с этим необходимо более подробно коснуться вопроса и о том, насколько справедлив данный постулат теоретически, тем более что в канонической концепции Щербовской фонологической школы фактически господствуют другие представления. Очень жесткой позиции в данном вопросе придерживается В. Б. Касевич: «...нельзя согласиться с тем, что фонемы... непосредственно образуют десигнаторы слов... Фонемы, таким образом, различают именно десигнаторы морфем и, строго говоря, соотносятся только с ними»². Приведем одно из последних высказываний на этот счет одного из основоположников Щербовской школы Л. Р. Зиндера: «...некоторые авторы (ссылки отсутствуют, поэтому рискнем предположить, что имеются в виду именно сторонники щербовского направления, может быть, некоторые из учеников Л. Р. Зиндера. — М. П.)... настаивают на том, что фонема может оказаться расчлененной на стыке морфем. Прежде чем разобраться в этом вопросе, надо дать определение понятий фонемы и морфемы. Фонема — это кратчайшая линейно (во времени) неделимая единица звуковой стороны языка, связанная со смыслом и выступающая или потенциально могущая выступать в качестве экспонента (плана выражения) морфемы... Морфема — это кратчайшая, линейно не делимая значимая единица языка»³. Из этих положений естественно вытекает, что стык морфем не может проходить по фонеме. Далее Л. Р. Зиндер разбирает в качестве иллюстрации прилагательные типа

¹ Flier M. S. The Alternation *l* ~ *v* in East Slavic // American Contributions to the Ninth International congress of Slavists. Vol. 1: Linguistics. Columbus, Ohio, 1983.

² Касевич В. Б. О соотношении незнаковых и знаковых единиц. С. 124–125.

³ Зиндер Л. Р. Фонология стыка морфем // Вопросы теории и истории языка. СПб., 1993. С. 81.

детский /д'ецк'ий/. По его мнению, морфемная граница проходит не внутри /ш/, а после него, т. е. корень в таких прилагательных кончается на /ш/, а суффиксом является не /ск/, а /к/, хотя, как признает сам Л. Р. Зиндер, здесь есть проблемы семантического характера¹.

Напомним, как эту проблему решал Л. Л. Буланин: «Очевидно, *ц* в <сав'эцк'ий> как бы “вбирает в себя” элементы и корня (*ц*), и суффикса (*с*). Поэтому более правильным было бы видеть в этом *ц* сочетание фонем *цс*. Тогда уточненная фонематическая транскрипция этого слова выглядела бы так: <сав'эцск'ий>. И в этом случае естественно зафиксировать чередование *т//ц* в позиции перед суффиксальным *с* (из суффикса *-ск*)»². Л. Л. Касаткин указывает, что «в этом рассуждении Л. Л. Буланин, один из идеологов СПФШ, противоречит теории этой школы, по которой один звук не может быть представителем сочетания фонем и фонема не может быть представлена нулем звука»³. Л. Л. Касаткин не прав, когда говорит, что, согласно СПФШ, звук не может быть представителем сочетания фонем (ср. хотя бы интерпретацию Л. Р. Зиндером долгого мягкого шипящего), однако «звук» МФШ, конечно, не может быть представителем сочетания «фонем» СПФШ. Тем не менее решение Буланина действительно противоречит теории Щербовской фонологической школы, поскольку звук не может быть одновременно представителем и фонемы, и сочетания фонем. Таким образом, Л. Л. Буланин, не желая противоречить одному положению теории («морфемная граница не может проходить внутри фонемы»), вступил в противоречие с другим, гораздо более существенным постулатом теории.

Решение Л. Р. Зиндера изящно и остроумно. Оно, в сущности, предполагает, что всякий раз, когда на морфемных стыках осуществляются изменения, приводящие к тому, что стык морфем оказывается как бы внутри фонемы, сго (это изменение) следует объяснять изменением места самой морфемной границы. И наоборот, если изменение вызвано явно фонетическими причинами, этим изменением можно объяснить сдвиг морфемной границы. В результате морфемная граница никогда не будет проходить внутри фонемы! Но аналогичный теоретический подход можно распространить и на [ш':]: если есть желание признать /ш/ самостоятельной фонемой, всегда можно интерпретировать морфемное членение таких слов, как *извозчик*, *расческа* и т. п. (примеры, которые и приводят обычно для доказательства того, что внутри [ш':] проходит морфемный шов, а значит, это бифонемное сочетание), таким образом, что морфемная граница не будет проходить внутри [ш']. Например,

¹ Там же. С. 82.

² Буланин Л. Л. Фонетика современного русского языка. М., 1970. С. 140.

³ Касаткин Л. Л. Аффрикаты на месте взрывных согласных перед щелевыми в русском языке // Проблемы фонетики. Вып. 3. М., 1999. С. 83.

слово *расческа* следует признать непроизводным вследствие оправдания, а в *извозчик*, *разносчик* можно усматривать усечение конечного щелевого шумного согласного корня перед суффиксом *-щик*¹. Последнее решение семантически даже более убедительно, чем приведенная выше интерпретация прилагательных типа *детский*: ср. *пильщик* «тот, кто пилит», *уборщик* «тот, кто убирает», *разносчик* «тот, кто разносит» и т. п. В связи с этим не совсем понятно, почему из всех представителей Щербовской школы именно Л. Р. Зиндер так последовательно выступал «против» фонематического статуса /щ/.

Манипуляции с морфемными границами в фонологическом анализе (кстати, практически невозможные, если опираться на стыки слов, которые всегда более или менее определены) приводят к одному очень, с нашей точки зрения, важному выводу: морфемные границы не имеют вообще никакого отношения к членению речевого потока на фонемы, так как «экспонент» морфемы (алломорфа) не является последовательностью фонем (хотя через словоформу алломорф может быть интерпретирован как последовательность фонем²). А. А. Леонтьев подчеркивает, что алломорф может быть интерпретирован как звуковая последовательность, но в принципе для него это несущественно: «русские ⟨ему⟩, ⟨его⟩ и т. д. отчетливо распадаются на две морфы, однако нам безразлично, где именно искать “морфемный шов”: ⟨ј-ему⟩, ⟨јс-му⟩ или ⟨јем-у⟩»³. Как справедливо заметил Ю. К. Кузьменко, «обращаясь к морфологии, мы получаем не фонологическое членение, а морфологическое значение, которое может выражаться и тоном, и тем, что мы обычно называем различительным признаком... и фонемой... и слогом, и даже отдельным словом. С точки зрения семантики, вероятно, безразлично, каким образом выражается то или иное грамматическое значение»⁴. И действительно, если отталкиваться от морфологии, то, например, в русском языке конечный мягкий согласный в образованных от прилагательных абстрактных существительных типа *гниль*, *рвань* и т. п. может быть интерпретирован, поскольку внутри него проходит морфемная граница, как бифонемное сочетание [л], [н] + ['] = /л/, /н/ + /ј/. Однако с дальнейшими рассуждениями Ю. К. Кузьменко мы согласиться не можем. Он полагает, что членимость речевого потока на отрезки определяется «антропофоническими законами», а «естественным отрезком такого членения и является слог». Соответственно, «первый шаг фono-

¹ К такой интерпретации склоняется Л. В. Бондарко, которая признает монофонемный статус [s':]; см.: Бондарко Л. В. Фонетическое описание языка и фонологическое описание речи. Л., 1981. С. 99–100.

² Может быть, и экспонента-то у морфемы нет?

³ Леонтьев А. А. Слово в речевой деятельности. С. 153.

⁴ Кузьменко Ю. К. Фонологическая эволюция германских языков. Л., 1991. С. 117.

логического членения — деление на слоги; второй — определение того, каким образом по слогам распределены грамматические значения¹. Такая последовательность фонологического анализа, по мнению Ю. К. Кузьменко, позволяет увидеть различие между признаком и фонемой. В вышеприведенном русском примере (сам Ю. К. Кузьменко приводит сходный ирландский пример) мягкость входит в состав согласной фонемы, т. е. является различительным признаком, а не фонемой /j/, потому, что мягкое /n/ никогда в русском не превращается в //n/+ слогоначальное /j/. Нам представляется, что при всей важности для характеристики звукового строя языка соотношения слоговых и морфемных границ деление на слоги не может выступать первым шагом фонологической сегментации (в силу его афункциональности, с чем связаны и трудности с определением во многих случаях слоговых границ). Членение на фонемы, как было показано выше, определяется в первую очередь межсловными границами. Следовательно, с нашей точки зрения, мягкие согласные /n/, /l/ в русском языке являются монофонемными фонологическими единицами, потому что никогда внутри них не может проходить межсловная граница. Следствием этого является и тот факт, что русский мягкий согласный даже на стыках слов не «превращается» в сочетание «согласный + слогоначальный j», а также то, что на стыках слов возможно противопоставление мягкого согласного сочетанию с йотом: [жал'живо] жаль *его* ↔ [жалиму] жал *ему*. Таким образом, все-таки не отделение слоговой границей позволяет нам определить принадлежность мягкости к согласному, а невозможность отделения «мягкости» от согласного межсловной границей.

Роль межсловных границ в процессе сегментации речевого потока на фонемы определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, в потоке речи невозможно вычленить слово, опираясь лишь на его фонетические признаки; другими словами — в потоке речи отсутствуют пограничные сигналы слова. Во-вторых, «граница фонетического слова — это граница осмысленного... сегмента, иначе говоря — такого минимального сегмента, который может выступать как самостоятельная единица сообщения². Критерий «потенциальной изолируемости» используется в современной лингвистике как объективный критерий выделения слова в потоке речи. В отечественной лингвистике он распространился прежде всего благодаря Л. В. Щербе («Словом мы назовем часть предложения, которую мы можем, не изменяя значения, употребить самостоятельно») и Е. Д. Поливанову («Слово есть потенциальный *minimum* фразы»³. Первое обстоятельство — отсутствие фонетических пограничных

¹ Там же. С. 117.

² Леонтьев А. А. Слово в речевой деятельности. С. 133.

³ Там же. С. 133 и сл. Здесь же дается критика противников критерия потенциальной изолируемости.

сигналов внутри синтагмы (в более широком смысле — фонологическая однородность речевого потока) — позволяет в процессе фонологического анализа осуществлять перенос по аналогии результатов сандхиального теста на внутрисловные сегменты. Что касается синтагмы, то здесь, по-видимому, уже можно говорить о чисто фонетических пограничных сигналах. Это тот предел, за который сегментная фонетика выходить не может, поэтому межсинтагменные границы не должны использоваться в фонологическом анализе. Межсинтагменные границы — это максимально сильные границы. Видимо, даже в аллегровой спонтанной речи тенденция к стиранию фонологических границ между синтагмами отсутствует, хотя, как мы видели, внутри синтагмы могут происходить процессы, приводящие при определенных обстоятельствах к такому положению, когда граница между словами может быть интерпретирована как проходящая внутри фонемы.

Глава 4

ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФОНЕМЫ

На наш взгляд, освобождение от «морфематизма» в процедурах фонологического анализа позволяет подойти и к некоторым другим вопросам русской фонологии более реалистически, т. е. привести фонологические решения в большее соответствие с речевым поведением носителей языка. Этот призыв обращен к сторонникам школы Л. В. Щербы. Если для МФШ «морфематизм» составляет саму суть фонологической концепции, то в Щербовской школе он, с нашей точки зрения, не ограничен и, возможно, привнесен из МФШ в результате бурных дискуссий между этими школами в 1950–1970-е гг. Наша критика некоторых аспектов современной концепции Петербургской школы — это критика изнутри школы (причем с опорой на взгляды самого Л. В. Щербы и частично А. Н. Гвоздева), но со стороны, противоположной той, с которой щербовская фонология подвергалась представителями МФШ. В то время как сторонники МФШ подвергали критике теорию фонемы Щербы за недостаток «морфематизма», мы считаем, что в современной концепции Петербургской фонологической школы его, наоборот, слишком много. Тем не менее, для нас принципиально важно, что отрицание излишнего «морфематизма» не означает отрицания того, что и членение речевого потока на фонемы, и идентификация разных звуков как оттенков одной фонемы в конечном счете опирается на смысл. Отметим, что в классической концепции МФШ понимание фонемы как языковой единицей

ницы, в сущности неотделимой от морфемы, прекрасно уживалось с использованием принципа артикуляторно-акустического сходства как критерия, в соответствии с которым «*звуки речи*» объединяются в «*звуки языка*»: «*Звуком языка называется множество звуков речи, частью тождественных, частью близких в артикуляционно-акустическом отношении, которые встречаются в самых различных речевых потоках, в составе самых различных значимых единиц (слов, морфем)*»¹. Средством установления границ этих множеств П. С. Кузнецов считает, в частности, ощущение лингвиста с тонким слухом и фонетические приборы. Ср. определения Л. Л. Касаткина: «*Звук речи — это конкретный звук, произнесенный конкретным лицом в конкретном случае... Звук речи — точка (!? — М. П.) в артикуляционном и акустическом пространстве. Звук языка — это множество звуков речи, близких друг другу в артикуляционно-акустическом отношении, определяемых говорящими как тождество*»². Все это, с нашей точки зрения, весьма далеко от фонологии в понимании Щербовской школы.

Перейдем к процедуре парадигматической идентификации фонем и сразу сформулируем наш главный тезис. Если фонема — языковая единица, конституирующая план выражения словоформы, а не морфемы, то не только сегментация речевого потока на фонемы должна определяться границами соседних словоформ в синтагме, но и парадигматическая идентификация фонем должна происходить также на уровне словоформы. Правило, определяющее принадлежность двух аллофонов одной фонеме, предварительно можно было бы сформулировать следующим образом: реализациями одной фонемы являются аллофоны, которые могут чередоваться в составе *словоформы* и находятся при этом в состоянии дополнительной дистрибуции.

При традиционном подходе к процедуре парадигматического отождествления аллофонов как чередующихся в составе *морфемы* представители Щербовской школы сталкиваются с определенными трудностями. В частности, если при установлении дополнительной дистрибуции аллофонов исходить из чередования в морфеме, т. е. из тождества морфем, то оказывается неясным, какое решение следует принять в тех нередких случаях, когда имеется возможность двоякого отождествления. В качестве примера можно привести отнюдь не периферийные явления, характеризующие звуковой строй современного русского языка, а именно чередования глухих и звонких согласных, а также безударных и ударных гласных.

Как известно, в некоторых морфемных рядах конечнослоговое [t] находится в дополнительной дистрибуции с начальнослоговым [t] — *прут* :

¹ Кузнецов П. С. Об основных положениях фонологии. С. 474.

² Касаткин Л. Л. Фонетика современного русского литературного языка. С. 87.

прута, в других морфемных рядах конечнослоговос [t] находится в дополнительной дистрибуции с начальнослоговым [d] — *пруд* : *пруда*. Следовательно, фонолог, исходя только из морфемного тождества, не может однозначно произвести отождествление данных аллофонов, поскольку в одной морфеме в дополнительной дистрибуции находятся как [t] : [t], так и [t] : [d]. Сходная ситуация наблюдается и при отождествлении аллофонов [á] : [l], [b] : [l] — *вал* : *валы*, *вол* : *волы*. И та и другая пары аллофонов находятся в дополнительной дистрибуции в составе любой морфемы.

Как правило, представители Щербовской школы рассуждают следующим образом: оттенки [t] и [t] относятся к фонеме /t/, а оттенок [d] является оттенком фонемы /d/, поскольку два первые противопоставлены третьему по признаку глухости–звонкости; соответственно, [á] и [l] являются оттенками фонемы /a/, а [b] — оттенком фонемы /o/ на основании противопоставленности по ДП лабиализованности–нелабиализованности¹ (для последнего случая иногда принимают во внимание другой ДП — подъема²). Следовательно, ДП глухости объединяет два аллофона [t] и [t] в одну фонему /t/, а ДП нелабиализованности — два аллофона [á] и [l] в одну фонему /a/. Однако если учесть, что систему ДП, или, другими словами, фонемных признаков, строго говоря, можно установить только после выявления состава фонем, использование понятия ДП на этапе парадигматической идентификации представляется неправомерным. Таким образом, вопрос остается открытым.

Совершенно очевидно, тем не менее, что для носителя языка [t] и [t], так же, как и [á] и [l], — это ‘один и тот же звук’, т. с. одна фонема. Если отождествление аллофонов будет производиться на уровне не морфемы, а словоформы, этот факт, установленный экспериментально, можно объяснить лингвистически. При этом особую роль играют стыки слов. Звуки [t] и [t] отождествляются и носителями языка в процессе речевой деятельности, и лингвистом при установлении состава фонем, потому что они, находясь в дополнительной дистрибуции, могут чередоваться в одной и той же словоформе. Так, несмотря на то, что в морфеме *плод*– чередуется [t] и [d] (*плод* : *плода*), а в морфеме *плот*– чередуются [t] и [t] (*плот* : *плота*), в словоформе *плод* (Им. ед.) [t] регулярно чередуется с [t] (*плод* : *плод айвы*), т. е. словоформа *плод* имеет и [t] (в абсолютном конце), и [t] (при наличии гласного в начале следующего слова). В то же время [d] и [t] никогда не чередуются в составе словоформы, но только в морфеме. Таким образом, с точки

¹ Маслов Ю. С. Введение в языкознание. С. 72–73.

² Осипов Б. И. Понятие позиций и «физикалистские» фонологические школы // Вопросы русского языкознания. Вып. 2. Куйбышев, 1976. С. 41–43.

зрения различительной функции фонемы конечный согласный морфемы *плод-* в словоформе *плод* противопоставлен конечному согласному той же морфемы *плод-* в словоформе *плода* (Род. ед.) — *плода* : *плод айвы*. Другими словами, словоформа *плод* фонетически противопоставлена словоформе *плода*, но не противопоставлена словоформам *плот* и *плота*.

Несколько по-другому выглядит данная проблема в случае с ударными и безударными гласными, но и здесь решенис возможно, если идти от уровня словоформы. При обсуждении фонологического статуса, например звука [л], нужно иметь в виду следующий факт современного русского литературного языка: безударное [о] в составе словоформы может чередоваться с ударным [ö] и, следовательно, оба являются аллофонами одной фонемы — /о/.

Факты современного русского литературного произношения говорят о том, что в русском языке нет никакого дистрибутивного ограничения на безударное [о], которое, являясь аллофоном фонемы /о/, весьма широко распространено и обязательно произносится в большом количестве довольно частотных слов. Эти факты давно известны: междомение *ого*, энклитические *но*, *то*, *что*, *хоть* (*но мы, то мы, что мы, хоть мы*); освоенные заимствования *боа*, *какао*, *радио* и др.; аббревиатуры *ООН*, *ГОЭЛРО*; сложные и сложносокращенные слова *полдома*, *Мосфильм*, *госдума* и др. (от них следует отличать слова с двумя ударениями типа [ö]стросюжётный и даже [à]стросюжётный, в [ö]доснабжёние и т. п.). Таким образом, в русском языке фонемы /а/ и /о/ противопоставлены и в безударной позиции: ср. *радио* — *авиа*. Имеются даже минимальные пары, которые более наглядно иллюстрируют это: *а он* = *АОН* [а бн] = /а он/ — *ООН* [о бн] = /оон/, *на вы* = *новы* [навы] = /navы/ — *но вы* [но вы] = /но вы/.

В отношении обсуждаемого явления интересны соображения А. Н. Гвоздева о том, что в русском языке [л] фонематически не противопоставлено [á], а [о] соответственно фонематически не противопоставлено [ö]: ср. /носмыт'/ = [нóсмыт'] *нос мыть* = [носмыт'] *но смыть* — /исстал'иц/ = [ис ста́л'иц] *из столиц* = [ис стá л'иц] *из ста лиц*¹. Заслуга А. Н. Гвоздева заключается в том, что он сумел оторваться от фонологии изолированного слова и посмотреть на соответствующие факты с точки зрения того, как слово ведет себя в составе фразы. Он остроумно демонстрирует отношения между ударными и безударными /а/ и /о/ на примере рифмованных строк:

В цехе огромном, как топот ста ног,
Неугомонный грохочет станок.

¹ Гвоздев А. Н. О фонологических средствах русского языка (1949 г.) // Гвоздев А. Н. Избранные работы по орфографии и фонетике. М., 1963. С. 103–104.

(«Здесь по требованию ритма ударение на *ста* слабее, чем на *ног*, и сочетание *ста ног* фонетически приближается к слову *станок*»¹).

В цехе огромном, как будто сто ног,
Неугомонный грохочет станок.

(«Здесь, несмотря на то же ритмическое положение... *сто* сохраняет свое свойственное ударному положению *о* и ни при каких условиях не совпадает со словом *станок*»²).

Для нашей темы здесь важно следующее: фонологически противопоставлены, с одной стороны, *сто ног* /сто ног/, а с другой — *ста ног* и *станок* /станок/, т. е. в потоке речи — в русской фразе — регулярно воспроизводится противопоставление безударных /о/ и /а/.

Учитывая все эти факты и общие фонологические соображения, мы не можем согласиться с трактовкой Л. Л. Касаткиным безударных [а] и [о] в современном литературном языке: «При произношении *n/o/эт*, *ф/o/йе* звук [о] выступает в сигнifikативно сильной позиции и может быть только представителем фонемы ⟨о⟩. При произношении в нейтральном стиле *n/a/эт*, *ф/a/йе* звук [а] может быть представителем и ⟨о⟩, и ⟨а⟩; позиция здесь сигнifikативно слабая, гласный всегда безударный. Но фонема и здесь ⟨о⟩: о ней говорит орфоэпический вариант с безударным [о]»³. С нашей точки зрения (даже если оставить в стороне разногласия между МФШ и Щербовской школой), речь здесь может идти об орфоэпических вариантах разного фонемного состава: ⟨пoет⟩ и ⟨пaет⟩. Нам представляется, что рассуждение Л. Л. Касаткина о различии типов позиций в рассматриваемом примере имеет смысл только в случае сравнения так называемого *полного* и *неполного* типов произнесения (по Щербе), а не *высокого* и *нейтрального* стилей произнесения, которые относятся к полному типу произнесения⁴.

Итак, несмотря на то что в составе морфемы [л] и [б] находятся в дополнительной дистрибуции, [л] не может быть признано аллофоном фонемы /о/, поскольку в позиции первого предударного слога эта фонема представлена другим аллофоном — [о]. Все эти факты важны не только для парадигматической идентификации фонем, но и для интерпретации чередований.

¹ Там же. С. 146.

² Там же. С. 147.

³ Касаткин Л. Л. Чередование гласных после [ш, ж, ц] в русском литературном языке // Вопросы фонологии в аспекте русского языка как иностранного: Доклады. Материалы I Международного симпозиума МАПРЯЛ. М., 1989. С. 49.

⁴ Бондарко Л. В., Вербицкая Л. А., Гордина М. В., Зиндер Л. Р., Касевич В. Б. Стили произнесения и типы произнесения // ВЯ. 1974. № 2. С. 64–70.

Обратимся к вопросу о фонематической интерпретации так называемых полумягких согласных. Полумягкие согласные отмечаются как в позиции перед гласными, так и перед согласными в разных славянских языках и диалектах, в том числе и русских¹. Категория полумягких согласных была, как известно, экстраполирована на праславянскую эпоху, и идея о наличии фонетически полумягких согласных в позднем праславянском языке получила весьма широкое распространение, особенно в русистике: одно из ключевых изменений в древнерусском консонантизме — фонологизация признака палатализованности — так и называется (см. популярные вузовские учебники и пособия) *вторичное смягчение полумягких согласных*. Существует, однако, хорошо обоснованная точка зрения, что полумягкость есть не что иное, как отсутствие веляризации у твердых согласных². С фонетической и типологической точек зрения, проблема полумягких заключается в выяснении степени палатализованности согласных. Нас же здесь интересует теоретическая проблема парадигматической идентификации «полумягких» согласных. Поэтому обратимся к ситуации в конкретной фонологической системе русского языка.

В русском литературном языке как фонетически полумягкие часто интерпретируются согласные, которые в положении перед мягкими согласными получают частичную палатализацию. Таковы, например, начальные согласные [з'] и [д'] в словах *здесь* и *дверь* в одной из разновидностей русского литературного произношения. Фонетически здесь представлены аллофоны, которые очевидно отличаются от [з] и [д] в словах *зал* и *дал* и от [з'] и [д'] в словах *зима* и *дел*. Несколько огрубляя ситуацию, будем исходить из того, что в русском языке фонетисты различают три разновидности согласных по палатализованности — твердые, полумягкие и мягкие, в то время как с функциональной точки зрения противопоставлены только две группы — палатализованные (мягкие) и непалатализованные (твёрдые). Вопрос заключается в следующем: с какими фонемами идентифицируются полумягкие согласные [з'] и [д'] — с мягкими /з'/ и /д'/ или с твердыми /з/ и /д/? Другими словами: аллофонами каких фонем — твердых или мягких — являются так называемые полумягкие согласные в современном русском литературном языке?

¹ Брок О. Описание одного говора из юго-западной части Тотемского уезда // Сборник ОРЯС. Т. 84. № 4. 1907. С. 77–84; Пауфошима Р. Ф. Согласные исполненного смягчения перед гласными переднего образования в говорах Харовского р-на Вологодской области // Материалы и исследования по русской диалектологии. Вып. 2. М., 1961. С. 74.

² Чекман В. Н. Исследования по исторической фонетике праславянского языка. С. 44–48.

Как ни странно, вопрос этот в теоретическом плане редко затрагивается в работах по русской фонетике. Проблема обычно освещается в связи с орфоэпической нормой и вариантностью современного русского литературного произношения. Нас в первую очередь интересует, конечно, подход представителей щербовского направления. Например, М. И. Матусевич пишет об этом в разделе о чередованиях, хотя трактует вопрос в орфоэпической плоскости. Она отмечает, что ассимилятивное смягчение вследствие воздействия мягкого согласного на твердый может быть *полным* и *неполным*, но не употребляет термина *полумягкие согласные*, обозначая в фонетической транскрипции согласные неполного смягчения как твердые¹. Собственно фонологическая проблема, таким образом, решается эмпирически: согласные полного смягчения являются реализациями соответствующих мягких фонем, согласные неполного смягчения — реализациями твердых.

Л. А. Вербицкая, признавая и подчеркивая сложность фонологической интерпретации первого согласного в сочетаниях согласных со вторым мягким, ограничивается констатацией того, что такой согласный выступает либо как фонологически твердый, либо как фонологически мягкий², против чего как будто никто никогда и не возражал. В практической части своей работы она не использует особых транскрипционных знаков для обозначения полумягких согласных, всегда трактуя их однозначно. Остается непонятным, в чем же, по мнению Л. А. Вербицкой, заключается сложность фонологической трактовки подобных согласных.

Наиболее подробно проблема рассматривается Л. Л. Буланиным³. Его трактовка тем более интересна, что он исходит из представления о том, что литературной произносительной норме современного русского языка соответствует произношение полумягких согласных. Л. Л. Буланин считает согласный типа [s·] оттенком фонемы /s/, а не /s'/ и приводит четыре соображения (аргумента) в пользу данной интерпретации. Во-первых, появление полумягкого⁴ согласного «обусловлено воздействием следующего мягкого». Этот факт не является, строго говоря, аргументом в пользу фонологической твердости или мягкости, но лишь указывает на позиционный, аллофонный статус полумягкого. Во-вторых, в современном языке наблюдается тенденция к устранению смягчения перед следующим мягким. Это аргумент от диахронии, поэтому не вписывается в общепринятые

¹ Матусевич М. И. Современный русский язык. Фонетика. М., 1976. С. 201 и сл.

² Вербицкая Л. А. Русская орфоэпия. Л., 1976. С. 66.

³ Буланин Л. Л. Фонетика современного русского языка. С. 74–75.

⁴ Л. Л. Буланин не употребляет термин *полумягкий согласный*, используя выражение *согласный типа [s·]*.

процедуры фонологического анализа и мало говорит о фонологической трактовке собственно полумягкого звука. В-третьих, полумягкий «характеризуется меньшей степенью мягкости», чем мягкий согласный. Это также лишь констатация проблемы, указание на собственно фонетическое (артикуляторно-акустическое) различие между мягким и полумягким не решает проблемы, поскольку различие имеет место и между полумягким и твердым согласным. В-четвертых, по Буланину, полумягкий «возникает вследствие частичного смягчения твердого, а не частичного отвердения мягкого». Здесь нужно разделить синхронический и диахронический аспекты. В плане синхронии данное утверждение является всего лишь другой формулировкой того, что требуется доказать (если полумягкий — аллофон твердой фонемы, то значит, что он «возникает вследствие смягчения твердого»; а если он аллофон мягкой фонемы, значит, что он возникает вследствие некоего «отвердения» мягкого согласного). С точки зрения диахронической, дело, очевидно, обстоит противоположным образом: постепенно — от слова к слову — происходит замена мягкой фонемы соответствующей твердой (см. аргумент № 2 Л. Л. Буланина). После формирования корреляции по твердости—мягкости и падения редуцированных гласных возникли новые сочетания согласных, которые сначала подчинились старой синтагматической закономерности: $*t't'$ > $t't'$ и $*t'bt'$ > tt' . Но затем начались естественные процессы кристаллизации новой корреляции, выработка новых сильных позиций, которые возникли и в положении перед следующим согласным. Однако это могло происходить только внутри слова, на стыках слов новые группы согласных не подчинились этой старой закономерности, поскольку до падения редуцированных на стыках слов никогда не было групп согласных. Это было явление абсолютно новое в языке. Но самое главное заключалось в том, что в принципе стык слов оказался возможен внутри слова, что вырабатывало принципиально новый тип сильной позиции для противопоставления твердых и мягких фонем.

Вернемся к проблеме фонологического статуса полумягких согласных в современном литературном языке. Вопрос этот, по нашему мнению, наиболее убедительно решается с привлечением материала стыков слов. Берем позицию стыка слов потому, что здесь легко установить «исходную» фонемную принадлежность конечного звука первого слова. Принципиально данная проблема разрешима в силу того, что во многих случаях в позиции перед согласным твердые и мягкие согласные противопоставлены друг другу. Как показало исследование Л. А. Вербицкой¹, во-первых, твердость—мягкость согласного в позиции перед следующим мягким в современном русском литературном произношении не зависит

¹ Вербицкая Л. А. Русская орфоэпия. С. 66–67.

от того, в какой части слова — внутри морфемы или на стыке морфем — находится данное сочетание согласных¹; во-вторых, на внутри-сintагменных стыках слов первый согласный является твердым даже в таких сочетаниях, которые внутри слова всегда имеют мягкие согласные: «Если сравним сочетания /s't/ в слове *настеган* [nas't'ogan] и в предложении *нос теплый* [nos t'orlyj], то увидим, что во втором случае произносится [st']. На стыке двух слов твердым остается даже первый согласный в сочетании двух одинаковых согласных, например *воз зимний* [voz_z'imn'ij]»². Как уже было сказано, все внутрисintагменные позиции фонологически однородны.

Итак, в позиции перед /д'/ фонемы /з/ и /з'/ противопоставлены (ср. /зд'/ = [з'д'] *воз дел* — /з'д'/ = [з'д'] *весь день*), следовательно, полумягкий [з'] идентифицируется с [з], а не с [з']. Тем самым в слове *здесь* согласный [з'] будет представлять фонему /з/, если он совпадает по звучанию с согласным /з/ в *воз дел*³, и фонему /з'/, если он совпадает с согласным /з'/ в *весь день*. Русское литературное произношение, видимо, допускает обе возможности, хотя нам второе решение представляется предпочтительным. Иначе будет интерпретирован полумягкий [д'] или [т'] в *дверь*, *твердь* и др. Это, несомненно, оттенки соответствующих твердых фонем /д/ и /т/, поскольку /т/ и /т'/ перед /в'/ противопоставлены (ср. *хоть вера* — *вот вера*), а [т'] в *твердь* фонетически не отличается от /т/ в *вот вера*. Следует принять во внимание, что полу-мягкость /т/ перед губным /в'/ вообще носит несколько условный характер, поскольку возможность приспособления по подъemu средней части спинки языка к артикуляции следующего мягкого, если он является губным, представляется сомнительной.

Итак, современное русское литературное произношение отражает замену мягких фонем твердыми. В некоторых сочетаниях согласных с собственно фонетической точки зрения имела место замена мягкого на полумягкий с возможным последующим полным отвердением ([з'д'] = /з'д'/ > [з'д'] = /з'д'/ > [зд'] = /зд'/), в других — мягкого на твердый ([т'в'] = /т'в'/ > [тв'] = /тв'/). Таким образом, сочетание согласных в словах *здесь*, *сделать* начинает совпадать с аналогичными сочетаниями в *воз дел* и отличаться от сочетания согласных в *весь день*. В произношении оказывается возможным сосуществование вариантов с различным фонемным составом: ср. /з/десь и /з'/десь, /т/вердый и /т'/вердый.

¹ Аналогичный вывод был сделан Ж. В. Ганиевым в работе: Ганиев Ж. В. О произношении рабочих — уроженцев г. Москвы // Развитие фонетики современного русского языка. Фонологические подсистемы. М., 1971.

² Вербицкая Л. А. Русская орфоэпия. С. 67.

³ Строго говоря, фонема /з/ словоформы *воз* представлена разными оттенками в *воз дел* (и *воздел*), с одной стороны, и *воз дам* (и *воздам*), с другой, т. е. перед мягким и твердым согласным, но мы пренебрегаем этим различием.

В сущности общий принцип фонологической идентификации полумягких согласных тот же, что был сформулирован выше применительно к безударным и ударным гласным, а также звонким и глухим согласным: полумягкий в пределах словоформы чередуется с твердым согласным и при этом находится с ним в дополнительной дистрибуции. Практически же необходимо выяснить, противопоставлены ли твердый и мягкий согласные в каждой конкретной позиции (перед тем или иным согласным) на стыке слов. Если такое противопоставление имеет место, нужно экспериментально установить фонетическое (а соответственно и фонологическое) тождество аналогичных сочетаний согласных на стыках и внутри слова. И уже на основании подобных сопоставлений делать выводы о фонемной принадлежности.

Опора на словоформу в фонологическом анализе позволяет, как мы пытались показать, найти ключ к решению некоторых спорных вопросов. Однако и такой подход может столкнуться с практически трудно преодолимыми сложностями. Мы имеем в виду прежде всего проблему, которая возникает в таких случаях, когда аллофон, относительно которого необходимо принять фонологическое решение, чередуется в составе словоформы и на основе дополнительной дистрибуции сразу с двумя аллофонами, представляющими разные фонемы. Продемонстрируем это на следующем примере.

Возможны две фонологические интерпретации имплизивного [t], который встречается в позиции перед аффрикатами /ц/, /ч/ и щелевым /с/. В каждом случае, разумеется, представлен особый оттенок. Первое решение: [tc] = /ци/ (о/ц/ца), [tc] = /чци/ (по/ч/черкнуть), [ts] = /цс/ (о/ц/садить)¹. Второе решение: [t] = /т/ (о/т/ца, по/т/черкнуть, о/т/садить). Теоретически оба решения равно возможны, так как на уровне словоформы имплизивный [t] чередуется с [t] взрывным и с [c]: ср. *во[t] цех — во[t] Аня, оте[t] цел — оте[c] Ани*. Первое решение принято в большинстве пособий по русской фонологии². Во всех этих работах возможность другой интерпретации не обсуждается, а решение принимается, видимо, на основании общего рассуждения о фонологическом статусе долгих согласных. Второе решение принимает, например, Л. Р. Зиндер, особо подчеркивая, что «долгий согласный, встречающийся на стыке морфем, может представлять не только сочетание двух одинаковых согласных, но и двух разных фонем», что «имеет место, например, в русском языке с долгими аффрикатами [с:] и [ч:]». По мнению Л. Р. Зиндера, трактовка [ч:] и [с:] как /т/ + /с/ и /т/ + /c/ определяется тем,

¹ Дальше для краткости речь пойдет только о позиции перед /ц/.

² Буланин Л. Л. Фонетика современного русского языка. С. 139–140; Матусевич М. И. Современный русский язык. С. 212–214; Вербицкая Л. А. Русская орфоэпия; Бондаренко Л. В. Фонетика современного русского языка. СПб., 1998.

что имплозивный [t] в сочетании с последующей аффрикатой встречается только на стыке морфем¹. Нам также представляется второе решение предпочтительным: [t] чередуется с [s] только на стыках слов, в то время как чередование имплозивного и взрывного [t] встречается и в сандхи, и внутри словоформы. Замену /t/ > /s/ в положении перед /t/ можно было бы объяснить с позиций более широкого дистрибуционного ограничения, а именно невозможностью сочетания смычного и аффрикаты одного места образования, но в русском языке такого ограничения нет: ср. наличие сочетания /t'/ + /s'/, /s/ — *пяться, встретиться, хотъ сам* и т. п. В пользу второго решения как будто говорят и факты истории орфографии: ср. регулярность написаний типа *мœтца* при отсутствии написаний типа *мœцца* в рукописях XVI–XVII вв. Вероятно, в направлении именно такой интерпретации работала высокая частотность возвратных и невозвратных форм глагола (типа *моет — моется* и т. п.). Но, строго говоря, эти аргументы (в том числе и соображение Л. Р. Зиндера) не имеют доказательной силы в синхроническом фонологическом анализе. Следует, видимо, признать, что в звуковой системе языка могут существовать участки, где имеет место неразличение фонем, в том числе и в языковом сознании говорящих. Именно для таких случаев можно сохранить понятие нейтрализации фонемного противопоставления, однако оно получает совсем иное истолкование, чем у Н. С. Трубецкого.

Глава 5

ФОНЕМАТИЧЕСКАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ [ы]: СИНХРОНИЧЕСКИЙ И ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Как известно, есть несколько фонологических проблем, касающихся состава фонем в современном русском языке, которые традиционно привлекают к себе внимание. К ним относятся, в частности, такие проблемы, как фонематический статус мягких заднеязычных [к'], [г'], [х'], долгих мягких шипящих [ш':], [ж':], а также [ы]. И если первая из них лишь условно, в учебно-методических целях, может считаться в настоящее время спорной, поскольку сейчас, судя по всему, все признают [к'], [г'], [х'] самостоятельными фонемами (не ясно, правда, когда они ими стали), то две другие проблемы до сих пор решаются фонологами по-разному.

¹ Зиндер Л. Р. Общая фонетика. С. 128.

Вопрос о фонематической самостоятельности [ы] так же стар, как и сама фонология, поэтому трудно предложить какое-либо абсолютно новое решение. Все необходимое, кажется, давно было сказано, точки над «i-mobile» (термин Бодуэна) расставлены. Споры были фактически подытожены уже Л. В. Щербой: основанием для признания [и] и [ы] вариантами единой фонемы является то, что они находятся в дополнительном распределении — [и] в начале слова, после гласных и мягких согласных, [ы] после твердых согласных — и при этом могут чередоваться в одних и тех же морфемах ([и]гратъ — по[и]гратъ — с[ы]гратъ и т. п.), однако наличие маргинальных слов с начальным [ы], таких, как *ыкать* (противопоставленное *икать*), позволяет утверждать, что в системе гласных еще сохраняется фонема /ы/¹.

В этой же работе Л. В. Щербы содержится комментарий к проблеме с точки зрения исторической фонологии русского языка: «В результате целого ряда фонетических процессов “ы” ассоциировалось с фонемой “и” и оказалось относительно него в определенных фонетических условиях. Это вполне подготовило почву для его окончательного слияния с “и”, но это слияние не произошло, как это случилось в чешском. Пережиточно “ы” сохраняет свою самостоятельность...»². Надо сказать, что существующие точки зрения на фонематическую самостоятельность [ы] в основном так или иначе варьируют аргументы «за» и «против», сформулированные Л. В. Щербой, причем общепризнанным является то, что фонема /ы/, даже если она существует в системе, имеет «пережиточный» характер.

Следует подчеркнуть, что различия в решении этого и других вопросов состава фонем отнюдь не сводятся к различиям между фонологическими концепциями и школами. Известно, что представители Московской и Пражской фонологических школ обычно не признают [ы] самостоятельной фонемой. Иногда даже может создаться впечатление, что в отношении к данной проблеме таинственным образом заключено одно из важнейших различий между ними, с одной стороны, и школой Щербы — с другой. Это впечатление не вполне адекватно отражает положение дел. Более того, именно исходя из концепции МФШ, которая является скорее морфонологической, чем собственно фонологической, можно легче всего теоретически обосновать фонематическую самостоятельность /ы/ и /и/. Такое обоснование было дано внутри самой МФШ: поскольку в русском языке есть «смягчающие» аффиксы с начальным сегментом [и] (*дар-ить*, *глуп-ить*, *гус-иный*, *трус-иха*, *волч-ица*) и «несмягчающие» аффиксы с начальным сегментом [ы] (*дар-ы*, *глуп-ыши*, *гус-ыня* и т. п.), то естественно считать, что «в морфонемный инвентарь

¹ Щерба Л. В. Теория русского письма. Л., 1983. С. 52–53.

² Там же. С. 53.

русской морфонологической системы входят две различные единицы: {у}, не оказывающая никакого воздействия на предшествующую морфонему, и {и}, перед которой заднязычные заменяются шипящими, а прочие согласные — соответствующими мягкими¹. Высказавшая эти соображения Т. В. Булыгина не решилась признать фонематическую самостоятельность /ы/, потому, видимо, что это находится в слишком явном противоречии с догмой МФШ, однако такой вывод напрашивается сам собой² и требует какого-то теоретического опровержения в рамках теории МФШ.

В связи со сказанным странное и в какой-то степени даже комическое впечатление производит полемический выпад М. В. Панова против сторонников фонематической самостоятельности [ы]: «Спор о фонемной природе [ы] надо считать заключенным; продолжение его научными целями не оправдывается»³. С М. В. Пановым полностью солидаризируется А. А. Реформатский⁴. С сожалением приходится констатировать, что эти выпады были направлены не столько против *идеи* о фонематической самостоятельности /ы/, сколько против *коллег*, отстаивающих иную точку зрения. Фактически это намек на научную нечистоплотность. Однако, как мы видели, именно в МФШ этот спор, видимо, еще не закончен! Приведем недавнее высказывание на тему фонологической самостоятельности /ы/ ведущего представителя МФШ Л. Л. Касаткина: «на вопрос о том, есть ли в русском языке фонема /ы/, противопоставленная другим гласным фонемам, следует ответить: есть, но только в фонетической подсистеме необщепотребительных слов»⁵.

Тем не менее в рамках щербовской фонологии аргументы Т. В. Булыгиной не вполне корректны, поскольку в школе Щербы морфонологическая система моделируется уже после того, как установлен состав фонем языка. В качестве еще одного примера противоречивости МФШ в решении вопроса о фонематическом статусе [ы] можно упомянуть тот факт, что из описания Р. И. Аванесовым современного русского литературного произношения также вытекает вывод о фонематической самостоятельности /ы/: «Для современного русского литературного языка обычным и типичным является произношение [гбрът-ыстръ] с глухим согласным вместо звонкого на конце слова перед гласным следующего слова. Если бы в таких случаях слогораздел проходил перед конечным согласным первого слова, то следовало бы ожидать произно-

¹ Булыгина Т. В. Проблемы теории морфологических моделей. М., 1977. С. 225.

² Там же. С. 226–227.

³ Панов М. В. Русская фонетика. С. 213.

⁴ Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. С. 72.

⁵ Касаткин Л. Л. Фонетика современного русского литературного языка. С. 142.

шения [гóрь/д-ы́стрь]. Но этого нет...»¹ Мы, конечно, не можем согласиться с Р. И. Аванесовым в отрицании ресиллабации внутри синтагмы русском языке (с ним не согласны и многие представители МФШ), однако, отрицая ресиллабацию, он тем самым косвенно допускает противопоставление [и] и [ы] в начале слова, что предполагает фонематическую независимость /ы/.

Приведем для полноты картины довольно оригинальную точку зрения В. Г. Руделева, который считает, что слова *ы* и *и* фонематически различаются не гласными, а согласными. Справедливо полагая, что в первом из этих слов перед [ы] никакого согласного нет, он в то же время обнаруживает согласный перед [и] второго слова. Что же это за согласный? Наиболее естественно предположить, что этот согласный [j]. Однако поскольку, по мнению В. Г. Руделева, в случае [э]ст — [и]стония в начальной безударной позиции следует усматривать нейтрализацию, а «нейтрализация всегда является потерей признака, а не приобретением его», то [и] не может представлять собой /й/. «Отсюда следует, — пишет В. Г. Руделев, — что в формах, “начинающихся” на (и)... содержится иная фонема, которая, как и “йот”, является мягкой, но чем-то отличается от “йота”; допустим, она не содержит “йотовой” резкости»². По Руделеву, слова «ы» и «и» различаются на фонемном уровне как /ы/ — /%’ы/, а [ы] и [и] представляют собой аллофоны одной фонемы — /ы/.

Таким образом, избавляясь в описании русского звукового строя от одной фонемы — гласной /ы/, В. Г. Руделев вынужден ввести новую фонему — согласную /%’/. Представляется, что при всем остроумии данная интерпретация не выдерживает критики с более или менее общепринятых фонологических позиций. Главное возражение (если оставаться в рамках логики самого Руделева) заключается в том, что не приводится никаких доказательств противопоставленности /%’/ и /ы/. А это значит, что в лучшем случае /%’/ есть /ы/. Но тогда вступает в силу другое возражение. Как известно, в русских словах, которые начинаются с [и], это [и] в позиции после твердого согласного предшествующего слова чередуется с [ы]. Но если [и] = /й/, остается непонятным, куда в таком случае девается /ы/. Ведь в русском языке после твердых согласных /ы/ возможен (ср. *воро[бий]и*, *о[тый]езд* и т. п.). Все это свидетельствует о том, что трактовка В. Г. Руделева не может быть принята. Позднее идея В. Г. Руделева получила дальнейшее развитие. Исходя из того, что признак «диезности» характеризует не согласные или гласные, а слог в целом, он объединяет соответствующие твердые и мягкие согласные, а значит, и /%’/ — /ы/ в одну фонему, так называемый

¹ Аванесов Р. И. Фонстика современного русского литературного языка. М., 1956. С. 49.

² Руделев В. Г. Фонология слова. Тамбов, 1975. С. 19–20.

консонантный ноль, или /?./. В результате делается вывод, что различие между словами *и* и *ы* заключается не в гласных или согласных, а существует на уровне слова: дисзный слог /'ы/ — недисзный слог /ы/!¹.

Итак, мы остаемся в кругу очерченных Л. В. Щербой аргументов «за» и «против» фонемы /ы/. При этом складывается довольно странная ситуация. Идея о самостоятельности /ы/ — пусть даже и «пережиточной» — держится на одном-двух исконно русских словах, начинающихся с [ы] (*ыкать, ы*), и нескольких экзотических заимствованиях. В то же время интуитивно ясно, что если бы в русском лексиконе по какой-либо случайности таких слов не оказалось, это принципиально ничего не изменило бы в фонологической системе, в частности в составе фонем. Таким образом, необходимы какие-то дополнительные аргументы.

В. Б. Кассевич высказал осторожное предположение, что поскольку «в словарь неграмотного или малограмотного носителя языка такие единицы (имеются в виду слова “ы”, “ыкать” и т. п.), скорее всего, не входят», «в системе фонем, складывающейся на базе ограниченного словаря, нет фонемы /ы/, а есть лишь вариант фонемы /i/»². При таком подходе фонема существует только в качестве экспонента словарной единицы и как бы полностью растворяется в слове (словоформе)³, а система фонем представляет собой некий конструкт, произвольно создаваемый лингвистом. С таким решением проблемы трудно согласиться, потому что, во-первых, синхронически фонологическая система, по нашему мнению, достаточно автономна по отношению к лексикону, а во-вторых, диахронически первична по отношению к нему. Конечно, лингвист моделирует синхронную фонологическую систему конкретного языка, в какой-то мере опираясь на лексикон, но подобный строго синхронический подход приводит к некой абсурдации. В то же время, если рассмотреть отношения между фонологическим уровнем и лексиконом с диахронических позиций, представляется очевидным, что фонологическая система языка не складывается на базе словаря. Скорее, наоборот: в нормальных условиях (если отвлечься от ситуаций двуязычия) никакое пополнение словаря не может происходить вопреки фонологической системе, которая в известном смысле существует как бы *до* словаря, или точнее — *до изменения словаря*. Заимствование или неологизм (хотя бы название буквы «ы») осваивается носителем языка в соответствии с его фонологической системой, т. е. пропускается через

¹ Руделев В. Г., Пискунова С. В. Русские консонанты (Предварительные замечания) // Фонология. Тамбов, 1982. С. 166–167.

² Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкоznания. С. 54. В частности, к этому мнению близко приведенное выше мнение Л. Л. Касаткина о наличии фонемы /ы/ в подсистеме необщепотребительных слов.

³ Подобно тому, как в концепции МФШ она растворяется в морфеме.

«фонологическое сито». Сам по себе факт отсутствия в лексиконе слов с начальным [ы] в нашем случае отнюдь не доказывает отсутствия фонемы /ы/ в фонологической системе. И наоборот, проникновение хотя бы одного слова с начальным [ы] в лексикон уже свидетельствует о наличии фонемы /ы/ в системе. С исторической точки зрения это вполне понятно: если нет фонемы /ы/, слова с начальным [ы] не пробыются через это «фонологическое сито». На наш взгляд, различия между литературной и просторечной системами фонем, если такие системы вообще могут сосуществовать, что само по себе проблематично, не могут зависеть от различий в словарном составе. Что касается самой возможности сосуществования литературной и просторечной фонетики именно как разных *систем*, то, по нашему мнению, такое сосуществование маловероятно, по крайней мере, в отношении *состава фонем* (оно, очевидно, возможно как переходное состояние при фонетических изменениях, но обсуждаемый случай не является таковым). Соответственно просторечные явления вполне законно могут использоваться при решении спорных вопросов состава фонем литературного языка и используются, например, для подтверждения наличия мягких заднеязычных как самостоятельных фонем в системе русского литературного языка (ср. просторечные формы *пекёт*, *текёт* и т. п.). Заметим, что многое зависит от того, как понимается термин «просторечие».

С нашей точки зрения, проблема установления состава фонем — проблема экспериментальная. Соответственно, проблема фонематичности /ы/ решается экспериментально: возможность непринужденно произнести какое-либо (пусть даже выдуманное) слово с начальным [ы] неискушенным носителем языка является для лингвиста недвусмыслиенным указанием на фонологическую самостоятельность /ы/. Разумеется, это рассуждение имеет смысл только в рамках фонологической концепции Петербургской школы. Таков был, в сущности, подход Л. В. Щербы к проблеме установления фонологического статуса звуков.

В связи с этим приведу результат не претендующего на строгость эксперимента, свидетельствующего о том, что для носителя русского языка /ы/ — самостоятельная, противопоставленная /и/, функциональная единица. Я попросил своего 7-летнего сына произнести слово *дырка* без первого звука. После некоторых дополнительных разъяснений был получен совершенно ясный ответ: [ы]рка. На провокационный вопрос, не получится ли в результате отбрасывания согласного [и]рка, последовал незамедлительный ответ: «Конечно, не [и]рка, а [ы]рка!» На просьбу проделать то же самое со словом *мятка* последовал недвусмыслиенный ответ: «[а]тка», что было довольно неожиданно, так как с учетом возможной графической интерференции прогнозировался ответ «[я]тка». В данном случае была применена несколько старомодная, но хорошо зарекомендовавшая себя в полевых условиях методика, которой

еще в начале XX в. пользовался выдающейся немецкий диалектолог К. Хааг. Он пояснял подобную методику следующим образом: «Если на вопрос “Вы называете это ke:s?” (т. е. Kasc “сыр”) в одном месте мне отвечают: “Да, khais”, а в другом: “Нет, khais”, то относительно последнего я не только знаю, что звуковое изменение e: в ai там уже закончилось и угасло, но могу также с уверенностью утверждать, что данный говор уже снова обладает словами со звуком e:»¹. Фонологический смысл выводов Хаага понятен с позиций современной лингвистики. Руководствуясь ответами информанта на элементарные вопросы, мы можем с уверенностью утверждать, что русский язык обладает фонемой /ы/. Правда, пока нет данных для ответа на вопрос — «уже» или «еще»? Иными словами, неясно, появилась ли фонема /ы/ снова или она никогда и не утрачивала своего фонологического статуса.

Дополнительным, но в сущности решающим, аргументом в пользу фонематической самостоятельности /и/ и /ы/ относительно друг друга является возможность переноса одной из этих фонем в позицию другой по аналогии: ср. иногда встречающееся произношение [ырка] ‘Ирка’, [у-ырк’и] у Ирки вместо нормативного [ирка], [у-ирк’и] вследствие морфонологической индукции форм [с-ыркай] с Иркой, [к-ырк’и] ‘к Ирке’, а также форм, возникающих после конечного твердого согласного предшествующего слова [брат ырк’и] ‘брат Ирки’. Известен случай, когда девочка написала письмо в редакцию газеты, подписавшись «Ваша Ырка». Краеугольным камнем фонологической теории со времен ее основания является положение о том, что «оттенки фонем, не будучи ассоциированы со смысловыми представлениями, являясь лишь неосознанным следствием окружающих условий, не способны к перенесению “по аналогии”»². Того же порядка — «по аналогии» с предложенными и сандхиальными формами — часто фиксируемое произношение безударного [ы] в словах с начальным «Э»: [ы]таж, [ы]коно-мика и т. п. Исследователи русской произносительной нормы отмечают зависимость такого произношения от частоты употребления слов. В частности, по мнению Л. А. Вербицкой, «чем чаще употребляется слово, тем вероятнее произнесение начального безударного [ы]; так, в словах типа этаж, этюд, экономика, электричество [ы] произносится в 75 % случаев; в словах... более редких, специальных терминах, в 80 % случаев произносится [е]»³. Факты «перенесения по аналогии» чрезвычайно показательны и подтверждают статус /ы/ как самостоятельной фонемы.

¹ Хааг К. Звуковые изменения и вытеснение слов // Немецкая диалектология. М., 1955. С. 87.

² Щерба Л. В. Русские гласные. С. 16.

³ Вербицкая Л. А. Русская орфоэпия. С. 54.

Таким образом, наличествуют факты, ясно и недвусмысленно свидетельствующие в пользу фонематической самостоятельности /ы/. В то же время частный вопрос о фонематической самостоятельности /ы/ в конечном итоге снова подводит нас к более общей проблеме теоретической фонологии, а именно к проблеме принципов парадигматического отождествления фонем.

В связи с этим представляется целесообразным сделать небольшое отступление и рассмотреть так называемое «четвертое правило различия фонем и вариантов» Н. С. Трубецкого, который, как известно, никогда не сомневался в том, что [ы] и [и] — варианты одной фонемы. Тем не менее это правило как будто говорит в пользу самостоятельности фонемы /ы/ в русском языке. Обратим внимание на это противоречие в концепции выдающегося фонолога не столько для того, чтобы воспользоваться им при обосновании фонемного статуса /ы/, сколько для того, чтобы перейти к обсуждению общих принципов установления состава фонем языка.

Итак, знаменитое «третье правило различия фонем и вариантов» Н. С. Трубецкого гласит: «Если два акустически (или артикуляторно) родственных звука никогда не встречаются в одной и той же позиции, то они являются комбинаторными вариантами одной и той же фонемы»¹. Совершенно очевидно, что это правило имеет непосредственное отношение к разбираемому нами случаю, если предположить, что нет слов, начинающихся на [ы], а нас интересует (чисто умозрительно) именно такая ситуация, при которой соответствующие слова отсутствуют. Данное допущение тем более оправданно, что многие лингвисты при решении фонологических проблем отказываются принимать во внимание так называемую малочастотную лексику. Сам Н. С. Трубецкой иллюстрирует «третье правило» другими примерами. Однако примечательно, что к нашему же случаю имеет отношение и «правило четвертое», которое формулируется Трубецким следующим образом: «Два звука, во всем удовлетворяющие условиям третьего правила, нельзя, тем не менее, считать вариантами одной фонемы, если они в данном языке могут следовать друг за другом как члены звукосочетания, причем в таком положении, в каком может встречаться один из этих звуков без сопровождения другого»². Соответственно, согласно «правилу четвертому», [ы] и [и] нельзя считать вариантами одной и той же фонемы, поскольку в русском языке они могут следовать друг за другом и — встречаться в этом положении без сопровождения друг друга: ср. [ты йгар'] Ты Игорь?, [выискат'] выискать, [выигрывают'] выигрывать и т. п.

¹ Трубецкой Н. С. Основы фонологии. С. 56.

² Там же. С. 57.

Здесь, однако, возникают некоторые проблемы, связанные с различием исходных позиций теории фонемы Щербы и фонологической концепции Трубецкого. Н. С. Трубецкой приводит на «четвертое правило» лишь один пример: дополнительная дистрибуция английских [r] («может находиться только в положении перед гласными») и [ə] (встречается «только в положении перед согласными») в силу того, что они могут следовать друг за другом, не позволяет признать их вариантами одной фонемы, несмотря на имеющееся между ними, по мнению Трубецкого, акустическое «родство»¹. Для школы Щербы, не признающей, как известно, критерия артикуляторно-акустического сходства, эти два английских звука не являются вариантами одной фонемы, поскольку они никогда не чередуются в одной морфеме. Тем самым «четвертое правило» Трубецкого для данного примера, с позиций Щербовской школы, избыточно. Но, может быть, оно сохраняет силу для [ы] и [и] (ведь эти звуки могут чередоваться в одной морфеме)? В таком случае это правило, если его перевести на язык современной Петербургской фонологической школы, можно было бы сформулировать следующим образом: два звука, находящиеся в дополнительной дистрибуции и способные чередоваться в одной морфеме, тем не менее, не являются аллофонами одной и той же фонемы, если они могут следовать друг за другом как элементы бифонемного сочетания, притом в такой позиции, в какой один из этих звуков может встречаться без сопровождения другого. «Правило», конечно, можно сформулировать, но остается вопрос, насколько данное правило соответствует действительному положению вещей.

Попытаемся проверить действенность данного правила. Можно утверждать, что звуки [у] и [·у], [о] и [·о], [а] и [·а] (второй звук каждой пары представляет собой гласный заднего ряда с "-образным переходом, встречающийся в русском языке в позиции после мягких согласных), заведомо попарно являющиеся аллофонами одной фонемы /у/, /о/, /а/, действительно не могут следовать друг за другом, т. с. соответствуют «правилу четвертому». Этому как будто противоречат формы типа [ду·ут] *дуют*, но, строго говоря, [·у] здесь не то же самое, что имеем в [пол’·ус] *полюс*, хотя в приблизительной транскрипции их часто обозначают одинаково. В частности, мы не можем признать, что в словах [пол’·ус] = /пол’ус/ *полюс* и [ду·ут] = /дуйут/ *дуют* последние гласные представлены «одинаковыми» аллофонами, так как они находятся в разных позициях: в первом примере — после согласного [л’], во втором — после гласного [у] (фактически [у·]). Причем уже на этапе синтагматической идентификации выясняется, что в первом слове [·у] реализует одну фонему, а во втором — бифонемное сочетание, которое на

¹ Трубецкой Н. С. Основы фонологии. С. 57–58.

следующем этапе фонологического анализа интерпретируется как /й/. Более показательными, на наш взгляд, были бы последовательности соответствующих звуков на стыках слов, так как именно стыки слов предоставляют возможность «столкнуться» два ударных аллофона, но в данном случае это невозможно, причем именно в силу аллофонного статуса [·у], которое не может встретиться в абсолютном начале слова.

В то же время есть примеры, которые как будто противоречат «правилу четвертому» Трубецкого. Так, в русском языке возможно следование друг за другом разных аллофонов фонемы /а/: [зъ-лгн’-ом] *за огнем*, при том что [л] может встречаться и без сопровождения [ъ] — [злгн’-ом] ‘загнем’. Видимо, «правило четвертого» нуждается в определенных ограничениях; в частности, может быть, оно не распространяется на безударные аллофоны в языках типа русского. Впрочем, для самого Н. С. Трубецкого это не составляло проблемы, так как он имел в виду, разумеется, только сильные позиции фонем, а не позиции нейтрализации.

Таким образом, даже если допустить, что за «правилом четвертым» стоит некая функциональная реальность и оно действительно отражает какие-то существенные связи между фонемами, остается самый важный вопрос: какова фонологическая сущность данного правила? Оставим этот вопрос без ответа, поскольку во всех предшествующих рассуждениях есть некий изъян, о котором и пойдет речь дальше.

В «правиле четвертом» (да и вообще в правилах парадигматической идентификации фонем) речь идет, строго говоря, не об аллофонах, а скорее о «звукотипах». В противном случае та часть правила, которая связана с вопросом о том, может ли «встречаться один из этих звуков без сопровождения другого», теряет всякий смысл, так как если один из звуков «встречается без сопровождения другого», то он и сам уже «другой» звук¹. Дело в том, что аллофон — это не объективная реальность, это лишь способ описания и представления фонологом физической реальности. Соотнести функциональную плоскость фонем и физическую плоскость «аллофонов» можно, видимо, только через психолингвистическую, точнее перцептивную, плоскость «звукотипов». Как известно из экспериментально-фонетических исследований, носитель языка в состоянии воспринимать и различать большее число звукотипов, чем имеется фонем в языке. Следует, очевидно, принять гипотезу о том, что восприятие речевого потока носителем языка зависит от фонологической системы. Соответственно, лингвист, выявляя состав фонем языка, сознательно или стихийно осуществляя фонологический анализ речевого потока (в первую очередь его сегментацию и отождествление сегментов) не как физической, а как перцептивной реальности.

¹ Например, выше мы приравнивали ударные [ы], [и] и безударные [ы], [и], хотя это, конечно, разные звуки.

Основательное обсуждение данных проблем с позиций Петербургской фонологической школы содержится в трудах В. Б. Касевича. Характерно следующее его соображение: «...Хотя чисто логически в решении вопросов фонологического отождествления фонов нередко возникают объективно неоднозначные ситуации, более тщательный учет фактов, обращение к данным речевого поведения носителей языка способствует снятию или, во всяком случае, существенному уменьшению неоднозначности, позволяя получить достаточно надежное решение проблемы»¹. С этими соображениями в целом необходимо согласиться. Однако некоторые возражения может вызвать то, что, по В. Б. Касевичу, обращение к данным речевого поведения выступает в качестве некоего приложения к лежащей в основе фонологического анализа логической процедуре, которая в большинстве случаев как будто позволяет получить приемлемые фонологические решения, но в некоторых неоднозначных ситуациях дает сбой. Нам же представляется, что, например, установление состава фонем и предваряющее его «отождествление фонов» не только не сводится к формально-логическим процедурам, но и вообще не имеет к ним никакого отношения. Для того чтобы установить состав фонем, у нас в принципе нет никаких других данных, кроме речевого поведения носителя языка. Ведь только исходя из наблюдений над этим поведением, лингвисты открыли фонему. Парадокс заключается в том, что фонолог, часто и сам являющийся носителем языка, уже заранее как носитель языка знает состав фонем, который он собирается научно обосновать. Впрочем, в разделе о фонологической сегментации текста В. Б. Касевич подчеркивает, что фонолог «не прилагает лингвистические критерии к долингвистическому материалу», а начинает анализ «с некоторой фонологической, фонемной записи текста, и все процедуры сегментации (соответственно, и отождествления фонов. — М. П.) представляют собой... способы доказательства определенного фонологического членения текста»². Видимо, эта предварительная «фонемная запись текста» и есть отражение языкового сознания носителя и его речевого поведения.

Как было отмечено выше, соотнести функциональную плоскость фонем и физическую плоскость можно только через перцептивную реальность, поэтому лингвист, устанавливая состав фонем языка, осуществляет фонологический анализ речевого потока не как физической, а как перцептивной реальности. В связи с этим не имеет смысла формулировать логические правила отождествления фонов, поскольку никаких фонов на самом деле не существует. Но даже если предположить совершенно невозможное, а именно то, что мы можем оперировать

¹ Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. С. 52.

² Там же. С. 17.

«(алло)фонами» до того, как получили состав фонем, нельзя при помощи принципа дополнительной дистрибуции и чередования в морфеме (как это принято сегодня в Петербургской фонологической школе, по крайней мере, в теории) произвести отождествление этих аллофонов.

Так, без обращения к языковому сознанию говорящего индивидуума нельзя решить, являются ли в русском языке твердые и мягкие согласные, например [т] и [т'], разными аллофонами одной фонемы /т/ или двумя самостоятельными /т/ и /т'/ . И здесь нам ничего не дает позиция абсолютного конца слова, так как можно допустить, что слова [мат] *мат* и [ма·т'] *мать* различаются не конечными согласными, а предшествующими им гласными [а] и [а']. Они и будут в таком случае самостоятельными фонемами /а/ и /а'/, к которым при дальнейшем анализе добавятся /·а/ (*мят*) и /·а'/ (*мять*). Ничто, кроме речевого поведения и сознания говорящих на русском языке, не мешает нам предпочесть последнее решение. Кстати, подобное или похожее решение — неприемлемое с психолингвистической точки зрения — было предложено эстонским фонологом Вийтсо, в описании которого согласные фонемы русского языка не различаются по твердости–мягкости (бемольности–диезности), а гласные фонемы образуют корреляцию по ряду (бемольности–диезности)¹. В рассматриваемом случае позиция конца слова кажется доказательной только потому, что мы как носители языка уже знаем, что твердые и мягкие согласные являются функциональными единицами, т. е. самостоятельными фонемами. Впрочем, реконструкция Вийтсо фонологической системы современного русского вокализма не покажется столь уж невероятной, если принять во внимание материал некоторых севернорусских говоров. Диалектологи обнаружили такие вологодские говоры, в которых, видимо, отсутствует противопоставление согласных по признаку твердости–мягкости, а гласные фонологически противопоставлены как передние и непередние: 〈и〉 — 〈ы〉, 〈·а〉 — 〈а〉, 〈·о〉 — 〈о〉, 〈·ω〉 — 〈ω〉, 〈·у〉 — 〈у〉². Однако существование таких говоров лишь подчеркивает неправомерность фонологического решения Вийтсо для литературного русского языка, поскольку весь звуковой строй этих севернорусских говоров (функционирование и особенно

¹ Вийтсо Тийт-Рейн. Об одной возможности описания фонологии русского языка // Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та. Вып. 139: Труды по русской и славянской филологии. Т. 6. Тарту, 1963. С. 405–409.

² Пауфошима Р. Ф. Согласные неполного смягчения перед гласными переднего образования в говорах Харовского р-на Вологодской области // Материалы и исследования по русской диалектологии. Новая серия. Вып. 2. М., 1961; Касаткин Л. Л. Гласные одного вологодского говора, не знающего противопоставления согласных по твердости–мягкости // Исследования по русской диалектологии. М., 1973. См. также: Касаткин Л. Л. Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для истории русского языка. М., 1999. С. 145–166, 365–371.

синтагматическое взаимодействие фонем, в частности, наличие аллофонической мягкости или полумягкости конечных согласных в положении перед начальным «передним» гласным следующего слова¹) абсолютно иной, чем звуковой строй литературного языка (и других говоров). Для обсуждаемой нами темы показательно, что «сближаются» эти системы лишь наличием противопоставления /и/ — /ы/, хотя реализуются эти фонемы в обеих системах по-разному. В отмеченных говорах «звук [и], как правило, продвинут назад по сравнению с литературным русским и такой же, как в литературном украинском, где он также выступает после твердых согласных. Звук [ы] тоже отодвинут назад в область средне-заднего или заднего ряда»². Таким образом, несмотря на все фонологические различия между этими северорусскими говорами и литературным русским фонетическое расстояние — «зона безопасности» — между фонемами /и/ и /ы/ сохраняется, что косвенно может свидетельствовать в пользу сохранения фонемного противопоставления /и/ — /ы/ в литературном русском и в других говорах, развивших противопоставление по твердости—мягкости. Кстати, указанные говоры с противопоставлением «передних» и «непередних» гласных фонем также начинают развивать противопоставление по твердости—мягкости, причем, с нашей точки зрения, это происходит вследствие воздействия литературного языка (и, возможно, говоров с противопоставлением твердых и мягких согласных). Иначе — в связи с так называемой «монофтонгизацией дифтонгов» — это объясняет Л. Л. Касаткин³ (подробнее этот вопрос обсуждается в главе 14).

Проблема соотношения формальных критерий фонологического анализа и языкового сознания носителя языка всегда была в центре внимания фонологов. Можно сослаться на авторитетное мнение А. Мартине, который писал: «На самом деле, в тех случаях, когда формальные критерии не дают нам ясного ответа, “чувство языка” нисколько не продвигает нас вперед; примером могут служить два *ch* в немецком языке (не ясно, можно ли считать их единой фонемой) или английские дифтонги [ai], [oi], [au] (каждый из которых истолковывается как одна либо как две единицы). Впрочем, ясно, что анализ, конечная цель которого заключается в том, чтобы понять функционирование данного языка, должен привести к результатам, согласующимся с типом умственной организации, соответствующим этому языку»⁴. С нашей точки зрения,

¹ Пауфошма Р. Ф. Фонетика слова и фразы в северорусских говорах. М., 1983. С. 58–62.

² Там же. С. 164.

³ Касаткин Л. Л. Современная русская диалектная и литературная фонетика... С. 165–166.

⁴ Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях (Проблемы диахронической фонологии). М., 1960. С. 52–53.

А. Мартине неправ тогда, когда фактически ставит знак равенства между формальными («чисто лингвистическими») критериями и обращением исследователя к языковому сознанию. Дело в том, что формальные фонологические критерии выкристаллизовываются на основе анализа языкового сознания носителей разных языков, потому что иного источника нет. А уже на основе результатов анализа языкового сознания мы можем сформулировать «собственно лингвистические» критерии синтагматической и парадигматической идентификации фонем (например, критерий морфемных или межсловных границ при сегментации речевого потока, критерий чередования и дополнительной дистрибуции при отождествлении фонов и т. п.). Соответственно, фонолог устанавливается, почему и каким образом языковая система определяет именно такую конфигурацию языкового сознания. И если эти формальные критерии работают на представительном материале хорошо изученных языков, у нас есть основание использовать эти критерии и при интерпретации звукового строя языков с ограничным объемом материала, в частности, в диахронических реконструкциях. В связи с этим было бы неверно при изучении хорошо документированного языка, каким является, например, современный русский язык, обращаться к фактам языкового сознания, к речевому поведению, т. е. проводить соответствующие эксперименты, лишь тогда, когда формальные лингвистические критерии не дают однозначного результата. Что же касается конкретных примеров из немецкого и английского языков, приведенных А. Мартине в качестве спорных, то в обоих случаях, кажется, возможно вполне однозначное решение при последовательном функциональном подходе с опорой на речевое поведение носителей языка¹.

Итак, установление состава фонем конкретного языка — это не формально-логическая процедура, а процедура, в конечном счете базирующаяся на анализе, иногда интуитивном, языкового сознания носителя языка. Это, видимо, прекрасно понимал основатель Петербургской фонологической школы Л. В. Щерба, посвятивший данной проблеме свою знаменитую статью 1909 г. «Субъективный и объективный метод в фонетике», в которой он, в частности, подчеркнул: «Строго говоря, единственным фонетическим (и фонологическим. — М. П.) методом является метод субъективный, так как мы всегда должны обращаться к сознанию говорящего на данном языке индивида, раз мы желаем узнать, какие фонетические различия он употребляет для целей языкового

¹ О фонологической трактовке Ich-Laut'a и Ach-Laut'a, а также немецких дифтонгов см.: Зиндер Л. Р. Теоретический курс фонетики современного немецкого языка. СПб., 1997. С. 102–105, 115–118. Что касается немецких и английских дифтонгов, то их монофонемная интерпретация в настоящее время является общепринятой.

общения, и другого источника, кроме его сознания, у нас вовсе не имеется (курсив наш. — М. П.)»¹. Поэтому, наверное, Л. В. Щерба, в отличие от Н. С. Трубецкого, так и не оставил строго сформулированных правил отождествления звуков. Характерно, что ученик Щербы Л. Р. Зиндер четко сформулировал соответствующие «правила» лишь во втором издании своей «Общей фонетики» (М., 1979).

Следует подчеркнуть, что приоритетность языкового сознания носителей языка при фонологическом анализе не является особенностью только школы Л. В. Щербы. Видимо, даже Н. С. Трубецкой с его антипсихологизмом² в какой-то степени чувствовал это, так как на самом деле для него «правила различения фонем и вариантов» суть лишь практические рекомендации, а не теоретические постулаты. Антипсихологический пафос Трубецкого во многом вызван тактическими соображениями в его борьбе за «функциональное» определение фонемы против старого «психологического» определения, восходящего к Бодуэну де Куртенэ. Речь у Трубецкого идет главным образом об *определении* фонемы, а не о процедурах установления состава фонем, хотя эти вопросы, несомненно, связаны друг с другом. В то же время некоторые другие представители Пражской школы проницательно указывали на то, что «определение фонемы необходимо давать только с учетом языкового сознания говорящих, которое прямо обусловлено внутренней структурой системы данного языка... [звуковая сторона] интерпретируется исключительно сознанием говорящих и, стало быть, существует благодаря своей фонологической значимости»³.

Говоря о языковом сознании, оставляем пока за скобками те проблемы, которые возникают в связи с разграничением особенностей речевого поведения носителя языка, определяемых его языковой способностью, и особенностей речевого поведения, определяемых его языковой компетенцией, т. е. проблемы, которыми занимаются специалисты по экспериментальной фонетике⁴. Таким образом, развитие фонологической мысли продемонстрировало невозможность реализации чисто дистрибутивного анализа в лингвистическом, особенно фонологическом исследовании. Это вызвано тем, что лингвист, в данном случае фонолог, работает не с текстом, а с информантом, носителем языка,

¹ Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. С. 137.

² Трубецкой Н. С. Основы фонологии. С. 46–52.

³ Новак Л. Проект нового определения фонемы (1939 г.) // Пражский лингвистический кружок. М., 1967. С. 97–98.

⁴ Об этом см.: Бондарко Л. В. О разных способах построения фонологической модели // Фонетика-83. Материалы к X Международному конгрессу фонетических наук (август 1983 года, Уtrecht, Нидерланды). М., 1983.

а информант, в сущности, призван ответить «на два типа вопросов: (1) правильна ли предъявляемая форма (говорят так или нет)? (2) являются ли две предъявляемые формы тождественными по значению или различными?»¹. Итак, всякая фонологическая теория так или иначе отталкивается от знания, уже полученного от информанта-носителя (у фонолога и нет другого источника), хотя в некоторых случаях, как мы знаем, сознательно и принципиально (как, например, в случае МФШ) отстраняется от этого знания.

Затронутая проблематика «перспективной реальности» приобретает особую остроту тогда, когда от современных языков и диалектов мы переходим к предшествующим состояниям звуковых систем, т. с. вступаем в сферу диахронической фонологии. Понятно, что трудности при этом вызваны резким сокращением источников информации о языковом сознании носителей реконструируемых языков (вследствие отсутствия самих носителей). Тем не менее общий тезис и здесь остается в силе: узнать о том, какова была, например, система фонем древнерусского языка (или древненовгородского диалекта) XI в., мы можем только из данных анализа речевого поведения носителей языка. В диахронической фонологии такими косвенными источниками сведений о языковом сознании (поскольку нельзя поставить языковой эксперимент) могут быть данные письменности (графика и орфография памятников, грамматические трактаты), характер освоения заимствований и т. п. Теоретической базой диахронической фонологии при реконструкциях фонологических систем должны стать те закономерности, которые установлены в соотношении системы фонем и определяемого ею языкового сознания носителей языков, поддающихся непосредственному наблюдению. Важная роль будет принадлежать здесь тем «правилам» и «принципам», например сегментации и отождествления фонем, которые сформулированы в синхронической (теоретической) фонологии. На самом деле эти «правила» и «принципы», если они определены адекватно речевому поведению говорящих, являются тем инструментом, который позволяет нам заглянуть в языковое сознание носителей древних языков, и соответственно тем фундаментом, на котором держится диахроническая фонология.

Обратимся теперь снова к фонеме /ы/ и рассмотрим вопрос о том, действительно ли она представляет собой некий архаизм системы и находится на пути к исчезновению, как полагал Л. В. Щерба и многие его последователи, признававшие фонетический статус /ы/ в современном русском языке. Что касается сторонников аллофонного статуса [ы], то они считают, что фонема /ы/ утратилась давно (к XV в.), вскоре после

¹ Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. М., 1966. С. 47.

падения редуцированных и возникновения корреляции по твердости–мягкости. Процесс утраты фонемы /ы/ подробно описан Р. И. Аванесовым¹.

С точки зрения традиционной диахронической фонологии, объединение самостоятельных древнерусских фонем /ы/ и /и/ в одну обусловлено тем, что контрастная дистрибуция [и] и [ы] превращается в дополнительную в результате возникновения контрастной дистрибуции палатализованных и непалатализованных согласных после и вследствие падения редуцированных гласных. Таким образом, древнерусские фонемы /и/ и /ы/ оказываются в дополнительной дистрибуции. Можно ли вследствие этого считать их комбинаторными вариантами одной фонемы? Видимо, нет, так как они не могут (пока еще!) чередоваться в одной морфеме. А возможность чередования является одним из принципиальных условий для признания двух звуков реализациями одной фонемы, т. е. для их отождествления. Затем, после установления дополнительной дистрибуции /и/ и /ы/, в русском языке происходят некоторые частные фонетические (на стыках слов) и морфологические (выравнивание твердого и мягкого склонения) изменения, которые приводят к чередованию [и] и [ы] в составе одной морфемы. И действительно, формально, как бы со стороны внешнего наблюдателя, отношения между данными звуками начинают напоминать отношения комбинаторных вариантов фонемы. Однако внутренние отношения между /и/ и /ы/ в системе фонем совсем не обязательно должны были измениться. Это связано с тем, что, кроме аспекта системы, существует еще и аспект *нормы* («нормальных» реализаций, по Э. Косериу), который не только нецелесообразно, но и невозможно исключить из понятия *системы* фонем в широком смысле. Мы исходим из того, что если в рамках синхронической фонологии теоретически, может быть, и полезно противопоставление *системы* и *нормы*, то в диахронических исследованиях исключение аспекта *нормы* из понятия *системы* приводит к своего рода мистификации фонологической системы. *Система* и *норма* — это два аспекта звукового строя, тесно связанных друг с другом: норма — это система осознанная носителем языка. Проблема эта требует, конечно, дальнейшего изучения.

Итак, суть наших возражений, касающихся диахронического аспекта взаимоотношений /ы/ и /и/, заключается в следующем. Во-первых, две самостоятельные гласные фонемы не обязательно обязательно должны объединиться в одну фонему только потому, что в системе согласных появились какие-то новые фонемы, даже если эти гласные различаются исключи-

¹ Аванесов Р. И. Из истории русского вокализма. Звуки I и Y // Вестн. Моск. ун-та. 1947, № 1. Статья носит программный характер и неоднократно переиздавалась (см.: Реформатский А. А. Из истории отечественно фонологии. М., 1970; Аванесов Р. И. Русская литературная и диалектная фонетика. М., 1974).

тельно признаком ряда, а в системе согласных возникла корреляция по признаку твердости—мягкости. Во-вторых, объединение /ы/ и /и/ в одну фонему не может происходить вследствие каких бы то ни было частных морфологических процессов, поскольку фонологическая система достаточно автономна как по отношению к лексику, так и по отношению к морфологической системе. Думается, не случайно в истории русского языка не произошло фонетического (а значит, по нашему мнению, и фонематического) слияния /и/ и /ы/, как это имело место в некоторых других славянских языках (украинском, чешском, словацком, сербохорватском, македонском и др.), т. е. в языках, в значительно меньшей степени развивших корреляцию по твердости—мягкости.

Впрочем, Л. Р. Зиндер, по-видимому, допускал возможность дефонологизации вследствие изменения дистрибуции. Он полагал, что слияние двух фонем в одну может происходить двумя способами: 1) две фонемы становятся аллофонами одной фонемы (и здесь он приводил в качестве единственного примера именно историю русских фонем /ы/ и /и/, процесс, который, по его мнению, еще не завершился); 2) две фонемы становятся факультативными вариантами одной фонемы, видимо, с последующим вытеснением одного из них¹ (это и есть собственно диахроническая нейтрализация). Нам же представляется, что фонематические отношения между единицами системы могут быть преобразованы (имеется в виду именно дефонологизация рассматриваемого типа) только при наличии собственно фонетического (в узком смысле) изменения, т. е. через механизм диахронической нейтрализации, чего в данном случае не наблюдается.

Некоторые высказывания М. И. Стеблин-Каменского также могут быть поняты как признание возможности дефонологизации вследствие изменения дистрибуции. Рассматривая слияние «толстого l» и «тонкого l» в шведском и норвежском, он писал: «У “толстого l” (фонетически — какуминальное [‘r]. — М. П.) есть сильная тенденция к комплементарному распределению с латеральным дентальным, или “тонким l”, т. е. к слиянию с ним в одну фонему... Но эта общая тенденция ни в одном норвежском и шведском диалекте не находит завершения: “тонкое l” и “толстое l” все же встречаются в одинаковых положениях, т. е. потенциально или фактически противопоставляются друг другу»². Внешне ситуация как будто похожа на ту, которую мы наблюдаем в отношении русских /ы/ и /и/. Но это только на первый взгляд. Причины и особенно механизм шведско-норвежского слияния двух фонем совершенно иные и в некотором смысле противоположны тому, что мы наблюдаем в рус-

¹ Зиндер Л. Р. Общая фонетика. С. 244.

² Стеблин-Каменский М. И. Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков. С. 135.

ском. В шведском и норвежском «толстое /l/» постепенно вытеснялось из произношения «тонким /l/», в ряде случаев становясь стилистическим вариантом последнего. Ни о каком постепенном вытеснении фонемы /ы/ фонемой /и/ в определенной позиции и стилистической варианто-сти между ними речи, как известно, нет. Фактически у М. И. Стеблин-Каменского дополнительная дистрибуция выступает как своего рода этап или как сопутствующий фактор в процессе слияния двух фонем, а не как причина этого слияния.

Таким образом, если мы будем придерживаться некой корреляции между системой фонем, нормой и языковым сознанием носителя языка, само по себе изменение в дистрибуции, равно как и некоторые морфологические изменения, не могут привести к объединению самостоятельных фонем /ы/ и /и/ в одну фонему. Однако изменение в дистрибуции и морфологические процессы в принципе, видимо, могут создать критическую массу и подтолкнуть данные фонемы к слиянию, что и происходило в некоторых позициях, где /и/ > /ы/. Но слияние такого рода как по результатам, так и по механизму изменения не имеет ничего общего с тем фонологическим сдвигом, который называют объединением /ы/ и /и/ в одной фонеме. С другой стороны, собственно фонетическое изменение, если оно выходит за пределы аллофонного варьирования, обычно приводит к изменениям в системе фонем. В качестве примера приведем древнерусский переход *ě = [ä] из нижнего подъема в среднесверхний *ě = [ê] вследствие отталкивания от *ä < *ë, это отразилось на системе фонемных признаков и тем самым на системе фонем, так как это уже «другие» фонемы, хотя репертуар (количество) остался тем же¹. Еще одним примером может служить возникновение фонемы /щ/ в современном русском языке в результате «чисто фонетического» изменения бифонемного сочетания /шч/, изменения, не вызванного, кажется, уж никакими системными факторами. Всякое «чисто фонетическое» изменение, если это действительно изменение, а не аллофонное варьирование, является фонологическим: оно либо вызвано процессами, проходящими в системе фонем, либо само преобразует эту систему.

Историкам русского языка следовало бы обратить внимание на любопытный исторический факт, касающийся фонемы /ы/. Именно в то время, когда в русском языке якобы возникли все условия для утраты противопоставления /ы/ ↔ /и/, и, по мнению одних фонологов, фонема /ы/ должна была окончательно исчезнуть, а по мнению других — уже исчезла, в лексикон проникают такие слова, как название буквы ы и глагол ыкать, а также возникают разнообразные явления, свидетельствующие о функциональной самостоятельности и продуктивности фонемы /ы/ (см. выше). Поразительно, что никому не показалась странной замена старого названия буквы «еры» на новое «ы» именно тогда,

¹ Подробнее см. главу 9.

когда, по крайней мере, уже сложились все необходимые формальные условия для объединения /ы/ и /и/ в одну фонему. На самом деле этот, казалось бы, малозначительный для фонологической системы факт подтверждает, что фонема /ы/ остается вполне самостоятельной и нет никаких оснований считать ее исчезающей или «пережиточной».

Итак, фонолог должен быть предельно осторожен при анализе таких случаев, когда известно, что предполагаемые аллофоны одной фонемы функционировали как самостоятельные фонемы на предшествующих этапах развития данного языка. Соответствующий учет истории звукового строя отнюдь не означает смешения диахронического и синхронического подходов, но привносит динамический аспект в синхронное описание, а также дает в руки исследователю дополнительные факты, позволяющие прояснить характер связей в синхронной системе. Для нас же сейчас важен совсем другой аспект отношений между синхроническим и диахроническим подходами: адекватная интерпретация синхронных фонологических отношений позволяет корректировать решение диахронических проблем. В конце концов, историк языка в своем исследовании должен двигаться от более известного к менее известному, т. е. ретроспективно. В частности, тот факт, что фонема /ы/ в современном русском языке не подает никаких признаков исчезновения, позволяет по-иному взглянуть на некоторые фонологические процессы древнерусского языка. Ведь на самом деле традиционная реконструкция исторической фонологии русского языка во многом держалась на том, что для современного состояния отрицается фонематический статус /ы/. Затем ссылками на исторические процессы частенько доказывали отсутствие фонемы /ы/ в современном языке.

Адекватное решение вопроса о статусе /ы/ является более важным для интерпретации русского вокализма, чем, например, проблема самостоятельности мягких заднеязычных и долгих мягких шипящих для системы консонантизма. Дело в том, что признание фонематической самостоятельности /ы/ и /и/ не позволяет представить систему гласных фонем лишенной признака ряда, а значит, по мнению многих фонологов, более экономной, более симметричной и т. д., чем она оказывается при альтернативном решении обсуждаемого вопроса. Если фонема /ы/ отсутствует, система гласных фонем может быть описана при помощи двух дифференциальных признаков (ДП) — подъема и лабиализованности: верхние /и/, /у/ — средние /е/, /о/ — нижняя /а/, лабиализованные /у/, /о/ — нелабиализованные /и/, /е/, /а/. При этом опираются на два весьма сомнительные положения.

Во-первых, в фонологии (в большинстве школ) обычно признается, что если система согласных характеризуется ДП палатализованности, то для системы гласных признак рядя является избыточным. Встречаются, однако, и другие подходы даже у лингвистов, в целом разделяющих взгляды МФШ. Например, Г. О. Винокур писал: «Что касается

отдельных физиологических признаков гласных звуков, то лабиализация... в русском языке не имеет самостоятельной функции, а есть лишь сопроводительный признак гласных заднего ряда... своеобразная роль в русском звуковом строе принадлежит противопоставлению гласных верхних и неверхних... и гласных передних и непередних»¹. Здесь за псевдофизиологической терминологией, конечно, скрывается фонологическое описание. Такого же, в сущности, взгляда на соотношение признаков ряда и лабиализации придерживаются С. В. Кодзасов и О. Ф. Кривнова, однако их трактовка признака ряда и подъема, на наш взгляд, неоправданно «фонетична» (подъем: верхний — средний — нижний; ряд: передний — центральный — задний)².

Во-вторых, принято считать, что система фонем должна обладать минимальным набором ДП, достаточным для различия всех фонем. Оба этих положения никем серьезно не обоснованы и, надо думать, не могут быть обоснованы. В принципе сторонники школы Л. В. Щербы всегда скептически относились к подобным идеям. Но главный аргумент заключается в том, что сначала устанавливается состав фонем, а затем выявляются признаки фонем³. В отечественной фонологии имеется, кажется, только одна серьезная и сознательная попытка обосновать фонологическую процедуру *одновременного* выявления и состава фонем и фонемных признаков. Она принадлежит А. С. Либерману⁴, но была сформулирована в общем виде и не получила дальнейшего развития.

Во всяком случае, считаем целесообразным исходить из того, что фонолог не может обосновывать аллофонный статус [ы], исходя из отсутствия ДП ряда в системе гласных. Наоборот, установив, что в системе есть фонема /ы/, он вынужден констатировать наличие ДП ряда у гласных, поскольку только таким признаком могут различаться /и/ и /ы/. Оппозиция /и/ ↔ /ы/ — единственное противопоставление гласных, в котором фонемы различаются лишь признаком ряда. Таким образом, фонема /ы/ выполняет своеобразную роль в системе гласных: она как бы «охраняет» ДП ряда, подчеркивает, что в системе русского вокализма признак ряда является фонемным. Вполне можно допустить, что и при отсутствии особой фонемы /ы/ у нас были бы основания считать признак ряда фонемным в системе русского вокализма, однако наличие противопоставления /и/ ↔ /ы/ делает всякие сомнения в этом беспочвенными.

¹ Винокур Г. О. Русское сценическое произношение (1948 г.) // Винокур Г. О. Биография и культура. Русское сценическое произношение. М., 1997. С. 132.

² Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Общая фонетика. М., 2001. С. 363–364.

³ Кузнецов П. С. Об основных положениях фонологии. С. 479 (также см.: Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. С. 47).

⁴ Либерман А. С. Порядок действий в фонологии и реальность различительных признаков // ВЯ. 1971. № 3. С. 60–72.

Оставляя пока в стороне важнейшую и удовлетворительно пока не решенную проблему природы дифференциальных признаков фонем, подчеркнем, что здесь речь идет о фонологическом, а не об артикуляторно-акустическом признаке ряда. Известно, что русские гласные /a/, /o/, /y/ в позиции после мягких согласных с артикуляторно-акустической точки зрения являются неоднородными по ряду, однако с фонологической точки зрения они — фонемы непереднего ряда.

Соответственно, система гласных будет выглядеть следующим образом: верхние /и/, /ы/, /у/ — неверхние /с/, /о/, /а/; передние /и/, /е/ — непередние /ы/, /у/, /о/, /а/; лабиализованные /у/, /о/ — нелабиализованные /и/, /ы/, /е/, /а/. Такая достаточно традиционная модель системы с пересечением ДП ряда и лабиализованности (оставляем в стороне проблему признака подъема) более адекватно отражает звуковой строй русского языка. Эта модель согласуется, в частности, с характером аллофонного варьирования. Имеется в виду тот факт, что непередние фонемы после палатализованных согласных реализуются в дифтонгоидных гласных, сильно отличающихся от гласных действительно переднего ряда, имеющихся в других языках¹. Некоторые другие аспекты современного русского вокализма будут рассмотрены в следующей главе.

Глава 6

ПРОБЛЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ ФОНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА: ПРОЦЕСС ФОНОЛОГИЗАЦИИ [Ы]

Исследователи уже обращали внимание на такое явление русской спонтанной речи, как перенос дополнительного ударения на первый слог в сложных словах: *в[ы]сокопоставленный*, *вн[у]тривидовоб[ы]*, *[Э]лектропереда[ч]а*, *ж[Э]лезобетон[ы]*, *с[а]баководство* и др. Подобный перенос факультативен, однако он не ограничивается лишь сложными словами. Недавно многие из этих фактов обобщила в специальной статье Р. Ф. Касаткина². Во-первых, она подтвердила известный факт, что слова с оценочным значением типа *замечательно, великолепно, потрясающе* и т. п.

¹ Бондарко Л. В. Фонетическое описание языка и фонологическое описание речи. С. 61–62.

² Касаткина Р. Ф. Некоторые наблюдения над особенностями словесного ударения в современном русском языке. Новые энклиномены? // Русистика. Славистика. Индоевропеистика. М., 1996. С. 406.

в экспрессивной речи часто получают дополнительное ударение на первом слоге, а во-вторых, привела многочисленные примеры того, что в спонтанной речи подобная постановка дополнительного ударения на первом слоге наблюдается и в других многосложных словах: ср. *Всю жизнь он посвятил п[ъ]пуляризации дешевых изданий; Следующая станция — M[ъ]якобская* и т. п.

Статья Р. Ф. Касаткиной имеет подзаголовок — «Новые энклиномены?». Отрицательно отвечая на этот вопрос, автор, тем не менее, видит некоторое сходство между акцентологическими отношениями, реконструируемыми для древнерусского языка, и приведенными фактами современного русского. «Энклиноменами» в древнерусской акцентологической системе Р. О. Якобсон назвал акцентно самостоятельные словоформы, у которых все слоги фонологически безударны¹. Предполагается, что в раннем древнерусском языке фонологически ударные слоги были противопоставлены фонологически безударным: «Фонологическая ударность фонетически реализуется в каком-то виде просодического усиления. Фонологическая безударность реализуется двумя способами, в зависимости от позиции: 1) в начальном слоге энклиноменной тактовой группы — некоторым просодическим усилением, отличным, однако, от того, которым реализуется фонологическая ударность; 2) во всех прочих позициях — отсутствием какого бы то ни было усиления»².

Таким образом, действительно можно провести некоторую аналогию между древнерусским просодическим усилением первого слога энклиномена, реализующим фонологическую безударность (А. А. Зализняк назвал такое усиление «автоматическим ударением» в отличие от «автономного ударения», т. е. фонологического), и современным просодическим усилением первого слога многосложных слов в спонтанной речи, которое называют «дополнительным ударением» и которое можно трактовать как «фонологическую безударность». Но на этом сходство, в общем-то, заканчивается, поскольку в древнерусском автоматическое ударение могло появляться в словоформах, которые не имели ни одного фонологически ударного слога³, а в современном языке дополнительное ударение является вторым ударением словоформы. Более

¹ Якобсон Р. О. Опыт фонологического подхода к историческим вопросам славянской акцентологии // American Contributions to the Fifth International Congress of Slavists. The Hague, 1963. Р. 9.

² Зализняк А. А. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985. С. 119–120.

³ Впрочем, такая реконструкция для древнерусского языка сама по себе вызывает сомнения. Ср. теоретические и типологические аргументы в пользу традиционной трактовки в работе: Касевич В. Б., Шабельникова Е. М., Рыбин В. В. Ударение и тон в языке и речевой деятельности. Л., 1990. С. 46.

того, в современном русском литературном (разговорном) языке дополнительное ударение — это второе ударение слова, оно в известном смысле так же «фонологично», как и основное ударение словоформы, т. е. позиция под дополнительным ударением — это, с точки зрения противопоставления гласных фонем, такая же позиция, как и под основным ударением. Однако здесь и возникают новые вопросы.

Можно привести еще одно явление, отдаленно напоминающее процесс, фиксируемый в современном литературном произношении. Описывая окающие олонецкие говоры северорусского наречия, А. А. Шахматов обнаружил в них фонетическое явление, называемое местными жителями *ляпаньем* и которое он объяснял финским влиянием. *Ляпаньем* называют перенос ударения с конечного ударного слога на начальный. С этим явлением связаны некоторые особенности вокализма начального слога: при переносе ударения на первый слог фонетического слова оказавшиеся под новым ударением этимологические *о* и *е* переходят в *а*: *нащевать, пакажись, атдохни, пападья, са христом, сгаворись* и т. п.¹ Исследователи *ляпанья* отмечают, что в некоторых ляпающих заонежских говорах устройство вокализма под перенесенным и неперенесенным ударениями различно: «под перенесенным ударением и в безударной позиции рефлексы **о*, **ъ*, **е*, **ъ*, **с* одинаковы или близки и резко отличаются от рефлексов тех же гласных под неперенесенным ударением². Происхождение *ляпанья* нуждается в дальнейшем изучении.

С фонологической точки зрения нас интересует не столько сам факт постановки или переноса ударения на первый слог многосложных слов, сколько одно обстоятельство, сопровождающее данное явление, а именно возможность постановки дополнительного ударения на так называемом редуцированном гласном [ъ], который является аллофоном фонемы /а/. Приводя результаты своих наблюдений, Р. Ф. Касаткина отмечает: «Акцентное выделение первого слога может не менять качества гласного, и под ударением может оказаться редуцированный гласный [ъ]... В современной русской речи это приводит к неожиданному для вокалической системы русского языка эффекту: под ударением оказывается редуцированный гласный — [ъ] (после твердых согласных) и [и] (после мягких). Ср. следующие примеры: *к[ъ]ноплевобство, к[ъ]раблекрушение, м[ъ]локозавод, п[ъ]пуляризация, с[ъ]баковобство, в[ъ]леколéпный, д[ъ]вятилéтний, з[ъ]лениоглáзый* и др. Причем, если в некоторых из приведенных примеров возможно и “прояснение” гласного

¹ Гринкова Н. П. К изучению олонецких говоров // А. А. Шахматов. 1864–1920: Сб. статей и материалов. М.; Л., 1947. С. 369, 381 (здесь приводятся материалы записей Шахматова в Заонежье).

² Тер-Аванесова А. В. Об одной славянской акцентной инновации // Славянское и балтийское языкознание. Просодия. М., 1989. С. 219.

первого слога, т. е. произношение нередуцированного гласного (*м[ъ]локозаво́д* и *м[ò]локозаво́д*, *з[’и]леноглázый* и *з[’ё]леноглázый*), то в других словах “прояснение” первого гласного представляется почти невозможным (*к’оноплебдство*, *к’ораблестроéние*, *’обороноспособность*, *с’обаковбдство*, *п’ятидюймбвка*, *т’яжелоатлéтика* — только с редуцированным гласным)»¹. Следуя традиции МФШ, Р. Ф. Касаткина в своей исследовательской практике предпочитает работать не столько с фонемами, сколько с так называемыми звуками языка², поэтому возникновение подударных [ъ] и [ѝ] — это для нее повод отметить, какие звуки возможны, а какие невозможны в той или иной позиции под ударением. Вопрос о фонематической принадлежности данных звуков даже не ставится, видимо, как несущественный для целей работы и при необходимости решаемый в рамках обычных процедур МФШ, причем [ъ] и [ѝ] в этом контексте рассматриваются как явления одного порядка. Перед фонологом, однако, сразу встает вопрос, который может быть переведен в диахроническую плоскость: не меняется ли фонематический статус [ъ] вследствие того, что этот звук оказывается возможным под ударением?³ И если относительно [ѝ] ответ более или менее ясен — этот звук представляет собой аллофон фонемы /и/, то появление подударного [ъ] позволяет, кажется, поставить вопрос о возникновении нового противопоставления и соответственно условий для зарождения новой фонемы в системе русского вокализма. Рассмотрим некоторые аспекты такой постановки проблемы.

Может показаться, что ничего нового в фонологическом статусе [ъ] в связи с его «попаданием» под ударение не происходит, поскольку [ъ] оказывается не под основным ударением, а под дополнительным, которое само позиционно обусловлено. Действительно, дополнительное ударение, о котором идет речь, в значительной степени обусловлено позиционно. Условия появления дополнительного ударения следующие: (1) это должен быть непременно первый слог словоформы и (2) это не должен быть непосредственно предударный слог. Подобная фонетическая позиционная обусловленность опять-таки сближает данный случай с древнерусским просодическим усилением первого слога энклиноменнов. Более того, наше современное дополнительное ударение началь-

¹ Касаткина Р. Ф. Некоторые наблюдения над особенностями словесного ударения... С. 406–407.

² Кузнецов П. С. Об основных положениях фонологии. С. 473–474.

³ Строго говоря, [ъ] и [ѝ] — это, конечно, разные «звуки», но фонетист-экспериментатор их не без основания идентифицирует, причем не столько на основании фонетического сходства, сколько на основании их непротивопоставленности. Нас интересует здесь факт появления под ударением звука, который был невозможен в такой позиции раньше, т. е. фактически возникновение противопоставления [á]–[ъ].

ногого слога многосложных слов может служить иллюстрацией реальной возможности «нефонологического» просодического усиления наряду с наличием фонологического ударения (типа того, что реконструируется для древнерусского периода): просодическое усиление есть, но носитель языка его нормально не замечает, поскольку оно реализует фонологическую «бездарность». Обычно такое нефонологическое просодическое усиление относится к интонационному уровню и находится в ведении суперсегментной фонетики. В частности, Р. Ф. Касаткина считает, что «дополнительное ударение — явление не словесной, а фразовой просодии, и возникает оно лишь в тех случаях, когда этого требуют просодико-семантические условия оформления фразы»¹. Однако специфика нашего случая в том, что он является пограничным, затрагивая как сегментный, так и суперсегментный уровни звукового строя. Это позволяет предположить, что отмеченное фонетическое явление оказывается своеобразной точкой пересечения синхронии и диахронии.

Модель фонологической безударности дополнительного ударения несомненно присутствует в звуковом строе современного русского языка. Однако, с другой стороны, ударение — пусть и дополнительное — это все-таки *ударение*. И носители языка хорошо чувствуют различие фонологической ударности и безударности, причем отнюдь не благодаря набору гласных фонем, противопоставляемых в той и другой позициях: очевидно, например, что в таких словоформах, как *тр[’о]хсóт*, *четыр[’о]хсóт /o/* после мягкого согласного — безударное, а в *в[’и]-ликолéпный*, *д[’и]ятилéтний /и/* — под ударением. Естественно поэтому предположить, что модель «фонологической ударности дополнительного ударения» также присутствует в современной фонологической системе. Таким образом, дополнительное ударение постоянно балансирует на грани фонологической ударности—бездарности. Из этого положения вытекает один любопытный вывод, а именно: звук [ъ] постоянно балансирует на грани аллофонного и фонемного статуса. Смена модели дополнительного ударения может способствовать фонологизации [ъ] = /a/ > /ъ/.

Представляется, что этому не противоречат и особенности восприятия русских гласных. Экспериментально-фонетические исследования показывают, что опознаваемость выделенного из контекста второго предударного [ъ] как гласного /а/ (менее 10 %) принципиально меньше, чем «правильное опознание» [а] первого предударного слога и других предударных гласных (около 80%)². Возможно, эти особенности восприятия [ъ] отражают сдвиги, происходящие в фонологической системе.

¹ Касаткина Р. Ф. Некоторые наблюдения над особенностями словесного ударения. С. 402; см. также: Каленчук М. Л., Касаткина Р. Ф. Побочное ударение и ритмическая структура русского слова на словесном и фразовом уровне // ВЯ. 1993. № 4.

² Бондарко Л. В. Фонетика современного русского языка. С. 138–139.

Таким образом, в данном случае мы сталкиваемся, возможно, с фонологическим изменением, происходящим на наших глазах, когда «зародыш будущего фонематического различия» (по образному выражению Л. Р. Зиндера) превращается в самостоятельную фонему. Становится понятным тогда и тот факт, что именно в экспрессивной речи (в словах с экспрессивным значением) раньше всего было замечено факультативное дополнительное ударение и соответственно произношение подударного [ъ] (з[ъ]мечательно, н[ъ]трясающе, г[ъ]ловокружительный и т. п.), поскольку именно стремление к экспрессивности часто приводит к изменениям в языке. Замечательно и то, что отмеченные исследователями слова, которые не допускают «прояснения» подударного [ъ] (к`оноплебóдство, к`ораблестроéние, `обороноспособность, с`обаковóдство; думаю, что сюда следует присоединить и м[ъ]локоzавóд¹, н[ъ]пуляризáция), это слова, в которых подударное [ъ] находится в морфологически изолированной позиции. Известно, что фонетические изменения часто (а может быть, обычно) начинаются с морфологически изолированных позиций². Таким образом, мы, носители русского языка, возможно, являемся свидетелями довольно редкого феномена в истории фонологической системы — фонологизации аллофона.

Материал, приведенный и рассмотренный Р. Ф. Касаткиной, позволяет сделать еще один интересный вывод относительно состояния современного русского вокализма. Она отмечает: «Представляется невозможным в указанных условиях произношение гласного нижнего подъема после мягких согласных: в словах пятидюймóвка, пятисотлéтие, прямолинéйный, тяжеловéсный и т. п. гласный первого слога под дополнительным ударением может “проясняться” только до степени открытости [е], но не более. Можно предположить что здесь происходит как бы скрытое отталкивание от яркой диалектной черты — яканья. По отношению к двум другим чертам диалектного вокализма — оканью и эканью, как видно из приведенных примеров, система вокализма литературного языка оказывается более терпимой. При этом экающéе произношение, как кажется, занимает более сильные позиции, в то время

¹ Обнаруженный Р. Ф. Касаткиной пример с «прояснением» в [о] в слове молокоzавóд представляется неожиданным и странным именно вследствие отсутствия у исходного слова молоко форм с ударением на первом гласном. В таком «прояснении» может играть роль орфография или качество согласных, окружающих [о]. — губно-губного [м] и лабиовелярного [л], которые могли создать эффект огубленности гласного.

² Этот вопрос разрабатывался в отечественной лингвистике, начиная с работы: Фалев И. А. О редуцированных гласных в древнерусском языке // Язык и литература. Вып. 1. Т. 2. Л., 1927. С. 111–122. Целый ряд примеров такого рода из истории славянских языков привел А. Тимберлейк в работе: Timberlake, Alan. Uniform and alternating environments in phonological change // Folia Slavica 2. 1978. Nos. 1–3. P. 312–327.

как примеры с “прояснением” [о] сравнительно редки¹. С нашей точки зрения, из приведенных фактов вытекает вывод о сохранении в современном русском языке позиций экающего произношения, что подтверждается частым «прояснением» гласного первого слога под дополнительным ударением в [е], происходящим значительно чаще, чем «прояснение» в [о]. Скорее всего, это говорит о том, что процесс изменения /е/ > /и/ в безударной позиции — в отличие от изменения безударного /о/ > /а/ — еще не завершился. Вряд ли эти явления имеют отношение к отталкиванию литературного произношения от диалектного *яканья* и его «стерпимости» к *оканью* и особенно к *эканью*, как полагает Р. Ф. Касаткина. Просто изменения /о/ > /а/ и /а/ > /е/ — давно завершенные и переработанные фонологической системой, изменение /е/ > /и/ — живое («sound change in progress»), поэтому и природа «прояснения» здесь совсем другая (это не столько «прояснение», сколько фонологическая неопределенность). В случаях с «прояснением» в ['а] играет роль морфонологический фактор: *кл[’а]твопреступник* — *клятва* (постоянное ударение на корне), *[я]йцезаготовитель* — *яйцо/яйца* (подвижное ударение). Представляется, что именно вследствие того, что /е/ > /и/ — незавершенное изменение, отсутствует фонологизация [ъ], аналогичная фонологизации [ъ].

Итак, если описанные факты действительно указывают на процесс образования новой фонемы, то перед нами парадигматическое фонемное изменение — фонологизация аллофона [ъ] фонемы /а/. Последним такого типа изменением в области гласных в истории русского языка было, видимо, возникновение фонемы /ö/-закрытое (или /ö/-напряженное) — процесс, который, кстати, тоже был связан с преобразованиями акцентологических отношений в системе. В древнерусском языке (условно до завершения падения редуцированных) фонема /о/ выступала, видимо, в двух аллофонах, которые находились в дополнительном распределении: [ö] — в положении под ударением (фонологическим; традиционно — под акутовой интонацией), [о] — в безударном положении (в том числе под так называемым нефонологическим ударением — в начальном слоге некоторых словоформ; традиционно — под циркумфлексной интонацией). Фонологизация этих аллофонов произошла в связи с тем, что нефонологическое ударение в начальных слогах некоторых словоформ совпало с фонологическим ударением². Таким образом,

¹ Касаткина Р. Ф. Некоторые наблюдения над особенностями словесного ударения... С. 407.

² Этот процесс традиционно понимается как утрата интонационных различий. В. В. Колесов рассматривает его как обобщение новоакутовой интонации, или совмещение новоакутовой интонации и ударения. П. Гард называл этот процесс «реакцентуацией», т. е. приобретением фонологически безударными словоформами самостоятельного ударения, а А. А. Зализняк — совпадением «автоматического» и «автономного» ударений. Мы используем здесь термины *фонологическое* и *нефонологическое* ударение для подчеркивания аналогии с обсуждаемым явлением современного русского языка.

различие между начальными слогами, содержащими «фонологически ударное» /o/ и «фонологически безударное» /ø/, сохранилось, но перешло с суперсегментного на сегментный уровень, поскольку и в том и в другом случае слог стал фонологически ударным: ср. /ногу/ < *nogu — /кóжа/ < *kóža. После завершения падения редуцированных, поскольку /ы/ > /o/, противопоставление /o/ и /ð/ распространилось и на неначальные слоги: ср. /высóк/ < **высокъ** — /носок/ < **носокъ**. Последующие фонетические изменения (например, оглушения согласных) могли привести и к образованию так называемых минимальных пар: ср. /мóк/ < *mogъ «мог (мочь)» — /мок/ < *mъkъ «мок (мокнуть)». Три пересекающиеся изменения — фонологизация ударения, падение редуцированных и образование /ð/ — оказались связанными во времени, что затрудняет установление относительной хронологии этих процессов.

М. И. Стеблин-Каменский следующим образом описывает процесс превращения аллофонов фонемы в самостоятельные фонемы: «Парадигматическому фонемному изменению обычно предшествует аллофонное изменение. Когда аллофон фонемы превращается в самостоятельную фонему, то этот аллофон должен был предварительно возникнуть. Его возникновение и было физическим изменением. Превращение аллофона в самостоятельную фонему — это лишь функциональное, но не физическое изменение. Сущность этого изменения всего чаще заключается в следующем. Два аллофона одной фонемы, обусловленные двумя разными окружениями (например, ассимилирующим воздействием двух разных фонем), оказываются в одинаковом окружении в результате того, что ассимилирующие фонемы перестают различаться в данных положениях. Тем самым эти аллофоны уже не аллофоны, а самостоятельные фонемы, хотя физически они сами не претерпели никакого изменения. Обе возникшие таким образом фонемы новые, так как их различительные признаки не те, что были у фонемы, из аллофонов которой они возникли. Произошло парадигматическое расщепление фонемы. Таким образом, исчезновение различия между двумя окружениями, или их парадигматическое слияние, — это как бы обратная сторона парадигматического расщепления фонем»¹.

М. И. Стеблин-Каменский признает, что это несколько упрощенное описание процесса (описание «по результатам» изменения), сам же процесс становления в языке новых фонем может быть длительным и сложным. Диахроническая фонология изобилует такими упрощенными — «по результатам» — описаниями фонемных парадигматических изменений (ср., например, описание праславянских палатализаций или древнерусского «вторичного смягчения согласных»), что особенно

¹ Стеблин-Каменский М. И. Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков. С. 14–15.

удобно по отношению к уже давно завершенным изменениям. Но в схеме М. И. Стеблин-Каменского есть еще одно упрощение. Оно предполагает, что парадигматическое расщепление фонемы (превращение аллофонов в самостоятельные фонемы) и парадигматическое слияние контекстов (исчезновение различия между двумя окружениями, обусловливающими аллофонное различие) одновременны и суть две стороны одного явления. Представляется, однако, что парадигматическое расщепление сущностно должно предшествовать парадигматическому слиянию контекстов¹, т. е. новая фонема возникает в условиях и при сохранении дополнительной дистрибуции между двумя новыми фонемами, бывшими ранее аллофонами одной фонемы. Точно так же, как возникновение дополнительной дистрибуции между фонемами не превращает их *автоматически* в аллофоны одной фонемы (ср. историю фонем /и/ и /ы/ в русском языке или «толстого l» и «тонкого l» в шведском и норвежском²). Таким образом, возникновение новой фонемы происходит в условиях парадигматически неизмененного окружения, само же парадигматическое слияние двух окружений может рассматриваться в известном смысле как следствие парадигматического расщепления изменяющейся фонемы.

Учитывая эти упрощения, вернемся к приведенной схеме фонологизации аллофона и рассмотрим, как наш случай — фонологизация [ъ] — соотносится с данной схемой. В широком смысле аллофонным изменением, предшествовавшим предполагаемому парадигматическому изменению, очевидно, была редукция безударных гласных, в данном конкретном случае — редукция /а/ в не первом предударном слоге (оставляем в стороне фонологическую интерпретацию возникновения аканья). Два аллофона фонемы /а/ — [а] и [ъ] — контекстно (позиционно) обусловлены: первый находится под ударением, второй — в безударной позиции. Ключевым изменением, которое усложняет, но не подрывает эту контекстную обусловленность, было возникновение дополнительного (факультативного) ударения на [ъ]. Само это дополнительное ударение тоже позиционно обусловлено: оно появляется на первом безударном (но не непосредственно предударном) слоге словоформы. Таким образом, на начальном этапе дополнительное ударение в известном смысле не является фонологическим («ударение» на «безударном»

¹ Эта проблема широко обсуждалась в отечественной диахронической фонологии в 50-х гг. XX в., особенно в германистике. В последнее время об этом писал Л. Л. Касаткин: *Касаткин Л. Л. Латентный период в истории фонемы // Metody formalne w opisie języków słowiańskich. Białostok, 1990* (повторено в: *Касаткин Л. Л. Современная русская диалектная и литературная фонетика... С. 86–100*).

² Стеблин-Каменский М. И. Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков. С. 137–145.

слоге!), т. е. это дополнительное ударение функционально есть некая разновидность безударности (носителями языка оно первоначально не замечалось, что подтверждало его нефонологичность). Соответственно, попадающий под такое дополнительное ударение [ъ] остается аллофоном фонемы /а/, но это уже *новый* аллофон данной фонемы, которого раньше не было, а именно такой, который реализует фонему /а/ в первом (но не первом предударном) слоге словоформы под дополнительным ударением (т. с. в случае некоего синтагматического просодического усиления этого слога). Это и есть аллофонное изменение, предшествующее парадигматическому фонемному, — фонологизации [ъ].

Для того чтобы произошла фонологизация [ъ], необходимо выравнить фонологический контекст между [á] под главным (фонологическим) ударением и [ъ] под дополнительным (нефонологическим) ударением. Но, как было отмечено, фонологизация происходит еще в условиях дополнительной дистрибуции, а выравнивание контекста лишь констатирует произошедшую фонологизацию, закрепляет ее и сопровождает становление новой фонемы в языке. Значит, нужен «внутренний прорыв» дополнительной дистрибуции, т. е. преобразование ее в позиционное ограничение. На наш взгляд, для современного русского литературного языка уже можно говорить о таком прорыве, т. е. о частичном выравнивании контекста, которое выражалось в фонологизации дополнительного ударения. Характерно, что подударное [ъ] возникает в сложных словах именно при *переносе* дополнительного ударения (ср. *к[ъ]раблестроение* < *кор[а]блестроение — корáбль, корабlí, но *ш[а]рикоподшипник* — шáрик, шáрики), т. е. не [а] > [ъ], а [ъ] > [ъ]. Это говорит о том, что фонологизация и возникновение противопоставления предшествует выравниванию контекста, из чего вытекает, что изменение фонетического контекста не было *причиной* фонологизации аллофона и появления новой фонемы /ъ/, а лишь сопровождало это парадигматическое изменение, которое было вызвано, видимо, какими-то внутренними потребностями системы фонем и особенностями ее функционирования. Таким образом, сначала происходит фонологизация [ъ] > /ъ/, а затем — фонологизация дополнительного ударения. Сама фонологизация дополнительного ударения, т. е. смена модели, также в принципе не устраняет дополнительной дистрибуции между [ъ] и [á], поскольку внешне [ъ] остается позиционно обусловленным: он появляется всегда только в первом слоге многосложного слова при наличии второго удара.

Таким образом, необходимы какие-то внешние проявления нарушения дополнительной дистрибуции, чтобы более определенно можно было говорить о появлении новой фонемы. Обычно роль таких индикаторов выполняют заимствования или формы, возникшие по аналогии. В нашем случае таких форм пока нет. Кое-что, впрочем, можно интер-

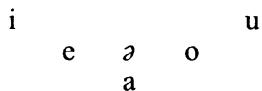
претировать как проявление фонологизации /ъ/. Следствием идущего процесса образования новой фонемы /ъ/, возможно, является возникновение таких на первый взгляд необычных форм, как, например, произношение [штъ] ‘что’ — произношение, которые мы неоднократно имели удовольствие слышать из уст первого Президента России. Это, естественно, не нормативное произношение (пока!), но здесь подударное [ъ] как бы прорывает дополнительную дистрибуцию, появляясь в односложном слове. Ср. также часто встречающееся разговорное словечко [дък], видимо, восходящее к «так» и на письме иногда передающееся как «дык»¹. Появление таких форм уже говорит о принципиальной возможности квазифункционального использования [ъ]. В этом отношении чрезвычайно показательны данные экспериментально-фонетических исследований разговорной речи. Они свидетельствуют о том, что в спонтанной речи редуцированные гласные под ударением встречаются хотя и редко, но зато в самых частотных словах. Обычно это происходит в слабых фразовых позициях, когда возможна максимальная редукция, но встречается и в случаях выделения этих слов в отдельную синтагму: [тък] ‘так’, [ръеš] ‘понимаешь’, [гът] ‘говорит’².

Поскольку фонологизация аллофона и соответственно возникновение новой фонемы — изменения парадигматические, интересно взглянуть на наше изменение в контексте парадигматической системы, т. е. со стороны различительных признаков фонем. Это может (хотя и не обязательно) дать нам некоторые факты, проливающие свет на причины данного изменения и на его, так сказать, перспективы, поскольку часто новые фонемы не «вписываются» в систему и сливаются с уже существующими фонемами. Для того чтобы поставить процесс возникновения /ъ/ в контекст различительных признаков, необходимо реконструировать парадигматическую систему гласных фонем современного русского языка до предполагаемого изменения. Как ни странно, эта проблема — не из легких, поскольку среди фонологов нет единства взглядов не только на систему, но даже на состав гласных фонем русского языка. Для одних фонологов в русском языке пять гласных фонем, для других — шесть (проблема фонематического статуса [ы]); одни

¹ Например, у В. Набокова в «Подвиге»: «Дык пойдемте ко мне», — предложил Грузинов. В этом примере дополнительная дистрибуция сохраняется, поскольку *дык* входит в одно фонетическое слово с *пойдемте*, однако показательно отражение [ъ] на письме. Известно, что аллофонные изменения не отражаются на письме, значит, соответствующий звук осознается не как фонема /а/.

² Фонетика спонтанной речи. Л., 1988. С. 123. Здесь приводятся следующие данные: «В нашем материале (фонетический словарь из 220 наиболее частотных словоформ РР. — М. П.) в 30 словоформах из 453 встретилось употребление ударных редуцированных. В разговорных текстах такое произнесение встречается редко: 14 ударных редуцированных на 3000 словоформ».

фонологи считают релевантным признаком /о/ и /у/ лабиализованность, другие — задний ряд, третий — комплексный признак, сочетающий оба параметра; разные фонологи по-разному определяют место фонемы /а/ с точки зрения ряда и подъема и т. д. В интересующем нас аспекте любопытна интерпретация русского вокализма, недавно предложенная С. В. Кодзасовым и О. Ф. Кривновой в «Общей фонетике». Приведя в главе, посвященной типологии вокалических систем, в качестве примера болгарского и чукотско-камчатского вокализма следующий треугольник гласных фонем —



— они полагают, что такая единица, как /ə/, «с некоторыми оговорками... может рассматриваться и как фонема русского языка (учитывая ее позиционную невыводимость в некоторых частицах: *Так[а] было и так будет!*, но *Так[ъ] было это или нет?*)»¹. Представляется несколько парадоксальным, что авторы отказывают в фонематическом статусе /ы/, но на основании очень сомнительного примера готовы признать таковой статус за неким «мычанием» говорящего в момент обдумывания продолжения фразы, т. е. за своего рода фонетическим жестом. Такими же жестами являются, например, и неразложимые «звукчания», передаваемые на письме как *Гм!* или *Угу!*, или *Тру!*, или *Брр!*, однако еще никто не придавал им статуса фонем русского языка.

Справедливости ради следует отметить, что С. В. Кодзасов и О. Ф. Кривнова отказывают /ы/ в фонематическом статусе тоже с оговорками. В частности, они признают, что «споры вокруг фонематического статуса [ы] имеют определенное основание: степень фонетического расхождения [и] и [ы] приближается к тому порогу, который определяет для носителя языка тождество или нетождество звуковых единиц»². При этом, правда, они в значительной степени искажают точку зрения Петербургской школы (что, к сожалению, не редкость в работах представителей МФШ), в частности, приписывая последней свои собственные взгляды на фонетическое сходство как на критерий отождествления аллофонов.

Мы исходим из того, что сначала определяется количественный состав фонем, а затем выявляется система различительных признаков, характеризующих выделенные фонемы. С нашей точки зрения, русский вокализм насчитывает 6 фонем, включая /ы/, и хорошо описывается при помощи трех различительных признаков: подъем (верхний–неверхний),

¹ Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Общая фонетика. М., 2001. С. 411.

² Там же. С. 364.

ряд (передний–непередний) и лабиализованность (лабиализованные–нелабиализованные). Подобная реконструкция соответствует существующим фонетическим описаниям и не противоречит языковому сознанию носителей русского языка. Будучи изображена графически, система гласных фонем предстает следующим образом:

	Передний ряд	Непередний ряд	
Верхний подъем	и	ы	у
Неверхний подъем	е	а	о
Нелабиализованные		Лабиализованные	

Для фонемы /а/ признак нижнего подъема не может быть различительным, поскольку из фонетических описаний мы знаем, что некоторые аллофоны этой фонемы, например [ʌ] и [ъ], не могут рассматриваться как гласные нижнего подъема, а значит, нижний подъем не может рассматриваться как ДП фонемы /а/. Признаки заднего ряда и лабиализованности не могут рассматриваться как элементы комплексного признака, поскольку /ы/ — /у/, /а/ — /о/ не противопоставлены по признаку ряда, но противопоставлены по признаку лабиализованности. Надо отметить довольно высокую степень интегрированности русских гласных фонем. Эта включенность в систему подчеркивается соответствующими регулярными морфологизованными чередованиями. Чередование /о/ : /а/ после твердых согласных отражает древнюю нейтрализацию по признаку лабиализованности. Фонема /и/ в соответствии с йкающей нормой чередуется со всеми гласными неверхнего подъема, но единственным живым чередованием, отражающим действующее (незавершенное) фонетическое изменение, является чередование /и/ : /е/, которое указывает на нейтрализацию по признаку подъема. В это чередование включены и рефлексы древних изменений после мягких согласных /е/ > /о/ и /а/ > /е/. Фонемы /и/ и /ы/ регулярно чередуются во внутреннем и внешнем сандхи, как бы воспроизводя древнюю нейтрализацию по признаку ряда.

Известно, что возникновение новой фонемы может как сопровождаться, так и не сопровождаться появлением нового различительного признака. В последнем случае говорят о заполнении «пустой клетки»: новая фонема может представлять собой лишь новое сочетание различительных признаков, ужс имевшихся в системе. В нашем случае как будто нет условий для заполнения «пустой клетки» за исключением такой, и фонологизация аллофона должна сопровождаться появлением нового различительного признака.

Как считают многие фонологи, слабым звеном русской системы гласных, возможно, является противопоставление фонем /и/ и /ы/, поскольку в русском языке издавна существует явная тенденция к дополнительному

распределению этих фонем, каковая тенденция многими фонологами рассматривается как свидетельство их происходящего или даже уже завершившегося слияния в одну фонему. Если бы это действительно было так и фонема /ы/ утрачивала или уже утратила свое место в системе фонем¹, можно было бы усмотреть в этом изменении процесс появления «пустой клетки», которую благополучно могла бы занять новая фонема, возникающая в результате фонологизации ударного аллофона [ъ] фонемы /а/. В таком случае перспективы новой фонемы были бы не столь уж плохи. Проблема, однако, в том, что никакой «пустой клетки» не образуется фонетически. Как было показано в разделе о статусе фонемы /ы/, все изменения, связанные с установлением квазидополнительной дистрибуции между /и/ и /ы/, — это изменения синтагматические, т. е. изменения в фонемном составе отдельных слов, никак не затрагивавшие парадигматическую систему фонем. Звук [ы] остается на своем прежнем месте, и новая фонема обречена слиться с [ы], даже если считать его аллофоном /и/. Соответствующая нейтрализация — /ы/ > [ъ] < /а/ (когда носителю языка затруднительно фонематически идентифицировать [ъ]) — широко распространена в современном произношении.

Наше понимание нейтрализации отличается от того, как понимал нейтрализацию Н. С. Трубецкой или представители МФШ. Мы рассматриваем нейтрализацию как действительно неразличение в определенных позициях двух противопоставленных в языке фонем. Такое неразличение состоит в невозможности для носителя языка провести однозначную фонемную идентификацию звукового сегмента. Кроме указанного случая, примером нейтрализации может служить также неразличение /т/ и /ц/ в позиции перед /т/. Эти реальные, а не надуманные нейтрализации фонем ставят в тупик не только фонолога, но даже носителя языка. Именно нейтрализация /ы/ > [ъ] < /а/ могла послужить толчком или одним из факторов (причин) фонологизации [ъ] > /ы/. При описании механизма фонологического изменения представляется возможным воспользоваться понятиями *биfurкации* и *флуктуации*, которые были разработаны И. Пригожиным на материале естественных наук: «Когда система, эволюционируя, достигает точки бифуркации, детерминистическое описание становится непригодным. Флуктуация вынуждает систему выбрать ту ветвь, по которой будет происходить дальнейшая эволюция системы. Переход через бифуркацию — такой же случайный процесс, как бросание монеты»². Тогда можно сказать, что указанная нейтрализация отражает достижение эволюционирующей системой русского вокализма точки бифуркации и включение аппарата флуктуации, т. е. выбора одного из возможных

¹ С чем мы категорически не согласны — см. главу 5.

² Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986. С. 236–237.

вариантов дальнейшей эволюции. Как подчеркнул недавно А. С. Либерман, «кроме одностороннего языкового изменения, есть еще и языковой маятник... Отсюда следует, что многие процессы происходили в несколько приемов, а некоторые были подавлены в зародыше, и мы никогда о них не узнаем»¹.

Но если предположить, что описанный нами процесс фонологизации аллофона не будет «подавлен в зародыше» и одним из вариантов дальнейшей эволюции действительно может быть появление новой фонемы в системе, каково будет ее место в этой системе, в конфигурации различительных признаков русского вокализма? Приходится признать, что место этой новой фонемы весьма проблематично. Один из возможных сценариев развития следующий: фонема /a/ вытесняется в нижний подъем, что меняет всю систему различительных признаков, которая приобретает следующий вид:

	Передний ряд	Непередний ряд	
Верхний подъем	и	ы	у
Средний подъем	е	ъ	о
Нижний подъем		а	
Нелабиализованные		Лабиализованные	

Такое развитие маловероятно. Другая возможность — слияние новой фонемы с /e/ и /ы/, которые чередуются после твердых согласных. На наш взгляд, этот путь наиболее вероятен.

Глава 7

ПРОБЛЕМА ФОНЕМНЫХ ПРИЗНАКОВ В АСПЕКТЕ СИСТЕМЫ И НОРМЫ

Фонема — это единица звукового строя (т. е. фонологической системы), служащая для построения экспонентов слов (словоформ) языка. Соответственно главная ее функция — конститутивная. Установив состав фонем, мы можем переходить к моделированию системы фонем. Фонема — это одновременно и элемент *структурь* (внутренней группировки системы фонем), и элемент *нормы* (инвариант звуков). Отсюда два аспекта системы фонем — аспект *структурь* и аспект *нормы*. Если

¹ Либерман А. С. Заметки о теории звуковых изменений (на германском материале) // Проблемы фонетики. Вып. 4. М., 2002. С. 26.

в первом случае фонема выступает как член структуры фонологических оппозиций и может служить для дифференциации означающих (отсюда ее побочная функция — различительная), то во втором — в аспекте *нормы* — фонема может рассматриваться как набор фонетических признаков. Обычно аспект нормы остается в тени аспекта структуры, и на него редко обращают внимание. Наиболее очевидным образом он проявляется лишь в ситуации языкового контакта в широком смысле слова (это и междиалектное взаимодействие, и обучение иностранным языкам, и описание лингвистом нового языка или диалекта и т. п.). Итак, дифференциальные признаки являются связующим звеном между структурой и нормой, причем эта связь прежде всего проявляется в диахронии. Переформулировав тезис А. С. Либермана — «язык — это и система, и норма»¹ — мы сказали бы, что «фонетическая система — это и структура, и норма».

С функциональной и синхронической точки зрения соотношение фонемы и ее различительных признаков парадоксально и представляется в известном смысле логическую ловушку, поскольку, с одной стороны, различительные признаки выводятся из фонем, а с другой — фонема может быть определена как пучок фонологически существенных признаков. Чтобы затушевать этот парадокс, был применен такой способ описания фонем, когда физические (артикуляторно-акустические) свойства речевого потока выдаются за элементы функциональной (фонологической) плоскости: «Среди общих акустических признаков любого высказывания некоторые из них выступают как дистинктивные, повторяясь в узнаваемой и относительно постоянной форме в отдельных высказываниях. Эти дистинктивные признаки встречаются в виде скоплений или пучков, каждый из которых мы называем фонемой»². Лапидарную и четкую формулу эта идея фонемы-пучка приобретает в Пражской школе. Ср. у Н. С. Трубецкого: «фонема — это совокупность фонологически существенных признаков, свойственных данному звуковому образованию»³. Впрочем, в «Основах фонологии» он ссылается на более раннее определение Р. О. Якобсона, который в статье в чешской энциклопедии «*Ottův slovník naučný*» дал в 1932 г. следующее определение фонемы: «Фонема — набор тех одновременно действующих звуковых свойств, которые используются в данном языке для различения слов разного значения». Объединив оба определения, получим следующее: *фонема — это совокупность фонологически существенных признаков, которая используется в данном языке для различения слов разного значения*.

Первоначально набор признаков выводился из фонологических оппозиций, но при таком подходе возникает порочный круг, поскольку

¹ Либерман А. С. Порядок действий в фонологии... С. 69.

² Блумфилд Л. Язык (1933 г.) / Пер. с англ. Изд. 2-е. М., 2002. С. 78.

³ Трубецкой Н. С. Основы фонологии. С. 45.

фонологическое содержание фонемы (= набор существенных признаков) выводится из оппозиций фонем, а саму систему оппозиций можно вывести лишь из фонологического содержания фонем. Такое положение фактически признано и Н. С. Трубецким: для него «фонематический состав языка является, по существу, лишь коррелятом системы фонологических оппозиций».

Следующий шаг в данной концепции сделал Р. О. Якобсон. Отбросив выведение «пучков» из фонологических оппозиций, он стал извлекать различительные признаки прямо из физической реальности, но группировать их в «пучки» (т. е. в фонемы) так, чтобы отношения между фонемами оказывались максимально простыми¹. При этом устанавливаются два важнейших принципа: 1) каждая фонема должна иметь лишь ей одной присущий набор (комбинацию) признаков, 2) набор таких признаков должен быть минимальным. Можно согласиться с тем, что пучки извлеченных из физической реальности признаков перестают быть физической реальностью. Но становится ли они при этом реальностью функциональной? Фактически данная методика представляет собой подгонку под максимально простое и желательно симметричное описание того, что более или менее соответствует языковому сознанию носителей языка.

Идея фонемы как «пучка» различительных признаков свойственна многим фонологическим концепциям и школам. До логического конца эта идея доведена в генеративной фонологии, в которой само понятие фонемы рассматривается как производное от различительных признаков, а термин «фонема» употребляется как «сокращенная форма записи» суммы ДП. На логическое противоречие в таком понимании соотношения фонемы и различительных признаков обратил внимание В. Б. Касевич: «в определении “фонема есть пучок различительных признаков” употребление термина “признак” неадекватно. Признак — понятие относительное, т. е. не может быть признака вообще, может быть только лишь “признак чего-либо”... Достаточно подставить в определение “признак фонемы” вместо “признак”, чтобы увидеть, по меньшей мере, странность определения, ибо получим: “фонема есть пучок дифференциальных признаков фонемы”»². Из этого логического противоречия, по мнению В. Б. Касевича, имеется выход. Достаточно лишь понимать ДП не как «признаки фонем», а как чеки «дифференциальные элементы», которые были бы единицами другого уровня, т. е. автономными по отношению к фонемам. При этом «фонема», будучи самостоятельной единицей, может быть выражена в терминах «дифференциальных элементов». Но и такой

¹ Воронкова Г. В., Стеблин-Каменский М. И. Фонема — пучок РП? // ВЯ. 1970. № 6. С. 20.

² Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. С. 98.

подход, по мнению В. Б. Касевича, не дает возможности свести фонему лишь к «пучку ДП», поскольку понимание фонемы как «пучка ДП» не позволяет описать переход от фонемы к морфеме. Экспонент морфемы *линеен*, а ДП — *не линейны* (симультанны). Это значит, что фонема, понимаемая как «пучок ДП», также не обладает свойством линейности, она — «точка признакового пространства». Соответственно, «сочетание таких “точечных” фонем не может дать экспонент морфемы»¹. В. Б. Касевич приходит к следующему выводу: «Фонема не сводится к дифференциальным признакам, а характеризуется ими. Фонема и дифференциальный признак находятся в обычном отношении объекта и его существенных свойств (признаков)».

Итак, мы исходим из более или менее общепринятого положения, что фонема — языковая единица, осознаваемая носителем языка, — характеризуется определенным набором релевантных для данного языка фонетических признаков, посредством которых она идентифицируется и отличается от других фонем данного языка и количество которых в языке ограничено. Функциональная реальность различительных признаков и их относительно автономный характер по отношению к фонеме подтверждаются различными языковыми фактами, что и оправдывает понимание фонемы как совокупности различительных признаков (но не оправдывает сведения фонемы к пучку РП). Известно, что носители русского языка опознают признаки звонкости–глухости и твердости–мягкости предъявленных вне контекста сегментов при неправильном отождествлении их фонемной принадлежности. Правильное опознание указанных признаков говорит о том, что у членов так называемой пропорциональной оппозиции признак легко обособляется от других и соответственно может мыслиться независимо от других элементов «пучка». С другой стороны, неправильная фонемная идентификация отрезков (например, опознание звонкого /ц/ — в позиции перед звонким шумным — как /з/) говорит о том, что для языкового сознания важна именно комбинация и, видимо, иерархия признаков. Но наиболее очевидна реальность различительных признаков в диахронии². Фактически различительный признак является единицей фонетического (фонологического) изменения. Широко известно положение диахронической фонологии, что одновременно не может изменяться более одного ДП. Это более обобщенная формулировка правила Остина: фонема не может изменяться одновременно и по оси места артикуляции, и по оси способа образования³. Как правило, если в языке в какой-либо

¹ Касевич В. Б. Фонологические проблемы... С. 99.

² Либерман А. С. Порядок действий в фонологии... С. 71.

³ Austin W. M. Criteria for Phonetic Similarity // Language. 1957. Vol. 33. № 4. P. 543 — цит. по: Стеблин-Каменский М. И. Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков. С. 34. М. И. Стеблин-Каменский отмечает упрощенность формулировки Остина, которая не учитывает, что фонемы могут изменяться более чем по двум осям РП.

позиции оглушается /b/, то оглушаются и /d/ и /g/, т. е. изменение затрагивает всю серию. Отклонения также очень показательны и связаны с системой ДП данного языка. Сами позиции изменения определяются ДП индуцирующих фонем: если /b/, /d/, /g/ оглушаются перед /p/, но не оглушаются перед /m/, то они оглушаются и перед /t/, /k/, но не оглушаются перед /n/. Этим определяется то, что предложенный именно генеративной фонологией способ описания перехода от глубинной структуры к поверхностной оказался очень удобным для компактного формульного представления некоторых типов фонетических изменений в диахронической фонологии, хотя сама фонологическая и диахроническая концепция генеративной фонологии неприемлема. Итак, фонемы меняются группами, и эти группы являются не чем иным, как различительными признаками.

Особенно ярким подтверждением реальности ДП фонем являются закономерности фонетических изменений ассимилятивного характера. Ассимиляция представляет собой такое синтагматическое изменение, при котором происходит как бы замена признака фонемы противоположным парным признаком другой, соседней фонемы. Анализ ассимиляций обнаруживает не только то, что признаки фонемы могут быть существенными и несущественными, релевантными и нерелевантными, но и то, что признак может переноситься только с фонемы, для которой он является существенным, на фонему, для которой он не является существенным. Из этого вытекает, что признаки, существенные для одних фонем, а значит, и для системы в целом, не являются таковыми для других фонем¹. Ассимилятивные изменения демонстрируют, что существенность или несущественность признака — понятия не артикуляторно-акустические, а функциональные. В противном случае было бы невозможно объяснить, почему, например, в русском языке «озвончение» происходило перед звонкими шумными, но не происходило перед еще «более звонкими» (в артикуляторно-акустическом отношении) сонорными. Это означает, что сам признак звонкость—глухость — феномен фонологический, а не артикуляторно-акустический.

Таким образом, можно считать доказанным само существование различительных признаков и их роль в изменениях фонем. Кроме того, установление дифференциальных признаков — это одновременно и выявление структурной организации фонем. Но каковы принципы установления фонологически существенных признаков, или ДП, фонем? В. Б. Касевич подробно и квалифицированно охарактеризовал представленные

¹ В некоторых фонологических концепциях (МФШ, Пражская школа) предполагается, что признаки могут быть существенными или несущественными в зависимости от позиции фонемы.

в литературе подходы к данной проблеме¹, что позволяет нам не излагать существующие точки зрения. Мы будем отталкиваться от его положений.

Отвергнув традиционное и наиболее распространное среди широких кругов лингвистов понимание ДП фонем как поддающихся прямому наблюдению и измерению фонетических свойств звуков, реализующих соответствующие фонемы, В. Б. Касевич пытается найти компромисс между двумя другими, более реалистичными точками зрения. Первая заключается в том, что выявление и фонем, и ДП опирается на морфологический критерий, вторая — что принципы установления фонем и ДП различны: состав фонем выявляется на основе морфологического критерия, а ДП устанавливаются с учетом фонетических свойств реализующих фонему звуков. В. Б. Касевич пытается совместить функциональный принцип (морфологический критерий) с фонетической конкретностью. По В. Б. Касевичу, «выделение различительных признаков навязывается морфологическими факторами: чередованиями фонем, в которых участвуют фонемы в составе морфем». Но чередования фонем лишь выявляют группировки фонем, противопоставленные друг другу. Если одна группа фонем чередуется с другой группой фонем, предполагается, что эти группы противопоставлены друг другу посредством некоего различительного признака. Квалификация же различительного признака, а именно закрепление за ним «абстрактно-фонетической» (или лучше — фонологической) характеристики может быть достаточно условной.

Создается впечатление, что В. Б. Касевич при конкретном анализе, пытаясь продемонстрировать выведение ДП из чередований, уже заранее знает результат и оценивает сами чередования с точки зрения того, позволяют они или не позволяют вывести этот результат. В принципе такой прием правомерен, поскольку В. Б. Касевич, видимо, и пытается понять, откуда мы уже знаем конечный результат. Рассмотрим в связи с этим пример чередования заднеязычных с шипящими в современном русском языке, проанализированный В. Б. Касевичем. Итак, «по морфонологическому функционированию в русском языке следует противопоставить... фонемы /k/, /g/, /x/ фонемам /c/, /z/, /š/, потому что вторые заменяют первые в различных морфологических процессах, например: *рука* — *ручек*, *нога* — *нонжек*, *муха* — *мушек*. Группировки выглядят вполне реалистичными (т. е., видимо, результат уже известен. — *M. P.*), однако сразу же возникает несколько “но”². Какие же это “но”? Во-первых, группы противопоставлены более чем по одному признаку, а во-вторых, они не симметричны. Второе обстоятельство не долж-

¹ Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания.

² Там же. С. 82.

но, видимо, смущать: если уж мы руководствуемся чередованиями, то должны пренебречь асимметрией, поскольку нас интересует только общее в выявленных группах. Что касается первого обстоятельства, то в первой группе заднеязычные смычные, а во второй — переднеязычные смычные и щелевые. Признак способа образования, который имеет в виду В. Б. Касевич в качестве сопутствующего месту образования, не характеризует вторую группу целиком, значит, мы должны им пренебречь. Но есть еще один общий групповой признак, о котором В. Б. Касевич не говорит. Это признак однофокусности—двуфокусности, или, если применить более абстрактную характеристику, «нешипящести»—«шипящести». Чередования /t'/ : /č/, /d'/ : /ž/, /z'/ : /ž/, /s'/ : /š/ «разводят» признаки переднеязычности и двухфокусности («шипящести»): *пла-тишь — плачу, ходиши — хожу, возиши — возжу, носиши — ношу*.

Когда при выявлении ДП фонем мы исходим из чередований, то сразу сталкиваемся с серьезными проблемами. На них указывает и В. Б. Касевич. В частности, он отмечает, что «по крайней мере многие из признаков не имеют морфологического обоснования»¹, причем оказывается, что наиболее старшие в иерархии ДП (вокальность—консонантность², сонорность—шумность) выявляются не на функциональном основании. Это в какой-то степени подрывает и сам принцип. Видимо, какие-то фонемные признаки коррелируют с системой чередований (это так называемые индивидуальные признаки, которые могут служить в качестве единственного ДП в противопоставлении двух фонем), а какие-то признаки не связаны с системой чередований (например, так называемые групповые, при помощи которых фонемы противопоставляются как члены группы или класса фонем — гласные и согласные). При выявлении признаков мы должны начинать с индивидуальных, которые коррелируют с чередованиями, а затем восходить к старшим групповым признакам, видимо, используя остаточный принцип. Например, в русском языке сначала мы выявляем признаки звонкости—глухости и твердости—мягкости на основе чередований. Те фонемы, которые чередуются по твердости—мягкости, но не чередуются по звонкости—глухости, составят основу класса, характеризуемого уже групповым признаком сонорности, а фонемы, которые чередуются и по твердости—мягкости, и по звонкости—глухости, составят костяк класса, характеризуемого групповым признаком консонантности. Таким образом, при исследовательском подходе мы восходим от иерархически младших признаков к старшим.

Для нас представляется важным следующее: не чередования как таковые все-таки определяют конфигурацию системы ДП, а сама система

¹ Там же. С. 85.

² Со времен Бодуэна определяющим аспектом в противопоставлении гласных и согласных считается артикуляторный.

чередований задана системой ДП и представляет собой в снятом виде историю системы фонем, благодаря чему мы и можем воспользоваться чередованиями как одним из средств для установления ДП системы. В. Б. Касевич затрагивает и диахронический аспект проблемы, справедливо полагая, что «если бы дифференциальные признаки полностью определялись морфологическими факторами, то и фонологические изменения всегда зависели бы от морфологического функционирования фонем и их признаков», но этого не наблюдается, более того, «в самых разных языках обнаруживаются сходные фонологические изменения, хотя участвующие в них фонемы, будучи более или менее параллельными по расположению в соответствующих системах, чаще всего никак не параллельны по их морфологическому использованию»¹. И наоборот, возможность фонетического расхождения (дивергенции) родственных диалектов с практически идентичной морфологической структурой указывает на независимость фонологических изменений от прямого влияния морфологических и морфонологических факторов.

Но главная проблема в установлении прямой связи между установлением системы ДП и морфологическими чередованиями даже не в том, что чередования бывают разные (так называемые исторические и позиционные, продуктивные и непродуктивные, чередования фонем и сочтаний фонем, чередования по одному и по нескольким признакам, словообразовательные и словоизменительные и т. д.), а в том, что чередования — это обычно результат разновременных предшествующих фонетических изменений, иногда наслонившихся одно на другое. И сразу возникает вопрос: а применительно ко времени до осуществления приведшего к чередованию фонетического изменения можно ли говорить о наличии различительного признака, который мы выводим на основании данного чередования в более поздний период? Представляется, что не столько чередование, сколько сам характер позиционно обусловленного фонетического изменения, приведшего к чередованию фонем, указывает на наличие тех или иных различительных признаков, действовавших в фонологической системе на момент изменения. Разумеется, сам различительный признак, возможно, продолжает сохраняться в системе, но, строго говоря, это не обязательно. О дифференциальных признаках мы узнаем как бы задним числом, а в снятом виде они действительно отражены в чередованиях фонем. Таким образом, оказывается, что общность морфологического использования фонем (участие в однозначных чередованиях) — это не причина и не следствие наличия в системе соответствующего ДП, а результат старого позиционного фонетического изменения, весьма косвенно связанного с современной системой ДП, но несомненно как-то связанного с системой

¹ Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. С. 84.

ДП времени осуществления изменения. Эту связь между чередованиями и ДП фонем мы интуитивно чувствуем, но эта связь не прямая — она в прошлом фонетической системы, а не в ее настоящем. Рассмотренное выше чередование заднеязычных и шипящих — это пример так называемого исторического чередования. В. Б. Касевич пишет, что «наиболее ясно связь между фонологией и морфологией выступает там, где перед нами автоматические чередования фонем... автоматические чередования состоят обычно в замене фонемы *х* на парадигматически ближайшую фонему *у*... отличающуюся от исходной по одному дифференциальному признаку»¹. Как мы пытались показать (вслед за Л. Р. Зиндером) в главе 8, с точки зрения фонологической системы, различия между историческими и позиционными чередованиями (автоматическими) нет. Просто живые позиционные чередования вызваны, как правило, более поздними фонетическими изменениями, чем исторические, поэтому на них меньше поздних наслойений и в них может сильнее ощущаться связь с современной системой ДП.

С диахроническим аспектом обсуждаемой проблемы связан и еще один критерий, используемый при выявлении дифференциальных признаков фонем. Таким критерием является одна из закономерностей ассимилятивных фонетических процессов: источником ассимиляции всегда является фонологически релевантный признак. М. В. Гордина считает этот фактор дистрибутивным, а В. Б. Касевич рассматривает его как альтерационный. Обе эти стороны — и дистрибутивная, и альтерационная — связаны друг с другом, но и при том и при другом подходе (оба ученых — представители Петербургской школы) «ассимиляция» представляется как процесс синхронический. В других школах ассимиляция может описываться в терминахнейтрализации фонемного противопоставления, но тоже как процесс синхронический. Тем не менее ассимиляция — это *изменение*, т. е. процесс диахронический, который приводит к чередованию как процессу синхроническому. Это важно подчеркнуть, потому что фонетическое изменение как процесс диахронический имеет свое начало и конец, т. е. оно локализовано во времени. Соответственно выводы, вытекающие из обозначенной выше закономерности, характеризующей ассимилятивное фонетическое изменение, действительны только во время рассматриваемого конкретного изменения.

Рассмотрим пример. В. Б. Касевич считает, что, учитывая показания ассимилятивных процессов (а в сущности — чередований фонем), следует признать, что «непарные по глухости/звонкости русские согласные /с/, /չ/, /х/ являются фонологически глухими: они требуют уподобления по участию голоса от предшествующих шумных, ср. *овец* /av'ec/ ~ *овца*

¹ Там же. С. 86.

«/afca/...»¹, что противоречит общепринятым представлениям об иррелевантности этих фонем в отношении признака звонкости–глухости (в том числе и потому, что они могут реализоваться в звонких аллофонах). Соответственно звонкие аллофоны этих фонем /c/, /č/, /x/ — обозначим их [d̼], [d̼̄], [γ]² — выступающие в позиции перед звонкими, — фонологически глухие, т. е. их звонкость фонологически несущественна, нерелевантна.

Такое фонологическое решение представляется нам и остроумным, и убедительным в теоретическом плане. Кстати, можно было бы добавить, что /ц/ является фонологически твердым, а не иррелевантным и в отношении признака твердости–мягкости, так как вызывает «отвердение» предшествующего согласного: ср. *овец* /av'ec/ ~ *овца* /afca/, *отец* /at'ec/ ~ *отца* /atca/ и подобные. Кстати, в отличие от /ш/ и /ж/, которые, видимо, действительно безразличны к признаку твердости–мягкости: ср. «отклонение» в морфонологических процессах — *отцов* — *ключей*, но *ножей*, *шалашей* с колебаниями по диалектам — *ножов*, *шалашов*, а также петербургское произношение с прогрессивным смягчением /ш/ типа *боль[ш']е*, *мень[ш']е*. Впрочем, возможна и другая интерпретация последнего факта. Это петербургское произношение могло быть связано с тем, что отсутствовала фонема /ш/. Сейчас положение изменилось, возникло противопоставление /ш/ — /ш/ и исчезло смягчение /ш/ после /н'/ и /л'/ . Последнее наводит на мысль, что в оппозиции /ш/ — /ш/ признак твердости–мягкости, возможно, становится различительным, хотя никаких морфонологических оснований для этого как будто нет (ср. *шалашей* и *плащей*). Видимо, это воздействие силового поля корреляции по твердости–мягкости.

Однако можно ли делать подобные выводы лишь на основании морфонологических чередований фонем? Ведь историческое изменение на основе ассимиляции уже давно завершилось. Перед нами два факта, противоречащих друг другу в плане установления релевантности или нерелевантности признака звонкости–глухости для фонемы /ц/. С одной стороны, /ц/ озвончается перед следующим шумным, сохраняя свою фонемную идентичность, а значит, признак звонкости–глухости является для него нерелевантным. С другой стороны, /ц/ вызывает «оглушение» предшествующего шумного, а значит, признак звонкости–глухости для него релевантен. Какой же факт более ценен для установления релевантности или нерелевантности признака? Может быть, тот, который отражает исторически более позднее изменение?

¹ Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкоznания. С. 89.

² Строго говоря, эти обозначения не совсем удачны из-за своей двусмысленности, поскольку может показаться, что это те же звуки, которые реализуют сочетания фонем /д + з/ и /д + ж/, что очевидно не так.

Историческая фонология русского языка установила следующую последовательность процессов ассимиляций по звонкости–глухости: «сначала происходит озвончение глухих перед звонкими, затем оглушение звонких перед глухими, в последнюю очередь — оглушение звонких на конце слова»¹. Мы можем предполагать, что аллофоническое озвончение /ц/ имело место тогда же, когда озвончались парные глухие. Если более показательно чередование, вызванное позднейшим изменением, то важнее факт оглушения звонких перед /ц/, а значит, фонологическое решение В. Б. Касевича предпочтительнее общепринятого. Тем не менее мы полагаем, что предпочтительность данного решения определена не характером чередования, а диахроническими и психолингвистическими соображениями. Последнее связано с тем фактом, что носители языка опознают признак звонкости у звонкого аллофона /ц/ (поскольку этот признак важен для системы), при этом неправильно определяя его фонемную принадлежность (именно потому, что для фонемы /ц/ этот признак глухости релевантен).

Впрочем, фонологическое решение В. Б. Касевича может показаться слишком радикальным. Если учесть, что в парадигматической системе каждая фонема выступает в качестве иерархии различительных признаков (как констатирует В. Б. Касевич, «фонему характеризует не просто набор, а структура признаков»), можно предположить, что РП фонемы не равноценны с точки зрения их роли в идентификации фонемы: существуют своего рода первичные и вторичные РП. В таком случае для фонем /ц/ и /ч/ признак глухости будет хотя и различительным (фонемным — поэтому он мог вызывать оглушение предшествующего согласного), но — вторичным (поэтому /ц/ и /ч/ могут иметь фонетически звонкие аллофоны перед такими звонкими шумными, у которых признак звонкости — первичный). То, что признак глухости приобретает характер различительного даже у тех шумных фонем, которые не имеют звонких пар, конечно, не удивительно, учитывая значение данного коррелятивного признака (его «силовое поле») в современном русском языке. В подсистеме сонорных признак звонкости–глухости вообще не является различительным, но свое силовое поле он наводит и на сонорные согласные, приводя к появлению у последних глухих аллофонов в некоторых позициях. Теоретически не исключено включение сонорных в корреляцию по звонкости–глухости, т. е. возникновение шумных коррелятов сонорных фонем, приблизительно таким же путем, как произошла фонологизация /ф/ (см. ниже). Совершенно иной путь фонологизации признака голоса в сонорных представляет исландский язык, в котором носовые и плавные сонорные /m, n, l, r/ превратились в шумные /t, t̪, l̪, r̪/ — т. е. «оглушились» — перед глухими смычными (новые

¹ Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. С. 161–162.

фонемы также появились в некоторых других позициях). Одной из главных причин фонологизации голоса у сонорных в исландском языке была дефонологизация голоса в смычных шумных согласных: признак звонкости–глухости перестал для них быть релевантным и поэтому стал релевантным у сонорных. Таким образом, «оглушение» исландских звонких смычных (т. е. переход звонких в глухие непридыхательные) — это дефонологизация в них голоса, а оглушение сонорных — это фонологизация в них голоса¹.

Иначе интерпретирует оглушение согласных перед /ц/ и /ч/ Л. Л. Касаткин: «В современном русском языке глухость звуков, воплощающих ⟨ч⟩ и ⟨ц⟩, фонологически несущественна, так как фонемы ⟨ч⟩, ⟨ц⟩ не обладают ДП “глухость/звукость”. Указанное оглушение свидетельствует, однако, о том, что в период, когда возникла и развивалась ассимиляция по глухости, фонемы ⟨ч⟩, ⟨ц⟩ были “глухими” фонемами и, следовательно, в системе фонем им были противопоставлены “звуковые” фонемы. Этими “звуковыми” фонемами, очевидно, были ⟨дж⟩ и ⟨дз⟩, воплощавшиеся в звуках [д’ж’] и [д’з’]. Впоследствии, когда [д’ж’] изменился в [ж’], а [д’з’] в [з’] и перестали различаться ⟨дж⟩ и ⟨ж⟩, ⟨дз⟩ и ⟨з’⟩, фонемы ⟨ч⟩ и ⟨ц⟩ утратили ДП “глухость”, но чередование звонких и глухих в сильной позиции с глухими в позиции перед ⟨ч⟩, ⟨ц⟩ сохранилось². Л. Л. Касаткин исходит из того, что релевантным для фонемы может быть только такой признак, который обслуживает привативную оппозицию, в которую входит данная фонема. Соответственно для современного состояния системы ответ ясен: /ц/ и /ч/ безразличны по отношению к признаку звонкость–глухость. Что же касается того периода, когда действовало ассимилятивное фонетическое изменение (оглушение перед /ц/ и /ч/), то его условия, указывающие на релевантность данного признака для фонем /ц/ и /ч/, заставляют реконструировать для них наличие парных «звуковых» фонем. С такой реконструкцией трудно согласиться (впрочем, никаких доказательств — кроме указанного выше общего соображения — Л. Л. Касаткин и не приводит). Непонятно даже, какие этимологические позиции имеются в виду: это может быть, если взять шипящую аффрикату, вторая фонема бифонемного сочетания [ж’ д’ж’] = /ж/ + /д’ж’, а может быть — судя по приводимым украинским примерам *ходжсу*, *саджса* — промежуточный рефлекс псл. *dʒ. Особенно неправдоподобно реконструкция звонких аффрикат как самостоятельных фонем и противопоставления ⟨дж⟩ — ⟨ж⟩, ⟨дз⟩ — ⟨з’⟩ выглядит для сравнительно поздней эпохи, когда и про-

¹ Стеблин-Каменский М. И. Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков. С. 108–113.

² Касаткин Л. Л. Об условиях фонетических ассимилятивных изменений // Касаткин Л. Л. Современная русская диалектная и литературная фонетика... С. 77–78.

исходило оглушение в великорусских говорах (XV–XVI вв.). Кстати, именно отсутствие в древнерусском после падения редуцированных фонемы /d' ж'/ при наличии /ч'/ привело к тому, что северо-восточные говоры, легшие в основу литературного произношения, утратили параллелизм в развитии долгих мягких шипящих¹. Но мы согласны с Л. Л. Ка-саткиным в том, что современные данные полезно использовать для реконструкции условий и характера фонетических ассимилятивных изменений и что отношения в системе ДП, реконструированные для периода фонетического изменения, не должны механически переноситься на современную эпоху.

С синхронической точки зрения кажется странным, что в современном русском языке нет озвончения перед /в/, поскольку очевидно, что для /в/ признак звонкости–глухости релевантен. Однако, как мы уже отметили, исторически процессы (т. е. изменения) озвончения глухих перед звонкими древнее, чем процессы оглушения звонких. Но поскольку звонкость /в/ стала релевантной только в связи с появлением фонемы /ф/, а последняя фонологизовалась только в процессе оглушения /в/ на конце слов, то, когда действовали процессы озвончения глухих перед звонкими, /в/ еще не была фонологически звонкой. Когда же после фонологизации /ф/ фонема /в/ стала фонологически звонкой, процессы озвончения (исторические ассимиляционные изменения) уже прекратились — они перешли на альтернативный (морфонологический) или дистрибутивный уровень. Тем не менее некоторые данные, в частности особенности функционирования фонемы /в/ при афазии, свидетельствуют об особом положении данной фонемы в корреляции по звонкости–глухости².

Итак, мы приходим к заключению, что, во-первых, нельзя переносить отношения (релевантность или нерелевантность признака), имевшие место в момент фонетического изменения, на более поздний синхронный срез, во-вторых, что чередования фонем не определяют систему ДП, хотя косвенно связаны с нею, а скорее сами ею определяются. В целом наш подход к ДП отличается от подхода В. Б. Касевича главным образом тем, что для него категория дифференциального признака отражает «пересечение» фонологии и морфологии, для нас — это «пересечение» структуры и нормы внутри фонологической системы. Фонологический уровень представляется нам значительно более опосредованно связанным с морфологическим, а фонема представляется элементом, конституирующем не морфему, а словоформу.

В русской исторической фонологии проблема различительных признаков достаточно запутана, причем на действительные трудности самого предмета рассмотрения накладываются такие, которые традиционно

¹ Flier M. S. The sharpened geminate palatals in Russian // RL. 1980. № 4. P. 317–318.

² Зиндер Л. Р. Общая фонетика. С. 78–79.

связаны с разногласиями между основными фонологическими школами, в частности с существованием такой специфической концепции, как теория МФШ. Представители этой школы выработали очень запутанную и теоретически слабо обоснованную терминологию, связанную с различительными признаками. Она призвана обслуживать сложную конструкцию МФШ. Рассмотрим трактовку различительных признаков двумя видными фонологами и историками русского языка, разделяющими основные положения МФШ, Л. Л. Касаткиным и В. В. Ивановым. Интересно, что для МФШ при обсуждении проблемы признаков характерно постоянное смешение фонологического и артикуляторно-акустического уровней, фонемы и звука. Говорят то о признаках «звука», то о признаках «фонемы», поэтому при описании московской концепции все время приходится как бы «подправлять» терминологию. Вряд ли представитель какой-либо фонологической школы, кроме МФШ, может согласиться с таким, например, употреблением терминов: «Некоторые признаки могут быть фонологически несущественными у какого-либо звука (или ряда звуков) постоянно, во всех позициях, где употребляется этот звук»¹. Здесь ведь явно под «звуком» подразумевается то, что в других концепциях называется «фонемой». Проблема различительных признаков для МФШ это прежде всего проблема чисто фонетическая, и ее просто приспосабливают к уже существующей московской теории фонемы.

По Л. Л. Касаткину, признаки фонемы — это *обобщенные* признаки, обусловленные артикуляторными и акустическими признаками звуков, представляющих фонемы². Таким образом, фонемные признаки — это обобщение артикуляторно-акустических признаков. Фонемные признаки устанавливаются на основе *оппозиций* фонем. Фонемные признаки могут быть *дифференциальными* (ДП) и *интегральными* (ИП). ДП необходимы и достаточны для ограничения данной фонемы от других фонем в сильных позициях. ИП фонемы — это признаки, не участвующие в противопоставлении ее другим фонемам. Таким образом, глухость — ДП фонемы /т/, так как есть звонкая фонема /д/, но тот же признак глухость будет ИП фонемы /ц/, поскольку у нее нет звонкой пары.

Вводится, но четко не определяется, также понятие *фонетически релевантного признака*, который представляет собой «комплекс артикуляторных и акустических параметров, число и характер которых определяется в зависимости от степени нашего проникновения в сущность явления»³. Видимо, фонетически релевантный признак — это такой признак, который может выступать в качестве ДП, т. е. фонологически

¹ Касаткин Л. Л. Современная русская диалектная и литературная фонетика... С. 72.

² Там же. С. 47.

³ Там же. С. 71.

релевантного, в данном языке, но взятый в антропофоническом аспекте как «комплекс параметров». Например, признак звонкости и признак глухости — фонетически релевантные признаки, они могут быть и для некоторых согласных фонем являются ДП. Но антропофонически каждый из этих признаков представляет собой комплекс параметров, или собственно фонетических признаков — участие или неучастие голоса, ненапряженность или напряженность, слабость или сила, длительность артикуляции и т. д. — каждый из которых (или комбинация которых) может в принципе выступать в качестве дифференциального. Это определяется общей фонологической системой конкретного языка. Таким образом, из комплекса родственных признаков один является *фонологически существенным*, а другие *фонологически несущественными*. Фонологически существенными могут быть только те признаки, которые воплощают ДП.

Важно, что признаки могут быть для данной фонемы (звука) фонологически существенными в одних позициях (например, глухость [т] перед гласными и сонорными) и фонологически несущественными в других (глухость [т] перед глухими и на конце слов). Таким образом, признак может быть фонологически существенным в сильной позиции и несущественным в слабой. Однако Л. Л. Касаткин полагает, что возможен и обратный случай, когда признак фонологически существен в слабой и несуществен — в сильной. Такую ситуацию он предполагает для некоторых русских говоров.

В отличие от литературного языка, в котором, по Л. Л. Касаткину, фонема ⟨j⟩ не обладает ДП «палатальность», являясь внепарной по твердости–мягкости, в некоторых говорах фонема ⟨j⟩, также не обладая ДП «палатальность», «является коррелятивной “мягкой” фонеме ⟨v⟩», противопоставленной по ДП “палатальность” “твёрдой” фонеме ⟨v⟩... Фонемы ⟨v⟩ и ⟨j⟩, различаясь в сильной позиции, не различаются в слабой, где им соответствует архифонема ⟨v'/j⟩, воплощенная в звуке [j]... Так как фонема ⟨v⟩ “мягкая”, а ⟨j⟩ противопоставлена ⟨v⟩ не по ДП “палатальность”, то и архифонема ⟨v'/j⟩ должна включать в набор своих ДП “палатальность” со знаком + (“мягкость”). Следовательно, звук [j] в сильной позиции (где он воплощает фонему ⟨j⟩) фонологически ни “мягкий”, ни “твёрдый”, а в слабой позиции (где он воплощает архифонему ⟨v'/j⟩) фонологически мягкий»¹. Это согласуется со следующим общим положением: «Если какие-либо фонемы ⟨f₁⟩ и ⟨f₂⟩ коррелятивны, а ⟨f₁ / f₂⟩ — соответствующая им архифонема, то... ⟨f₁⟩ и ⟨f₂⟩ могут отличаться больше, чем одним ДП: может быть так, что фонема ⟨f₁⟩ обладает каким-либо ДП, а фонема ⟨f₂⟩ этим ДП не обладает; тогда

¹ Там же. С. 82.

архифонема $\langle f_1 / f_2 \rangle$ будет обладать указанным ДП с тем же знаком, что и $\langle f_1 \rangle$ ¹. Таким образом, при анализе характера признаков и при определении их фонологической существенности и несущественности следует, согласно МФШ, учитывать, что звуки в одних позициях воплощают фонему, а в других архифонему.

Итак, фонетические признаки звука могут быть фонологически существенными и фонологически несущественными. Фонологически существенными могут быть только те признаки, которые воплощают ДП. Поэтому, конечно, лучше было бы говорить не о звуках, а о фонемах, но следует учитывать наличие таких конструктов, как архифонемы (в таблице это обстоятельство проигнорировано).

Фонетические признаки			
Фонологически существенные		Фонологически несущественные	
во всех позициях	в некоторых позициях	во всех позициях	в некоторых позициях
признак лабиализованности у /у/; лабиальность у /б/; велярность у /к/	звукость—глухость у парных шумных перед гласными и сонорными	звукость—глухость у сонорных; палатальность /j/; признак ряда у /у/	звукость—глухость у шумных парных перед шумными и на конце слова

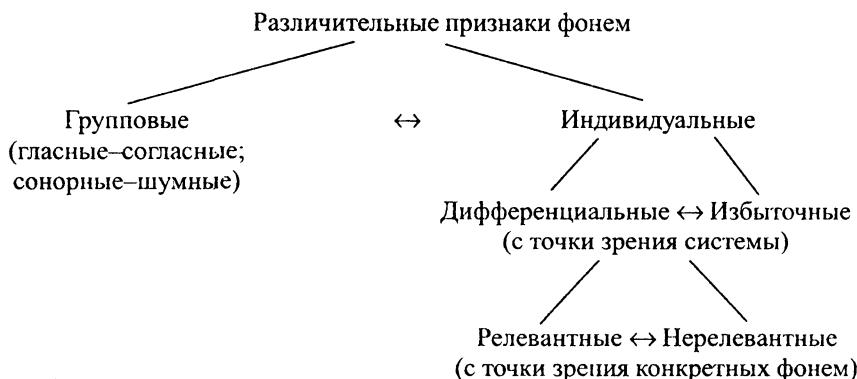
У В. В. Иванова сходная концепция облечена в иные термины. Он подчеркивает, что речь идет именно о фонемах и признаках фонем. Вместе с тем первое разбиение, которое он делает, это разбиение признаков фонемы на *конститутивные и переменные*. Конститутивные — это такие признаки, которые не зависят от позиции (например, нижний подъем и отсутствие лабиализации /а/), переменные же признаки фонемы (например, ряд /а/) — это как бы и не фонемные признаки, они характеризуют не фонему в ее противопоставлении другим фонемам, а те или иные реализации фонемы, т. е. это признаки не фонем, а аллофонов. Каждая фонема в концепции В. В. Иванова выступает как пучок только конститутивных признаков, из которых одни признаки являются *релевантными* (как, например, глухость /т/, так как есть фонема /д/), а другие — *нерелевантными* (как, например, глухость /х/, так как нет фонемы /у/). В принципе оказывается, что *нерелевантные* признаки — это фактически то же самое, что и *переменные* признаки. Кроме того, *нерелевантные* признаки называются также *избыточными* (1). И действительно, если глухость нерелевантна для /х/, то она и избыточна (на наш взгляд, сам этот термин совершенно избыточен).

¹ Касаткин Л. Л. Современная русская диалектная и литературная фонетика. С. 79.

Далее релевантные признаки подразделяются на *дифференциальные* и *избыточные* (2) (но избыточные совсем в другом смысле). Это разбиение отражает тот факт, что за фонемным противопоставлением, фонологически воспринимаемым как противопоставление по одному признаку, скрывается целый комплекс родственных, связанных друг с другом признаков (физических и физиологических параметров), одни из которых рассматриваются как *дифференциальные* и их имя приписывается признаку, а другие как *избыточные*. Например, для /t/ глухость (т. е. отсутствие голоса) — это дифференциальный, а напряженность — избыточный признак.

Итак, в этой классификации признаков противопоставлены, с одной стороны, *конститтивные*, или *релевантные*, а с другой — *переменные*, или *нерелевантные* (они же *избыточные* в первом значении), признаки. Только первые являются фонемными признаками. Вторые — это аллофонные признаки, но они могут стать фонемными в процессе фонологического изменения. Обычно в исторической фонологии аллофонные признаки реконструируются как бы задним числом, по результатам уже завершившихся изменений, поэтому аллофонное варьирование представлено в реконструкциях древних фонологических систем очень скучно и часто за аллофоны выдаются самостоятельные фонемы с ограниченной дистрибуцией.

Мы исходим из того, что поскольку о различительных признаках мы говорим после установления состава фонем, то речь может идти только о фонемных признаках, т. е. о различительных, постоянных, конститтивных признаках фонем. Разумеется, каждая фонема нормально сохраняет свои различительные признаки во всех позициях. Отсутствие различения в каких-либо позициях двух противопоставленных фонем может свидетельствовать либо о текущем фонетическом изменении, либо о каких-то специфических условиях фонотактики, т. е. опять же о своего рода фонетическом квазизменении.



Действительно сложными остаются две проблемы, с которыми сталкивается фонолог, анализирующий и реконструирующий фонологическую систему конкретного языка, а именно: 1) как отделить дифференциальные признаки системы от избыточных и 2) как определить релевантность или нерелевантность дифференциального признака для данной фонемы или группы фонем. Спорами на эти темы заполнены описания практических всех хорошо изученных языков в их прошлом и настоящем.

Глава 8

ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ЧЕРЕДОВАНИЙ

Теперь перейдем к рассмотрению некоторых фонологических аспектов теории чередований. В данном разделе затронут прежде всего вопрос о том, насколько целесообразно разделение чередований фонем на так называемые живые фонетические (они же позиционные, автоматические) и исторические (они же морфологические, неавтоматические), т. е. адекватно ли такое членение объема чередований звуковому строю русского языка. Вопрос этот не только терминологический, он касается одной из центральных лингвистических проблем — проблемы функции языковых единиц. Мы исходим из того, что современная лингвистика как лингвистика функциональная и структурная основывается на идее иерархии языковых явлений и в первую очередь на разграничении «автоматического» и «неавтоматического» («автономного»).

Вопросу о чередованиях в русском языке (и вообще в славянских языках, благодаря некоторым особенностям их структуры) повезло, ему посвящена достаточно большая литература. В русистике этот вопрос освещен полно и всесторонне. В теоретическом плане наиболее глубоко, на наш взгляд, проблема чередований была поставлена и рассмотрена представителями щербовского направления в фонологии. И здесь в первую очередь нужно назвать имена двух видных отечественных лингвистов А. Н. Гвоздева¹ и Л. Р. Зиндера². Наша работа опирается на эту традицию, восходящую к идеям Л. В. Щербы. Однако именно в отно-

¹ Гвоздев А. Н. О фонологических средствах русского языка (1949 г.); Роль исторических чередований в современном русском языке (1954 г.); К вопросу об отношении фонетики к морфологии (1960 г.) // Гвоздев А. Н. Избранные работы по орфографии и фонетике. М., 1963.

² Зиндер Л. Р. Общая фонетика.

шении к чередованиям, в частности к разделению их на живые и исторические, идеи последователей Л. В. Щербы, как представляется, несколько разошлись с идеями самого Щербы.

Разумеется, соответствующая проблематика разрабатывалась и другими фонологическими направлениями, и в частности, что наиболее важно для отечественной традиции, МФШ, но на совершенно иных теоретических основаниях. В связи с тем, что МФШ не является, на наш взгляд, фонологической в общепринятом понимании и стоит особняком в современной фонологии (а нас интересуют прежде всего собственно фонологические аспекты теории чередований), мы не будем подробно анализировать «московскую» теорию чередований, равно как и взгляды представителей Пражской школы и генеративной фонологии. Однако представляется целесообразным начать наши рассуждения с обширной цитаты из классика МФШ А. А. Реформатского:

«Чередования звуков (т. е. взаимная замена на тех же местах, в тех же морфемах) могут быть:

I. *Фонетические*, когда изменение звучания обусловлено позицией и чередуются варианты или вариации одной и той же фонемы, без изменения состава фонем в морфемах; таковы чередования ударных и безударных гласных в русском языке: *воды* [вόды] — *вода* [влáдá] — *водовоз* [вдлáвбóс]... или звонких и глухих согласных звуков: *друг* [друг] — *друга* [другl]... Такие фонетические чередования имеют обязательный характер в данном языке (в русском языке “все гласные в безударных слогах редуцируются”, “все согласные на конце слова оглушаются”). (...)

II. *Нефонетические*, когда изменение звучания не зависит от позиций, а чередуются разные фонемы, благодаря чему морфемы получают разный фонемный состав в своих различных вариантах (например, [друг-] — [друз'-] — [друж-] в русских словах *друга* — *друзей* — *дружеский*)¹.

В этом отрывке под нефонетическими чередованиями и имеются в виду исторические, или морфологические. Приведенные определения А. А. Реформатского интересны как в теоретическом плане, так и с точки зрения оценки важнейших чередований в русском языке. Отметим только два момента. Во-первых, под термином «фонетические чередования» здесь объединено то, что в современной фонологии обычно различается, а именно чередования фонем и чередования аллофонов (в этом А. А. Реформатский следует бодуэновской традиции). Во-вторых, в качестве фонетического контекста рассматривается не только отношение к ударению, что вполне естественно, но и «конец слова», что, очевидно, следовало бы отнести к контексту лексико-грамматическому.

¹ Реформатский А. А. Введение в языкознание. 4-е изд. М., 1967. С. 276–277.

В сущности положения теории чередований МФШ с ее оригинальным понятием «варианта фонемы», отличным от понятия «вариации фонемы» (= аллофона, оттенка фонемы) и не имеющим аналогов в современной фонологии, легко трансформируются в положения Щербовской школы простым перенесением границы внутри общего объема понятия чередования. И тогда окажется, что:

1) те фонетические чередования, в которых задействованы «вариации», окажутся чередованиями оттенков фонем (такая трактовка может быть целесообразна на этапе отождествления аллофонов при установлении состава фонем языка) или вообще будут рассматриваться не как чередования, а как модификации фонем;

2) те фонетические чередования, в которых задействованы «варианты» (но не «вариации»!), станут живыми позиционными (обусловленными фонетическим контекстом), автоматическими чередованиями фонем;

3) «нефонетические» чередования (они же морфологические) остаются историческими, зависящими от лексико-грамматического контекста, но фонетически не обусловленными, т. е. с фонологической точки зрения автономными.

Получается, что, по МФШ, чередования фонем могут быть только историческими, а те чередования, которые описываются как фонетические, никогда не являются чередованиями фонем (и не имеют, по мнению представителей этого направления, никакого отношения к выражению значений). В конечном счете такая трактовка чередований восходит к теории альтернаций И. А. Бодуэна де Куртенэ. Бодуэн, как известно, различал неофонетические альтернации (= живые позиционные чередования и модификации фонем) и палеофонетические альтернации (= исторические чередования фонем)¹. Однако у него данное разграничение является одним из многих, хотя и очень важным, в чрезвычайно дробной и разноспектной классификации альтернаций и, в сущности, не привязано к теории фонемы — скорее, наоборот, фонологические идеи Бодуэна подчинялись его теории альтернаций. В системе же понятий МФШ разграничение фонетических и нефонетических чередований приобретает самодовлеющий характер и непосредственно связано с фонологической концепцией. В другом влиятельном фонологическом направлении — Петербургской фонологической школе — четко разграничиваются модификации фонем, с одной стороны, и чередования фонем — с другой. Чередования фонем, в свою очередь, подразделяются на живые позиционные (фонетические) и

¹ Бодуэн де Куртенэ И. А. Опыт теории фонетических альтернаций (1895 г.) // Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные работы по общему языкознанию. Т. 1. М., 1963. С. 281.

исторические (нефонетические), причем и те и другие являются морфонологическими, т. е. могут участвовать в выражении грамматических значений¹. Все наши дальнейшие рассуждения будут идти в русле данного направления.

Надо сказать, что сам Л. В. Щерба, кажется, никогда не разграничивал исторические и живые фонетические чередования (хотя общепринятым термином «исторические чередования» иногда пользовался). Например, в «Восточнолужицком наречии» он противопоставлял «модификации» фонем, т. е. чередования оттенков, «ассоциациям», т. е. морфологизованным чередованиям фонем, соотнося именно «модификации», и только их с живыми фонетическими закономерностями. Из контекста работы совершенно ясно, что для Щербы всякое чередование фонем является историческим. В разделе о модификациях фонем он пишет: «Сюда относились бы и чередования, указанные в § 51, хотя они и являются историческими»; а также: «Возможно, что чередования этого параграфа (речь о модификациях фонем. — М. П.) являются вполне историческими, тем более что все они вполне сознательны»². Подобная позиция Л. В. Щербы ни в коем случае не была данью традиции, не различавшей живые и исторические чередования. Действительно, первые филологи, изучавшие современный русский литературный язык, представители так называемого дофонологического этапа развития русистики В. Е. Адодуров и В. К. Тредиаковский отождествляли исторические и живые фонетические чередования, за что уже в настоящее время были подвергнуты критике, например, Г. О. Винокуром: «Нам сейчас совершенно ясна теоретическая ошибка, допущенная здесь Тредиаковским... Тредиаковский не отличает позиционных фонетических изменений (д > т перед глухими) от морфологизованных звуковых чередований (ш/с, ж/т), представляющих собой застывший результат былых фонетических процессов. Именно это отождествление — по существу неправильное, но, тем не менее, очень любопытно характеризующее лингвистическую пытливость и наблюдательность Тредиаковского, — и лежит в основе выдвигаемого им фонетического принципа в русской орфографии»³. Однако следует иметь в виду, что между традицией, не различавшей живые и исторические чередования, и взглядами

¹ О фонологической и морфологической классификации чередований в Щербовской школе см.: *Маслов Ю. С. О типологии чередований // Звуковой строй языка. М., 1979. С. 195–201.*

² *Щерба Л. В. Восточнолужицкое наречие. Т. 1. Петроград, 1915. С. 52–53. (Глава 5. Модификации фонем и нечто о действующих фонетических факторах; Глава 6. Ассоциации фонем).*

³ *Винокур Г. О. Орфографическая теория Тредиаковского (1948 г.) // Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959. С. 476–477.*

Л. В. Щербы стояла детально разработанная теория чередований его учителя И. А. Бодуэна де Куртенэ. В то же время мы, конечно, не можем сожалеть (как это делает Г. О. Винокур) о том, что В. К. Тредиаковский не разделял идей МФШ. Для нас свидетельство Тредиаковского как носителя языка и ученого, чей «пытливый и наблюдательный» ум не был еще замутнен фонологическими концепциями, особенно важно.

Положения, которые мы попытаемся обосновать в данной главе, следующие:

1. С синхронической точки зрения, резкая, принципиальная граница, а с диахронической точки зрения — «скакочок» имеет место между модификациями фонем и чередованиями фонем; этот тезис соответствует основным положениям щербовского направления в фонологии и находится в резком противоречии с положениями МФШ.

2. Практически все чередования фонем в русском языке, в том числе и те, которые традиционно рассматриваются как живые фонетические, в действительности являются «историческими», если использовать привычную терминологию; другими словами — чередования фонем могут быть только историческими, что парадоксальным образом совпадает — но лишь формально — с приведенным выше положением МФШ.

3. Действительно живыми позиционными (фонетическими), а значит, автоматическими могут быть признаны только те чередования, которые регулярно воспроизводятся во внешнем сандхи, т. е. на стыках слов.

Следует отметить также, что понятие живого фонетического (позиционно обусловленного) чередования коррелирует с понятиемнейтрализации фонемного противопоставления, которая, согласно щербовской фонологии, «является, по существу, лишь ограничением в употреблении определенных фонем»¹. Соответственно проблема чередований может быть рассмотрена в двух связанных, но все-таки различных аспектах: с точки зрения дистрибуции фонем в речевой цепи (фонологический аспект) и с точки зрения собственно альтернационной (морфонологический аспект). Эти аспекты не покрывают полностью друг друга: ограничение в дистрибуции не всегда приводит непосредственно к чередованию фонем в морфеме, и в таких случаях можно говорить об «изолированной» позиции (например, употребление глухих согласных в окончаниях глаголов *идешь*, *идет* и т. п.). Но для нашей темы более существенным представляется другой момент. Относятся ли ограничения в дистрибуции фонем к фонетическим закономерностям? Или эти ограничения по сути своей являются ограничениями морфонологическими? Ответ на этот вопрос связан с ответом на вопрос о разграничении живых и исторических чередований.

Итак, общим местом в современной фонологии, независимо от понимания фонемы (что позволяет нам избежать здесь обсуждения этой

¹ Зиндер Л. Р. Общая фонетика. С. 236.

проблемы), является разграничение живых фонетических и исторических чередований. На этом настаивают даже те фонологи (например, Л. Р. Зиндер), которые считают, что с точки зрения фонологической системы между живыми и историческими чередованиями принципиального различия нет: и те и другие являются чередованиями фонем, имеющими грамматическую функцию.

Из четырех критериев разграничения живых и исторических чередований, выделяемых Л. Л. Буланиным, а именно:

1) применимости/неприменимости понятия «сильная» и «слабая» позиций фонемы;

2) обусловленности/необусловленности фонетическими закономерностями, действующими на данном синхронном срезе;

3) опосредованной/неопосредованной обусловленности морфологической позицией;

4) отражаемости/неотражаемости на письме¹, — только первые два критерия могут иметь (видимо, и по мнению самого Л. Л. Буланина) принципиальное значение. На самом деле центральным, конечно, является второй критерий — отношение к действующим фонетическим закономерностям. Собственно, наша задача в настоящей работе заключается в том, чтобы опровергнуть (или хотя бы подвергнуть сомнению) адекватность критериев, которые кладутся в основу разделения чередований фонем на живые и исторические, звуковому строю русского языка.

Считаем исходным и важнейшим для наших рассуждений положение Л. Р. Зиндера о том, что «механическая обусловленность живых чередований является скорее внешней, что в действительности в их основе лежит не действие произносительного механизма, а языковая традиция», положение, из которого следует, что между живыми и историческими чередованиями, по крайней мере, нет резких границ. В плане диахроническом (и динамическом) самым важным в рассуждениях Л. Р. Зиндера для нас является следующее: переход живого чередования в историческое, в отличие от фонологизации аллофонов ранее единой фонемы, не есть скачок, качественное изменение в звуковом составе данного языка². Делая акцент на сходстве, а не на различиях между живыми и историческими чередованиями, Л. Р. Зиндер утверждает, что «одно и то же чередование может выступать в одном случае как фонетическое, а в другом как историческое»³: в *вода* — *водица* /д/ : /д'/ — фонетическое чередование, в *вода* — *водяника* — историческое. Но тогда возникает вопрос: имеем ли мы здесь дело с «одним и тем же» чередованием? Та же самая мысль, но несколько иначе — фонологически

¹ Буланин Л. Л. Фонетика современного русского языка. М., 1970. С. 131–135.

² Зиндер Л. Р. Общая фонетика. С. 237–238.

³ Там же. С. 238.

более четко — сформулирована А. А. Бурыкиным: «Обусловленность — необусловленность чередований не зависит от признака, различающего чередующиеся фонемы»¹. Однако дальнейший вывод, вытекающий из этого положения, кажется, не был сделан, а именно: с точки зрения фонологической системы разграничение исторических и живых чередований не имеет смысла.

Единая проблема разграничения живых и исторических чередований имеет как собственно теоретический (определение критерии, на которых строится данное разграничение), так и практический (подведение конкретных чередований под тот или иной тип) аспект. Сначала на основании наблюдения языковых фактов — чередований в морфемах — формируется некоторое интуитивное представление о противопоставлении двух объектов (живых и исторических чередований). Затем формулируются определение и критерии противопоставления объектов (в разных фонологических концепциях по-разному). И, наконец, на базе возникшей гипотезы уточняется интерпретация наблюдаемых фактов (в зависимости от привлечения большего или меньшего числа явлений, подлежащих рассмотрению).

При описании звукового строя конкретного языка в ряде случаев имеет место двоякая интерпретация одного и того же чередования либо как исторического, либо как живого. Понятно, что чередование /д/ : /д'/ в глагольной основе (*иду* — *идешь*) может рассматриваться только как историческое. При этом похожее на него с фонологической точки зрения, сходное с ним (но не тождественное, не «одно и то же») чередование /д/ : /д'/ в основе существительных (*вода* — *воде*) иногда интерпретируется как историческое, а иногда как живое фонетическое (позиционно обусловленное) чередование, причем при последней трактовке предполагается дистрибутивное ограничение на последовательность фонем «твёрдый согласный + /e/», по крайней мере, в незаимствованной лексике. В принципе, обсуждаемый случай совершенно ясен. Это типичный пример так называемой неединственности фонологических решений, когда в неодинаковой степени учитываются факты². Разумеется, нет никаких оснований рассматривать данное чередование как фонетическое (позиционно обусловленное) в современном русском языке, поскольку такое решение не учитывает ряд фактов, из которых самым, по нашему мнению, важным является наличие твёрдых согласных перед /e/ на стыках слов: *пере/д/ этим*, *без/з/ этого*, *во/т/ этот* и т. п. Стык слов в языках типа русского ни в коем случае нельзя трактовать как

¹ Бурыкин А. А. Некоторые вопросы систематики фонологических единиц (в связи с теорией нейтрализации): Дипломное сочинение. Л., 1977 (рукопись).

² Стеблин-Каменский М. И. О симметрии в фонологических решениях и их неединственности // ВЯ. 1964. № 2. С. 51.

позицию фонетическую, как фонетический контекст, поэтому внешние сандхи особенно важны при процедурах установления позиционной фонетической обусловленности в русском языке.

В некоторых описаниях русской системы чередований, в частности ориентированных на генеративную фонологию, даже чередования гласных с «нулем звука» («беглые гласные») рассматриваются как автоматические. Эти чередования якобы вызваны фонологическим контекстом, т. е. происходит как бы «вставка» гласного в определенных группах согласных, а не «выпадение» гласного в определенных морфологических позициях: ср. в склонении существительных $\langle \text{ок}\#\text{н-ó/óк}\#\text{н-#} \rangle \rightarrow \text{окнó/бкон}$; $\langle \text{ов}\#\text{ц-á/ов}\#\text{ц-#} \rangle \rightarrow \text{овцá / овéц}$ (но в спряжении соответствующее чередование носит неавтоматический характер: $\langle \text{б}'\#\text{ráт'}/\text{б}'\#\text{p-ú} \rangle \rightarrow \text{брáть/берú}$)¹. Неавтоматический характер данного чередования для нас очевидным образом следует из того факта, что «вставка» гласного в группе согласных происходит не только перед паузой (фонетический контекст), но и не перед паузой, когда соответствующая «глубинная» группа согласных в сандхи оказывается перед гласным следующего слова: *овец — овец и коз — овцы*. Приведшее к возникновению явления «беглых» гласных изменение — падение редуцированных — давно прекратило свое действие, поэтому данное чередование является не автоматическим, не фонетическим, не позиционно обусловленным, а историческим. С позиций Щербовской школы генеративную фонологию следует, видимо, оценивать не как фонологическую, а как морфонологическую теорию, в которой описание строится при помощи конструирования «теоретически исходной формы». В зависимости от контекста «теоретически исходная форма» трансформируется в поверхностную структуру посредством применения определенных правил, причем этот контекст и правила трактуются как фонологические, что в известном смысле является злоупотреблением традиционной фонологической терминологией. Впрочем, в значительной степени то же самое можно сказать и о МФШ, с фонологической теорией которой у генеративной фонологии имеется много перекличек.

Вернемся к чередованию твердых и мягких согласных в склонении существительных (*вода — воде*) и посмотрим, справедливо ли распространенное мнение, согласно которому «за последнее время (курсив наш. — М. П.) в русском языке происходит превращение позиции перед *⟨e⟩* из позиции нейтрализации... в позицию релевантности для всех оппозиций по мягкости. Перед *⟨e⟩* стали возможны как мягкие, так и твердые... теперь фонема *⟨e⟩* не смягчает автоматически всякий предшеству-

¹ Stankiewicz E. Opposition and Hierarchy in Morphophonemic Alternations (1967 г.) // Stankiewicz E. Studies in Slavic Morphophonemics and Accentology. Ann Arbor, 1979. P. 1–13.

ющий согласный»¹. Другими словами, действительно ли живое чередование в данном случае превратилось в историческое только «за последнее время»? Приведенные выше примеры твердых согласных перед /с/ на стыках слов, носящие регулярный характер, ясно демонстрируют, что это не так. И до «последнего времени», т. е. до появления устойчивых и хорошо освоенных заимствований (и даже квазиомонимов типа *сер* — *сэр*) рассматриваемое чередование уже было историческим, носило морфонологический, а не чисто фонетический, т. е. позиционно обусловленный характер. Собственно только поэтому и возможны были такие заимствования. В приведенной цитате имеется одна очень характерная и показательная «неточность»: фонема /e/ не только теперь, но и в предшествующий период не «смягчала всякий предшествующий согласный». Она, если можно так выразиться, «смягчала» только так называемые парные по твердости–мягкости согласные (да и то, как мы видели, не всегда, а только внутри лексико-грамматического слова) и не смягчала, например, /ш/ и /ж/. Можно совершенно точно утверждать, что в говорах, легших в основу современного русского литературного языка, по крайней мере, в эпоху перехода /e/ в /o/ после палатализованных согласных, чередование твердых и мягких согласных перед /e/ уже было историческим и неавтоматическим. В противном случае автоматическая палатализация перед /e/ была бы утрачена и мягкий согласный перед /o/ из /e/ отвердел.

Можно согласиться с В. В. Колесовым, что в «смягчении» согласных перед /e/ «мы имеем дело не с нейтрализацией фонемного противопоставления, потому что в “слабой” позиции представлен маркированный член оппозиции»². Но и так называемого позиционного ограничения, как полагает В. В. Колесов, видимо, тоже не было, как не было, скорее всего, и «слабой» позиции. Даже для «пражцев» данный случай был, судя по всему, примером «мнимой нейтрализации». Но — что более существенно — это явление не было и результатом нейтрализации, понимаемой диахронически, т. е. дефонологизацией. Данная дистрибуционная особенность носила скорее морфонологический, чем фонетический характер и первоначально обслуживала маркирование стыка слов. Она возникла не в результате нейтрализации /t/ × /t'/ {перед /e/} → /t'/ (т. е. дефонологизации), а в процессе рефонологизации, ядром которой была фонологизация признака палатализованности — /t/ → /t/ ÷ /t'/, причем эта рефонологизация сопровождалась дефонологизацией палatalьного ряда — /t"/ × /t'/ → /t'/ . В исторической фонетике русского языка этот процесс традиционно называется «вторичным смягчением полумягких согласных».

¹ Журавлев В. К. Диахроническая фонология. М., 1986. С. 127.

² Колесов В. В. Позиционное ограничение как предел свертывания динамической системы // Звуковой строй языка. М., 1979. С. 152.

До сих пор еще широко распространено мнение, согласно которому «при своем возникновении любое чередование является позиционным, обусловленным законами, действующими на данном этапе развития языка. После устранения причин, вызвавших чередование, оно превращается из позиционного в фонетически не обусловленное, т. е. историческое»¹. При этом дело обычно выглядит так, что фонетическая обусловленность прекращает свое действие, а живое фонетическое чередование превращается в историческое *в результате* осуществления других фонетических изменений, выравниваний по аналогии (т. е. процессов морфонологической индукции), а также заимствований. Интерпретация рассмотренных нами выше явлений должна была показать, что это не совсем так: морфонологическая индукция и заимствование дистрибутивной фонологической модели вместе с иноязычной лексикой начинается после того, как собственно фонемное изменение завершилось и возникшее на его базе чередование уже стало историческим. Таким образом, никакого перехода живого чередования фонем в историческое не происходит, в процессе фонемного изменения аллофонное (автоматическое) чередование «превращается» в чередование фонем, а значит, сразу становится историческим. Кстати, в русском языке явно имеются исторические чередования, которые очевидно никогда не были позиционными фонетическими. Таково, например, чередование *n(n')//š*: *камень — камешек, баран — барашек*.

Как видим, понятие «живого фонетического (автоматического) чередования» смыкается с восходящим к младограмматикам понятием «фонетического закона». Понятие же «фонетического закона», в свою очередь, основывается на идее *регулярности* (безысключительности) звуковых изменений. Однако, в отличие от сравнительно-исторического языкоznания как научной дисциплины, которая не подвергает и не может подвергать сомнению данный постулат, лежащий в ее основании, современная диахроническая фонология признает, что в полном смысле слова регулярными, безысключительными являются только так называемые аллофонные изменения. Как остроумно писал М. И. Стеблин-Каменский, «тезис младограмматиков (о регулярности звуковых изменений. — *М. П.*) справедлив только для аллофонных изменений, но зато в отношении этих изменений он даже более справедлив, чем полагали его авторы»². Не противоречат этому и факты современного русского языка: мы практически не находим ни одного живого фонетического чередования фонем, которое было бы действительно регулярным,

¹ Буланин Л. Л. Фонетика современного русского языка. С. 133.

² Стеблин-Каменский М. И. Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков. С. 71.

автоматическим, обусловленным исключительно фонетическим контекстом, т. е. удовлетворяло бы тем определениям, которые даются понятию живого фонетического чередования.

Теперь рассмотрим проблему разграничения живых и исторических чередований на конкретном материале современного русского литературного языка. Будем исходить из представления о принципиальной фонологической однородности речевого потока и из идеи о постоянно возобновляющихся в процессе речевой деятельности стыках словоформ (внешних сандхи) как поле приложения творческой потенции языка. Автоматическими следует считать только те фонетические закономерности, которые имеют автоматический характер и на стыках словоформ. Таким образом, с собственно фонологической точки зрения позиция фонемы перед стыком слов принципиально та же, что и внутри слова. Важность учета сандхиальных форм при фонологическом анализе, в частности на этапе сегментации речевого потока на фонемы, была нами подчеркнута в предыдущих главах работы.

Проблема стыков слов в том аспекте, который затронут нами в данной главе, связана с проблемой пограничных сигналов, или диэрем. С нашей точки зрения (это ясно из предыдущего изложения), фонетические характеристики слова не могут сигнализировать о стыках слов. Видимо, в русском языке единственным пограничным сигналом, явно указывающим на межсловный стык, может считаться пауза, в том числе и так называемая психологическая пауза, т. е. граница между двумя синтагмами. Другим просодическим пограничным сигналом (факультативным) в русском языке может являться так называемый твердый приступ (*Knacklaut*) в словах, начинающихся с гласного: *o Tole /a-to-l'i/ — om Oli /a-to-l'i/ и /at-#o-l'i/*. Граница между двумя синтагмами — это своего рода предел, абсолютная фонологическая граница: межсинтагменный шов никогда не может проходить внутри фонемы. А поскольку он естественным образом совпадает с межсловной границей, последнюю можно рассматривать в качестве главного рабочего критерия фонологической сегментации речевого потока. Единственная оговорка касается непринужденной спонтанной речи, для которой характерен бытовой и связанный с ним речевой шаблон, приводящий к формированию фраз, членение которых на отдельные слова ослабляется¹.

Другой важный для нашего анализа момент — это проблема наличия в русском языке так называемой фонологической подсистемы заимствованных (или шире — малочастотных) слов. Полагаем, что при отсутствии

¹ См. об этом: Якубинский Л. П. О диалогической речи (1927 г.) // Якубинский Л. П. Избранные труды. Язык и его функционирование. М., 1986. С. 49–50. О проблемах вычленения фонетического слова и синтагмы в спонтанной речи см. также: Фонетика спонтанной речи. С. 105–111, 144–150.

двуязычия подобной подсистемы не возникает, а отсутствие некоторых сочетаний фонем не свидетельствует о принципиальной фонетической невозможности таких сочетаний в соответствующем языке, причем заимствования, проходя через «фонологическое сито» языка-реципиента, часто предоставляют материал для реализации дистрибутивных возможностей, уже заложенных в звуковом строе данного языка. Здесь мы сталкиваемся скорее с проблемой соотношения системы и нормы.

Теперь перейдем к более детальному анализу тех типичных чередований фонем русского литературного языка, которые традиционно (конечно, с учетом различий, налагаемых особенностями фонологических концепций) рассматриваются в качестве живых фонетических чередований.

Чередование ударного /о/ и безударного /а/

Чередование фонем /о/ : /а/ в случаях типа *вол — вола, вода — воду, хожу — ходишь* и т. п. не является живым фонетическим (позиционно обусловленным) чередованием в том смысле, в каком такое чередование традиционно понимается. С синхронической точки зрения это историческое чередование, поскольку оно, как мы увидим дальше, не определяется фонетическим контекстом, т. е. это чередование морфологическое (морфонологическое). Данное чередование можно считать живым только в том смысле, что оно продуктивно и действует в подавляющем большинстве тех русских слов, где его можно ожидать, т. е. оно находится в центре морфонологической системы русского языка. Но с диахронической точки зрения историческим его можно считать и в том смысле, что фонетический процесс, который привел к появлению этого чередования (возникновение аканья), уже завершился, причем завершился довольно давно. В словах (как в заимствованной лексике, так и в своих новообразованиях, например, аббревиатурах), которые появились в русском языке после завершения данного фонетического изменения и в которых встречается безударное /о/, чередования нет вообще. Таким образом, важна не безударность как фонетическая обусловленность, а чередование как обусловленность морфологическая.

Как было показано в разделе о парадигматической идентификации фонем, в русском языке нет дистрибутивного ограничения на безударное [о], которое широко распространено и произносится в большом количестве частотных слов (междометие *ого*, энклитические *но мы, то мы, что мы, хоть мы*; освоенные заимствования *боа, какао, радио* и др.; аббревиатуры *ОН, ГОЭЛРО*; сложные и сложносокращенные слова *полдома, Мосфильм, госдума* и др.; ср. *ради[о] — ави[а], на вы = новы [нʌвʌ] = /навы/ — но вы [но вʌ] = /но вы/*). Эти факты имеют большое

значение не только для парадигматического отождествления аллофонов, но и для интерпретации чередований.

Прекрасно, на наш взгляд, понимал природу чередования /o/ : /a/ Л. В. Щерба: «Она (фонема /o/. — *M. П.*) замечательна тем, что нормально не встречается в русских словах в неударных слогах, чередуясь в этом положении с “а”… Обыкновенно это чередование считается чисто фонетическим. Однако это неверно (курсив наш. — *M. П.*): во фразе в безударных слогах, так называемых проклитиках и энклитиках, “о” может сохраняться: *но я не верю в него…; я знаю, что он дома…; приехал он домой* (постпозитивное *он* является безударным и сохраняет свое “о”); *хотя он приехал домой* (здесь препозитивное *он* сохраняет свое ударение). Следовательно, безударность в настоящее время не превращает “о” в “а”»¹. В этом высказывании Л. В. Щербы замечательно все: и тонкое диахроническое чутье, с каким он одной фразой вывел данное чередование за рамки сферы действия синхронических фонетических закономерностей, и то, что он на первый план выдвинул примеры с проклитиками и энклитиками, а не заимствованные слова, произношение которых с безударным [o] он рассматривал, видимо, лишь как следствие уже существующей оппозиции /o/ — /a/ в неударных слогах. К сожалению, мнение Л. В. Щербы не имело, насколько нам известно, какого-либо резонанса даже в кругу лингвистов, принадлежащих его школе.

Итак, факты никем не отрицаются, но выводы, вытекающие из них, обычно, если не считать приведенное высказывание Л. В. Щербы, которое является характерным исключением, не делаются. Даже А. Н. Гвоздев, который в целом развивал щербовские идеи и дал блестящий анализ относящегося к данной проблеме материала, отмечает: «Конечно, настоящие факты исключительны и стоят совершенно особняком в системе русского вокализма, но они вообще любопытны, показывая, как фонетика отражает выделение своеобразной языковой категории (согласов)»². В отличие от А. Н. Гвоздева, считаем, что именно эти факты имеют первостепенное значение при анализе фонологической системы. Зачастую «мелкие», даже микроскопические, на первый взгляд как будто периферийные, явления в звуковом строе оказываются существенными для решения центральных проблем фонологической системы. Вспомним хотя бы название буквы «ы», периферийное слово, наличие которого, однако, неопровергимо доказывает фонематическую самостоятельность /ы/ в русском языке.

¹ Щерба Л. В. Теория русского письма. М., 1983. С. 54; здесь — в издании под редакцией Л. Р. Зиндера — восстановлен этот параграф, отсутствовавший в первом издании «Теории русского письма»: Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957.

² Гвоздев А. Н. О фонологических средствах русского языка. С. 125.

Явления, связанные с наличием безударного [о], имеют свою динамику в русском языке. Как известно, старомосковское произношение характеризовалось отсутствием безударного [о] в союзах *что*, *хоть* и др. М. В. Панов на материале комедии А. Д. Копьева «Что наше тово нам не нада» (СПб., 1794), в тексте которой последовательно и демонстративно передается аканье в репликах действующих лиц, показал, что для бытовой дворянской среды конца XVIII в. было характерно произношение безударного *шта*, *патаму шта*, *кали*, *кали*, *хать*: ср. «*Штоб ты гаваришь!*», но «*Сагласись, шта силай миль не будешь!*»; «*Штобожь д'блать галубчикъ!* Кто разум'єтъ дурнб, тотъ *ица* [sic!] *хать* [sic!] *дурно* да разум'єтъ...»¹

Р. И. Аванесов, не уделяя особого места данному вопросу в основном тексте 5-го издания своего «Русского литературного произношения», в комментариях к прилагаемым в конце книги транскрипциям рекомендует старую норму, отмечая допустимость и нового произношения: «Безударное (! — М. П.) слово *что*, примыкая к ударному слову *весь*, может произноситься также с гласным [о]: [што-в'ес']»². Указание Р. И. Аванесова на безударность *што* важно, так как существует теоретическая возможность фонологически интерпретировать всякое [о] как ударное. Восприятие авторитетных фонетистов играет здесь для нас роль своего рода лингвистического эксперимента. В то же время приводимые М. В. Пановым транскрипции реального чтения текстов (например, В. Н. Яхонтовым, А. Вознесенским; см. также приведенные выше примеры из «Теории русского письма» Л. В. Щербы) показывают, как нам представляется, наличие устойчивого безударного [о] в случаях энклитических *что*, *хоть* и, разумеется, *но*. Относительно последнего Р. И. Аванесов отмечает, что союз *но*, примыкая к следующему слову, «оказывается в безударном (! — М. П.) слоге, однако произносится с гласным [о], не изменяя его в [ʌ] или [ъ]»³.

Видимо, первоначально — на раннем этапе формирования акающей нормы — все (или почти все) эти союзы в безударной позиции подчищались «фонетическому закону» (аллофонному изменению), и только потом — после собственно фонологического изменения (мутации) — начались процессы морфонологические, а именно то, что А. Н. Гвоздев назвал «выделением (морфонологическим. — М. П.) своеобразной языковой категории (союзов)» (см. выше). Фонологическое же содержание

¹ Панов М. В. История русского литературного произношения XVIII–XX вв. М., 1990. С. 301–303; в примерах, приведенных из этой работы, выделение и расстановка ударения — наши; М. В. Панов полагает, на наш взгляд ошибочно, что в слове «дурно» написание «о» является отклонением от «акающей» орфографии автора комедии.

² Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. М., 1972. С. 374.

³ Там же. С. 362.

этих морфонологических процессов (традиционно — «выравниваний по аналогии») — закрепить тот факт, что мутация уже имела место: фонологическое изменение свершилось, и возникло чередование /o/ : /a/, которое, будучи чередованием *фонем*, сразу же было историческим. Индикатором завершенности фонетического процесса становится возникновение противопоставления /o/ — /a/ в безударной позиции, функциональная нагрузка которого подчеркивалась, в частности, появлением сравнительно большого (именно благодаря союзам) числа минимальных пар типа *но мне — на мне, то мил — томил* и т. п. Дело здесь, видимо, не столько даже в выделении собственно союзов, сколько в том, что употребление безударного [o] именно в союзах функционально нагружает данное противопоставление. Все это делает, с точки зрения фонологической системы, понятной возможность и относительную легкость взаимодействия в XVIII в. (когда закладывались основы современного литературного произношения) «акающего» и «окающего» вариантов произношения в социальном и стилистическом аспектах. Ведь взаимодействовали не системы, а варианты нормы. «Окающее» произношение XVIII — начала XIX в. связано не с севернорусским оканьем, а с церковным произношением. Этому «окающему» литературному произношению соответствует «екающее». На смену паре «оканье — еканье» в литературном языке приходит пара «аканье — иканье», тогда как в диалектных системах с оканьем этому «системному» оканью параллельно яканье, а не иканье. Все это процессы внутри фонологической системы и нормы литературного языка, непосредственно не связанные с процессами в говорах. Диалектные фонологические системы теперь сами видоизменяются под влиянием литературного языка.

То, что в случае с чередованием /o/ : /a/ мы имеем дело с историческим чередованием, подтверждают встречающиеся спорадически в речи людей, владеющих нормами литературного произношения (в частности, в речи тележурналистов), «оговорки» типа *ави[о]билет, ави[о]компания* и т. п. Предварительно (до проведения более основательного и систематического исследования) их следует, на наш взгляд, интерпретировать как гиперкорректные формы. Но чем вызвана эта гиперкоррекция? С одной стороны, подобное произношение может быть вызвано влиянием орфографии соединительных гласных. Этот фактор ослабляется тем обстоятельством, что написание последних в русской орфографии является непроверяемым и поэтому подчиняется традиционному принципу. Однако возможна интерпретация носителем языка ударного [o] как соединительного гласного в словах типа *термометр, барометр* и т. п., что могло бы усиливать орфографический фактор. С другой стороны, для нас очевидна индуцирующая роль фонетической модели с безударным [o] в позиции после гласного (особенно после /i/), представленной в формах типа *рад[ио], ауди[ио], вид[ио]*, которые, кроме

того, близки форме *авиа* семантически (современные технические заимствования) и акцентологически.

Несколько сложнее обстоит дело с интерпретацией чередований, связанных с так называемым иканьем. Чередования /e/ : /i/ (беды — беда), /a/ : /i/ (пять — пяты), /o/ : /i/ (вел — вела) после мягких согласных в зависимости от ударения всегда рассматриваются как живые фонетические, позиционно обусловленные. Однако если выйти за рамки взятых отдельно изолированных слов, то картина меняется. В позиции после мягких согласных безударные гласные неверхнего подъема достаточно часто встречаются на стыках слов: /хот' ад'ин/ *хоть один*, /в'ит' ана/ *весь она* и т. п. В принципе фонетическая система русского языка допускает в такой позиции и безударное /o/, хотя лексически наполняемость этой возможности крайне ограничена: ср. /в'ит' оон/ *весь ООН*, /хот' ого/ *хоть «ого»*. Впрочем, при внимательном поиске можно найти достаточно примеров на безударное /o/ после мягких согласных и внутри слова: ср. *m[р'о]хсом*, *четыр[р'о]хсом*. Наличие подобных форм означает, что в случае с /a/ : /i/ и /o/ : /i/ мы имеем дело уже с явно историческим чередованием. На это же указывает произношение *сл[ё]зоточ[и]вый*, *м[ё]доточ[и]вый* (при наличии двух ударений в данных словах), но не **сл[ё]зоточ[и]вый*, **м[ё]доточ[и]вый*, хотя с точки зрения фонологической системы, как мы видели, такие формы допустимы, а в сильной позиции имеем *сл[ё]зы*, *м[ё]д*.

Совсем другая ситуация с чередованием /e/ : /i/. Здесь мы действительно не найдем примеров, иллюстрирующих противопоставленность в безударной позиции чередующихся фонем. В этом случае имеет место не противопоставленность, а вариантность произношения в зависимости от стиля речи, т. е. взаимодействие «икающего» и «скающего» литературного произношения в процессе изменения /e/ > /i/ в безударной позиции. Судя по всему, это самостоятельный процесс в фонетической системе русского литературного языка, не имеющий прямого отношения к еканью и иканью в русских говорах. Процесс, генетически восходящий к диалектному иканью, проникшему в московское кийне и связанному с общерусской тенденцией преобразования безударного вокализма, был прерван в литературном языке в XVIII в. Таким образом, мы в настоящее время находимся на одном из заключительных этапов позиционно обусловленного фонемного изменения /e/ > /i/. Именно потому чередование /e/ : /i/ напоминает живое фонетическое чередование, что оно как бы только «вылупилось» из аллофонного изменения и находится на синтагматическом этапе процесса, когда парадигматический сдвиг еще не произошел. Чередование /e/ : /i/ похоже на живое, поскольку это еще не чередование *фонем*, а значит, вообще еще не чередование. Так что в каком-то смысле прав Л. В. Щерба и некоторые его современные последователи, например, Л. Р. Зиндер и Л. Л. Буланин,

которые трактуют литературную норму как екающую. Это верно постольку, поскольку парадигматический процесс изменения еще не завершен.

Соответственно, интерпретация рассмотренных выше чередований как /a/ : /i/ и /o/ : /u/, а не /a/ : /e/ и /o/ : /e/ с диахронической точки зрения является некоторым забеганием вперед. Со своей стороны чередования /a/ : /e → /i/ и /o/ : /e → /u/ отражают давно завершившиеся (и потому морфонологизовавшиеся) фонемные изменения: сначала /o/ > /a/ после мягких и твердых согласных, а затем /a/ > /e/ после мягких согласных. Результатом этих изменений и явилось ставшее нормой в процессе формирования в XVIII в. современного русского литературного языка аканье (противопоставленное церковнославянскому «оканью») и еканье (противопоставленное московскому просторечному «иканью»).

В связи со сказанным о чередованиях ударных и безударных гласных следует, видимо, остановиться на проблеме ударения в русском языке. Существует точка зрения на русское словесное ударение (однако не только и не столько на русское, сколько на ударение вообще) не как на способ выделения одного из слогов слова, а как на способность различать то или иное количество противопоставленных фонологических единиц: «...ударение — это привилегия, предоставленная фонологической системой одному из слогов слова. Так, в русском в одних слогах противопоставляются пять гласных, а в других три (а после палатализованных даже два). Способность различать пять гласных (максимальный набор) и есть то, что следует называть ударением в русском языке»¹.

Пафос А. С. Либермана понятен: ударение — это не субстанция, а отношение. Однако его теории противоречат приведенные выше факты: безударные слоги в русском языке тоже оказываются «привилегированными». Исходя из его концепции, мы должны предположить, что эти «привилегированные» слоги являются ударными. Но пока еще, кажется, никто из исследователей русской фонетики не признавал того, что, например, в словоформе /тр'охтонка/ *трехтонка* имеется два ударения (как правило, такие словоформы просто игнорируются). Невозможно предположить и наличие здесь второстепенного (побочного) ударения (которое, конечно, следовало бы фонологически приравнять к главному), поскольку тогда было бы трудно объяснить, почему его нет, например, в словоформе /п'ит'итонка/ *пятитонка*, где расстояние между слогами больше. Таким образом, ударение в русском языке, это все-таки не функция парадигматических отношений гласных фонем, а способ выделения одного из слогов словоформы, превратившийся в морфонологическое средство. Что касается теории «привилегированности»

¹ Либерман А. С. Некоторые спорные вопросы общей и германской просодики // Проблемы фонетики. Вып. 3. М., 1999. С. 155.

в целом, то интересны факты литовского языка, в котором под ударением различается меньше гласных, чем в безударной позиции, что как будто противоречит идею «привилегированности»¹.

Чередования глухих и звонких согласных

Так называемое оглушение шумных звонких согласных на конце слова также является историческим, а не живым фонетическим позиционно обусловленным чередованием. Здесь мы также развиваем понимание данного вопроса Л. В. Щербой, указывавшим (впрочем, без каких-либо теоретических комментариев) применительно к восточно-лузицкому говору, где ситуация принципиально не отличается от русской, следующее: «§ 149. Чередования звонких с соответствующими глухими... в конце слова и перед глухими надо признать историческим у молодого поколения»².

Давно отмечен тот факт, что в случаях типа *Помо[к] ли он?* или *Ну, не га[т] ли?* оглушение конечного согласного происходит не перед паузой, а в ауслауте. Именно поэтому контекст оглушения звонких в конце слова так и определяют: «на конце лексико-грамматического слова» (морфонологическая обусловленность), а не «перед паузой» (фонетическая обусловленность)³. Соответствующий контекст можно описать более «морфологично» — «перед нулевой флекссией». Раньше других, насколько нам известно, именно таким образом это правило сформулировал Л. Л. Буланин: «...в именах существительных с основой на звонкий согласный перед нулевым окончанием звонкий согласный чередуется с глухим»⁴. А это означает не что иное, как признание неавтоматического (с фонетической точки зрения) характера данного чередования⁵, ведь если нет нулевой флексии, то нет и чередования звонкого и глухого (например, в окончаниях глаголов *идет, идешь* или на конце наречий *вдруг, вспять* и т. п.

¹ Кузьменко Ю. К. Фонологическая эволюция германских языков. М., 1991. С. 7–8.

² Щерба Л. В. Восточно-лузицкое наречие. С. 70.

³ Чурганова В. Г. Очерк русской морфонологии. М., 1973. С. 31–32.

⁴ Буланин Л. Л. Фонетика современного русского языка. С. 135.

⁵ Подробное рассмотрение вопроса о соотношении фонетического и грамматического контекстов при чередовании фонем, в частности на примерах русских чередований звонких и глухих, и попытка более строго сформулировать традиционный подход к его решению имеется в работе: Касевич В. Б. Морфонология. Л., 1986. С. 18–21. Много интересных примеров чередований, в которых фонетическая позиция и позиция в морфеме совпадают, приводится из восточнославянских говоров в работе: Калнынь Л. Э. К вопросу о разделении звуковых чередований на фонетические и нефонетические // Славянское и балканское языкоznание. Проблемы морфонологии. М., 1981. С. 205–211. Однако автор, находящийся на иных фонологических позициях, естественно, приходит к выводам, принципиально отличающимся от наших.

конечный согласный всегда глухой, если оставить в стороне случая «озвончения» перед начальным звонким шумным согласным следующего слова). Соответственно оглушение на конце слова не перед паузой не следует интерпретировать и как ограничение в дистрибуции фонем, поскольку чередование здесь не является автоматическим.

Такое ограничение в дистрибуции, однако, естественно было бы предполагать в случаях оглушения перед глухими и озвончения перед звонкими шумными согласными, т. е. там, где на первый взгляд действительно имеет место автоматическое, а значит, живое фонетическое чередование. Но и в этих случаях, на наш взгляд, происходит историческое чередование фонем, чисто фонетическая обусловленность которого на самом деле носит скорее внешний характер. Дело здесь, видимо, заключается в том, что грамматическая функция таких чередований в значительной степени ослаблена. Эти выводы подтверждаются, как нам представляется, следующими фактами современного русского литературного языка.

Известно особое отношение фонемы /в/ к признаку звонкости–глухости в русском языке: она ведет себя по отношению к предшествующим согласным как сонорный, не озвончая их (*твой — двор*), хотя сама оглушается на конце слова и перед глухими. Р. О. Якобсону принадлежит открытие того, что в русском языке «в случае, когда шумный согласный предшествует звонкому шумному, первый из них тоже становится звонким, если они следуют непосредственно друг за другом или между ними имеется в: *от вдовы* [-двд-], с *вдовой* [-звд-], к *вдове* [-гвд-], *от взглядов* [-двзг-], к *вздохам* [-гвзд-]...»¹, но перед «/в/ + сонорный» озвончение отсутствует: *от внука* [-твн-], с *внуком* [-свн-], к *врачу* [-квр-] и подобные. Таким образом, Р. О. Якобсон как бы приравнивает позицию перед «/в/ + шумный» к позиции перед «шумным (без предшествующего /в/»).

Однако ни Р. О. Якобсон, ни А. А. Реформатский, подробно в своих «Фонологических этюдах» рассмотревший «правило Якобсона» в той части, которая касается позиций перед /в/, не отметили одной существенной детали данного явления: «правило Якобсона» не всегда работает на стыках слов. Оно действует (правда, с обычной непоследовательностью, характерной для стыков фонетических слов) тогда, когда /в/ оказывается в начале фонетического слова (например, *принес вдове* [-звд-] или *принес в дом* [-звд-], *кот/код в доме* [-двд-]), но не действует, когда /в/ оказывается в ауслауте перед следующим словом, начинаяющимся со звонкого шумного (например, *клятье дал* [-твд-], *подошв было* [-швб-] и подобные). А это означает, что закономерность, обнаружен-

¹ Jakobson R. Die Verteilung der stimmhaften Geräuschlaute im Russischen // Jakobson R. Selected writings. Vol. 1. The Hague, 1962. P. 506 — цит. по работе: Реформатский А. А. Фонологические этюды. М., 1975. С. 131.

ная Р. О. Якобсоном, не чисто фонетическая: действуя внутри фонетического слова, но, не действуя автоматически на стыке слов, она носит специфический морфонологический характер. С нашей точки зрения, только те дистрибутивные закономерности, которые автоматически подтверждаются во внешних сандхи, могут претендовать на статус фонетических. Следовательно, чередования, вызванные «правилом Якобсона», являются историческими не только перед сочетанием «/в/ + шумный», но и перед приравненным к этому сочетанию «звонким шумным (без предшествующего /в/)».

М. В. Панов отмечает, что на стыке слов возможно сочетание «глухой + звонкий шумный» при условии значительно более сильного удара на первом слове по сравнению со вторым¹. Однако более серьезные исследования данного феномена показали, что обязательным условием произношения глухого согласного перед следующим звонким в сандхи является наличие синтагматического шва², который был охарактеризован нами выше как «абсолютная фонологическая граница» и фонетически приравнен к стыку слов. Соответственно фонетическое чередование (озвончение/неозвончение), которое по-разному происходит на межсловном стыке внутри синтагмы и межсинтагменном стыке, является чередованием морфонологическим, а значит, — историческим.

Было бы очень соблазнительным для подтверждения нашего тезиса об историческом характере чередований по звонкости—глухости воспользоваться и известным примером А. А. Реформатского — *язв* [язф], *трезв* [тр'езф]³, примером, который, если он отражает языковую реальность (судя по всему, отражает — иначе Реформатский не заметил бы этого факта, а многие видные лингвисты не восприняли бы его как реальный⁴), показывает, что звонкий согласный остается звонким перед «затвердевшим оглушенным шумным звуком»: «Пусть само ⟨в⟩ в конечной позиции (в случае *язв*) оглушилось, но оно сохранило свои позиционные свойства и способности в отношении различия предшествующих звонких и глухих...»⁵

¹ Панов М. В. Русская фонетика. С. 191.

² Пауфошима Р. Ф., Агоронов Д. А. Об условиях ассимилятивного озвончения согласных на стыке фонетических слов в русском языке // Развитие фонетики современного русского языка. М., 1971. С. 193.

³ Ср. обязательное оглушение перед /ф/, как чередующимся, так и не чередующимся с /в/: *без виши* [-сфш-], *без второго* [-сфт-].

⁴ Зализняк А. А. Размышления по поводу «язв» А. А. Реформатского // Предварительные публикации Проблемной группы по экспериментальной и прикладной лингвистике. Вып. 71. М., 1975. С. 13–23; Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. М., 1983. С. 49.

⁵ Реформатский А. А. Фонологические этюды. С. 133.

Предложенной интерпретации чередований по звонкости–глухости не противоречат, а скорее даже подкрепляют ее некоторые особенности артикуляционной базы русского литературного языка (именно литературного, поскольку артикуляционная база, например, севернорусских говоров — другая). Имеем в виду прежде всего такую особенность артикуляционной базы, как слабая степень примыкания звуковых компонентов друг к другу в речевой цепи, которая, будучи глубинным свойством русской коартикуляции, проявляется применительно к интересующей нас области консонантизма в следующих чертах: «возможность переключения речевого аппарата с одних контрастных артикуляций на другие, степень насыщенности консонантных комплексов вокалическими прослойками, характер выраженности экспозиции в группе смычных»¹. В частности, для литературного русского произношения характерны вокалические прослойки между смычными согласными, в том числе между звонкими и глухими: ср. *отбой* [-д(ъ)б-], *к дому* [г(ъ)д-]². Эти факты лишний раз подчеркивают не чисто фонетический, а морфонологический характер оглушений и озвончений в литературном языке. Заметим попутно, что совершенно иная система консонантизма представлена севернорусскими говорами, в которых, с одной стороны, отсутствует оглушение звонких согласных на стыках слов перед гласными и сonorными, а с другой — имеются полузвонкие согласные в интервокальной позиции³. Не исключено, что в этих говорах озвончения и оглушения не на стыках слов представляют собой аллофонное варьирование (т. е. действительно живое фонетическое чередование) и только наблюдателем-лингвистом, носителем литературного языка, воспринимаются как оглушения и озвончения, подобные литературным чередованиям фонем. Имеются серьезные основания предполагать, что для севернорусского консонантизма характерна система с противопоставлением согласных по признаку напряженности–ненапряженности, а не звонкости–глухости.

Итак, приходим к выводу о том, что две важнейшие группы чередований фонем в звуковой системе русского литературного языка — чередования /o/ : /a/ и чередования звонких и глухих согласных — традиционно рассматриваемые как живые, обусловленные фонетическим контекстом, в действительности являются чередованиями историческими. Живыми же их можно назвать только в том смысле, что они продуктивны и занимают центральное место в морфонологической системе русского языка.

¹ Пауфошима Р. Ф. Перестройка системы предударного вокализма в одном вологодском говоре // Физические основы современных фонетических процессов в русских говорах. М., 1978. С. 31.

² Там же. С. 24.

³ Пауфошима Р. Ф. Фонетика слова и фразы в севернорусских говорах. С. 55–57.

Другие чередования

Непризнание живыми фонетическими чередованиями таких хрестоматийных случаев, как разобранные выше, ставит под сомнение соответствующий статус и некоторых других чередований, которые обычно считаются таковыми. Наиболее очевиден неавтоматический, нефонетический характер чередований свистящих и шипящих перед шипящими, что подтверждается наличием произносительных вариантов в сандхи:ср. [л'еш шум'ит] и [л'ес шум'ит] *лес шумит*, причем именно последний вариант характерен для полного стиля¹, который особенно важен для фонемной идентификации.

Более сложный случай представляют чередования, вызванные дистрибутивным ограничением мягких и твердых согласных перед /и/ и /ы/. Если исходить из того, что /и/ и /ы/ — самостоятельные фонемы, то чередование /д/ : /д'/ в *вода — водица* будет живым фонетическим, в то время как в *вода — водянка* — историческим²; соответственно живым фонетическим будет чередование /и/ : /ы/ в *ива — под ивой*³. Как будто в данном предположении все логично, однако что-то мешает полностью принять эту логику. Получается, что в русском языке в одних случаях — т. е. в одних морфемах — твердость согласного определяет наличие /ы/ (*подытожить*), в других — наоборот — наличие /и/ определяет мягкость предшествующего согласного (*водица*). Представляется, что такое распределение не является на самом деле фонетическим, оно сложилось в результате определенных и, в сущности, непосредственно не связанных между собой фонетических изменений, рефлексы которых наложились друг на друга и определили своеобразие русской морфонологической системы. Если мы несколько трансформируем (ничего не меняя по сути) пример Л. Р. Зиндера и возьмем вместо пары *вода — водица* пару *воды — водица*, то увидим, что /ы/ в *воды* определяется твердостью /д/ (ср. *Фе/д'и/*) (чередование обусловлено фонетически, т. е. оно как бы не историческое, а /и/ в *водица* определяется мягкостью /д'/ (чередование опять же обусловлено фонетически, т. е. оно тоже не-историческое). Каждое из этих чередований (или позиционных ограничений в дистрибуции) очень похоже на живое фонетическое, но их наложение и как бы взаимная отмена фонетической обусловленности показывает, что и в том и в другом случае мы имеем дело уже с чередованием историческим, которое имеет лишь внешнюю форму живого фонетического чередования.

¹ Матусевич М. И. Современный русский язык. С. 211.

² Зиндер Л. Р. Общая фонетика. С. 238.

³ Матусевич М. И. Современный русский язык. Фонетика. М., 1976. С. 220.

Можно посмотреть на приведенный случай и с другой стороны. Дело в том, что словообразовательные примеры вообще не представляются удачными для демонстрации чередований, так как при словообразовании чередования носят несколько иной характер, чем при формообразовании — они налагаются на чередования, существующие в парадигме словоформ. С этой точки зрения так называемое чередование /д/ : /д'/ в *вода* — *водица* — это не чередование в принятом выше понимании, а своего рода «чередование чередований», так как здесь чередуются не фонемы, а морфонемы {д : д'} : {д'}, т. е. историческое (= морфонологическое) чередование фонем /д/ : /д'/ (= морфонема {д : д'}) в *вода* — *водé* чередуется с изолированной морфонемой {д'} в *водица*. Словообразовательные отношения *водить* → *вождение* и *водить* → *вода* «тот, кто водит (в игре)» обслуживаются следующими чередованиями морфонем: *вода* — *водить* — *вождение* = {д : д'} : {д' : ж} : {жд'}. Об этом писал еще И. А. Бодуэн де Куртенэ, классифицируя альтернации с точки зрения простоты и сложности на «простые альтернации» и «альтернации (пар)альтернаций», или «альтернации альтернационных отношений»¹.

Фактически в русском языке нет ни одной парадигмы словоформ, в которой бы имелось чередование твердого и мягкого, обусловленное позицией согласного перед /и/, и которое существовало бы до возникновения иканья. Ясно, что в *вода* — *водé* историческое чередование /д/ : /д'/, но в *мода* — *модé* чередование /д/ : /д'/ также историческое, несмотря на то, что в современном русском литературном языке /д'/ в последнем слове находится в позиции перед /и/, так как его фонетическая позиционная обусловленность чисто внешняя, не затрагивающая сущности явления, ведь даже с традиционной точки зрения, различающей исторические и живые фонетические чередования фонем, историческое чередование не может превратиться в живое фонетическое. Данный пример, кстати, показывает необходимость учитывать диахронию (разумеется, когда это возможно) при синхроническом анализе языковых явлений, так как синхронные дистрибутивные ограничения в распределении языковых единиц иногда оказываются двусмысленными и могут повести исследователя по неверному пути.

Таким образом, в русском языке остается фактически только одно чередование /и/ : /ы/, которое в принципе можно было бы интерпретировать как живое позиционное, обусловленное чисто фонетическим контекстом — наличием твердого согласного перед /ы/. Исходя из всего сказанного выше, в том числе из общих соображений, и это чередование фонем следует признать историческим, если, конечно, это действи-

¹ Бодуэн де Куртенэ И. А. Опыт теории фонетических альтернаций (1895 г.) // Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. I. М., 1963. С. 294.

тельно чередование самостоятельных фонем, в чем трудно сомневаться (см. главу 5), хотя, как известно, до сих пор этот вопрос остается дискуссионным. Но проблема фонематической самостоятельности [и] и [ы] должна быть решена на предшествующих этапах фонологического анализа, а именно при установлении состава фонем русского языка. Правда, от того решения, какое будет принято, зависит интерпретация контекста, в котором происходит данное чередование.

Итак, проведенный анализ и интерпретация фонемных чередований, которые в современном русском литературном языке традиционно считаются живыми фонетическими, отличными от исторических (морфологических), приводит к выводу о том, что всякие чередования *фонем* являются историческими. Таких чередований, которые удовлетворяли бы критериям, обычно устанавливаемым для признания чередования живым фонетическим, видимо, не существует. Дальнейшая классификация чередований фонем возможна и необходима в морфологическом аспекте, но в ее основе не должно лежать разделение чередований на живые фонетические и исторические, разделение, неадекватно отражающее звуковой строй, по крайней мере, русского языка. Пересмотр требует, таким образом, и господствующая в соответствующей области лингвистики терминология.

Мы ограничиваем наши выводы русским языком, однако полагаем, что они в целом должны быть справедливы и в отношении других фонемных языков. Например, в своем описании фонетики французского языка М. В. Гордина различает фонетические (позиционные) и исторические чередования, однако примеры фонетических чередований, которые приводятся в ее работе, являются, на наш взгляд, либо текущими фонетическими изменениями, либо историческими чередованиями, что фактически признает и сам автор¹. Л. Р. Зиндер в посмертно изданном «Теоретическом курсе фонетики современного немецкого языка» отмечает, что в немецком отсутствуют живые фонетические чередования гласных, и отводит одно кажущееся исключение². Видимо, таких «кажущихся» живых фонетических чередований фонем в разных языках еще достаточно.

В связи с развивающимися здесь положениями теряет смысл и такое понятие, как фонологическая нейтрализация (не случайно, конечно, не разработанное в щербовской фонологии), во всяком случае, применительно к мене звонких и глухих на конце слова и к чередованию /o/ : /a/ в зависимости от ударения, которые, как правило, и приводятся в качестве типичнейших примеров нейтрализации в русском языке. Видимо, следует уступить термин *нейтрализация* понятийному аппарату диахрониче-

¹ Гордина М. В. Фонетика французского языка. СПб., 1997. С. 159–166.

² Зиндер Л. Р. Теоретический курс фонетики современного немецкого языка. С. 140.

ской фонологии. Например, для обозначения того явления, которое традиционно в исторической лингвистике называется *слиянием* (merger) фонем, особенно в случае, когда диахронический процесс текущего фонетического изменения (sound change in progress) рассматривается с позиций синхронии, т. е. функционирующей системы. Среди проанализированных в настоящей главе примеров к нейтрализации в предложенном смысле будет относиться слияние /e/ и /i/ в безударной позиции, т. е. замена еканья иканьем в русском литературном языке. В то же время чередование, например, ударного /o/ и безударного /i/ после мягких согласных (типа *нес* — *несу*) к нейтрализации как текущему фонетическому изменению не имеет никакого отношения.

Итак, в данной главе мы пытались показать неадекватность в фонологическом плане противопоставления позиционных фонетических чередований историческим, так как с точки зрения функционирования фонологической системы между теми и другими нет различий. За редкими исключениями мы старались не затрагивать проблему типологии чередований фонем, поскольку, с нашей точки зрения, эти вопросы относятся к сфере морфонологии. Во всяком случае, эта типология не должна базироваться на ставшем уже традиционным разделении чередований на живые и исторические. Видимо, прав был один из основоположников современного языкознания Ф. де Соссюр, который предупреждал современных ему лингвистов, что многие из них «до сих пор делают ошибку, полагая, что чередование есть явление фонетическое, основывающееся на том, что материалом для него служат звуки, и что в его генезисе участвуют тоже изменения звуков». Сам он считал, что «чредование, как в его исходной точке, так и в его окончательном виде, всегда принадлежит только грамматике и синхронии»¹.

В заключение еще раз подчеркнем, что проблема не в терминологии, хотя в свете развиваемых нами положений и ее желательно изменить. Тем не менее важность собственно терминологического аспекта заключается, видимо, в том, что сами традиционные определения «живые» и «исторические» применительно к чередованиям носят в значительной степени метафорический и не вполне определенный характер. Как писал по другому поводу Л. В. Щерба, «дело не в термине, а в понимании, но термин зачастую является хорошим momento»².

¹ Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Соссюр Фердинанд де. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 191.

² Щерба Л. В. Русские гласные... С. 116.

Часть II

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ФОНОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Глава 9

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДИАХРОНИЧЕСКОЙ ФОНОЛОГИИ

Давление системы и «пустые клетки»

В 20-е гг. XX в., после возникновения фонологии, большинство лингвистов пришло к соглашению, что звуковой строй языка представляет собой *систему фонем*. Однако на первых порах согласие между ними в отношении этого постулата носило в основном декларативный характер. Первым, кто предпринял конкретный фонологический анализ большого количества систем вокализма и консонантизма, был Н. С. Трубецкой. Ему же, как известно, принадлежит и первая конкретная попытка структурного объяснения эволюции фонологической системы на примере изменений славянских заднеязычных¹. Для истории науки совершенно неважно, прав или не прав Трубецкой в своих конкретных интерпретациях. Важно огромное влияние его идей на дальнейшее развитие диахронической фонологии. Его работы открыли новые пути в объяснении фонетических изменений. Со временем Трубецкого важнейшей задачей диахронической фонологии становится выяснение того, каким образом и в какой степени структура языка определяет эволюцию звукового строя.

¹ Трубецкой Н. С. К истории задненебных в славянских языках (1933 г.) // Трубецкой Н. С. Избранные труды по филологии. М., 1987. С. 168–179.

Главный вывод, к которому, опираясь в значительной степени на славянский материал, пришла диахроническая фонология в середине XX в., заключался в том, что важнейшую роль в фонетической эволюции играет «тенденция к созданию и восстановлению симметричной структуры фонологических систем»¹. Позднее это положение обросло различными оговорками. Одни фонологи отмечали, что симметрия системы — это «предел, к которому должно было бы идти развитие», но «в действительности такой предел никогда не достигается. Симметрия в системе фонем не только все время создается, но все время разрушается, т. е. фактически никогда не бывает полной»². Другие полагают, что симметричен лишь центральный блок фонологической системы, в то время как периферия асимметрична³. Тем не менее тенденция к симметрии, или равновесию, фонологической структуры продолжает находиться в центре понятийного аппарата диахронической фонологии.

Эта общая тенденция находит выражение в различных проявлениях давления системы, из которых главным и наиболее показательным считается так называемое заполнение «пустых клеток». Похоже, что любое давление системы можно представить как заполнение или ликвидацию «пустых клеток». Заполнение «пустых клеток» А. Мартине определяет как притяжение внутренне организованной системой не интегрированных в нее фонем, причем это возможно только в том случае, если слабо включенная в систему фонема находится достаточно близко от «пустой клетки»⁴.

Определение А. Мартине предполагает такую ситуацию, когда заполнение «пустой клетки» происходит за счет фонемы, уже наличествующей в системе, но не интегрированной в корреляцию. Примером такого рода заполнения «пустой клетки» могло бы служить великорусское изменение [w] > [v] при условии, что уже существует фонема /ф/. Фонема /w/ интегрируется в корреляцию по звонкости–глухости, заполняя пустую клетку напротив /ф/ и меняя губно–губную артикуляцию на губно–зубную. Разумеется, со структурной точки зрения /v/ — это уже новая фонема, с иным, чем у /w/, набором различительных признаков. Но в целом количество фонем в системе не увеличилось.

Пример этот, впрочем, не слишком показателен, поскольку обычно само вхождение в русскую фонологическую систему фонемы /ф/ ста-

¹ Wijk N. van. Phonologie, een hoofdstuk uit de structurele taalwetenschap. La Haye, 1939. P. 303 (цит. по: Журавлев В. К. Диахроническая фонология. М., 1986. С. 165).

² Стеблин-Каменский М. И. Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков. Л., 1966. С. 7.

³ Журавлев В. К. Диахроническая фонология. С. 83–87, 162–164.

⁴ Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях: Проблемы диахронической фонологии. М., 1960. С. 110.

вится в зависимость от изменения $[w] > [v]$. Вопрос о том, что является причиной, а что следствием и что чему предшествовало — изменение $[w] > [v]$ возникновению /ф/ или наоборот — не так прост. В принципе замена губно-губной артикуляции [w] на губно-зубную [v] (XIII–XIV вв. в Северо-Восточной Руси¹), судя по всему, предшествовала фонологизации [f], время которой установить трудно, хотя ясно, что это должно было произойти после оглушения конечных согласных и ресиллабации на стыках слов, т. е., видимо, после XV в. С этим же согласуется и известный из диалектологических описаний факт, что фонема /ф/ отмечается только в тех говорах, которые пережили изменение $[w] > [v]$. Если относительная хронология описанных процессов действительно такова, то тогда уже вхождение в систему фонемы /ф/ можно было бы рассматривать как заполнение «пустой клетки» напротив /в/ в условиях формирования корреляции по звонкости–глухости. Фонема /в/ как бы «выделила» свои глухие аллофоны для заполнения «пустой клетки», и произошла их фонологизация.

Отметим, что в системе был и другой подходящий кандидат на заполнение этой «пустой клетки», а именно фонема /х/. Диалектологам известно использование этой фонемы в качестве субститута инодиалектного и литературного конечного [f] говорами, не знающими фонемы /ф/, которая именно в говорах с губно-зубным /в/ не имела звонкого коррелята. Некоторые русские говоры (например, гдовские²) указывают на еще одну возможность развития: оглушение конечного губно-губного [w] в [ф] (глухой щелевой двухфокусный со вторым фокусом в области мягкого нёба) с дальнейшим развитием последнего в [х]. Однако такой путь заполнения «пустой клетки», видимо, был неудобен вследствие невключения /х/ в корреляцию по твердости–мягкости и отсутствия мягкого [х'] в ауслауте.

Наличие «пустой клетки» создает благоприятные условия для заимствования фонемы в условиях двуязычия или интенсивного взаимодействия литературного языка и диалекта. В такой системе уже имеются все необходимые различительные признаки, проблема состоит лишь в том, чтобы освоить их новую комбинацию. Итак, заполнение «пустой клетки» может привести и часто приводит к появлению новой фонемы. Классическим примером такого развития можно считать, например, возникновение в древнерусском так называемого /ð/ закрытого из *ó под восходящим ударением в процессе утраты интонационных различий.

¹ Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. М., 1980. С. 171–172.

² Касаткин Л. Л. Некоторые особенности консонантизма говоров Гдовского района Псковской области // Касаткин Л. Л. Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для истории русского языка. М., 1999. С. 271.

Если фонологическая система стремится к созданию симметричной структуры, возникает естественный вопрос: как и почему появляются сами «пустые клетки»? Надо думать, что, кроме тенденции к созданию симметричной структуры, в системе фонем есть какие-то другие структурные тенденции, которые приводят в определенных условиях к появлению «пустых клеток». Фонологи давно обратили внимание на то, что, кроме давления системы, существует также давление фонем друг на друга внутри системы.

В частности, при изучении эволюции фонологических систем были обнаружены фонетические изменения, которые могли быть интерпретированы как такое давление одной фонемы на другую (в артикуляционном пространстве), в результате которого возникают своего рода цепные реакции, когда изменение одной фонемы приводит к изменению другой, т. е. приводит к цепочке взаимосвязанных изменений. О взаимном давлении фонем, которое может проявляться в возникновении цепей притяжения и цепей отталкивания, подробно писал А. Мартине, подчеркнувший, что обычно бывает трудно решить, с какого конца цепи изменение началось, что именно послужило толчком — притяжение или отталкивание¹. При этом участвующие в цепях фонемы сохраняют противопоставленность друг другу, меняя, однако, свои различительные признаки и место в системе, т. е. становясь в известном отношении уже «другими» фонемами. Рассмотрим некоторые праславянские и древнерусские цепные реакции.

Важным следствием монофтонгизации дифтонгов на *и было появление новых лабиализованных гласных. Признак лабиализованности опять становится фонемным. Новая фонема *и:₂ < *ai не совпала со старым *и:₁ < *i:, но, восстановив признак лабиализованности как релевантный и тем самым отделив его от признака ряда, вызвала делабиализацию i:₁ > y:, т. е. возникла «цепь отталкивания». Впрочем, нельзя исключить и того, что это была «цепь притяжения», т. с. некоторый дрейф фонемы *i:₁ по направлению к центральному ряду, сопровождавшийся параллельной утратой нерелевантной лабиализации, освободил место в заднем ряду для рефлекса i:₂ < *ai. Возможно, делабиализация *i:₁ проходила через стадию дифтонгизации (но не бифонемизации!) *i:₁ > **[i¹] > *y:. В пользу такого предположения говорит характер субSTITУции восточнославянского /y/ < *i:₁ в древних литовских заимствованиях:ср. др.-рус. *мыло* > лит. *miilo* и т. п. Следует предполагать возможность того, что обозначение в глаголице фонемы /y/ диграфом — **ꙗ** = **ъи**, **ꙗ** = **ы**, **ꙗ** = **ъ** — могло отражать греческое восприятие дифтонгoidного характера славянского звука, а также было подкреплено уже осуществлявшимися в языке солунских славян середины IX в. позиционными нейтрализациями фонем /ъ/ и /y/ (образование так называемых напряженных редуцированных).

¹ Мартине А. Принцип экономии... С. 84–85.

Если действительно рефлекс **u:*, представлял собой дифтонгоидный гласный заднего ряда типа [tr̩], то в переднем ряду ему мог соответствовать рефлекс дифтонга **eu* в случае монофонемизации последнего в гласном типа [t̩]. Однако нельзя считать совершенно невероятным и вторичную дифтонгизацию (бифонемизацию) **u: > ui* и образование в верхнем ряду двух дифтонгов с обратным порядком гласных фонем **ui (< *u:)* и **iu (< *eu)*, с последующей новой монофонемизацией. Реконструкция такого промежуточного этапа в процессе славянских монофтонгизаций позволяет объяснить переход дифтонга **eu* в **iu*, включение этих дифтонгов в корреляцию по признаку ряда, а также его более позднюю монофонемизацию по сравнению с другими дифтонгами.

Признак лабиализованности не мог, конечно, возникнуть на пустом месте. Говоря о том, что этот признак перестал быть релевантным для фонем **u:* и **u*, мы имели в виду фонологическую релевантность. В качестве переменного, аллофонного признака лабиализованность продолжала существовать, и вполне возможно, как показывают рефлексы монофтонгизации дифтонгов на **u*, именно в дифтонгических сочетаниях лабиализованность аллофонов фонемы /u/ лучше всего сохранялась. Потеря признака лабиализованности во всех аллофонах фонемы /u:/ и сохранение его фонемой /u/ в дифтонгах привело (в целях сохранения полезного противопоставления) к делабиализации **u: i* и к фонологизации лабиализованности в **u:₂*.

Возьмем пример из истории древнерусского вокализма. До утраты носовых систему гласных можно представить следующим образом¹:

до возникновения носовых \Rightarrow после возникновения носовых

i	у	у	i	у	у
ь	ъ		ь	ъ	ъ
е	о		е	е	о
ё	а		ё	а	о

i	у	у
ь	ъ	
е	е	о
ё	а	о

После утраты ринезма, т. е. после *ё > ё*, *о > у*, в нижнем ряду оказываются две фонемы, «области рассеивания» которых очень близки — это *ä₁ ≤ ё* и *ä₂ < о*. Это функциональное неудобство разрешается следующим образом: /ё/ переходит в средневерхний подъем, т. е. меняет один свой дифференциальный признак, что приводит к появлению «пустой клетки»:

ü	i	у	у	ü	i	у	у
ь	ъ			ь	ъ	#	← «пустая клетка»
↑	е	о		е	о		
ё	ä	а		ä	а		

¹ Для простоты здесь не учтено наличие в системе третьего носового. В этом вопросе мы присоединяемся к точке зрения В. В. Колесова, который блестяще рассмотрел эту проблему в работе: Колесов В. В. Правславянская фонема [•o] в ранних преобразованиях славянских вокалических систем // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г.: Доклады советской делегации. М., 1973.

Как считает В. В. Колесов, «структурная причина утраты носовых заключается в том, что в позднем праславянском языке разрушается противопоставление гласных по количеству и происходит формирование различительного признака по подъему: верхний + нижний, куда входили только долгие по происхождению гласные, и средний, где оказались и краткие и долгие. Долгие *q* и *ɛ* должны были либо сократиться, либо, сохранив свою долготу, перейти в верхний или нижний подъем. У восточных славян произошло второе»¹. Другими словами, в процессе утраты группового различительного признака долготы–краткости бывшие краткие **e* и **o*, а также **ь* и **ъ*, занимая средний подъем (краткость) в единой системе гласных (т. е. входя в единую, построенную на признаке подъема, систему вокализма), как бы вытесняют *q* в верхний подъем ([*u*]) и *ɛ* в нижний подъем ([*a*]) с возможной дифтонгизацией [*aj*]). Известно, что признак ринезма артикуляторно плохо сочетается как с высоким, так и с низким подъемом гласного, а также с дифтонгидностью, и во многих языках проявляет неустойчивость и склонность к утрате. Эти чисто фонетические тенденции не встретили сопротивления в языке. Пожертвовав групповыми признаками количества и ринезма, система консолидировалась вокруг признаков подъема, лабиализованности и ряда.

Система гласных фонем, которая сформировалась после славянских монофтонгизаций, возникновения редуцированных и качественной дифференциации долгих и кратких гласных нижнего подъема, позволяет интерпретировать ее как построенную на противопоставлении по напряженности–ненапряженности, когда гласные верхнего и нижнего подъема (напряженные) противопоставлены гласным средневерхнего и среднего подъема. Типологически такая система вокализма напоминает систему гласных, например, современного английского языка, в основе которой лежит противопоставление по напряженности (*tense* — *lax*). Это типологическое сходство станет еще разительнее, если сопоставить с этим тот факт, что шумные согласные праславянского языка были противопоставлены не по признаку звонкости–глухости, а по признаку напряженности–ненапряженности, как и в современном английском консонантизме. Отметим, что цепные реакции позднепраславянского (раннедревнерусского) периода типологически очень напоминают живые фонетические процессы, которые имеют место в современном американском варианте английского языка и описаны У. Лабовом².

¹ Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. С. 78.

² Labov W. The Three Dialects of English // New Ways of Analyzing Sound Change. San Diego, California, 1991. P. 1–44.

Итак, мы имеем *цепную реакцию*: $\epsilon \rightarrow [\ddot{a}] \approx \check{e} \rightarrow [\hat{e}]/[\check{ie}] = \check{e}$. Если изменения происходили именно описанным образом¹, то они привели к возникновению «пустой клетки», которая позднее была заполнена фонемой /ð/. Такая реконструкция свидетельствует о том, что /ъ/ и /ь/ во время этих изменений, видимо, еще входили вместе с /о/ и /е/ в подсистему кратких (ненапряженных) гласных, противопоставляясь последним по признаку подъема.

Наиболее естественным развитием событий, казалось бы, должно было стать слияние рефлекса переднего нелабиализованного носового с /č/, но в древнерусском этого не произошло, поскольку /č/ в процессе цепной реакции передвинулся в средневерхний подъем. Не совсем ясно, было ли это передвижение следствием деназализации /e/ («цепь отталкивания») или /ě/ еще раньше, вследствие каких-то внутренних структурных процессов², начал свой дрейф в направлении верхнего подъема (тогда деназализация /e/ вписывается в «цепь притяжения»). Более вероятным в настоящее время нам представляется первое решениc. Перемещение /ě/ в средневерхний подъем было тем изменением, на первый взгляд несущественным — аллофонным, которое привело к очередной перестройке древнерусского вокализма, а именно разрушению признака напряженности и замене его признаком подъема, когда к /ě/ подстроилась новая фонема /ð/ (так называемое «/о/ закрытое»), что подтолкнуло, в свою очередь, сильные редуцированные к совпадению с /о/, /е/.

ü	i	у	и
ě	→	ь	←
		←	#
		←	ð < ó (/о/ под восходящим ударением)
	↓	↓	
e		о	
à		а	

После фонологизации /ð/, падения редуцированных гласных и дефонологизации /а/ < *ě система вокализма стала строиться на иных основаниях: ведущими становятся противопоставление верхнего-неверхнего подъема и лабиализованности.

¹ Ср. иную трактовку описанных изменений в работе: Галинская Е. А. О хронологии некоторых изменений в системе вокализма праславянского языка // Исследования по славянскому историческому языкознанию. М., 1993. С. 44–45. Е. А. Галинская считает, что изменение $\check{e} = [\ddot{a}] > \check{e} = [\hat{e}]$ предшествует образованию носовых гласных в диалектах праславянского языка.

² Таким внутренним фактором могла быть перестройка системы ДП в связи с объединением долгих и кратких в одной системе. Если различие между /а/ < *а: и /о/ < *а, учитывая давление со стороны средневерхнего подъема (*ь, ь), было компенсировано признаком лабиализованности, то различие между /ě/ < *е: и /е/ < *е могло оказаться более проблематичным. Одним из решений проблемы могла быть дифтонгизация и/или сужение /ě/ > [ie]/[ē].

Цепные реакции могут рассматриваться не только в парадигматическом, но и в синтагматическом аспекте. Возникновение $/\hat{o}/ < /o/$ (под ударением) освободило место для $/\hat{y}/ > /o/$, переход $/e/ > /o/$ освобождает место для изменения $/\hat{e}/ > /e/$. Позиция старого ударного $/o/$, перешедшего в $/\hat{o}/$, начала заниматься сильным $/\hat{y}/$ — она как бы «притянула» сильный редуцированный, который и стал этим $/o/$. Место старого $/e/$, перешедшего в $/o/$, начала занимать фонема $/\hat{e}/$. Эта позиция — после мягкого перед твердым — как бы «притянула» фонему $/\hat{e}/$, которая и стала этим $/e/$. Ни в том, ни в другом случае новых фонем не возникло, а во втором их число даже уменьшилось. Важно подчеркнуть, что в «физической реальности» никаких изменений при этом могло и не происходить — фонологическое изменение представляло собой перефонологизацию аллофонов. Если это так, то дифтонгоидный и закрытый гласный, который мы произносим на месте $/e/$ после и между мягкими согласными, возможно, и есть звук, близкий старому $*\hat{e}$, а $/o/-открытое в говорах с противопоставлением двух «о» — тот звук, в котором реализовывался сильный $*\hat{y}$.$

Во многих севернорусских говорах, не знавших (в связи с отсутствием или недостаточным развитием тембровой корреляции у согласных) «перехода $/e/ > /o/$ » перед твердыми согласными, $/\hat{e}/$ изменился в $/i/$ независимо от твердости–мягкости следующего согласного и ударения. В некоторых севернорусских говорах (например, в архангельских говорах Верхней Тоймы), которые пережили переход $/e/ > /o/$ и в безударной позиции, рефлексами $/\hat{e}/$ являются перед твердым согласным [e], перед мягким — [i] ([*вит’яр* — *[в’ет’яра*, *х[л’ен]* — *х[л’иб’яц]*]). В этих говорах после того, как $/t’et/$ изменилось $/t’ot/$, у фонемы $/e/$ возникла синтагматическая «пустая клетка» [$t’\#t$]. Фонема $/e/$ и после перехода $/e/ > /o/$ оставалась самостоятельной фонемой. Это доказывается, в частности, тем, что возникшая «пустая клетка», видимо, сразу начала заполняться соответствующими аллофонами фонемы $/\hat{e}/$. Данное изменение представляло собой перефонологизацию (сдвиг), т. е. чисто фонологическое, скрытое изменение. Оставшиеся аллофоны фонемы $/\hat{e}/$ затем перешли к фонеме $/i/$, причем этот процесс носил, скорее всего, ассимиляционный характер и происходил сначала «только в слоге перед *⟨и⟩* или в конце слова», являясь «своеобразным продолжением древнерусского межслогового сингармонизма»¹. Л. Л. Касаткин определенно считает, что изменение $/\hat{e}/ > /i/$, а также часто ему сопутствующее в говорах изменение $/ä/ > /e/$, «были вызваны не мягкостью следующего согласного, а следующим гласным переднего ряда. Оба эти изменения — результат уподобления, ассимиляции гласных»². Таким

¹ Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. С. 185.

² Касаткин Л. Л. Современная русская диалектная и литературная фонетика … С. 398.

образом, фонологическая природа разнонаправленных изменений /ē/ > /e/ и /ē/ > /i/ совершенно различна. Естественно, это следует учитывать при анализе причин этих изменений.

В области консонантизма примером цепной реакции, возможно, являются 2-я палатализация (2П) и так называемый переход *ky, gy, xy* > *k'i, g'i, x'i* в древнерусском. Условно эту цепную реакцию можно обозначить следующим образом: *ky* → *ki* → *'c'i*. Изменение **ki* > *'c'i* и фонологизация *'c'* освободили для /i/ позицию после /k/. Оставалось только заполнить ее, «притянуть» туда /i/. Наиболее близким и подходящим для этого было сочетание /ky/: происходит переход /y/ > /i/ после заднеязычных согласных, причем этот переход был своего рода заполнением синтагматической «пустой клетки». Наличие «пустой клетки» объясняет, почему такого перехода не было после губных и переднеязычных. Таким образом, переход *ky, gy, xy* > *ki, gi, xi*, или *y* > *i* после заднеязычных не был связан с развитием корреляции по твердости–мягкости и с постулируемой многими историками русского языка утратой фонемы /y/. Это было заполнение синтагматической «пустой клетки» после 2П. Показательно, что раньше всего переход *ky, gy, xy* > *ki, gi, xi* осуществился в древнеукраинских говорах, не знаяших вторичного смягчения полумягких согласных, но довольно последовательно осуществивших 2-ю палатализацию. В новгородском диалекте, который также не пережил вторичного смягчения, переход *ky, gy, xy* > *ki, gi, xi* задержался потому, что в нем не произошла 2П, т. е. не был фонологизован свистящий палatalный ряд.

Ситуация изменилась только после так называемого вторичного смягчения полумягких согласных и в процессе формирования корреляции по твердости–мягкости. Уже после падения редуцированных и установления ресиллабации на стыках слов ([*dru-ky-va-na*] друг *Ивана*) в русском языке появилось новое [ky]. Фонематически его следует трактовать как /ky/. Это ясно свидетельствует — при отсутствии смягчения типа [*dru-k'i-va-na*] — о наличии фонемного противопоставления /k/ — /k'/ . Таким образом, переход *ky, gy, xy* > *k'i, g'i, x'i* в древнерусском не был изменением фонетическим. Этот переход включал в себя два различных по фонологической сущности изменения. Первое изменение — чисто фонологическое — заполнение «пустой клетки» в результате цепной реакции, второе — приспособление заднеязычного к следующему за ним /i/ (аллофонное изменение) и фонологизация мягких заднеязычных в условиях развития корреляции по твердости–мягкости. Написания *ки* вместо *кы* указывают не на фонетическое, а на фонологическое изменение /i/ > /y/ после заднеязычных (первое изменение). Мы вынуждены усматривать в переходе *ky, gy, xy* > *k'i, g'i, x'i* два различных изменения, поскольку невозможно представить себе смягчение заднеязычных перед /y/.

Иначе объясняет данное изменение Ю. С. Кудрявцев, который полагает, что фонологизация /ч', ж', ш'/ произошла только после вторичного смягчения, а «обособление /ц', з', с'/ в качестве отдельных фонем произошло уже после падения редуцированных, когда суперсегментный признак твердость/мягкость подвергся разрушению и стала возможной позиция противопоставления их (мягких свистящих) заднеязычным»¹. Соответственно он считает, что древнерусский переход *ky*, *gy*, *xy* > *k'i*, *g'i*, *x'i* был именно смягчением (получается, что перед /у/), т. е. фонетическим изменением по признаку, не существенному для данных согласных, изменением противоположным по направлению, но аналогичным отвердению шипящих и /ц/.

С нашей точки зрения в этих изменениях общего только то, что все они связаны с развитием корреляции по твердости–мягкости. Но связаны они с развитием этой корреляции по-разному. Отвердение /ц/ и шипящих вызвано скорее всего фонетическим отталкиванием от /т'/, который реализуется фактически мягкой аффрикатой [t's'], и /с', з'/ (характерно, что /ч'/ остается мягким, поскольку ему уже «отталкивается» не от чего). Выглядит это все как утрата ненужной маркировки. Совсем другая ситуация возникла при переходе *ki*, *gi*, *xi* > *k'i*, *g'i*, *x'i*. Здесь заднеязычные включаются в корреляцию по твердости — мягкости, само же фонетическое приспособление уже произошло, и произошло действительно тогда, когда этот признак не был для них фонемным.

Все сказанное приводит нас к следующим выводам. Во-первых, цепные реакции *сами по себе* не приводят к увеличению состава фонем, хотя могут быть связаны с процессами фонологизации и дефонологизации. Во-вторых, по своему фонологическому механизму они являются перефонологизациями, т. е. изменениями в составе дифференциальных признаков фонем, что сближает такие изменения с так называемыми перебоями. В-третьих, цепные реакции, в сущности, представляют собой одну из разновидностей заполнения «пустых клеток».

Функциональная нагрузка фонемы

Существование цепных реакций такого типа в фонетических изменениях вплотную подводит нас к проблеме функциональной нагрузки фонем и фонемных противопоставлений. Если в результате какого-либо фонетического изменения, например деназализации, *области рассеивания* двух фонем сближаются настолько, что возникает угроза нейтрализации фонемного противопоставления, но совпадения фонем все-таки

¹ Кудрявцев, Юрий. Очерки по русской исторической фонологии и морфонологии. Тарту, 1996. С. 19.

не происходит, это значит, видимо, что данное фонемное противопоставление является полезным, функционально важным, т. е. обладает существенной функциональной нагрузкой.

Проблема функциональной нагрузки фонемы решается по-разному в разных фонологических концепциях и школах, однако в самом общем виде основное положение диахронической фонологии относительно функции было сформулировано А. Мартине: *при прочих равных условиях фонологическое противопоставление, полезное для взаимопонимания, сохраняется лучше, чем другое, менее полезное*¹. Этот общий тезис восходит к идеям фонетистов конца XIX в., в частности, П. Пасси, который конкретизировал его, сформулировав два функциональных принципа, или тенденции, действующих в языке: 1) принцип экономии: язык постоянно стремится освободиться от того, что является лишним; 2) принцип эмфазы: язык постоянно стремится выделить то, что является необходимым. А. Мартине полностью принял эти положения и положил их в основу своей теории диахронической фонологии.

Рассмотрим более подробно понятие *функциональной нагрузки*. А. Мартине отмечал, что «в самом простом и наивном понимании оно означает *число лексических пар, которые были бы полными омонимами* (курсив наш. — М. П.), если бы не то обстоятельство, что одно слово содержит член *A* данного противопоставления там, где другое слово содержит другой его член *B*»². Этот тезис совершенно закономерен в рамках фонологической концепции Пражской лингвистической школы: если главная функция фонемы *различительная*, то понятия *функции* и *оппозиции* оказываются неотделимыми друг от друга и взаимообусловленными. Однако возникает вопрос о том, как практически высчитать функциональную нагрузку тех или иных фонем? Предложенный А. Мартине «самый простой и наивный» способ — подсчет числа минимальных пар, обслуживаемых тем или иным фонемным противопоставлением — оказывается очень приблизительным и трудноосуществимым особенно в отношении древних языков (учитывая неполноту наших сведений). Другой способ, упомянутый А. Мартине, — учет частотности фонемы в лексических единицах ведь чем чаще встречается фонема, тем больше шансов, что она выполняет чисто различительную функцию (здесь, видимо, следует учитывать два аспекта — частотность в словаре и частотность в тексте).

Оставаясь в рамках пражской концепции, нельзя не поставить вопрос о функциональной нагрузке фонемных признаков. Ведь если фонемы суть пучки дифференциальных признаков, а система фонем это коррелят системы дифференциальных признаков, то и функционально

¹ Мартине А. Принцип экономии... С. 64.

² Там же. С. 79.

нагружены должны быть не столько фонемы, сколько ДП. Это хорошо видно на примере языков с богатой системой чередований, в частности на примере русского языка. В русском языке большую функциональную нагрузку несут ДП звонкости—глухости и твердости—мягкости, поскольку соответствующие чередования пронизывают всю систему склонения и спряжения. В свете этого становится понятной общая закономерность, на которую указал А. Мартине: *две близкие фонемы не стремятся необходимым образом к слиянию потому, что их функциональная нагрузка (в смысле числа минимальных пар) нулевая* (например, англ. *š* — *ž*). Таким образом, большая функциональная нагрузка фонем /t/, /d/ и противопоставления /t/ — /d/ объясняется не тем, что велико число минимальных пар типа *том* — *дом*, *там* — *дам* и т. п., а тем, что эти фонемы обладают ДП глухости—звукости и твердости—мягкости, которые обслуживают русскую морфонологическую систему, т. е. уж скорее наличием чередований *пру[t]* — *пру[d]a* — в *пру[d']e*, *ко[z]a* — *ко[s]* — *ко[z']e* и т. п. Видимо, отсутствие развитой системы чередований усложняет решение вопроса о функциональной нагрузке (например, в древнерусском языке), но с нашей точки зрения, число минимальных пар мало что дает для выяснения функциональной нагрузки.

Впрочем, эти наши возражения против «пражского» понимания функциональной нагрузки связаны с иным подходом к функции фонемы: мы в соответствии с положениями Щербовской школы полагаем, что главной функцией фонемы является функция *конститутивная* (*опознавательная*). Ср. замечания Л. Р. Зиндера: «Минимальные пары не могут иметь приписываемого им значения уже в силу того обстоятельства, что в большинстве случаев они относятся к совершенно не связанным между собой семантическим сферам... Приписываемая минимальным парам роль невозможна, кроме того и главным образом потому, что различия в плане содержания не требуют обязательного различия в плане выражения»¹. С другой стороны, сам А. Мартине признает, что в случае, если все же какому-либо очень важному противопоставлению угрожает тенденция к слиянию фонем и возникает опасность появления ненужных омонимов, говорящие начинают употреблять те или иные заменяющие слова, т. е. проблема разрешается при помощи морфологической перестройки, расширения значения и т. п. Иными словами, угроза возникновения омонимов вряд ли может предотвратить фонетическое изменение.

В русистике продолжает господствовать «пражское» понимание функциональной нагрузки. В. В. Иванов, в целом принимая критику Л. Р. Зиндером так называемого метода минимальных пар, тем не менее

¹ Зиндер Л. Р. О минимальных парах // Конференция по структурной лингвистике, посвященная базисным проблемам фонологии: Тезисы докладов. М., 1963. С. 28–29.

полагает, что «наличие противопоставленных моделей определяет фонологичность... оппозиции звуковых единиц; минимальные же пары слов определяют степень функциональной нагруженности уже установленной модели противопоставления»¹. Ю. С. Кудрявцев, высказывая предположение, что функциональная нагрузка представляет собой «величину непосредственно не наблюдаемую», считает, что «мы должны судить о ней по ряду внешних проявлений, из которых число минимальных пар, при известной их условности, указанной Л. Р. Зиндером, все-таки является самым наглядным показателем»². Он предлагает различать *квазиомонимы* (противопоставление целых парадигм) и *квазиомоформы* (противопоставление одной формы), которые при учете функциональной нагрузки имеют разный вес. Ю. С. Кудрявцев считает, что это объясняет легкость, с которой в русском языке осуществлялись аканье и оглушение звонких на конце слова: «В большинстве случаев эти нейтрализации ведут к образованию омоформ, а не омонимов, что существенно уменьшает силу омонимического отталкивания. Аканье было бы невозможно в языке с фиксированным ударением, оглушение звонких — в языке с преимущественной грамматической неизменяемостью слова, напр., в английском»³. В этих рассуждениях есть рациональное зерно: они соответствуют представлениям о большей информативности анлаута по сравнению с ауслаутом и соответственно меньшую распространенность фонетических изменений в начале слова. В то же время трудно отрицать тот факт, что аканье, распространившись на конец слова и сделав омоформами ранее различавшиеся формы, могло создавать значительные трудности (в указанном Кудрявцевым смысле) при общении, но, судя по всему, не создавало. Представляется, что возникновение таких омоформ, как *дѣло* Им. ед. — *дѣла* Род. ед., *полѣ* Им. ед. — *пола* Р. ед., теоретически ничуть не менее проблематично для носителей языка, чем *лоукъ* ('оружие') — *лжкъ* ('овошь'). Ср. также совпадение форм Им. и Вин. ед. в праславянском после утраты конечных согласных, что, видимо, послужило толчком к развитию категории одушевленности, или совпадение форм Им. ед. муж. и ср. рода указательных местоимений в процессе падения редуцированных: *тъ* > *то*, *сь* > *сє* с последующим освобождением от омонимии *то* > *тотъ* / *тон*, *сє* > *сесь* / *сен*.

Следует отметить, что вследствие фонетических изменений действительно полные омонимы в истории русского языка практически не возникают, однако, с другой стороны, трудно и придумать такие изменения, которые могли бы привести к обилию омонимов. Они, например, могли бы возникнуть в случае совпадения всех парных глухих

¹ Иванов В. В. Историческая фонология русского языка. М., 1968. С. 46.

² Кудрявцев, Юрий. Очерки по русской исторической фонологии... С. 12.

³ Там же. С. 12–13.

и звонких согласных во всех позициях, но такие изменения не происходят. Возможно, именно потому, что возникло бы большое количество полных омонимов. Как показывают экспериментально-фонетические исследования в русской спонтанной речи происходят всевозможные регулярные и нерегулярные «как бы нейтрализации» разных противопоставленных в системе фонем (типа золот[о] осени, ф[ү]культет, где имеет место влияние следующего огубленного гласного, и т. п.), которые, как правило, не замечаются носителями языка, хотя выходят иногда на квазифонемный уровень. Это вызвано тем, что «два последовательных звука всегда стремятся ассимилироваться», однако «этой тенденции противодействует необходимость сохранения значащих различий» (П. Пасси)¹. В речи всегда имеют место всевозможные флюктуации, которые регулируются в конечном счете фонологической системой, которая может принять, а может и отвергнуть возникающие вариации, исходя из функционального критерия. Не исключено, что многие фонетические изменения отвергаются (и даже не начинаются) именно в силу того, что они могут привести к образованию значительного числа омонимов. Впрочем, нужно признать, что роль омонимов в фонетических изменениях исследована еще слабо и этот вопрос требует специального изучения.

Когда мы говорим, что главная функция фонемы — конститутивная, мы не отрицаем различительной функции, мы только подчеркиваем, что последняя вытекает из конститутивной, является как бы ее следствием. Возражения Л. Р. Зиндера против использования минимальных пар в фонологическом анализе синхронного среза и подчеркивание им в связи с этим того факта, что различия в плане содержания не требуют обязательного соответствия в плане выражения, совершенно справедливы. Действительно, с точки зрения синхронии, т. е. с точки зрения функционирования, языковая система совсем не стремится избавиться от омонимов, скорее наоборот, плодит их через полисемию («парадигматические омонимы»). Наша речь полна «двусмысленностей», которые, тем не менее, совсем не мешают или почти не мешают общению (ср. использование в языковой игре «сингтагматических омонимов», например, в стихах: *Сказал раз медник, таз куя, своей жене, тоскуя: Задам-ка детям маску я, И разгоню тоску я*). Ср. также современные разговорные формы [sudá] *сюда* и [ról'ьs] *полюс*, которые дают омонимы, а последняя форма — даже полный омоним. Тем не менее, факт остается фактом: фонологические изменения, которые приводили бы к возникновению очень значительного числа парадигматических омонимов, не происходят или происходят очень редко (из этого, правда, не вытекает обратный вы-

¹ Passy P. Etude sur les changements phonétiques et leurs caractères généraux. Paris, 1890. P. 224 (цит. по: Мартине А. Принцип экономии... С. 65).

вод, что если изменение не приведет к появлению омонимов, оно обязательно должно произойти). Мы можем представить себе, впрочем, такие изменения, которые дали бы полные омонимы: например, совпадение всех парных глухих и звонких в предвокальной позиции или совпадение ударных /o/ и /u/ и т. п. Страго доказать, что они не происходят именно вследствие угрозы возникновения омонимов, а не по каким-то другим причинам, практически невозможно. Однако если мы посмотрим на те изменения, которые произошли в русском языке за последнюю тысячу лет, мы увидим, что таких, которые давали бы полные омонимы, кажется, не было. Даже если отвлечься от возможных акцентологических различий, что немаловажно, исследователи не приводят «минимальных пар», которые различались бы только фонемами /e/ и /ě/, /o/ и /ö/ и при совпадении этих фонем давали бы полные омонимы (может быть, лишь наречие *вон* и частица *вён*). Если все это не случайность, поскольку потенциальные полные омонимы в общем являются редкостью, то в этом направлении мы можем искать ответ на вопросы о том, почему /ě/ совпал с /e/, а не с /i/, а /ö/ совпал с /o/, а не с /u/. Л. А. Булаховский, отмечая, что языки различаются степенью чуткости по отношению к омонимам в зависимости от характера фонетических изменений, противопоставлял, в частности, русский, в котором не возникло большого числа омонимов, и чешский, для которого характерно большое их количество. Приведя примеры того, как славянские языки стремятся избавиться от омонимов, возникших в результате фонетических изменений, Л. А. Булаховский в то же время подчеркнул, что славянский материал не подтверждает мнение, что угроза омонимии может задерживать сам процесс фонетических изменений¹.

Итак, мы сталкиваемся со своего рода парадоксом. С точки зрения *функционирования* (в плане синхроническом) омонимия никакой угрозы для системы не представляет и система не стремится избавиться от омонимов, но с точки зрения *развития* (в плане диахроническом) системы, появлению полных (парадигматических) омонимов оказывается некоторое сопротивление, причем это сопротивление обнаруживает именно звуковой строй языка. Дело, видимо, в том, что *система* — это не только *структура* элементов, но и *норма*, роль которой при диахроническом подходе игнорировать нельзя. Добавить новые омонимы в лексикон (речь идет об омонимах, возникших на фонетической основе), т. е. *перестать* фонологически различать то, что всегда различалось, — это не то же самое, что уже иметь омонимы в лексиконе и даже увеличить их количество за счет развития полисемии, т. е. не

¹ Булаховский Л. А. Из жизни омонимов (1928 г.) // Булаховский Л. А. Избранные труды: В 5 т. Т. 3: Славистика. Русский язык. Киев, 1978. С. 334. См. также: Булаховский Л. А. Об омонимии в славянских языках (1928 г.) // Там же. С. 320–329.

различать фонологически то, что и раньше не различалось. Таким образом, мы здесь имеем дело с собственно диахроническим аспектом, а именно с особенностями механизма звукового изменения.

Механизм фонологического изменения

Проблема механизма фонетического изменения, наряду с проблемой его причин, традиционно является одной из центральных в диахронической фонологии. Благодаря какому механизму фонетические изменения в языке осуществляются таким образом, что не препятствуют общению говорящих и происходят для них незаметно? Носители языка обычно замечают лишь изменения, происходящие в фонемном составе отдельных слов (орфоэпические колебания типа *було[ч']ная* — *було[ш]ная*, *бе[r'e]за* — *бе[r'o]за* и подобные), и уже после того, как собственно фонетическое изменение завершилось.

Л. Р. Зиндер настаивает на строгом разграничении двух типов звуковых изменений: *синтагматических*, т. е. изменений в фонемном составе слов (или морфем), и *парадигматических*, т. е. изменений в инвентаре фонем. По Зиндеру, указанные типы звуковых изменений «не могут иметь одинакового «механизма»¹. Это различие даже не столько типов изменений, сколько именно разных механизмов. И далее Л. Р. Зиндер утверждает: «Замена в ряде слов одной фонемы другой ничем принципиально не отличается от замены одной морфемы другой, равнозначной первой... То, что синтагматические изменения имеют место зачастую в определенных фонетических положениях, не означает еще того, что они обусловлены фонетически в полном смысле слова, т. е. произносительно-слуховыми факторами. Здесь может действовать аналогия фонетического контекста...»²

Таким образом, Л. Р. Зиндер не склонен считать синтагматические изменения звуковыми, хотя такие изменения часто рассматриваются как фонетические в силу того, что они могут носить весьма регулярный характер. Тем не менее Л. Р. Зиндер признает, что синтагматические изменения не безразличны для системы, «так как при них могут измениться позиции, в которых данная фонема встречается»³. Кажется, такой механизм, который Л. Р. Зиндер назвал «аналогией фонетического контекста», позволяет все-таки включить их в число фонетических изменений. Кроме того, именно объектом пристального внимания диахронической фонологии должны быть характер и специфика «фонети-

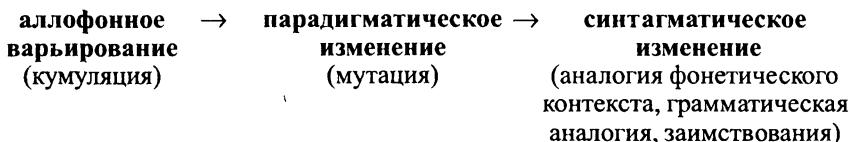
¹ Зиндер Л. Р. Общая фонетика. С. 240.

² Там же. С. 240–241.

³ Там же. С. 244.

ческого контекста», который действует «аналогически» при осуществлении синтагматического изменения. Это тем более справедливо, поскольку есть основания полагать, что после завершения парадигматического изменения, например появления новой фонемы в системе, начинается процесс, очень сходный по механизму с синтагматическим изменением, а именно то, что еще в начале XX в. Карл Хааг назвал «вытеснением слов» в противоположность «звуковому изменению»¹.

Таким образом, полную цепочку звукового изменения можно представить следующим образом:



Среднее звено этой цепочки — парадигматическое изменение — может отсутствовать в тех фонетических процессах, которые не приводят к увеличению или уменьшению состава фонем. Примером такого изменения является русский переход /e/ > /o/ перед твердыми согласными. Здесь «аналогия фонетического контекста» действовала довольно строго, особенно в той части, которая не может быть объяснена «грамматической аналогией». Л. Р. Зиндер фактически отказывает этому изменению в праве считаться фонетическим, поскольку никаких новых фонем в системе не появилось, и полностью игнорирует роль аллофонного варьирования в подготовке этого перехода. Может быть, он и прав, так как фонема /o/ стала возможной в позиции после мягкого согласного после процессов ресиллабации на стыках слов, причем как перед твердыми, так и перед мягкими согласными², хотя сам Л. Р. Зиндер полагает, что фонема /o/ только вследствие замены /e/ > /o/ «стала употребляться и после мягких согласных, что не имело места до того»³. В таком случае отсутствуют оба первых звена цепочки. При таком понимании синтагматического изменения, какое мы видим у Л. Р. Зиндера, не возникает вопроса о перефонологизации, т. е. о переходе аллофонов одной фонемы к другой, противопоставленной ей фонеме (в рассмотренном примере аллофонов фонемы /e/ перед твердыми согласными — к фонеме /o/).

Что касается изменений парадигматических, то здесь главная проблема, связанная с механизмом изменения, как раз и заключается

¹ Хааг К. Звуковые изменения и вытеснение слов // Немецкая диалектология. М., 1955. С. 85–91.

² См. главу 14.

³ Зиндер Л. Р. Общая фонетика. С. 244.

в ответе на вопрос: как и когда аллофоны фонемы становятся новыми самостоятельными фонемами? Проблема «когда» — *до* или *после* изменения фонетического контекста, обусловившего аллофонное варьирование — активно обсуждалась в исторической фонологии в 50-е гг. XX в., и, кажется, пришли к выводу о том, что изменение фонетического контекста при наличии (сохранении) фонетического различия, первоначально обусловленного этим контекстом, лишь *констатирует*, что фонетически различные единицы уже реализуют самостоятельные фонемы. Таким образом, новое фонологическое противопоставление и соответственно новая фонема возникает *до*, а не *после* того, как изменился фонетический контекст. Приведем часто цитируемые слова и пример Л. Р. Зиндера: «В тот момент, когда фонематическое изменение обнаруживается, когда перед нами уже не два аллофона, а две самостоятельные фонемы, это свидетельствует не о возникновении связи между употреблением звука и смыслом слова, а о существовании такой связи. Не потому /k'/ палатализованное стало фонемой, что появилось слово /t'k'ot/, а наоборот, слово /t'k'ot/ оказалось возможным потому, что /k'/ стало фонематически противополагаться /k/. Возникновение связи аллофонов со смыслом происходит, следовательно, еще в недрах фонемы, выражением которой являются эти аллофоны»¹. Таким образом, фактически имеет место констатация скрытого характера рождения новой фонемы из аллофона.

Имея в виду эти указания Л. Р. Зиндера, Л. Л. Касаткин предлагает выделять «латентный период» в изменении конкретных фонем. Это такой период, когда внешний наблюдатель — фонолог — не может обнаружить фонологического противопоставления на основании дистрибутивных критериев, точнее — проиллюстрировать наличие этого противопоставления хорошими примерами². Другими словами, «латентный период в истории фонемы» — это такой период в отношениях новой (до-членей) и старой (материнской) фонем, когда между ними сохраняются отношения дополнительной дистрибуции. Строго говоря, никакого «латентного периода» (в указанном понимании) в *истории фонемы* не должно существовать, потому что если это разные фонемы, то дополнительная дистрибуция уже разрушена, но возможно, это еще не нашло отражения в лексиконе или просто фонолог не в состоянии обнаружить эти факты. Однако можно предполагать, что в истории превращения аллофона в фонему существует некий переходный период, когда функционирует, по образному выражению М. И. Стеблин-Каменского, «фонема-Янус»,

¹ Зиндер Л. Р. Общая фонетика. С. 243.

² Касаткин Л. Л. Современная русская диалектная и литературная фонетика... С. 86–100. В работе многочисленными примерами иллюстрируется мысль Л. Р. Зиндера. Автор отмечает, что латентным предложил называть этот период М. В. Панов в отзыве о данной работе.

которая обеспечивает преемственность при переходе от одного синхронного среза к другому. По-видимому, такой период в истории фонемы (если он существует) и стоило бы назвать «латентным». Итак, всякий раз, когда имеется какое-либо доказательство существования фонологического противопоставления, мы должны предполагать, что к этому моменту противопоставление уже существовало.

Если Л. Р. Зиндер говорит о латентном *характере* процесса фонологизации, а Л. Л. Касаткин — о латентном *периоде* в истории фонемы, то Ю. С. Кудрявцев имеет в виду особый *тип* фонологических изменений — своего рода нулевые изменения, которые он называет *латентными перефонологизациями*. Описание этого типа у Ю. С. Кудрявцева противоречиво. С одной стороны, он утверждает, что латентная перефонологизация «ничего не меняет в функционировании фонем — ни в аспекте различительной функции, ни в аспекте функции перцептивной», а с другой — что она является «чисто функциональным преобразованием с сохранением прежнего фонетического (в узком смысле, т. е. артикуляторно-акустического. — *M. P.*) облика соответствующих словоформ»¹. Возникает противоречие: «чисто функциональное преобразование», которое «ничего не меняет в функционировании фонем». Видимо, все-таки имеется в виду такое изменение, когда фонологическая (функциональная) реальность меняется, но фонетическая — остается прежней: «функциональный сдвиг происходит при сохранении фонетического тождества речевых единиц»². Ю. С. Кудрявцев полагает также, что «наличие скрытого периода и есть основная характеристика разбираемого типа изменения. Длительность его не существенна»³. Значит, это и *период* в изменении. В конечном счете ясно, что Ю. С. Кудрявцев просто расширяет понимание *латентного характера фонологизации* (Л. Р. Зиндер), распространяя его на дефонологизацию (что вполне согласуется с концепцией Л. Р. Зиндера — ср. его интерпретацию истории отношений /ы/ и /и/) и, видимо, вообще на все виды перефонологизаций (т. е. и на то, что Л. Р. Зиндер интерпретирует как синтагматические изменения). В результате к числу латентных перефонологизаций относятся и падение редуцированных, и распад фонемы /e/ на /e/ и /o/ (фонологизация аллофона, или приобретение лабиализацией фонологического статуса), и фонологизация /ф, ф'/ (генерализация признака звонкости—глухости), и фонологизация мягких заднеязычных и др.⁴ (т. е., по-видимому, все остальные изменения).

¹ Кудрявцев, Юрий. Очерки по русской исторической фонологии... С. 18.

² Там же. С. 21.

³ Там же.

⁴ Там же. С. 21–22.

Но ведь это и есть самая заветная мысль Л. Р. Зиндера, которую он проводит во всех фонологических работах: *функциональная реальность меняется при неизменности физической реальности, фонетист изучает функционирование физической реальности*; «в языке постоянно существуют фонетические предпосылки звуковых изменений, заключающиеся в неоднородности звукового выражения фонемы»¹. В своей концепции диахронической фонологии Л. Р. Зиндер исходит из «теории общего облика слова» С. И. Бернштейна, согласно которой «слово узнается по его звуковому облику в целом; следовательно, каждый элемент слова имеет существенное значение. Это вполне понятно, так как каждый звук, входящий в состав данного слова, является представителем соответствующей фонемы»². «А если так, — продолжает Л. Р. Зиндер, — то основная смыслоразличительная нагрузка может перемещаться с одного элемента на другой»³. Правда, Л. Р. Зиндер имеет в виду только фонологизацию новых фонем, которая происходит без изменения звуковой реальности, по крайней мере, таковы оба его примера — и немецкий умлаут, и фонологизация русских мягких заднеязычных. Л. Р. Зиндер полагал, что и обратное — дефонологизация без изменения физической реальности — также возможно: «Примером того, как подготавливается превращение аллофонов двух фонем в комбинаторные аллофоны одной фонемы, может служить история гласных /ы/ и /и/ в русском языке, независимо от того, считать ли этот процесс завершенным»⁴.

Итак, одной из особенностей механизма фонологического, во всяком случае парадигматического, изменения, является его латентный характер, т. е. функциональная реальность меняется без изменения физической реальности.

Концепция Ю. С. Кудрявцева отличается от концепции Л. Р. Зиндера. Если Л. Р. Зиндер считает, что база для мутации подготовлена аллофонным варьированием, то основная мысль Ю. С. Кудрявцева заключается в том, что при латентной перефонологизации сначала происходит фонологическое изменение, а затем осуществляется изменение физической реальности — «существенно звуковое (внешнее) изменение» — причем фонологическое изменение часто выступает в качестве причины последнего. Свою мысль он подробно иллюстрирует на примере падения редуцированных гласных в древнерусском языке. «Изменение заключалось в переосмыслинии роли редуцированных, их переводе с уровня фонем на уровень нефонологических призвуков (перефонологизация /ъ/ и /ь/ в фонематический нуль: /сынь/ = [сыпь] > /сн/ = [сыпь]. — М. П.)… Что каса-

¹ Зиндер Л. Р. Общая фонетика. С. 242.

² Там же. С. 243.

³ Там же.

⁴ Там же. С. 244.

стся собственно фонетических изменений, то они осуществлялись позже, когда фонологическая перестройка уже произошла и результаты ее были необратимы. Фонетическое падение — исчезновение слабых из произношения, вокализация сильных — явилось в ходе дальнейшего развития¹. Какова же причина дальнейшей уже собственно фонетической перестройки? Как предполагает Ю. С. Кудрявцев, причина этого заключена в том, что «видимо, реализация фонематического нуля в качестве паразитной гласности не может продолжаться бесконечно»². Отметим особо, что эта гипотеза трактует так называемые сильные и слабые редуцированные одинаково. В принципе такой подход противоречит нашим знаниям о ходе падения редуцированных, который неплохо документирован письменными памятниками. Гипотезу Ю. С. Кудрявцева можно было бы принять только с учетом различия (фонологического или аллофонного) слабых и сильных редуцированных и применительно лишь к слабым редуцированным, которые, по В. М. Маркову, как бы «функционально растворялись» в «широком потоке нефонематической гласности»³. Тогда развитие вставных гласных (собственно фонетический процесс — изменение физической реальности) можно было бы трактовать как фонетическую базу дальнейшей мутации, т. е. все-таки сначала подготовка фонетического и функционального основания:

$/\text{дъва} / \text{---} / \text{дворъцы} /$
 ↓
 развитие вставных гласных
 ↓
 $/\text{дъва} / \text{---} / \text{дъворъцы} /,$
 ↓

затем фонологическая мутация без изменения физической реальности, т. е. перефонологизация слабых в нуль

↓
 $/\text{два} / = [\text{d}^{\text{y}}\text{va}] \text{---} / \text{двор}(\text{ъ}\ge\text{e})\text{ц} / = [\text{d}^{\text{y}}\text{vor}'\text{ь}\text{c}'\text{ц}],$

а после этого преобразование фонологического нуля в фонетический нуль,

↓
 $/\text{два} / = [\text{dva}] \text{---} / \text{дворец} / = [\text{dvor}'\text{ec}']$

т. е. изменение физической реальности — приведение ее в соответствие с функциональной⁴.

¹ Кудрявцев, Юрий. Очерки по русской исторической фонологии... С. 64.

² Там же. С. 64.

³ О гипотезе В. М. Маркова см. в главе 13.

⁴ Можно попробовать связать это с развитием процессов редукции безударных гласных, когда понадобилось освободить место для новых редуцированных гласных, возникших в результате редукции, сохранив их полезное противопоставление фонематическому нулю.

При всей проблематичности такой схемы падения редуцированных она представляется нам более предпочтительной, чем та, что предложена Ю. С. Кудрявцевым.

Итак, мы поставили под сомнение возможность таких фонологических изменений, база для которых не была бы подготовлена в ходе аллофонного варьирования (аллофонного изменения).

Обратимся теперь к вопросу о том, могут ли фонологические изменения сильно отставать от фонетических (в узком смысле слова — аллофонных) изменений, их подготовивших. Л. Р. Зиндер вообще предпочитает говорить не об аллофонных изменениях, а об аллофонном *варьировании* как о синхронической предпосылке *фонологического изменения*, видимо, не считая аллофонные изменения объектом исторической фонологии. Собственно *изменение* — всегда *фонологическое*. При исследовании современных языков и говоров трудно обнаружить аллофонные изменения. Если изменение обнаруживается, оно — фонемное. Если обнаруживается вариантность в аллофонном варьировании, то можно поставить вопрос об аллофонном изменении, но почти никогда нельзя утверждать, что это начало фонемного изменения (а, например, не результат междиалектного взаимодействия или обычные колебания в произношении, допускаемые фонологической системой, а иногда и не допускаемые). Л. Р. Зиндер предполагает длительное существование аллофонного варьирования до того, как произойдет собственно фонологическое (парадигматическое) изменение, т. е. фонологизация аллофона. Говоря о двух механизмах фонологизации аллофонов, он иллюстрирует их примерами из немецкой и русской исторической фонетики.

Согласно Л. Р. Зиндеру, в VIII–XI вв. древневерхненемецкие фонемы /a/, /o/, /u/, /â/, /ô/, /û/ реализовались в переднем и заднем аллофонах. Это аллофонное варьирование было обусловлено наличием или отсутствием в следующем слоге /i/ или /j/. После редукции /i/ и /j/ в XII в. передние аллофоны указанных выше гласных становятся самостоятельными фонемами. Редукция обозначает утрату «фонетической причины возникновения передних аллофонов, вследствие чего они обособляются от задних»¹. Эта формулировка не кажется удачной, она противоречит общему духу концепции Л. Р. Зиндера, поскольку предполагает, что противопоставление передних и задних гласных возникло вследствие и после редукции. Однако редукция лишь обнаружила, что перед нами уже не аллофоны, а самостоятельные фонемы (нельзя исключить и того, что, наоборот, редукция является следствием возникновения новых фонем). Л. Р. Зиндер, видимо, хочет показать тесную взаимосвязь, параллелизм этих процессов: передние и задние аллофоны уже практически обособились, превратились в самостоятельные фонемы, а редук-

¹ Зиндер Л. Р. Общая фонетика. С. 243.

ция закрепила это обоснование. Такова, по Л. Р. Зиндеру, история немецкого умлаута. Механизм фонологизации здесь — выравнивание фонологического контекста, выявляющего и закрепляющего возникающее фонологическое противопоставление.

Такому механизму фонологизации аллофонов противопоставляется другой — морфонологический. Этот, по мнению Л. Р. Зиндера, менее распространенный механизм представлен, например, в процессе фонологизации мягких заднеязычных в русском языке. Он считает, что у фонемы /k/ мягкий аллофон [k'] появился после того, как «фонетически мотивированное чередование» твердой и мягкой фонем типа *несу* — *несёшь* — *неси* распространилось и на заднеязычные согласные: *пеку* — *печёшь* (*пекёшь*) — *пеки* (<*пеку* — *печешь* — *пеки*). «Совершенно естественно, что ранее фонологически незначимое различие /k/ — /k'/, получая распространение в тех же морфологических категориях, что и старые пары, легко могло образовать две фонемы — /k/ — /k'/»¹. Здесь так же, как отчасти и в предыдущем примере, Л. Р. Зиндер смешивает причину и следствие. Ведь не кто иной, как сам Л. Р. Зиндер сказал: «Не потому /k'/ палатализованное стало фонемой, что появилось слово /k'ot/, а наоборот, слово /k'ot/ оказалось возможным потому, что /k'/ стало фонематически противополагаться /k/». Соответственно, не потому [k] и [k'] становятся обоснленными фонемами, что получают распространение в тех же морфологических категориях, что и /s/ и /s'/ и другие парные по твердости и мягкости согласные, а наоборот, именно вследствие того, что они являются самостоятельными фонемами, возможно их распространение в соответствующих морфологических категориях. Таким образом, с появлением *пеку* — *пеки* (<*пеки*) по аналогии с *несу* — *неси* возникает не столько новый аллофон, сколько новое чередование фонем. Вопрос о времени и механизме фонологизации мягких заднеязычных остается открытым. Слишком многие обстоятельства не затронуты Л. Р. Зиндером (например, переход *кы* > *ки*).

Итак, полагаем, что фонологизация аллофона не может быть побочным результатом ни какого-либо другого фонологического изменения (например, фонологизация палатализованных согласных не является результатом падения редуцированных), ни индукции со стороны системы морфологизованных чередований. Впрочем, видимо, можно говорить об индукции со стороны системы дифференциальных признаков, а это в некоторой степени обратная сторона системы морфологизованных чередований, что в конечном счете оправдывает трактовку Л. Р. Зиндером фонологизации мягких заднеязычных. Несколько переформулировав положения Зиндера о двух типах фонологизации аллофонов, можно сказать, что фонологизация происходит, во-первых, в процессе

¹ Там же.

выравнивания фонологического контекста (причем фонологизация и изменение контекста находятся в сложных причинно-следственных отношениях), а во-вторых, в результате индукции со стороны системы дифференциальных признаков (фактически это процесс заполнения «пустой клетки»). Оба этих фактора могут совмещаться, как происходило, видимо, в процессе фонологизация фонемы /ф/ в русском языке: с одной стороны, индукция со стороны корреляции по звонкости—глухости и заполнение «пустой клетки» напротив фонемы /в/, а с другой — изменение фонологического контекста в процессе ресилабации на стыках слов.

Глава 10

ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС *J В ПРАСЛАВЯНСКОМ

С возникновением исторической фонологии в славистике существуют два подхода к фонематичности первого славянского алфавита. Первый — можем обозначить его как традиционный — предполагает, что от Кирилла не следовало ожидать последовательного фонематического отношения к создаваемому им алфавиту, т. е. строгого соблюдения графического принципа «одна буква = одна фонема». Такой последовательности в проведении данного принципа не наблюдается в рукописях X—XI вв., относящихся к старославянскому канону.

Другой подход — назовем его фонематическим — справедливо предполагает, что, поскольку глаголица не была исторически сложившимся письмом, а была специально создана для передачи славянской речи, исходный глаголический алфавит имел строго фонологический характер, т. е. отражал только фонематически существенные противопоставления. В целом фонологический анализ глаголицы показывает, что в солунском диалекте, для звукового строя которого, видимо, и создавался первый славянский алфавит, практически не было ни одной фонологической оппозиции, которая бы не передавалась на письме. Возможно, единственным — до сих пор не объясненным — исключением является противопоставление [t_č] ↔ [tr_čt], [t_čt] ↔ [t_ht], поскольку Кирилл не создал особого средства для передачи слоговых плавных. Однако если учесть, что слоговые плавные не были, по-видимому, самостоятельными фонемами в солунском говоре, а являлись аллофонами фонем /r/ и /l/, обсуждаемый «недостаток» глаголического письма, который затем был перенесен и в кириллическое, затрагивал не графику,

а орфографию. К сожалению, применительно к старославянскому письму графика и орфография как аспекты письма обычно не разделяются. Видимо, Кирилл затруднился разрешить удовлетворительно эту коллизию между графикой и орфографией и вполне естественно сделал выбор в пользу графики.

Современные сторонники «традиционного» (хотя в данном случае «традиционным» можно было бы уже называть «фонематический») подхода полагают, что «нет никаких оснований приписывать св. Кириллу установки лингвиста-фонолога, озабоченного адекватным воспроизведением фонологической системы. Отступления от фонологического принципа были и в греческой азбуке, и вряд ли св. Кирилл ощущал их как недостаток. Такого же рода отступления он мог допустить и для азбуки славянской»¹. Однако сторонники «фонематического» подхода вовсе не приписывают создателю глаголицы «установки лингвиста-фонолога», они скорее приписывают ему нечто в известном смысле противоположное, а именно, «стихийный фонологизм», т. е. «установку наивного носителя языка». Наоборот, приписывать Кириллу сознательные отступления от фонологического принципа значит приписывать ему установку фонолога-лингвиста. Впрочем, и в этом не было бы ничего недопустимого, ведь св. Кирилл действительно был незаурядным филологом.

Анализируя готскую графику, В. М. Жирмунский справедливо отметил: «Все алфавиты, созданные заново, если бы они создавались на пустом месте, были бы фонологическими в том смысле, что буквы обозначали бы фонемы как смыслоразличительные звуковые типы (термин Л. В. Щербы), а не оттенки фонем, механически обусловленные положением звука и не осознаваемые ни говорящим, ни слушающим. Однако алфавиты никогда не создаются на пустом месте; они обычно примыкают к традиции другого, более раннего письма... Кроме того, не будучи ученым специалистом в области фонологии, создатель нового алфавита в своем “стихийном фонологизме” мог натолкнуться на те или иные объективные трудности технического характера в обозначении или даже в различении как фонем, так и их оттенков»². Таким образом, следует особо подчеркнуть, что признание строго фонематического

¹ Живов В. М. Палатальные сонорные у восточных славян: данные рукописей и историческая фонетика // Русистика. Славистика. Индоевропеистика. М., 1996. С. 197.

Жирмунский В. М. Готские *ai*, *ai* с точки зрения сравнительной грамматики и фонологии // ВЯ. 1959. № 4. С. 77. Та же идея была еще раньше высказана Л. Р. Зиндером: «Если бы для каждого языка изобреталась своя особая система знаков, то каждая фонема этого языка могла бы обозначаться специальной буквой. Но... алфавит не изобретается для каждого языка заново, а заимствуется из языка в языке» (Вопросы фонетики. Л., 1948. С. 53).

характера исходной глаголицы не означает, что первоначальное старославянское письмо представляло собой фонематическую транскрипцию славянской (солунской) речи, хотя оно действительно в значительной степени приближалось к ней. Дело в том, что, с одной стороны, глаголица создавалась под влиянием иных систем письменности, особенно греческого письма, а с другой — Кирилл мог использовать графические принципы, которые, основываясь в конце концов на славянской фонематике, нарушали соотношение «одна фонема = одна графема».

Дискуссионной является фонематическая интерпретация праславянского и старославянского *j. После работ Н. С. Трубецкого в славистике сложилось твердое убеждение в том, что отсутствие в глаголице специальной буквы для обозначения [j] свидетельствует о том, что йота как самостоятельной фонемы не было, по крайней мере в солунском говоре.

Как известно, фонематическая интерпретация йота, в том числе при диахронических реконструкциях, является проблемой не только для славистов. В древнескандинавских языках, например, после скандинавского преломления [i] и [j] могут признаваться аллофонами одной фонемы на основании того, что они находятся в дополнительной дистрибуции, никогда не следуют друг за другом в составе морфемы, а кроме того, в некоторых позициях [j] > [i]¹. Добавляя к этим аргументам то, что «в древнеисландском существовало два варианта буквы i, т. е. i и j, причем буква j употреблялась редко», Ю. К. Кузьменко полагает, что «[i] и [j] действительно могли быть аллофонами одной фонемы, если они не были членами косвенно-фонологической оппозиции, так как основным критерием выделения фонем остается критерий тождества их различительных признаков. Признаком общим только для [i] и [j] является их место образования, т. е. среднеязычность... [i] выступает как слогоноситель, т. е. гласный, а [j] — как неслогоноситель, т. е. согласный... В древнескандинавских языках существовало противопоставление гласных фонем по долготе-краткости, т. е. долгое i противопоставлялось краткому i. Возможно, что [j] выступал в консонантной позиции нейтрализации этого противопоставления. Если все соображения, приведенные выше, верны, то [j] — не согласная фонема, и, следовательно, она не может быть щелевым коррелятом смычных фонем»². Анализируя фонологическую систему «Ригведы», Т. Я. Елизаренкова, разделяющая позиции МФШ и отрицающая автономность фонологического уровня, считает i/u од-

¹ Стеблин-Каменский М. И. Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков. С. 43.

² Кузьменко Ю. К. Диахроническая фонология аффрикат в германских языках // ВЯ. 1969. № 4. С. 46.

ной фонемой, несмотря на то что в контексте СхV (между согласным и гласным) эта фонема может быть представлена обоими вариантами¹. Таким образом, дополнительная дистрибуция согласного [у] и гласного [и] отсутствует, что не дает оснований признавать эти звуки аллофонами одной фонемы.

Как и любая задача, связанная с определением фонематического статуса звуковой единицы, проблема йота имеет как минимум два аспекта — синтагматический и парадигматический. В синтагматическом плане вопрос заключается в следующем: вычленяется ли [j] в речевом потоке как отдельная фонематическая единица, т. е. является ли он аллофоном самостоятельной фонемы? Или — альтернативное решение — йот фонематически «входит» в состав «следующей за ним» гласной? Принятие одного из этих решений в значительной степени предопределяет те или иные парадигматические решения. Если [j] — самостоятельная синтагматическая единица, то дальше следует выяснить, аллофоном какой именно фонемы — собственно /j/ или какой-либо другой, например, /i/? Из признания же йота частью гласной фонемы вытекает, что в системе вокализма имелись самостоятельные фонемы /ü/ и /ö/, а глаголические буквы *ゅ* и *ょ* передавали в начале слова не бифонемные сочетания /ju/ и /jö/, а самостоятельные фонемы /ü/ и /ö/. Таким образом, сначала важно принять правильное в синтагматическом плане решение.

Против мнения Трубецкого выдвигался следующий аргумент: отсутствие в глаголице графемы для обозначения [j] объясняется отсутствием таковой в греческом алфавите. Но важно отметить то, что отсутствие отдельной буквы для йота может быть объяснено и особым графическим принципом, который был принят на вооружение Кириллом при создании глаголицы, а именно: одинаковые буквы обозначают различные фонологические единицы, поскольку последние находятся в отношении дополнительного распределения². В частности, глаголические буквы **Ѡ**/**Ѡ**, **Ѡ**, **Ѡ**, **Ѡ** (= кир. и/и, е, Ѳ, Ѵ) обозначали соответственно [i], [e], [ɛ], [e] после согласных и [ji], [je], [jɛ], [jɛ] после гласных в начале слова. Это оказалось возможным потому, что в солунском диалекте того времени сочетания йота с гласными переднего ряда [ji], [je], [jɛ], [jɛ] не могли находиться в позиции после согласного, а этимологические [i], [e], [ɛ], [e] в начале слова, например, развивали

¹ Елизаренкова Т. Я. Исследования по диахронической фонологии индоарийских языков. М., 1974. С. 18–24.

² Кузьменко Ю. К. Появление письменности в средневековой Европе // История лингвистических учений. Средневековая Европа / Отв. ред. А. В. Десницкая, С. Д. Кацнельсон. Л., 1985. С. 39–55.

протетический [j]. В то же время сочетания лабиализованных гласных заднего ряда с предшествующим йотом противопоставлялись соответствующим «чистым» («без-йотовым») гласным в одинаковых позициях, что и отразилось как в глаголице, так и в кириллице: противопоставление графем глаг./кир. ѿ/ю — ѹ/ю, ѿ/ж — ѿ/ж передавало оппозицию /u/ — /ju/, /Q/ — /jQ/ (ср. ѿнты — юнты, жже «веревка» — ыжже «ее же»¹), а в позиции после согласных передавало оппозицию переднеязычных и палатальных /n/ — /n/, /l/ — /l/, /r/ — /f/ (ср. коноу — коню, женж — женж, ѿкороу — ѿкориж и т. п.). Сказанное о гласных заднего ряда относится и к кириллической паре а — ы, передающей в соответствующих диалектах противопоставление /a/ — /ja/.

Если согласиться с тем, что Кирилл действительно ввел в старославянское письмо описанный графический принцип, то с использованием оного графического принципа и связано скорее всего отсутствие в глаголице и кириллице особой буквы для обозначения йота. Тогда следует признать за [j] статус аллофона отдельной (от следующего за ним гласного) фонемы, тем более что это удобнее при описании старославянской грамматической системы.

После того как мы признали самостоятельный — в синтагматическом плане — статус [j], следует ответить и на другой вопрос: аллофоном какой фонемы является этот звук — гласной /i/ или согласной /j/? При втором решении йот признается самостоятельной фонемой. Нам представляется, что после монофтонгизации дифтонгов в праславянском, а значит, и для периода формирования старославянского языка, последнее решение более приемлемо. Попытаемся обосновать это подробнее.

Ранний праславянский унаследовал из индоевропейского вокалическую систему, которая включала в себя две подсистемы:

1. Краткие:	2. Долгие:
и	и:
у	у:
е	е:
о	о:
а	а:

Кроме того, имелись так называемые дифтонгические сочетания трех типов:

- 1) с гладдами — ei, eu, ai, au, oi, ou;
- 2) с носовыми — in, im, un, um, en, em, on, om, an, am;
- 3) с плавными — ir, il, ur, ul, er, el, or, ol, ar, al.

¹ Приведенные здесь и ниже пары словоформ совсем не обязательно являются квазиомонимами, так как различаются акцентологически.

Таково было положение до монофтонгизаций, но после сокращения долгих индоевропейских дифтонгов. Для установления состава фонем раннего праславянского периода необходимо решить вопрос о фонологическом статусе дифтонгов, т. е. выяснить, являются ли, в частности, дифтонги с гайдами бифонемными сочетаниями или они представляют собой самостоятельные фонемы (т. е. являются фонемными единицами наподобие современных английских дифтонгических гласных, фактически дифтонгоидами). Соответственно если дифтонги бифонемны, следует установить, аллофоном какой фонемы является второй элемент дифтонга. Решение подобной фонологической проблемы требует теоретического обоснования.

Н. С. Трубецкой в письме Р. О. Якобсону от 21.02.1931 писал (сохраним орфографию и пунктуацию источника): «Вся эта проблема довольно сложная. Она связана с вопросом о том, существует ли корреляция “слоговость ~ неслоговость”, и может ли неслоговая фонема объединяться в одну архифонему с фонемой слоговой? В санскрите *u* и *i*, *g* и *r* встречаются в взаимоисключающих положениях, т. е. так, что как будто *u* есть фонетический вариант *i*, *a* — фонетический вариант *r* (между *v* и *u* такого соотношения нет, ибо перед *r* и *i* в начале слова могут стоять как *v*, так и *u*: *vrajati* ~ *uru*, *vyathati* ~ *uye*). Кажется так же обстоит дело и в чешском с *i* : *j*, *g* : *r*, *ʃ* : *l* (по крайней мере, в новочешском: в старочешском *r* и *g* могли стоять в одинаковом положении). Однако, я все же не решаюсь признать это правильным. Мне кажется, что фонемы слоговые и фонемы неслоговые в каждом языке составляют две самостоятельные, хотя и сопряженные системы. Слоговая фонема и неслоговая фонема — два фундаментально разных понятия, ибо разница в *функции*. Это так же как в русской морфологии напр. дательный и предложный пад. ед. ч. остаются двумя разными падежами даже у таких слов, где они имеют одно окончание, — напр. у основ женского рода и т. д. Полагаю, что даже в языках с разложимыми дифтонгами неслоговые *i*, *u* в составе этих дифтонгов воспринимаются как особые фонемы, отличные от слоговых *i*, *u*¹. Этого же вопроса Трубецкой коснулся в письме от 10.05.1933, критикуя мысли Й. Вахека о дифтонгах: «Вся его теория дифтонгов основана на двух неверных предпосылках, — будто слоговое свойство не может быть фонологическим признаком (ср. хотя бы ст.-чеш. односложн. *krví* при двусложн. *prvú* или серб. *грђе* при *гроб*) и будто не может быть фонем, встречающихся лишь в одном определенном звуковом положении (примеры таких фонем я могу привести десятками). Он совершенно не учитывает существование нейтрализованных фонем. Между

¹ Письма и заметки Н. С. Трубецкого. М., 2004. С. 196–197.

тем, например в чешском языке, где количество гласных *a*, *e*, *i*, и абсолютно свободно, нейтрализованное в отношении количества *i* в дифтонге *oi* есть принципиально не то же самое, что краткое *й* или долгое *й*, и, следовательно, либо является особой фонемой (*u*), что я принимал напр. для полабских дифтонгов, — либо составляет лишь часть фонемы *oi* (= фонолог. *б*). Беря критерием разложимости дифтонгов их фонетическую реализацию, Вахек не только вступает на опасный путь “капитуляции перед фонетикой”, но и уничтожает всякое надежное основание решения вопроса в каждом конкретном случае¹.

Проблема действительно существует: следует ли считать слоговую (когда звук выступает как слогоноситель) и неслоговую (когда звук выступает как неслогоноситель) позиции собственно фонетическими позициями? Или, как считает Трубецкой, слогоносители и неслогоносители — это фундаментально разные понятия? В этом отношении интерес представляет ситуация в чешском языке: здесь слоговые и неслоговые *r*, *l* могут чередоваться в составе морфемы и при этом находятся в дополнительном распределении (*nesl* : *nesla*, *brat* : *bratra*), что явно свидетельствует о том, что перед нами комбинаторные варианты одной фонемы. С другой стороны, слоговые *r*, *l* не превращаются в чешском языке в неслоговые автоматически перед гласным следующего слова и, наоборот, неслоговые *r*, *l* не превращаются в слоговые, оказываясь в позиции между согласными на стыках слов (ср. *rekʃasi* при *rekla si*, *ter gve* при *terʃve*²). Это обстоятельство вроде бы говорит о том, что слоговые и неслоговые фонемы еще не стали в чешском комбинаторными вариантами (межсловные стыки, с нашей точки зрения, особенно важны для диагностики фонематического статуса). Сложность трактовки связана, видимо, именно с тем, о чем говорит Н. С. Трубецкой: структура слога в противопоставленных минимальных парах (*re|k|a|si* : *re|kla|si*, *ter|g|ve* : *te|p|g|ve*) различна, и они, строго говоря, не являются минимальными. Для первого случая ситуация усложняется еще и наличием в чешском твердого приступа перед гласными, начинающими слово, т. е. своего рода пограничным сигналом.

Несмотря на критику со стороны Н. С. Трубецкого, следует подчеркнуть, что концепция Й. Вахека отличается достаточной гибкостью и обладает определенными достоинствами. Важной особенностью концепции Вахека является выделение так называемой пере-

¹ Письма и заметки Н. С. Трубецкого. С. 272.

² Примеры из работы: Вахек Й. Несколько замечаний о роли слогообразующей функции при фонологическом анализе // Язык и человек: Публикации отделения структурной и прикладной лингвистики. Вып. 4: Сб. статей памяти П. С. Кузнецова / Под общ. ред. В. А. Звегинцева. Изд-во МГУ, 1970. С. 48–49.

ходной, пограничной зоны между двумя основными фонемными областями — консонантизмом и вокализмом. Он исходит из того общепринятого факта, что «некоторые из согласных в том или ином языке в определенных ситуациях могут выступать в функции, которая им, как правило, не принадлежит, а именно в функции носителя слогообразующего ядра, и наоборот, некоторые гласные в определенных ситуациях могут не выполнять функцию слогоносителя, обычную для них в иных случаях»¹. Приведя в качестве примеров чешские согласные [r], [l] (в книжном языке, возможно, и [m]) и гласный [u], он указывает, что «в чешском языке между обеими фонемными областями существует переходная область, содержащая по меньшей мере три фонемы». Между слогообразующими и неслогообразующими вариантами фонем, входящих в эту переходную зону, существуют определенные иерархические отношения: одни варианты являются основными, другие — комбинаторными, но сама эта переходная область представляет собой постепенный переход между гласными и согласными. В русском языке, в отличие от чешского, граница между подсистемами гласных и согласных, по мнению Вахека, проводится четко и отражает общую тенденцию русского языка к сохранению и предельно четкому различию границ между областями гласных и согласных². Но, видимо, и в современном русском языке существует тенденция к формированию переходной зоны, в которую, несомненно, входит фонема /j/ с ее двумя вариантами [j] и неслогоовым [i], а в разговорном языке, возможно, и другие сонорные согласные, выступающие в аллегровой речи в слогообразующей функции (ср. в *са-с-деле* ‘в самом деле’, *де-л-ла* ‘делала’³, [p’а-тъ-сь] «пятница», [ро-]-čка] «полочка»⁴ и т. п.). В то же время ситуация в русском языке значительно отличается от ситуации в чешском (ср., например, хотя бы то, что в некоторых южнорусских говорах /j/ фактически вступает в оппозиции по твердости—мягкости и глухости—звонкости с /γ/ и /χ’/).

Н. С. Трубецкой в приведенной выше цитате из письма Р. О. Якобсону, конечно, совершенно справедливо возражает против «капитуляции перед фонетикой», однако надо признать, что никакого другого — нефонетического — «критерия разложимости дифтонгов» он, в сущности, не предложил. Не спасает ни использование (отнюдь не в «функциональном» смысле) термина *функция*, ни сомнительная аналогия с русскими падежами. Таким образом, для нас единственным надежным

¹ Вахнер Й. Несколько замечаний о словообразующей функции при фонологическом анализе. С. 47.

² Там же. С. 49 и сл.

³ Томсон А. И. Общее языковедение. Одесса, 1906. С. 220.

⁴ Зиндер Л. Р. Общая фонетика. С. 254.

критерием членности на фонемы может служить потенциальная морфологическая разложимость. Именно на основании такого критерия, традиционно используемого в Щербовской фонологической школе, признается фонологическая членность праславянских дифтонгов, которые регулярно встречались на стыке основы и флексии в именном склонении (ср. в парадигмах на *a: и на *o — N. sg. *gēna:-# > **жена**, *stolo-s > **столъ**, G. sg. *gēna:-s > **жены**, D. sg. *gēna:-i > **женѣ**, *stolo-u > **столоу**, L. sg. *gēna:-i > **женѣ**, *stolo-i > **столѣ**, L. pl. *stolo-isu > **столѣхъ** и т. п.) и в императиве (2 p. sg. *neso-i > **неси**, pl. *neso-i-te > **несѣте** и т. п.).

Итак, до монофтонгизации праславянские дифтонги *eɪ и *aɪ были бифонемными сочетаниями. Какую же фонему представлял собой второй компонент этих дифтонгов? Согласно Трубецкому, это не могла быть слоговая фонема i (или i:) из-за «разницы в функции» между слоговым и неслоговым звуками. Представляется, что этот аргумент есть не что иное, как пресловутая «капитуляция перед фонетикой», так как в качестве критерия идентификации аллофонов используется замаскированное под «функцию» артикуляторно-акустическое сходство (или различие). Для Трубецкого псл. *i в дифтонгах должен был представлять либо особую фонему, либо быть частью фонологически не членимого дифтонга. Здесь, правда, следует оговориться, что Трубецкой решает обе задачи фонологического анализа — синтагматическую и парадигматическую — одновременно. Мы же в соответствии с принципами Щербовской школы разделяем эти два этапа анализа.

Дистрибутивный анализ позволяет утверждать, что до монофтонгизации в праславянском языке *i дифтонга находился в состоянии дополнительного распределения с *i слоговым: первый встречается только после гласного, второй никогда не встречается именно в позиции после гласного. Этого мало, однако, для того, чтобы признать слоговое и неслоговое i аллофонами одной фонемы, поскольку критерий дополнительной дистрибуции является необходимым, но недостаточным для парадигматической идентификации аллофонов. Это, как мы видели, прекрасно понимал и Н. С. Трубецкой, который искал дополнительной аргументации, но, к сожалению, главным образом в сфере артикуляторно-акустического сходства—различия. Критическое рассмотрение соответствующих «правил» Трубецкого представителями Щербовской школы восходит в конечном счете к самому Л. В. Щербе, который оставил соответствующие пометки на полях «Руководства к фонологическим описаниям» Н. С. Трубецкого¹. Щербовская школа и на этом этапе фонологического анализа использует функциональный критерий: для

¹ Зиндер Л. Р., Матусевич М. И. Л. В. Щерба. Основные вехи его жизни и научного творчества // Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 15.

доказательства принадлежности двух аллофонов одной фонеме необходимо установить (кроме состояния дополнительной дистрибуции) возможность чередования этих аллофонов в одной морфеме.

Таким образом, в интересующем нас случае необходимо убедиться, что і неслоговое (из дифтонга) и і слоговое могут чередоваться в одной морфеме, находясь в состоянии дополнительной дистрибуции. И такая возможность в праславянском языке до монофтонгизации действительно существовала. Наличие рядов аблautных чередований с «нулем» в положении перед сонантами — типа *e (+ i/u/r/l) : *o (+ i/u/r/l) : # (i/u/r/l) — подтверждается, в частности, следующими примерами:

псл. *kveit- : *kvoit- : *kvit- = ст.-сл. цвисти : цвѣтъ : цвѣтъ		
псл. — : *sloip- : *slip- = ст.-сл. — : слѣпъ : осльпнѣти;		
псл. *trei- : *troi- : *tri- = ст.-сл. тришьды : трон : трысватъ		
		трик : тронца : трызжьвъцъ
псл. *steig- : — : *stig- = ст.-сл. стингжти : — : стъза		
псл. *eitei : — : *id- = ст.-сл. ити (<*jiti) : — : идж (<*jьd-)		
псл. *geuk- : *gouk- : *guk- = рус. жук : рус. гукать : болг. гък		
псл. *mer- : *mor- : *mr- = ст.-сл. мрѣти : моръ : смрѣть/мърж.		

Таким образом, слоговое и неслоговое і в праславянском могут чередоваться в одной морфеме, находясь при этом в состоянии дополнительной дистрибуции. Это значит, что они являются реализациями одной фонемы, а именно фонемы *i. В праславянском имелись обычные фонологические дифтонги, т. е. сочетания гласных фонем, составлявших один слог.

После монофтонгизации дифтонгов старые ряды чередований разрушились. Г. Шевелов полагает, что с фонологической точки зрения статус і неслогового не изменился, так как отношения дополнительной дистрибуции между слоговым и неслоговым і сохранились¹. Однако если исходить из сформулированных выше принципов о парадигматической идентификации аллофонов, следует заключить, что после монофтонгизации дифтонгов и нарушения системы старых чередований, которые фонематически связывали слоговое и неслоговое і, неслоговое і становится более самостоятельной, независимой фонологической единицей — потенциальной, а может быть, и полноценной фонемой. Таким образом, если до монофтонгизации дифтонгов [i] (неслоговое, из дифтонгов) = /i/ (краткому), то после монофтонгизации — [i] = /j/ (самостоятельной фонеме). Не исключено, что сама монофтонгизация была вызвана изменениями, произошедшими с псл. *i и *u, а именно с их централизацией, т. е. возникновением сропов: *i > ь, *u > ъ. А может быть, и наоборот, монофтонгизация дифтонгов вызвала изменения у кратких гласных верхнего подъема, поскольку фонематически они утратили

¹ Shevelov G. Y. A Prehistory of Slavic. The Historical Phonology of Common Slavic. New York, 1965. P. 292–293.

связь со слоговыми сонантами. Во всяком случае эти процессы как-то взаимосвязаны и взаимообусловлены. Что касается фонетической реализации /j/, то после согласных это, по-видимому, еще долго был неслоговой [j]. В пользу такого решения свидетельствует, в частности, характер изменения так называемых сочетаний согласных с *¹!

Предполагаем, что ситуация в праславянском до монофтонгизаций принципиально совпадает с праиндоевропейской ситуацией, т. е. второй элемент дифтонгов на i был аллофоном фонемы *i. В то же время в индоевропеистике данный вопрос является дискуссионным. В ларингальной теории неслоговой i обычно трактуют как аллофон согласной фонемы *j. Однако О. Семерены считает такой подход несостоительным с фонетической точки зрения, поскольку i — гласный, а j — (у О. Семерены в соответствии с другой транскрипцией — у) — спирант. Он полагает, что в первоначальной индоевропейской системе *i и *j «не имели ничего общего друг с другом», а функциональная связь между ними начала устанавливаться в период появления нулевой ступени аблautа, хотя и после этого они оставались разными фонемами². На наш взгляд, установление функциональной связи при наличии дополнительной дистрибуции свидетельствует о слиянии ранее различавшихся фонем, а «фонетический аргумент» О. Семерены не представляется убедительным.

Значительно более продуктивна интерпретация отношений между [i] и [j] в праславянском, предложенная известным чешским славистом Мирославом Комареком. Отталкиваясь от идеи Й. Вахека о переходной области между системами вокализма и консонантизма, М. Комарек полагает, что звуки [i] и [j] «are in a conflict (and this is relevant for all speech sounds of the transitional zone) which is not new and which has a solution that is not usually final... A slight change in the distribution of these speech sounds is sufficient for a change in their evaluation»³. Таким образом, история отношений между [i] и [j] (или неслогового [i]) в праславянском и разных славянских языках и диалектах (и, разумеется, не только славянских) — это история постоянной переоценки, переинтерпретации фонологического статуса [j].

М. Комарек устанавливает следующие этапы истории неслогового [i]:

1) до делабиализаций псл. гласных это неслоговой комбинаторный вариант гласной фонемы *i (неслоговой [u] — вариант гласной фонемы *u);

¹ Чекман В. Н. Исследования по исторической фонетике праславянского языка. Минск, 1979. С. 67–70.

² Семерены О. Введение в сравнительное языкознание. М., 1980. С. 153, 156–157.

³ Komárek M. On the Development of the Relation between [i] and [j] in Proto-Slavic // For Henry Kučera: Studies in Slavic Philology and Computational Linguistics. Ann Arbor, 1992. P. 233.

2) после делабиализаций и до монофтонгизаций дифтонгов неслоговой [i] остается вариантом гласной фонемы *i, но нарушается параллелизм с неслоговым [u], который входит в систему консонантизма в качестве сонанта (наряду с [r], [l], [n], [m]);

3) после монофтонгизаций дифтонгов, но особенно после перегласовок по ряду (в соответствии со слоговым сингармонизмом) и развития протетического и эпентетического [j] возникают сочетания [j] + [i] ([jaixy] > [jeixy] > [ji:xy] *иχъ*, [juga] > [jiga] *иго*).

Именно два последних обстоятельства, по мнению М. Комарека, сыграли решающую роль: поскольку сочетание двух одинаковых фонем в начале слова было невозможно, [i] и [j] необходимо теперь трактовать как разные фонемы¹. Однако перегласовки по ряду и развитие йотовой протезы — это не предпосылка и не фактор фонологической дивергенции, а всего лишь ее индикатор: можно предполагать, что со временем этих изменений *i и *j стали разными фонемами. Кроме того, следует иметь в виду, что одним из главных условий развития йотовой и любой другой протезы является наличие в языке соответствующей согласной фонемы². Таким образом, возникновение йотовой протезы не могло быть условием фонологизации [j], но, наоборот, фонологизация йота могла быть решающим фактором развития йотовой протезы. Решающим же фактором фонологизации [j] была, с нашей точки зрения, именно монофтонгизация дифтонгов.

В то же время нельзя не отметить, что некоторые исследователи именно в протетическом характере *j видят основание для того, чтобы исключить его из состава фонем³. Весьма противоречиво рассуждение К. В. Горшковой, которая не признает фонематическую самостоятельность йота в XI–XII вв., не считая его в то же время протезой: «Но очевидно, что уже в праславянском языке, после того, как изменились сочетания согласных с [j] и возникли фонемы /л', /н', /р'/ из *lj, *nj, *rj, звук [j] перестал быть чистой протезой и стал приобретать способность выполнять различительную функцию... В начале слова были возможны: /р'адъ/ — /јадъ/, но было невозможно /азъ/. Таким образом, очевидно, можно сказать, что в этот период [j] уже переставал быть протезой, но еще и не оформился как самостоятельная фонема. Поэтому мы еще не включаем [j] в систему согласных фонем древнерусского языка XI–XII вв.»⁴. Таким образом, даже для периода XI–XII вв. фонематическая самостоятельность йота оказывается для некоторых историков

¹ Komárek M. On the Development of the Relation... P. 236–237.

² Чекман В. Н. Исследования по исторической фонетике... С. 159 и сл.

³ Калнынь Л. Э. Развитие корреляции твердых и мягких согласных фонем в славянских языках. М., 1961. С. 7–8.

⁴ Горшкова К. В. Очерки исторической диалектологии северной Руси (по данным исторической фонологии). М., 1968. С. 68–69.

русского языка под вопросом. При таком подходе остается неясным, какое значение для решения вопроса о фонематичности йота может иметь тот факт, что в древнерусском [р'адъ] и [јадъ] звучали по-разному (синтагматический аспект проблемы был рассмотрен выше). Кроме того, ниоткуда не следует, что в XI в. было невозможно начальное /a/, по крайней мере в начале синтагмы (ср. отсутствие йота в союзе *а*). В заимствованиях начальное [а] практически без исключений замещалось древнерусским /o¹/, а не /ja/, т. е. автоматической йотации не было. Однако отсутствие минимальных пар само по себе и вообще каких-то единиц в лексиконе, как уже отмечалось, не может быть аргументом против признания возможности фонологического противопоставления. Впрочем, для представителей МФШ подобный подход вполне органичен. Например, В. В. Иванов аналогично К. В. Горшковой использует метод минимальных пар и остаточной выделимости для доказательства членения на фонемы, однако при этом приходит к противоположным выводам: «[j] в древнерусском языке оказывался противопоставленным иным согласным в позиции перед [a], [é], [ä] (ср. [јазъ] — [разъ] — [пазъ]...). Как бы ни были ограничены рамки этих противопоставлений... все же фонологическая значимость [j] здесь не подлежит сомнению»². В этом рассуждении, как и у К. В. Горшковой, имеет место смешение процедур синтагматической и парадигматической идентификации фонемы. Это естественно для МФШ, которая рассматривает в качестве главного «героя» исторической фонологии так называемый звук языка: «Историк языка имеет дело прежде всего не с фонемами, а со звуками. Однако ему приходится постоянно вступать в область фонологии»³.

Более содержательная интерпретация фонематической неустойчивости йота в позднем праславянском дается В. В. Колесовым. По его мнению, после монофтонгизации дифтонгов и возникновения палатальных сонантов из сочетаний соответствующих согласных с йотом значительно уменьшилась употребительность йота в праславянской речи. В то же время широкое использование *j в качестве протезы в большинстве праславянских диалектов привело к тому, что его дистрибуция оказалась очень ограниченной: он мог употребляться только перед гласными переднего ряда. Поскольку протетический *j перед гласными переднего ряда противопоставлен нулевой протезе перед гласными заднего ряда, он фонологически нерелевантен и входит в состав гласного: «йот здесь — линейный признак диезности...»⁴. Эти

¹ Видимо, под влиянием массы русских слов с начальным /o/.

² Иванов В. В. Историческая фонология... С. 125.

³ Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961. С. 128.

⁴ Колесов В. В. Праславянская фонема... С. 175. См. также: Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. С. 35, а также 46–47.

процессы происходят на фоне ослабленной морфологической функции [j] (и неслогоового [u]) и рассматриваются В. В. Колесовым как факторы дефонологизации /j/, но это значит, что он исходит из такой системы, когда *j был самостоятельной фонемой. Таким образом, соображения В. В. Колесова не противоречат высказанной нами гипотезе о появлении у *j фонематического статуса после монофтонгизации дифтонгов, и их можно принять, но для самых поздних этапов развития праславянского языка, а точнее для ранних этапов формирования самостоятельных славянских языков.

Глава 11

ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ И ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЛАВЯНСКИХ ПАЛАТАЛИЗАЦИЙ

После ранних протославянских изменений система фонем праславянского языка принимает следующий вид:

Гласные:

	Передний ряд	Задний ряд
Верхний подъем	i(:)	u(:)
Нижний подъем	e(:)	a(:)

Согласные:

Лабиальные		Дентальные		Палатальные		Велярные	
r	b	t	d			k	g
		s	z			x	
m		n					
		l					
		r					

Если в этой системе уже существовали глады типа [w] и [j], то они, видимо, представляли собой (по крайней мере, до монофтонгизации дифтонгов) реализации кратких гласных фонем *u и *i в позиции соседства с гласными. В системе консонантизма отсутствует как палатальный ряд (т. е. особые среднеязычные фонемы), так и тембровая корреляция (т. е. противопоставление палатализованных и непалатализованных согласных в нескольких локальных рядах). С возникновением палатальных фонем связаны ближайшие изменения в парадигматической системе согласных праславянского языка. В первую очередь имеются

в виду изменения вслярных согласных перед гласными переднего ряда, а позднее — после монофтонгизации — согласных других локальных рядов перед [j]. Традиционно изменения первого типа называются славянскими *палатализациями*, а изменения второго типа — изменениями сочетаний согласных с *j. Однако и в том и в другом случае рефлексами соответствующих изменений первоначально выступали *палатальные*, а не *палатализованные* фонемы.

Различение палатальных и палатализованных фонем необходимо не только в чисто фонетическом, но и в фонологическом плане. В целом различие между ними заключается в том, что для палатальных согласных подъем средней части спинки языка является основной артикуляцией. Палатальные представляют собой такой же локальный ряд, как лабиальные, дентальные и велярные согласные, в то время как для палатализованных согласных подъем средней части спинки языка к нёбу следует интерпретировать в качестве дополнительной артикуляции, которая как бы накладывается на основную артикуляцию — лабиальную, дентальную и велярную. С артикуляторно-акустической точки зрения не всегда можно легко отличить палатальный согласный от палатализованного, поскольку есть разные типы палатальных и возможны различные степени палатализации, например, в зависимости от того, является ли палатализованность фонемным или аллофонным признаком в данной системе. Соответственно на первый план выходит функциональный, фонологический аспект проблемы. Если подъем средней части спинки языка характерен для согласных хотя бы двух локальных рядов (например, лабиального и дентального), то можно говорить о тембровой корреляции согласных, т. е. о противопоставлении палатализованных и непалатализованных согласных фонем. Таково, например, положение в современном русском языке, где тембровая корреляция охватила и велярные согласные. Палатальный ряд и тембровая корреляция как фонологические отношения в типологическом плане противопоставлены и в принципе не должны сочетаться в одной системе, однако известные случаи перехода от системы с палатальным рядом к системе с тембровой корреляцией предполагают возможность какого-то взаимодействия этих двух разнонаправленных принципов организации системы согласных. В то же время система с тембровой корреляцией может включать в качестве палатализованных коррелятов согласные, которые, с фонетической точки зрения, скорее могли бы быть отнесены к палатальным согласным (такое положение наблюдается, например, в польском языке).

Таким образом, за недифференцированным термином «мягкие согласные» обозначающим согласные, при образовании которых так или иначе происходит подъем средней части спинки языка, скрываются совершенно разные явления, по крайней мере, трех типов: 1) это могут

быть позиционные аллофоны согласных фонем, которые в некоторой степени палатализуются в положении перед гласными переднего ряда; 2) это могут быть согласные, входящие в палатальный ряд как самостоятельные фонемы; 3) это могут быть согласные, участвующие в противопоставлении палатализованных и непалатализованных фонем, т. е. входящие в тембровую корреляцию. Если согласные ранней праславянской системы, схематически представленной выше, в какой-либо степени и палатализовались перед гласным переднего ряда, то эта система характеризовалась отношениями первого типа.

Для того чтобы подчеркнуть позиционный, аллофонный характер палатализации, иногда используют термин «полумягкие согласные», однако наблюдения над так называемыми полумягкими согласными в живых языках приводят к выводу о том, что за «полумягкостью» скрывается отсутствие веляризации, еще одного типа дополнительной артикуляции, которая может накладываться на согласные локальных рядов. Веляризованность намного реже, чем палатализованность, выступает в качестве ДП в фонетических системах, но часто сопровождает противопоставление по палатализованности—непалатализованности. С этим, видимо, и связан тот факт, что отсутствие веляризации воспринимается как «полумягкость» носителем языка, в котором непалатализованность сопровождается веляризованностью.

Первая палатализация — это длительный многоэтапный процесс. Традиционно он рассматривается как переход заднеязычных согласных в шипящие перед гласными переднего ряда: др.-рус. **чърнъ** < псл. *kirn- (prus. kirsnan), др.-рус. **живъ** < псл. *gi:w- (лит. gývas), др.-рус. **тишина** < псл. *teixi:na: (ср. тиҳъ). Условиям этой палатализации подчинялись и заднеязычные перед неслоговым *i, т. е. перед будущим «йотом»: **доұша** < *duša < *daušia: < *dauxia:. Позднее рефлексы сочетаний заднеязычных с неслоговым *i (*j) перед гласными совпали с рефлексами 1П, т. е. *šia > *ša и т. д.

Фонетически первая палатализация представляла собой регрессивную аккомодацию согласного следующему за ним гласному, фонологически — фонологизацию палатального ряда. 1П иногда называют «шипящей», так как на месте ее рефлексов в большинстве славянских языков и диалектов выступают твердые или мягкие шипящие. Однако первоначальными рефлексами заднеязычных по 1П были, видимо, палатальные смычные типа [ќ ~ ć], [ѓ ~ đ] и спирант [š ~ չ]. Тем самым термин «палатализация» применительно к рассматриваемому изменению не совсем точен, что было подчеркнуто В. Н. Чекманом. Затем имела место ассибиляция, и на месте палатальных смычных возникли палатальные аффрикаты [ќ ~ t'] > [t'ќ]=[ć], [ѓ ~ d] > [d'ѓ]=[ڏ]. Еще позднее в результате «диспалатации» палатальные [ć], [ڏ], [š] изменились соответственно в палатализованные [č'], [ڏ'], [š'] с возможными последующими

отвердениями. Аффриката [ž'] (звонкий коррелят [č']) очень рано утратила затвор и превратилась в спирант [ž'], став звонким коррелятом [š']. Поскольку все эти изменения сами по себе не затрагивали фонематического статуса этих звуков относительно заднеязычных, можно использовать при описании рефлексов первой палатализации традиционные символы: *k > *č, *g > *ž, *x > *š, где знак [~] или [‘] над согласным указывает на его принадлежность к палатальному ряду. Итак, фонетическая история рефлексов первой палатализации была, возможно, следующей: *k (+ палатация) > [k ~ č] (+ ассибиляция) > [t'š] (+ диспала-тация) > [č'] (+ диспалатализация) > [č].

Показателем фонологизации палатального ряда является изменение *e: > *a: после шипящих рефлексов первой палатализации: ср. **бѣжати** (не *бѣжѣти) < *be:že:tei < *be:ge:tei. После этого изменения шипящие оказались возможны перед гласными непереднего ряда. Некоторые полагают, что само по себе это изменение было следствием диспала-тации, т. е. превращения палатальных шипящих в палатализованные звуки. Во всяком случае, можно думать, что ко времени перехода *e: > *a: согласные *č, *ž, *š (уже были самостоятельными фонемами, а не аллофонами фонем *k, *g, *x (бѣжати — бѣгати, чара — кара)). Формы, извлеченные из древненовгородской письменности, также говорят о том, что, по крайней мере, к началу распространения письменности у восточных славян, шипящие рефлексы 1П уже не были аллофонами заднеязычных фонем: ср. **Маркѣ, архистратигѣ, нѣжатъкины, мачехинъ**. О том же говорят и заимствования X–XI вв.: ср. **кърста** «ящик, могила», **кърстица** «ларец», **Серегѣръ** (ср. эст. Särgjärv).

Итак, ко времени монофтонгизации дифтонгов палатальные рефлексы 1П были самостоятельными фонемами и, возможно, фонетически уже начали превращаться в палатализованные звуки, освобождая палатальный ряд для новых палатальных, которые развивались перед новыми гласными переднего ряда — рефлексами монофтонгизации дифтонгов.

Система согласных после 1П:

Лабиальные		Дентальные		Палатальные		Велярные	
p	b	t	d	č	ž	k	g
		s	z	š		x	
m		n					
		l					
		r					

После монофтонгизации дифтонгов начался процесс фонологизации неслоговых *i и *i' и перехода их в подсистему согласных, т. е. они стали гайдами *w и *j. С фонологической точки зрения важно, что они утратили связь с краткими *u и *i', которые, в свою очередь, превратились

в редуцированные гласные фонемы *ъ и *ъ. Новое положение *j, который фонетически, впрочем, мог оставаться неслоговым [i], видимо, предопределило дальнейшую судьбу сочетаний «согласный + *j + гласный». В какой-то момент они стали функционировать как сочетания «согласный + гласный». С одной стороны, это была своего рода монофтонгизация дифтонгов типа *ia, *iu (в том числе из *eu), а с другой — упрощение группы согласных с *j, причем *j как бы растворялся между соседними фонемами. Впрочем, синтагматическая дефонологизация *j компенсировалась качественным изменением согласного, предшествовавшего *j, а может быть, и следующего за ним гласного (ср. споры о фонематической самостоятельности псл. и ст.-сл. [ü]).

У восточных славян рефлексы сочетаний *sj > *š > š, *zj > *ž > ž и *tj > *ć > č, *dj > *đ > *ž > ž совпадают с рефлексами первой палатализации. Это говорит о том, что слияние с *j происходило еще в то время, когда рефлексы палатализации были палатальными звуками, с которыми и совместились рефлексы сочетаний соответствующих согласных с *j. Возможно, что именно в процессе этого совмещения происходило изменение (*gj, *dj >) ž > ž (< *zj). Процесс изменения сочетаний сонорных с *j привел к фонологизации новых палатальных фонем — *ń, *í, *ŕ. В последнюю очередь изменение затронуло сочетания губных с *j. Это связано с тем, что губная и среднеязычная артикуляции плохо сочетаются, поэтому новой фонемы не возникло, а *j был идентифицирован с одной из уже существовавших палатальных фонем, а именно с *í (так называемый l-энтетикум — ‘вставной’): *pj > *pí и т. д.

После 1П и изменений сочетаний с *j возникла система с палатальным рядом:

Лабиальные		Дентальные		Палатальные		Велярные	
p	b	t	d	ć	š	k	g
		s	z	ń	ž	x	
m		n		í			
		l			ŕ		
		r					

Эта система после депалатации некоторых палатальных могла принимать накануне второй палатализации следующий вид:

Лабиальные		Дентальные		Палатальные		Велярные	
p	b	t	d	ć'	š'	k	g
		s	z	ń'	ž'	x	
m		n		í			
		l			ŕ		
		r					

Депалатация создала фонетические условия для дальнейшего увеличения палатального ряда. Старые палатальные, продолжая функционировать как палатальные фонемы, фонетически стали палатализованными дентальными. На первый план вышел сопутствовавший палатальности и палатализованности признак «шипящести», или «двух-фокусности».

Новые палатальные согласные возникли в результате 2П и 3П. 2П так же, как и 1П, происходила в позиции перед гласными переднего ряда, но это были не те передние гласные, которые вызывали 1П. Это были новые, возникшие в результате монофтонгизации некоторых дифтонгов гласные *ě₂ и *i₂. Таким образом, 2П происходила перед гласными *ě и *i дифтонгического происхождения.

2П иногда называют «свистящей», так как в большинстве славянских языков и диалектов в качестве ее рефлексов выступали палатальные свистящие: ст.-сл. *ржцѣ* (Д. ед.) < *rancē < *rankē₂ < *rankai (лит. *rackai*); ст.-сл. *сѣло* < *žēlo < *gě₂lo < *gaila; ст.-сл. *сѣдъ* < *sēdъ < *xē₂du < *xaidas. Итак, по 2П *k > *ć, *g > *ž, *x > *ś. Позднее уже в разных славянских языках происходила диспалатация: *k > *ć > c'/c, *g > *ž > dz/z'/z, *x > *ś > s'/s. В зап.-сл. языках *x > *š: чеш. *šedý* ‘седой’, пол. *szary* ‘серый’, чеш. *moše* = пол. *musze* (Дат.-Местн. ед. ‘муха’).

В новгородском и псковском диалектах древнерусского языка 2П не имела места в том виде, как она проходила в большинстве древних славянских диалектов: ср. рус. сев.-зап. диал. *кевъ* ‘шпулька’ (заимствовано в эст. *kääv* ‘катушка’), *кеп* ‘цеп, било’, *кедить* ‘цедить’ и т. д.; топонимы *Хедово, Херово* (‘Седово, Серово’); ср. также в бересстяных грамотах XI–XII вв. — *келѣ* Им. ед. ‘цел’, *хѣри* Род. ед. ‘серъ’, *гвѣздъкѣ* и мн. др.

Даже в тех восточнославянских диалектах, которые, в принципе, пережили 2П, она не происходила тогда, когда непосредственно перед заднеязычным находился свистящий *s или *z: ср. в Успенском сборнике XII–XIII вв. — *въ роусъскѣи сторонѣ вѣлицѣи*; ср. также многочисленные примеры из рукописей XI–XII вв.: *пасѣкѣ*, *воскѣ*, *оскѣпъ* ‘древко копья’, *дѣскѣ*, *розгѣ* (ср. ст.-сл. *дѣсцѣ* — *дѣстѣ*, *пасцѣ* — *пастѣ*, *дрѣздѣ* и т. д.). Некоторые др.-рус. памятники отражают стилистическое использование вариантов: ср. в Хожении Игумена Даниила XII в. — *о горѣ ливаньстѣи*, но *роусъскѣи*.

Особым случаем 2П считается позиция заднеязычного перед *w + ě₂/i₂. Такая дистантная палатализация имела место только в ю.-сл. (в частности, в ст.-сл.) и в.-сл. (непоследовательно): ст.-сл. *цвѣтъ* < *ćwetъ < *kwaitas (рус. *цвет*, рус. диал. *квет*, укр. *цвіт / квіт*, пол. *kwiat*), ст.-сл. *свѣзда* < *żwczda < *gwaizda: (пол. *gwiazda*), ст.-сл. *влѣсви* (Им. мн.) < *wъlswi < *wulxwai.

Итак, 2П в отличие от 1П давала значительные расхождения по славянским языкам и диалектам. Эпицентр этого изменения находился на территории расселения южных славян, где палатализация проходила последовательно. Некоторые же периферийные (в частности, сев.-зап. древнерусские говоры) были охвачены юю слабо, хотя тенденция к тому или иного рода смягчению заднеязычных перед гласными переднего ряда, т. е. тенденция к палатализации, имела место во всех праславянских диалектах.

В отличие от украинского и белорусского языков русский язык утратил свистящие рефлексы 2П в склонении. С XIV в. русские памятники отражают обобщение именных основ на заднеязычные (с XVI в. они господствуют): ср. *рука* — *руке* (но укр. *рука* — *руці*). Этот процесс можно трактовать как морфонологическое изменение, связанное с развитием корреляции по твердости–мягкости, в которую включаются и заднеязычные согласные. В то же время нельзя исключать возможности влияния северо-западных (в первую очередь новгородских) говоров, в которых не было свистящих рефлексов 2П, на северо-восточные говоры русского языка.

Для парадигматической системы согласных фонем главным следствием 2П была фонологизация ее рефлексов. Подобно 1П, вторая палатализация с фонологической точки зрения представляла собой фонологизацию аллофонов велярных фонем и нового различительного признака — палатальности. Совершенно очевидно, что ко времени создания первого славянского алфавита, т. е. к середине IX в., фонологизация рефлексов как первой, так и второй и третьей палатализаций (по крайней мере, для тех диалектов, которые пережили все три палатализации, в частности южнославянских) уже произошла.

Лабиальные		Дентальные		Палатальные		Велярные	
p	b	t	d	ć č'	š ↓	k	g ↓
		s	z	ś š'	(ž) ž'	x	(γ)
m		n		ń			
		l		í			
		r		ř			

Более сложно определить положение в тех праславянских говорах, где вторая палатализация не проходила этапа ассибиляции, как, например, в северо-западных говорах древнерусского языка. Это связано с проблемой соотношения 2П и 3П как в фонологическом, так и в хронологическом аспектах.

Рефлексы 2П и 3П в принципе совпадали практически во всех славянских языках и диалектах, но условия этих изменений были диаметрально противоположны. 3П, в отличие от 1П и 2П, была *прогрессивной*, т. е. изменение заднеязычного вызывалось не следующим за ним гласным, а предшествующим (такую же направленность имела аккомодация при переходе $*s > *x$ после $*i(:)$, $*u(:)$, $*r$, $*k$). Если в основе 3П лежал действительно фонетический механизм ассимилятивного характера, то прогрессивная направленность взаимодействия фонем может свидетельствовать как в пользу ее большой древности (большей, чем 2П, отражавшая внутрислоговое взаимодействие), так и в пользу ее позднего характера. В последнем случае 3П могла бы обозначать завершение тенденции к внутрислоговому сингармонизму. Но, с другой стороны, она могла быть вызвана внутрислоговым взаимодействием предшествующего переднего гласного и следующего за ним заднеязычного согласного в условиях процесса образования закрытых слогов вследствие начавшегося падения редуцированных гласных, в частности конечных, а значит, абсолютно слабых, подверженных выпадению в первую очередь. Эта палатализация заднеязычного носила первоначально чисто аллофонный характер, однако столкнувшись с проходившей практически в это же время 2П, изменением противоположной направленности, но дававшей фонетически сходные результаты, она объединилась с последней в едином процессе, приведшем к фонологизации свистящих палатальных фонем. Во многих случаях условия обеих палатализаций пересекались, и, несомненно, имело место воздействие морфонологических процессов на ход обеих палатализаций.

Таким образом, начавшись как разные фонетические аллофонные изменения, но приблизительно в одно время, 2П и 3П могли «финишировать», т. е. фонологизовать свои рефлексы, одновременно и во взаимодействии. После фонологизации свистящего палатального ряда процесс перешел на морфонологический уровень, что привело к очень сильному варьированию, особенно в отношении рефлексов 3П, которые были сосредоточены исключительно на стыке основы и флексии. В принципе фонологизация свистящего палатального ряда могла произойти и при наличии лишь одной из палатализаций — либо только 2П, либо только 3П, т. е., строго говоря, они не нуждались друг в друге для фонологизации возникших аллофонов. Оба изменения могли оставаться и на уровне аллофонного варьирования, не давая новых фонем. Но совпадение во времени, возможно, позволило 2П и 3П выступить катализаторами по отношению друг к другу. Интересно, что северо-западные древнерусские говоры, относительно которых можно подозревать, что они не пережили ни 2П, ни 3П, развили такое явление, как неразличение свистящей и шипящей аффрикат (так называемое цоканье). Возможно, это было связано с тем, что свистящий палатальный ряд не был

фонологизован, а заднеязычные в условиях как 2П, так и 3П остались аллофонами заднеязычных фонем.

На примере трех славянских палатализаций — «шипящей» (1П), «свистящей» регressiveвой (2П) и «свистящей» progressiveвой (3П) — хорошо видны проблемы, связанные с установлением абсолютной и относительной хронологии, особенно последней. Традиционный взгляд на хронологический порядок осуществления этих палатализаций отражен в данной нумерации. Существует несколько точек зрения на относительную хронологию славянских палатализаций:

1) 1П → (2П + 3П), т. е. сначала — 1П, а позднее — 2П и 3П, которые происходят одновременно (И. А. Бодуэн де Куртенэ, А. И. Соболевский); в принципе это и есть традиционная точка зрения, которая часто отражается, в частности, в пособиях по старославянскому языку в виде формулировки «первое и второе условие второй палатализации»;

2) 1П → 2П → 3П, т. е. традиционный порядок следования палатализаций (Н. Ван-Вейк, С. Б. Бернштейн, Г. Шевелов);

3) 1П → 3П → 2П, т. е. «третья» предшествует «второй» (Т. Лер-Сплавинский, Н. С. Трубецкой, В. Махек, Ф. Мареш и др.);

4) 3П → 1П → 2П, т. е. регressiveвая палатализация оказывается самой древней.

Эта последняя — «новейшая» — гипотеза зародилась в лоне генеративной фонологии. Сначала она не претендовала (но уже «намекала») на историчность, а лишь указывала на последовательность применения соответствующих палатализаций правил порождения современной поверхности структуры (Халле и Лайтнер), но затем в работах Р. Чэннона и особенно в многочисленных работах Г. Ланта такой порядок следования славянских палатализационных процессов получил диахроническое обоснование.

Р. Чэннон предложил следующую относительную хронологию палатализаций и связанных с ними изменений¹:

1) *прогressiveвая палатализация*: *k, g, x > k', g', x'* (вероятно, велярные перед гласными переднего ряда и ю получали похожие передние аллофоны);

2) возникает *слоговой сингармонизм*, вследствие которого

3) происходит *первая регressiveвая палатализация*: *k, g, x и k', g', x'* (т. е. и те, что возникли по прогressiveвой палатализации, но только в позиции перед передними гласными и ю) *> č, (d)ž, ď*; вследствие дальнейшего развития слогового сингармонизма

¹ Channon R. On the Place of the Progressive Palatalization of Velars in the Relative Chronology of Slavic. The Hague; Paris, 1972. Р. 47. В этой работе также дается обзор различных точек зрения на славянские палатализации.

4) происходит переход гласных заднего ряда в передний ряд после *j* или палатальных согласных: *o* > *e*, *ь* > *ь*, *у* > *i*. «Именно в это время Местн. ед. **ot्यk'oi* > **ot्यk'eи*, избегая, таким образом, первой регрессивной палатализации. Зв. ед. **ot्यk'e* к этому времени уже превратился в **ot्यcे* по первой регрессивной палатализации»;

5) монофтонгизация дифтонгов: *ei* (в том числе *ei* < *oi* после палатальных) > *i*, *oi* > *e*. Перед этими новыми передними гласными на исходе эпохи слогового сингармонизма происходит

6) вторая регрессивная палатализация велярных: *k*, *g*, *x* > *k'*, *g'*, *x'*;

7) *k'*, *g'*, *x'* > *c'*, (*d*)*z'*, *s'*/*š'* — ассибиляция рефлексов второй регрессивной палатализации и, видимо, тех рефлексов прогрессивной палатализации, которые избегли первой регрессивной палатализации (Местн. ед. **ot्यk'i* < **ot्यk'eи* < **ot्यk'oi* < **ot्यkoi* — см. п. 4);

8) переход *ě* > *a* после *j* и других палатальных (но не палатализованных, возникших после ассибиляции — см. п. 7); это изменение обозначает конец слогового сингармонизма и, как и предыдущее, дает различные рефлексы по диалектам.

Если бы можно было принять эту гипотезу, то она объясняла бы фонетически различие разных рефлексов **ě* и **i* при монофтонгизации **oi*: **i* — только в позиции после палатальных и *j*. Кроме того, хорошо объяснялось бы различие между мягкими разновидностями типов склонения на **o* и на **a*, с одной стороны, и склонением слов типа *отьць*, *лице*, *овьца*. Впрочем, все эти положительные качества гипотезы Р. Чэннона связаны с тем, что он поставил 3П раньше 2П, как до него делали и другие. Однако принять предложенную им относительную хронологию 1П и 3П оказывается невозможным по фонологическим причинам. Говорить о том, что 3П произошла раньше 1П, имеет смысл только в том случае, если в результате 3П появились новые фонемы. В представленной гипотезе не совсем понятно, каков фонологический статус палатальных звуков [*k'*, *g'*, *x'*] по прогрессивной палатализации. Если это позиционные аллофоны велярных фонем, то вряд ли нужно и огород городить, поскольку по меньшей мере странно говорить об относительной хронологии аллофонного изменения. Кроме того, если это аллофоны велярных фонем, то после них невозможно изменение, обозначенное в п. 4, т. е. Местн. ед. **ot्यk'oi* > **ot्यk'eи*, потому что фонологически нерелевантный признак не может вызвать аккомодацию следующего гласного. Таким образом, это должны быть все-таки отличные от велярных новые палатальные фонемы (только при такой трактовке их фонологического статуса возможно изменение Местн. ед. **ot्यk'oi* > **ot्यk'eи*, которое могло произойти только после завершения 1П). Но в таком случае рефлексы 1П должны были совпасть с этими палатальными фонемами, чего не произошло; точнее — произошло, но только в тех позициях, которые совпадали с условиями 1П, а фактически это

равносильно утверждению, что 1П произошла раньше 3П. Или надо констатировать, что палатальные, возникшие по 3П и не попавшие в условия 1П, опять перешли в велярные. Ясно, что это можно придумать только для спасения древности 3П.

В гипотезе Р. Чэннона есть еще одна неувязка общего характера. Он полагает, что после 3П наступает эпоха слогового сингармонизма, следствием которого являются 1П и 2П, но в явном противоречии со слоговым сингармонизмом находится монофтонгизация дифтонгов $*oi, ai > \check{c}/i$. Если действует слоговой сингармонизм, после велярных на месте дифтонгов, начинающихся с заднего гласного, не должны были бы появиться гласные переднего ряда. А существовал ли этот пресловутый межслоговой сингармонизм? Или была только тенденция к увеличению числа согласных фонем за счет палатального ряда?

Как видим, общим для всех гипотез является то, что 1П предшествует 2П. Однако и здесь не все так определенно, как это обычно принято считать. Стого говоря, на основании лишь относительной хронологии трудно доказать большую древность 1П по отношению ко 2П. Такое доказательство основано на том, что между 1П и 2П происходила монофтонгизация дифтонгов, но оно, как заметил Ю. С. Кудрявцев, держится «на иллюзии тождества рефлексов монофтонгизации $*oi > \check{c}, i$ с исконными $\check{c} < *c, i < *i$. Если, однако, $*oi$ давало первоначально $*\check{c}_2, i_2$, принадлежавшие, напр., среднему ряду (что хорошо объясняет свистящий, а не шипящий характер рефлексов II палатализации: дальше от центра палатальной области), то I и II палатализации могли происходить одновременно, а монофтонгизация — раньше их обеих»¹. Ю. С. Кудрявцев подчеркивает, что «это не обязательно было именно так, но... традиционные рассуждения по данному вопросу логически неудовлетворительны. Для I и II палатализаций возможны только абсолютные хронологии!»²

Что касается хронологического соотношения 2П и 3П, ситуация тоже не очень ясна. Р. Чэннон полагает, что, учитывая позиционные условия 3П, т. е. «прогрессивное» влияние предшествующего велярному гласного, она должна была осуществиться либо до начала, либо после окончания действия тенденции к слоговому сингармонизму, но поскольку Р. Чэннон — на основании анализа парадигм склонения³ — исходит из того, что 3П имела место *до* монофтонгизации дифтонгов (и соответственно — до 2П), а монофтонгизация завершилась еще в эпоху действия слогового сингармонизма (поскольку и вызвала 2П), значит, 3П происходила *до* эпохи слогового сингармонизма⁴. С другой стороны,

¹ Кудрявцев, Юрий. Очерки по русской исторической фонологии... С. 52.

² Там же. С. 52.

³ Channon R. On the Place... P. 43–45.

⁴ Ibid. P. 51.

Ю. С. Кудрявцев считает, что поскольку природа ЗП заключается в межслоговом взаимодействии, «логически это указывает на конец праславянского периода. Затруднения всех праславянских диалектов с III палатализацией связаны с тем, что гласный переднего ряда должен сначала оказаться влияние на начальный участок звучания заднеязычного согласного. Между тем наиболее ясное проявление славянских палатализаций — ассимиляция — касается финального участка»¹. Таким образом, Ю. С. Кудрявцев настаивает на поздней датировке ЗП. И здесь, видимо, наиболее надежным средством установления относительной хронологии была бы хронология абсолютная, но ее данные достаточно противоречивы и также позволяют различные интерпретации.

Ю. С. Кудрявцев полагает, что «фонологические изменения могут происходить много позже соответствующих фонетических и, в сущности, являться побочным продуктом совсем других звуковых процессов...: на первом этапе изменяется фонетика без изменения функциональных отношений, на втором этапе эволюционирует фонология без изменения фонетической реальности»². В качестве иллюстрации он приводит славянские палатализации.

На первом этапе — аллофонное изменение — произошло «увеличение фонетического разброса аллофонов заднеязычных фонем». Причину этого Ю. С. Кудрявцев видит в том, что признак «твердость/нейтральность/мягкость» стал суперсегментным в соответствии с праславянской тенденцией к обособлению слога как фонологической единицы³. Изменения сочетаний заднеязычных с *j, которые дали аналогичные 1П рефлексы, и 3П, рефлексы которой совпали с рефлексами 2П, не нарушили, по его мнению, дополнительной дистрибуции заднеязычных согласных и рефлексов 1П и 2П, поскольку после рефлексов сочетаний с *j и 3П задние гласные перешли в передние. Сразу отметим, что, с нашей точки зрения, изменение гласных заднего ряда в гласные переднего ряда было возможно только в том случае, если палатальные рефлексы, обусловившие этот переход, фонологически обособились от заднеязычных согласных, т. е. дали новые самостоятельные палатальные фонемы. Для нас это является достаточным основанием для того, чтобы отклонить следующие рассуждения Ю. С. Кудрявцева. Он считает, что фонологизация «шипящих» рефлексов 1П произошла после вторич-

¹ Кудрявцев, Юрий. Очерки по русской исторической фонологии... С. 53.

² Там же. С. 19.

³ Оставим без комментариев эти утверждения. Отметим только, что чисто фонетически твердость—мягкость всегда является признаком суперсегментным, однако его фонологическая суперсегментность никак не доказывается для соответствующего периода. Что касается обособления слога как фонологической единицы, то такая тенденция действительно могла существовать в позднюю праславянскую эпоху.

ного смягчения полумягких согласных и была его «побочным продуктом». Вторичное смягчение нейтрализовало противопоставление *нейтральных* (по Ю. С. Кудрявцеву, полумягких и свистящих) и *мягких* (палатальных и шипящих) слогов. Поскольку «свистящие» рефлексы 2П не совпали с «шипящими» рефлексами 2П, последние «обособились в отдельные фонемы, обладающие ограниченной дистрибуцией». Это, видимо, и есть «латентный период» — когда новые фонемы имеют ограниченную дистрибуцию, т. е. сохраняют дополнительную дистрибуцию с материнской фонемой. Что касается фонологизации «свистящих» рефлексов, то она, по мнению Ю. С. Кудрявцева, произошла еще позднее — после падения редуцированных, которое привело к ликвидации суперсегментного признака твердость/мягкость и возможности сегментного противопоставления твердых заднеязычных и мягких «свистящих». Нам все это построение представляется совершенно невероятным. Кроме приведенного выше аргумента, напомним также, что фонологический анализ глаголицы и кириллицы говорит о том, что и «шипящие», и «свистящие» рефлексы уже к середине IX в. были самостоятельными фонемами (во всяком случае, до падения редуцированных и на территории, не знавшей вторичного смягчения), а употребление соответствующих графем в древнерусских рукописях XI в. не содержит ничего, что приводило бы хоть к какому-либо сомнению в этом. Все аргументы, вытекающие из дистрибутивного анализа, не идут, с нашей точки зрения, ни в какое сравнение с аргументами от графики и орфографии.

Приведенный пример позволяет нам более подробно остановиться на проблеме соотношения 2П и 3П. Это тем более целесообразно, что 2П и 3П (в отличие от 1П и изменения сочетаний заднеязычных с *j) дали расхождения не только на славянской языковой территории в целом, но и у восточных славян. 2П и 3П в славянских языках с фонетической и типологической точек зрения описаны В. Н. Чекманом и интерпретированы им как палатации¹, а с фонологической — отношения между этими палатализациями описаны В. В. Колесовым, который рассматривает их как два этапа одного процесса — фонологизаций палатального ряда свистящих фонем, придавая особое значение именно отсутствию 3П в северных говорах².

¹ Чекман В. Н. Генезис и эволюция палатального ряда в праславянском языке. Минск, 1973. С. 34–42; *Он же*. Исследования по исторической фонетике...

² Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. С. 53–55. Впрочем, позиция В. В. Колесова в этом отношении представляется противоречивой: «В северных говорах, которые не знали третьей палатализации, свистящие согласные второй палатализации сохранились на уровне оттенков фонем <г, к, х>» (с. 55). Однако если признать ассимиляцию рефлексов второй палатализации, то необходимо, с нашей точки зрения, признать и их фонологизацию. Видимо, ни того ни другого в соответствующих говорах не было (см. ниже).

В. В. Колесов фонологически интерпретирует соотношение 2П и 3П следующим образом:

1. «Вторую и третью палатализации объединяет то, что в результате изменения... образовался ряд свистящих согласных различного качества. Фонетически после второй палатализации появились смягченные [з, с, ц] (т. е., видимо, палатализованные [з', с', ц']) или полумягкие [з', с·, ц·]. — *M. П.*), а после третьей — мягкие (палатальные) согласные [з, с, ц] (т. е. [з", с", ц"]. — *M. П.*)».

2. «Важно отметить несовпадение условий второй и третьей палатализаций: вторая связана с воздействием гласных ⟨и, е⟩; третья никогда не происходила после ⟨е⟩, а после ⟨и⟩ происходила очень непоследовательно, и при том только в определенных суффиксах...».

3. «С фонологической точки зрения отношение третьей палатализации такое же, как и отношение изменения ⟨е:⟩ ⟨а:⟩ после палатальных к первой палатализации. Первая и вторая палатализации представляют собой чисто фонетические изменения, приспособление артикуляции согласного к следующему гласному в условиях действия слогового сингармонизма. Такое приспособление артикуляции не приводит к возникновению новых фонем, оно вызывает только аллофонное варьирование уже имеющихся в системе фонем. После второй палатализации соотношение между *рука* — *руцъ* остается неизменным, [к] и [ц'] (у Колесова угловые, т. е. фонемные, скобки. — *M. П.*) — по-прежнему оттенки одной фонемы, отличающейся от фонемы ⟨ч"⟩...».

4. «Третья палатализация — это процесс фонологизации нового ряда свистящих фонем, увеличения их функциональной ценности и образования фонологически сильных позиций для противопоставления исходным фонемам ⟨г, к, х⟩. После третьей палатализации ⟨з", с", ц"⟩ становятся возможными перед непередними гласными, тем самым противопоставляясь фонемам ⟨г, к, х⟩...».

5. «С фонологической точки зрения неважно, предшествует ли третья палатализация второй или нет, важно только, насколько широко процесс морфологического выравнивания, связанный с действием третьей палатализации, охватил все словоформы, категории слов и морфемы»¹.

Схема В. В. Колесова, на наш взгляд, не лишена некоторых противоречий. Так, подчеркивая, что 1П и 2П — это чисто фонетические (аллофонные) изменения, он ни разу не говорит этого о 3П. Наоборот, в отличие от «фонетических» 1П и 2П, 3П представляет собой, по Колесову, «процесс фонологизации». Но, если рефлексы 2П [з·, с·, ц·] фонологизуются только в процессе 3П, почему же они отличаются от исходных смычных заднеязычных фонем такими существенными для системы

¹ Там же. С. 54–55.

(дифференциальными) признаками, как ассибилированность (способ образования) и переднеязычность (место образования)? В принципе здесь возможны два подхода.

1. Если 3П, не будучи аллофонным изменением, действительно является неким «фонологическим» завершением 2П, то его следует рассматривать как замещение заднеязычных в условиях 3П рефлексами 2П. В этом случае 3П — вообще не фонетическое изменение, а некие морфонологические преобразования на базе уже фонологизованных рефлексов 2П. В пользу этого говорит то, что у нас практически нет словоформ, где рефлексы 3П находились бы в морфологически изолированной позиции, т. е. практически все примеры на стыке основы и флексии, где возможны и рефлексы 2П. Но в этом случае «с фонологической точки зрения» совсем не безразличен порядок следования палатализаций. Он может быть только таким: 2П → 3П, поскольку 3П — это морфонологический этап 2П. Этому не противоречат и данные абсолютной хронологии. Этим решением снимается и сложная проблема выявления фонетических условий 3П.

2. Если мы исходим из того, что рефлексы 2П и 3П первоначально были различны, то эти рефлексы не должны были различаться существенно (по ДП) от материнских заднеязычных смычных фонем (например, это могли быть палатализованные заднеязычные и палатальные смычные), т. е. обе палатализации были первоначально фонетическими приспособлениями в артикуляции. Но в этом случае фонологизация рефлексов 2П и фонологизация рефлексов 3П совсем не обязательно должны были зависеть друг от друга или от какого-либо другого фонетического изменения. Фонологизация рефлексов 2П — это внутренний, скрытый (латентный) процесс, причиной которого никак не может быть, например, 3П¹. 3П, если она происходила позже 2П и ее рефлексы совпали с рефлексами 2П, могла только обнаружить для внешнего наблюдателя тот факт, что фонологизация рефлексов 2П уже осуществилась. Теоретически порядок палатализаций (или лучше сказать — фонологизаций их рефлексов) мог быть и обратным. Но и в этом случае все-таки может быть интересным и важным, фонологизация рефлексов какой из палатализаций произошла раньше, были ли эти рефлексы уже свистящими или еще нет, произошла ли ассибиляция позднее — уже для совмещенных рефлексов 2П и 3П, как это осуществлялось по диалектам, и т. п. Полагаем, что при любом решении фонологизовался палатальный ряд, а ассибиляция с последующим преобразованием палатальных в палатализованные (депалатация) — это фонетическое завершение процесса.

¹ Все это, впрочем, не означает, что обе палатализации были совершенно независимы друг от друга.

Оригинальную трактовку соотношения 2П и 3П выдвинула С. М. Глускина. Отвергнув традиционную фонетическую трактовку 3П как прогрессивно-ассимилятивного процесса, она предположила, что так называемая третья палатализация, рефлексы которой проявляются в конце основ имен существительных и глаголов, представляет собой распространение 2П на заднеязычные согласные в позиции перед новыми **j* аналогического происхождения. Таким образом, в говорах, знавших 2П, рефлексы 3П представляют собой фонетически закономерный результат 2П и вызваны суффиксом *-j*, который проявился уже после завершения действия 1П¹. Такая интерпретация позволяет объяснить наличие большого количества «исключений» и параллельных образований без покушения на принцип регулярности фонетического закона. Становится понятным отсутствие рефлексов 3П в суф. *-ьк- прилагательных, снимаются и некоторые другие традиционно спорные вопросы. Главная проблема данной трактовки — установление источника распространения аналогического *-j*. По мнению С. М. Глускиной, таким источником могли послужить образования с поствокальным **j*. Это не очень убедительно по морфонологическим соображениям. Что касается постконсонантного **j*, то в условиях упрощения соответствующих групп согласных за счет именно йота его аналогическое распространение на позиции после заднеязычных также представляется маловероятным. Тем не менее подход Глускиной является весьма перспективным.

В связи со сказанным возникает вопрос, каким образом следует интерпретировать то, что называют отсутствием или непоследовательностью 2П в новгородском диалекте древнерусского языка.

Опираясь на данные псковских говоров и показания древненовгородских памятников, в том числе берестяных грамот, С. М. Глускина в середине 1960-х гг. выдвинула предположение, что северо-западные русские говоры в свое время не пережили 2П: «Сопоставление показаний древней новгородской письменности с этими архаическими элементами современной диалектной лексики (имеются в виду диалектные слова с отсутствием свистящих по 2П в начале корня типа *кезь*, *кеп*, *кевка* и др., которые не могли быть вытеснены литературными соответствиями. — М. П.) приводит к заключению, что предки псковичей и новгородцев, рано (по-видимому, в VI—VII вв.) поселившиеся на берегах озер Псковского, Чудского и Ильменя и несколько обособившиеся от других славян, вообще не пережили процесса второй палатализации»².

¹ Глускина С. М. О «третьей» палатализации заднеязычных согласных в славянских языках // Учен. зап. ЛГПИ им. Герцена. Т. 293: Теория и методика преподавания русского языка. Л., 1968. С. 95–112.

² Глускина С. М. Изменения по аналогии и система языка // Материалы Всесоюзной конференции по общему языкознанию «Основные проблемы эволюции языка». Ч. II.

Эта оригинальная идея, отвергнутая такими видными славистами, как С. Б. Бернштейн и Ф. П. Филин¹, была подхвачена рядом отечественных и зарубежных ученых² и к середине 1980-х гг. стала общим местом в работах, посвященных истории славянских языков³. В то же время приходится констатировать, что открытия С. М. Глускиной практически не нашли места на страницах основных тогдашних учебных пособий по исторической грамматике русского языка⁴. Значительную роль в популяризации открытия С. М. Глускиной сыграли работы А. А. Зализняка, который обнаружил в новгородских берестяных грамотах написания с отсутствием рефлекса 2П в начале корня (типа *къле* «цел»)⁵.

Разумеется, когда говорят об «отсутствии» 2П в новгородско-псковских говорах, имеют в виду лишь то, что ее рефлексы здесь отличаются от соответствующих рефлексов — свистящих согласных — в других славянских языках. В одной из недавних работ, затрагивающих, в частности, и проблему второй палатализации в северорусских гово-

Т. 2. Самарканд, 1966. С. 465; см. также: *Głusquina Z.* O drugiej palatalizacji spółgłosek tylno-językowych w rosyjskich dialektach północno-zachodnich // *Slavia orientalis*. Vol. 15. N 4. Warszawa, 1966; *Глускина С. М.* О второй палатализации заднеязычных согласных в русском языке (на материале северо-западных говоров) // *Псковские говоры*. Т. 2: Труды 2-й псковской диалектологической конференции 1964 г. Псков, 1968.

¹ *Филин Ф. П.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972. С. 380–381; *Ф. П. Филин* отверг идею С. М. Глускиной довольно оригинальным образом: на всякий случай он процитировал свое высказывание из работы 1940-х гг., которое очень близко по смыслу утверждениям С. М. Глускиной.

² *Колесов В. В.* К фонологическому объяснению северорусского цоканья // Тезисы докладов на X диалектологическом совещании. М., 1965; *Stieber Z.* Druga palatalizacja tylnojęzykowych w świetle atlasu dialektów rosyjskich na wschód od Moskwy // *Rocznik slawistyczny*. 1968. Vol. 29; *Ferrell J.* Cokan'e and the Palatalization of Velars in East Slavic // *Slavic and East European Journal*. 1970. Vol. 14. N 4; *Shevelov G.* Teasers and Appeasers // *Forum Slavicum*. Bd. 32. München, 1971. *Savignac D.* Common Slavic *vъх- in Northern Old Russian // *International Journal of Slavic Linguistics and Poetics*. 1975. Vol. 19.

³ *Shevelov G.* A historical phonology of the Ukrainian language. Heidelberg, 1979. P. 75; *Stieber Z.* Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich: Fonologia. Warszawa, 1969; *Чекман В. Н.* Исследования по исторической фонетике...; *Колесов В. В.* Историческая фонетика русского языка; *Issatschenko A.* Geschichte der russischen Sprache. Heidelberg, 1980. Bd. 1.

⁴ *Горшкова К. В.* Историческая диалектология русского языка. М., 1972; *Горшкова К. В., Хабургаев Г. А.* Историческая грамматика русского языка. М., 1981; *Иванов В. В.* Историческая грамматика русского языка. 2-е изд., испр. и доп. М., 1983: здесь имеется глухое упоминание в сноске на с. 127 со ссылкой на работу В. В. Колесова.

⁵ *Зализняк А. А.* К исторической фонетике древненовгородского диалекта // *Балтославянские исследования*. 1981 / Отв. ред. Вяч. Вс. Иванов. М., 1982. С. 61–75. См. также многочисленные более поздние работы автора на данную тему. Последняя обобщающая работа: *Зализняк А. А.* Древненовгородский диалект. 2-е изд. М., 2004.

рах, предлагается (вслед за В. Н. Чекманом) следующее уточнение: «В новгородских и псковских говорах рефлексы второй палатализации не пережили ассибиляции»¹. Другой аспект этой проблемы состоит в том, что под «отсутствием» 2П можно понимать отсутствие фонологизации ее рефлексов, т. е. для северо-западных говоров предполагается лишь фонетический этап 2П. Таким образом, отсутствие 2П — это либо отсутствие и ассибиляции и фонологизации, либо отсутствие ассибиляции при наличии фонологизации (например, палатальных рефлексов), либо наличие ассибиляции при отсутствии фонологизации.

Просматриваются несколько подходов к соотношению 2П и 3П в северо-западных древнерусских говорах. Сама С. М. Глускина полагала, что в новгородско-псковском ареале не было ни второй, ни третьей палатализации, т. е. в фонологической системе этих говоров не возникло свистящей аффрикаты /ç/, с чем, между прочим, она связывает происхождение цоканья/чоканья². При этом важно иметь в виду, что Глускина считала рефлексы 2П и 3П в говорах, переживших 2П, результатом одного и того же фонетического процесса 2П³.

А. А. Зализняк и В. М. Живов предполагают, что для [k] и [g] (но не для [x]) 3П в новгородских и псковских говорах была осуществлена, а 2П отсутствовала для всех трех заднеязычных: «в древненовгородском, по крайней мере, для *k третья палатализация осуществилась (причем в объеме, достаточно близком к тому, что обнаруживается в других восточнославянских диалектах). Для *g вопрос остается не совсем ясным; для *x третьей палатализации не было»⁴. Это, по их мнению, доказывает большую древность 3П по отношению к 2П в праславянском языке. Проанализировав написания ч и ц в новгородских церковнославянских памятниках и установив, в частности, что писцы делали ошибки главным образом на месте рефлексов 3П, В. М. Живов делает вывод: «В новгородском диалекте XI–XII вв. рефлексы II палатализации (а именно [k']). — M. П.) отличались по своей фонетической реализации (фактически имеется в виду фонологическое различие, находящееся отражение в орфографии. — M. П.) от рефлексов I и III палатализаций (т. е., скорее всего, аффрикаты [ç']. — M. П.)... новгородский диалект не знал II палатализации (но знал, хотя и непоследовательно, третью)»⁵. Непоследо-

¹ Кудрявцев, Юрий. Очерки по русской исторической фонологии... С. 50.

² Глускина С. М. О второй палатализации заднеязычных согласных...

³ Глускина С. М. О «третьей» палатализации заднеязычных согласных в славянских языках. С. 95–112.

⁴ Зализняк А. А. Комментарий и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951–1983 гг.) // Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). М., 1986. С. 118–119.

⁵ Живов В. М. Правила и произношение в русском церковнославянском правописании XI–XIII века // Russian Linguistics. Vol. 8. N 3. 1984. P. 272.

вательность ЗП заключается в том, что заднеязычные по отношению к ней ведут себя в древненовгородском диалекте по-разному. Что касается 2П, то «из совокупного материала берестяных грамот с полной ясностью выступает картина диалекта, где вообще не было процесса второй палатализации. Мы не просто находим здесь много примеров без соответствующего эффекта. Картина гораздо ярче: в грамотах XI–XII вв. нет просто ни одного примера с эффектом второй палатализации — ни внутри корня, ни перед окончанием (при более чем 20 примерах без этого эффекта). И лишь позднее (в основном в XIV–XV вв.) в берестяные грамоты проникает из книжного языка и из других диалектов небольшое число примеров с палатализацией»¹.

Ю. С. Кудрявцев считает недоразумением утверждения о том, что новгородский диалект «не знал» 2П. По его мнению, там имела место ЗП (кроме $*x > s'$) с фонологизацией /ц'/ после вторичного смягчения, а 2П прошла лишь первый этап — образование палатальных аллофонов [к', г', х'] заднеязычных фонем /к, г, х/. В этом отношении его позиция, в сущности, ничем, кроме терминологии (что именно называть 2П: приобретение заднеязычными i-образной окраски или ассибиляцию), не отличается от позиции А. А. Зализняка и В. М. Живова. В древнепсковском диалекте и 2П, и ЗП осуществили только первый этап, т. е. ассибиляция отсутствовала, по его мнению, для рефлексов как 2П, так и ЗП².

Наиболее подробное фонологическое обоснование различий между говорами в их отношении к 2П и ЗП дал В. В. Колесов, который считает, что расхождения по говорам связаны с их отношением не столько ко 2П, сколько к ЗП. Впрочем, его трактовка не лишена противоречий, которые связаны с его общим взглядом на вторую и третью палатализации (см. выше). С одной стороны, «в северных говорах, которые не знали третьей палатализации, свистящие согласные второй палатализации сохранились на уровне оттенков фонем 〈г, к, х〉»³ (можно полагать, таким образом, что ЗП, видимо, и не начиналась), но с другой — «в северных говорах процесс третьей палатализации не был завершен, и потому фонемы 〈з', с', ц'〉 не вошли в консонантную систему»⁴ (т. е. ЗП, видимо, началась, но не была завершена). Итак, по В. В. Колесову, 2П в северных говорах началась и «завершилась» фонетически, поскольку ассибиляция произошла (!), но не фонологически, поскольку свистящие аллофоны не фонологизовались в связи с тем, что ЗП то ли не начиналась (и в этом случае мы имеем, наверное, заднеязычные

¹ Зализняк А. А. К исторической фонетике древненовгородского диалекта. С. 71.

² Кудрявцев, Юрий. Очерки по русской исторической фонологии... С. 49–53.

³ Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. С. 55.

⁴ Там же. С. 50.

рефлексы), то ли не завершилась (фонетически или фонологически?). Это как раз тот случай, когда предполагается отсутствие фонологизации при наличии ассимиляции.

Представляется, что, отрицая фонологизацию рефлексов 2П, мы не можем утверждать наличие ассимиляции. Ассимиляция была скорее всего следствием фонологизации, если не хронологически, то сущностно. Говоря об «ассимиляции», мы имеем в виду прежде всего фонемный признак, иначе использовать этот термин — т. е. в чисто физиологическом (узко фонетическом) аспекте — бессмысленно. При диахронических реконструкциях такис выражения, как «палатальные (или свистящие) аллофоны заднеязычных фонем», только запутывают дело, тем более нельзя представлять себе дело так, что подобное аллофонное варьирование могло иметь место сколько-нибудь «длительное» время, т. е. характеризовать какой-либо синхронный срез.

Очень важно, что у восточных славян даже там, где предполагается осуществление 2П и 3П (южная —protoукраинская — зона древнерусского языка), существовала позиция, в которой 2П не происходила. Это позиция после свистящих /s, z/ (ср. многочисленные примеры из памятников XI–XII вв. золобъ женьскъ Изборник 1073 г., дъскъ Житие Кондрата XI в., розгъ Стихиаръ 1156–1163 гг., въ роусъкъи сторонъ вѣлицъ Успенский сборник XII–XIII вв. и мн. др.). Такое положение имело место не только на стыке основы и флексии, но и в изолированной позиции внутри корня, что исключает предположение об аналогическом выравнивании (ср. проскѣпомъ Лаврентьевская летопись 1377 г., оскѣпомъ Ипатьевская летопись 1425 г.). Эти примеры позволяют утверждать, что в говорах, где имели место обе палатализации, в позиции после /s/ имелся «неассимилированный» рефлекс 2П, противопоставленный орфографически, а значит, фонологически (ср. оскѣпъ — исцѣлѣти) «ассимилированному» рефлексу 2П. Соответственно нет никакой необходимости реконструировать ассимилированные аллофоны заднеязычных фонем в говорах, не осуществивших 2П. Эти же факты полностью опровергают предположение Ю. С. Кудрявцева о том, что ассимилированные рефлексы 2П (например, [ц']) были до вторичного смягчения аллофонами заднеязычных фонем, что особенно невероятно для южной (древнеукраинской) зоны, где и вторичного смягчения скорее всего не было.

С оригинальной гипотезой относительно причин, по которым древнерусский диалект не провел 2П, выступил голландский славист В. Вермеер. Он предполагает, что монофтонгизация дифтонгов (которая в диалектах, осуществивших 2П, естественно происходила до 2П и обусловливала ее) в новгородско-псковском славянском ареале имела место после того, как палатализация завершилась, или, другими словами, после того как тенденция к палатализации прекратила свое дей-

ствие. Зафиксированный древненовгородскими памятниками статус-кво он объясняет морфонологическими процессами. В частности, ему приходится объяснять отсутствие рефлексов ЗП в тех случаях, когда второй гласный дифтонга создавал условия для ЗП (например, *snoiga > *snoidza > *snědza → снѣга). Его гипотеза, с нашей точки зрения, маловероятная (но логически стройная), тем не менее позволяет объяснить: 1) наличие в новгородских берестяных грамотах рефлексов ЗП и отсутствие в них рефлексов 2П; 2) различие в отношении к третьей палатализации между заднеязычными (что он объясняет различной степенью маргинальности и частотности новых фонем). Саму же задержку в монофтонгизации дифтонгов В. Вермеер объясняет балтийско-финским субстратом древненовгородского диалекта¹.

В. Вермеера не удовлетворяет традиционная гипотеза о том, что 2П не достигла древнерусского Севера, поскольку центром инновации был славянский Юг. Он считает, что эта гипотеза ничего не объясняет, а лишь констатирует факты. Тем не менее она имеет право на существование. В ее пользу говорит и отсутствие 2П в позиции после /s/ и /z/ в других восточнославянских говорах, что также свидетельствует об «ослаблении» действия 2П с Юга на Север (ср. также очевидное постепенное ослабление действия ЗП в том же направлении). На самом деле В. Вермеер выдвинул свою гипотезу не столько для того, чтобы объяснить, почему в древненовгородском говоре не было 2П (он это «объясняет» ничуть не лучше, чем традиционная гипотеза), сколько для того, чтобы обосновать наличие в нем ЗП. Это собственно и есть главный вопрос: была ли там ЗП? И второй вопрос: насколько 2П и ЗП связаны друг с другом в процессе фонологизации палatalьных рефлексов заднеязычных? С нашей точки зрения, если 2П и ЗП — это разные и хронологически удаленные друг от друга фонологические изменения, то — не связаны. Фонологизация рефлексов одного из них никак не должна зависеть от осуществления или не осуществления другого.

Если В. Вермеер пытался в своей гипотезе снять проблему различного поведения древненовгородских [k], [g] и [x] в процессе ЗП, то В. Б. Крысько это не смузывает: он распространяет это различие и на другие праславянские диалекты. Он предположил, что ЗП прошла в два этапа («стадии»). На первом этапе, который имел общеславянское распространение, ЗП затронула только *k. На втором же этапе, который наступил после завершения 2П, ЗП распространилась «на те слова, в парадигме которых уже возникли мягкие свистящие перед *e₂, и

¹ Vermeer W. The Rise of the North Russian Dialect of Common Slavic // Studies in Slavic and General Linguistics. Vol. 8. 1986. P. 503–515.

i*, (например, **polъga* > **polъz'a* под влиянием Д—МП **polъz'e*)¹. Судя по приведенному примеру, на втором этапе ЗП охватила и **g* (и, наверное, **x*). Никакого объяснения, почему это произошло и каким релевантным признаком отличался /k/ от /g/ и /x/, не дается. Далее В. Б. Крысько объясняет, что второй этап ЗП — это морфонологическое изменение, которое проходило непоследовательно. Его интерпретация второго этапа ЗП противоречива. С одной стороны, это все-таки фонетическое изменение и фонетические условия действуют (сохраняется «прогрессивная» ориентация на предшествующие звуки, а лабиализованный гласный следующего слога препятствует ЗП), с другой — это, как было сказано, морфонологический этап, но, конечно, не ЗП, а 2П. В принципе это противоречие можно было бы снять следующим образом. То, что В. Б. Крысько назвал вторым этапом ЗП, на самом деле есть завершающий, морфонологический этап 2П: рефлексы 2П распространяются в тех морфологических и словообразовательных парадигмах, где уж имелись чередования, возникшие в результате ЗП **k* (на первом этапе) — **кънажъсь : **кънаже** : **кънадъ** по аналогии с **отъчъсь** : **отъче** : **отъцъ**. Таким образом, фонетический контекст не действует, поскольку фонологизация уже произошла в процессе 2П. В таком случае становится понятно, что в древненовгородском диалекте, не знавшем 2П, не имел места и «второй этап ЗП» (по В. Б. Крысько), т. е. морфонологическое распространение рефлексов 2П на позиции рефлексов **k* по ЗП. Однако не следует забывать, что подобная реконструкция возможна лишь в том случае, если предположить, что до 2П имела место ЗП для **k* (но не для **g* и **x*), а это само по себе требует обоснования.

Кроме того, В. Б. Крысько затрагивает проблему соотношения 1П и 2П. Он склоняется к выводу о том, что «в большинстве (восточно)славянских говоров в период после распада праславянского языка параллельно действовали фонетические законы I и II палатализаций (здесь они, по Крысько, имели “статус живого фонетического преобразования”. — М. П.), тогда как в прановгородском ареале позднепраславянский процесс II палатализации вообще не разился, а давний общеславянский процесс I палатализации перестал действовать и сохранялся лишь в унаследованной лексике и в автоматически воспроизведимых позициях на стыках морфем»². Таким образом, 1П и 2П происходят одновременно, а различия в рефлексах вызвано различием между **ě*₁ и **ě*₂.

Теоретически такую возможность пересечения 1П и 2П предполагает и Ю. С. Кудрявцев, который, как мы отметили выше, считает, что

¹ Крысько В. Б. Заметки о древненовгородском диалекте (I. Палатализации) // ВЯ. 1994. № 5. С. 32.

² Там же. С. 31.

на основании лишь относительной хронологии трудно доказать большую древность 1П по отношению ко 2П¹. Однако Ю. С. Кудрявцев и В. Б. Крысько говорят о разных вещах. В. Б. Крысько приходит к своим выводам на основании наличия двух вариантов названия озера *Селигер* (< *särgjärv- (?) —ср. фин. *Särkijärv*, эст. *Särgjärv*): в новгородских источниках — **Серегъръ** с сохранением заднеязычного, в новгородских (тверских) — **Селижар** с рефлексом 1П. Последняя форма, по его мнению, и свидетельствует о том, что она возникла в условиях, когда 1П имела «статус живого фонетического преобразования». Но такой вывод неправомерен. Форма *Селижар* может говорить о том, что она была заимствована до изменения палатального рефлекса 1П в шипящий ([g'] > [ž']) и до изменения *c: > *a:, что и вполне вероятно, поскольку славяне вступили в контакт с финскими племенами в VI в., которым многие датируют 1П. Но может говорить и о более позднем заимствовании. Главная проблема здесь в том, что мы не знаем форму топонима, подвергнувшегося субSTITУции. Кроме того, В. Б. Крысько никак не обосновал отказ от старого объяснения, которое связывает наличие двух вариантов топонима с разным временем его заимствования (до изменения палатального рефлекса 1П в шипящий или после этого изменения, что могло по диалектам происходить в разное время), а новгородский вариант с заднеязычным — с отсутствием 2П. Полагаем, что такое объяснение более естественно и требует меньших жертв, чем интерпретация В. Б. Крысько.

После завершения 1П во всех славянских диалектах в принципе было возможно устранение (и распространение) ее рефлексов перед гласными переднего ряда в процессах морфонологических выравниваний. Если бы это имело место, то восстановленные заднеязычные затем опять подверглись бы палатализации, но уже 2П. Наиболее благоприятные условия для ликвидации некоторых рефлексов 1П — при «отсутствии» 2П — создаются в древненовгородском диалекте: ср. формы притяжательных прилагательных типа **нѣжъкинъ, мачехинъ** (< *něžъčinъ, *mačešinъ) и в Зв. типа **Нѣжъкѣ** (< *něžъče; И. ед. **Нѣжъко**) (ср. Зв. *архистратиге* в Мине 1095 г. и подобные). Это именно благоприятные условия, но не причина выравниваний, в других диалектах этому препятствовала начавшаяся 2П. Интересно, что формы типа **Нѣжъко, Нѣжъкѣ, нѣжъкинъ** не дают рефлексов и 3П, условия для которой здесь были, если она происходила после завершения 1П, т. е. после появления алломорфа *-ьk- < *-ъk- (в позиции после /ž'/ аналогического происхождения). Но даже если считать, что 3П предшествовала 1П как аллофонное изменение (до 2П), в этих формах были условия для 3П.

¹ Кудрявцев, Юрий. Очерки по русской исторической фонологии... С. 52.

Глава 12

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЦОКАНЬЯ: ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МЕЖДИАЛЕКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Возникновение цоканья в широком смысле как неразличения свистящей и шипящей аффрикат традиционно относится к дописьменной эпохе, так как оно отражено в древнейших памятниках письменности, в частности, уже в надписи на новгородском деревянном цилиндре, датируемом 70–80-ми гг. X в.: *мēцъницъ мѣхъ!*¹

Существуют две основные группы гипотез, объясняющих возникновение цоканья в русских говорах. Первая рассматривает цоканье как субстратное явление, вызванное контактами с финно-угорским населением², вторая — как спонтанное явление, вызванное какими-то внутрисистемными процессами в соответствующих говорах³. В основе и той и другой гипотезы в их современной интерпретации лежит идея о слабой функциональной противопоставленности фонем /ц'/ и /ч'/, а также артикуляционно-акустическая близость [ц'] и [ч']⁴. С учетом этих факторов, предполагается, что финно-угорский субстрат «предопределил одно из возможных направлений развития функционально не противопоставленных друг другу палатальных шипящих и свистящих»⁵.

Одним из существенных недостатков субстратной гипотезы было то, что она не могла ответить на вопрос, почему не везде при столкновении славянских и финно-угорских говоров возникает цоканье. Кроме того, определенные сомнения вызывает сама теория субстрата применительно к фонетическому воздействию на победивший язык, поскольку неясен механизм субстратного воздействия. При этом, в

¹ Янин В. И. Археологический комментарий к Русской Правде // Новгородский сборник: 50 лет раскопок Новгорода / Под общ. ред. Б. А. Колчина, В. Л. Янина. М., 1982.

² Чернышев В. И. Как произошла мена ц и ч в русских говорах? (Вопрос лингвистам) // 1902. Т. 47. № 1–2; Селищев А. М. Соканье и шоканье в славянских языках // Slavia. 1931. Roč. X. № 4; Аванесов Р. И. Вопросы образования русского языка в его говорах // Вестник Моск. ун-та. 1947. № 9.

³ Орлова В. Г. История аффрикат в русском языке в связи с образованием русских народных говоров. М., 1959. С. 118–140; здесь же содержится основательная критика субстратной гипотезы.

⁴ Аванесов Р. И. Очерки диалектологии рязанской Мещеры. I. Описание одного говора по течению р. Пры // Материалы и исследования по русской диалектологии. М.; Л., 1949. Т. 1. С. 226–227.

⁵ Хабургаев Г. А. Становление русского языка. М., 1980. С. 107–108.

частности, для решения вопроса происхождения цоканья существенно, что, например, «карелы, переходя на русский язык, легко усваивают обе фонемы ү и ч, в то время когда русские слова, попадая в карельский язык, меняют ү на ч»¹. А. А. Шахматов объяснял возникновение цоканья западнославянским («ляшским») субстратом². Как ни парадоксально, слабой стороной субстратной гипотезы является ее неопровергимость.

Главным недостатком спонтанной гипотезы являлось также отсутствие более или менее вразумительного описания внутреннего механизма того фонологического изменения, которое привело к неразличению аффрикат. Спонтанная гипотеза также не объясняет, почему в качестве рефлекса совпадения аффрикат в говорах значительно чаще выступает свистящая аффриката³. Видимо, все это и заставляло крупнейших славистов неоднократно обращаться к субстратной гипотезе. Кроме того, спонтанная гипотеза не давала ответа на главный вопрос: почему цоканье возникло именно в ареале северо-западных русских говоров, если условия для нее имелись во всех славянских говорах? Критикуя спонтанную гипотезу В. Г. Орловой, С. Б. Бернштейн указывал, что взгляд на цоканье как на очень древнее явление, возникшее на основе внутренних законов развития фонетической системы и вне влияния финских языков обязывает «серьезно пересмотреть весь комплекс вопросов, связанный с историей славянского консонантизма не только в древнерусских говорах X–XI вв., но и в праславянском языке»⁴.

Принципиально новый взгляд на происхождение цоканья стал возможным после работ С. М. Глускиной, которая, основываясь на данных псковских говоров и показаниях древненовгородских памятников, в том числе берестяных грамот, убедительно доказала, что северо-западные русские говоры не пережили так называемой второй палатализации заднеязычных согласных (см. выше). Таким образом, пересмотр праславянского консонантизма в части, касающейся восточнославянских говоров, которого требовал С. Б. Бернштейн, был осуществлен.

Оказалось, что эпицентр цоканья в основном совпадает с ареалом, в котором отсутствовали вторая и третья палатализации, хотя, скорее

¹ Копорский С. А. Цоканье в Калининской области // Материалы и исследования по русской диалектологии. Т. 3. М.; Л., 1949. С. 158.

² Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Петроград, 1915. С. 318.

³ Čekmonas V. On some Circum-Baltic features of Pskov-Novgorod dialect // Circum-Baltic languages: Typology and contact. Vol. 2. Amsterdam; Philadelphia, 2001. P. 343.

⁴ Бернштейн С. Б. Еще раз о происхождении русского цоканья // Romanoslavica. Bucureşti, 1964. Vol. 10. P. 192.

всего, этот ареал был шире, чем мы можем констатировать на основании обрывочных данных, которыми располагает современная славистика. Кроме того, эти же говоры, видимо, не знали и третьей палатализации, а значит, в них не возникла фонема /ц'/. Таким образом, в северо-западных говорах имелась только одна глухая аффриката — фонема /ч'/. В соответствии с этим положением С. М. Глускина же выдвигает оригинальную гипотезу возникновения цоканья в результате междиалектных контактов северо-западных говоров, не переживших вторую и третью палатализации и соответственно имевших только одну аффрикату — /ч'/, и других восточнославянских диалектов, которые имели две аффрикаты — /ч'/ и /ц'/. В сущности идея С. М. Глускиной заключается в том, что фонема ⟨ц'⟩ была заимствована северо-западными русскими говорами из говоров, различавших свистящую и шипящую аффрикаты. Таким образом, речь идет о заимствовании фонемы из одного диалекта в другой.

Приведем несколько цитат из работы С. М. Глускиной, характеризующих сам процесс взаимодействия говоров.

«Чуждая северо-западному диалекту аффриката *ц* могла отождествиться с имеющейся в этом диалекте аффрикатой *ч*, наиболее близкой к *ц* артикуляторно-акустически»¹.

«Звук *ц*, фонетически отождествлявшийся с местной аффрикатой *ч*, проникал в диалект через слова, или неизвестные ранее новгородско-псковским говорам, или известные в другом, местном звучании (с фонемой *к'*). При этом сфера употребления *к'* становилась более узкой, а функции аффрикаты расширялись... Таким образом, цоканье должно было распространиться на все слова с *ч...* но далеко не на все слова и формы, где в славянских языках предполагается переход **к' > ц'*².

Таким образом, по С. М. Глускиной, сначала фонема /ц'/ заимствуется из одного диалекта в другой, а затем постепенно вытесняет в последнем исконную фонему /ч'/. В сущности такая трактовка возникновения цоканья в своей второй части представляет собой разновидность спонтанной гипотезы, так как необходимо объяснить вытеснение исконной аффрикаты, заимствованной из родственного диалекта.

В приведенной интерпретации вызывает возражение следующее. Почему в северо-западном диалекте звук [к'] субSTITУируется «чуждым» звуком [ц'], если последний, как указывает С. М. Глускина, отождествился с аффрикатой [ч']? Здесь, на наш взгляд, заключается внутреннее противоречие ее гипотезы.

¹ Глускина С. М. О второй палатализации заднеязычных согласных... С. 37.

² Там же. С. 40–41.

Полагаем, что противоречивость гипотезы С. М. Глускиной вызвана недооценкой одного из принципиальных положений фонологической теории, которое заключается в том, что аллофон представляет собой *не осознаваемую* носителем языка реализацию фонемы. При взаимодействии родственных диалектов слово соседнего говора пропускается через «фонологическое сито» собственной фонетической системы, и соответственно, невозможно заимствование «чужой» фонемы. Последнее происходит лишь при взаимодействии фонетических систем двух неродственных (или функционально неравнозначных — литературный язык и диалект) языков, причем, что особенно важно, в ситуации двуязычия. Ср., например, заимствование из греческого фонемы /φ/ в язык кирилло-мефодиевских переводов (= старославянский язык), осуществленных двуязычными просветителями славян (не исключено, что недвуязычные продолжатели дела Кирилла и Мефодия читали глаголическую и кириллическую букву ф как [п]). Ситуация с цоканьем в этом отношении особенно показательна, поскольку даже сторонники гипотезы о существовании особого «книжного» (церковного, литургического) произношения отмечают, что «в новгородском книжном произношении аффрикаты не различались, т. е. книжное произношение не было противопоставлено в данном отношении разговорному»¹.

Значит ли сказанное, что следует вернуться к традиционным гипотезам происхождения цоканья? Думается, что нет. Спонтанная гипотеза вряд ли когда-либо будет доказана — трудно представить фонемное изменение, заключающееся в нейтрализации фонем /ц'/ и /ч', а именно так, судя по всему, понимают возникновение цоканья сторонники этой гипотезы. Наоборот, в современных цокающих говорах наблюдается процесс фонологизации второй аффрикаты как следствие заимствования фонемы из литературного языка в условиях литературно-диалектного двуязычия. Это при том, что главный, по мнению сторонников спонтанной гипотезы, фактор нейтрализации двух аффрикат — малая функциональная нагрузка — продолжает действовать, а возможно, и усилился (ср. утрату таких квазиомонимов, как *овьца* — *овьча*, *купьць* — *купьчь* и т. п.). С другой стороны, нынешние сторонники субстратной гипотезы, как уже отмечалось в литературе, не обнаруживают глубокого знания тех финно-угорских языков и диалектов, которые, по их мнению, привели к возникновению северорусского цоканья. Данная гипотеза в настоящее время превратилась всего лишь в общее место учебных пособий по исторической грамматике русского языка. В то же

¹ Живов В. Еще раз о правописании ц и ч в древних новгородских рукописях // Russian Linguistics. 1986. Vol. 10. N 3. P. 296.

время компромиссная идея междиалектного взаимодействия, выдвинутая С. М. Глускиной, представляется чрезвычайно привлекательной.

Видимо, независимо от С. М. Глускиной (но отталкиваясь от ее идеи об отсутствии 2П в древненовгородских и древнепсковских говорах) предположение о возникновении цоканья в результате диалектного взаимодействия древнерусского Севера и Юга высказал Дж. Феррелл. Он исходит из того, что в северных древнерусских говорах 1П еще действовала, когда в южных уже начались 2П и 3П. По мнению Дж. Феррелла, вследствие наложения этих процессов и в условиях влияния на северный диалект южного диалекта древнерусского языка и возникло северорусское цоканье: «[But among the masses,] insofar as palatalization was adopted after the dorsal models of the South, it was reinterpreted and done, at least as far as the affrication of *k is concerned, in terms of the still active first palatalization»¹. Фонологический механизм самих палатализаций, а также механизм взаимодействия диалектных фонологических систем в трактовке Дж. Феррелла остается неясным. Кроме того, в его концепции не совсем понятно, почему Север так сильно и успешно сопротивлялся «южному» воздействию 2П, но принял 3П. В сущности идея Дж. Феррелла сходна с той, что высказала С. М. Глускина: чужая звуковая модель заимствуется, а затем происходит замещение одной из моделей. Но, по С. М. Глускиной, побеждает — путем вытеснения — модель 2П, а по Дж. Ферреллу, побеждает путем переинтерпретации модель 1П. С нашей точки зрения, вызывает возражения само заимствование чужой звуковой модели.

Вернемся к описанной выше ситуации взаимодействия двух диалектов. В процессе взаимодействия фонетической системы, имеющей только аффрикату [ч'] (условно — северо-западные русские говоры), с фонетической системой, имеющей две аффрикаты [ч']: [ц'] (условно — северо-восточные говоры), аффриката [ч'] первой системы вступает в диафонные отношения с аффрикатой [ц'] второй системы. Итак, диафонически сев.-вост. [ц'] = сев.-зап. [ч'], но этимологически сев.-вост. [ц'] = сев.-зап. [к']. Полагаем, что сев.-зап. [ч'], отождествившийся таким образом с чуждой аффрикатой [ц'], и должен был в процессе заимствования слов с [ц'], которому в этимологически родственных словах заимствующего говора соответствует [к'], вытеснить свое же [к'], которому в диалекте, имеющему обе аффрикаты, соответствует [ц']. Точнее сказать, заимствованные слова с [ч'] вытесняли исконные этимологически эквивалентные слова с [к']. Подобное сосуществование и последующее вытеснение оправдано с фонологической точки

¹ Ferrell J. Cokan'c and the Palatalization of Velars in East Slavic // Slavic and East European Journal. Vol. 14. N 4. 1970. P. 415.

зрения, так как в заимствующем говоре [к'] и [ч'] противопоставлены как самостоятельные фонемы (если бы исконные слова с [ч'] вытеснялись соответствующими заимствованными словами с [ц'], как полагают С. М. Глускина и другие, то механизм подобного процесса оставался бы неясным с фонологической точки зрения). Вытеснение исконных слов с [к'] подчинялось морфонологическим закономерностям. Этим и объясняется тот факт, что, например, ранние новгородские берестяные грамоты практически не отражают аффрикат в качестве рефлексов 2П, но в то же время обычно имеют ц или ч на месте рефлексов 3П (т. е. *кълє* цел, на отроке Мест. ед., *къ лѹкъ* к Луке, но *отъцъ, отъчеви, задъница*, грамотич), т. е. раньше всего вытеснялись исконные слова с [к'] по 3П, затем в этот процесс включились слова с [к'] по 2П в начале корня (типа *кълє*), в то время как слова с [к'] по 2П в конце основы перед флексией (типа *рѣка* — *рѣкъ*), где могло бы возникнуть чередование [к'] : [ч'], в конечном счете сохранили это [к'] неизменным. Полагаем, что в общем виде так и возникло то диалектное фонетическое явление, которое мы называем цоканьем в широком смысле слова.

Настоящая гипотеза имеет право на существование, разумеется, только в том случае, если в северо-западных русских говорах отсутствовала не только 2П, но и 3П заднеязычных согласных, или (что, в сущности, то же самое) если рефлексы 2П и 3П не совместились в общем противопоставлении фонеме /к/ — в аффрикате /ц'/. В то же время следует подчеркнуть, что 3П, в отличие от 2П, возможно, вообще затрагивала восточнославянские говоры в крайне ослабленном виде, поэтому для фонологизации [ц'] или, точнее, для его «*инфонологизации*» и тем самым для возникновения цоканья первостепенную роль играло то, как проходила 2П. В целом, однако, проблема соотношения 2П и 3П в древних восточнославянских диалектах, видимо, требует дополнительного исследования как в плане относительной хронологии, так и с позиций диахронической фонологии¹.

Как уже было отмечено, ареал цоканья не совсем совпадает с ареалом, в котором предположительно не имела места 2П. Надо полагать, что говоры с отсутствием 2П и 3П или отсутствием совмещения их рефлексов в противопоставлении заднеязычным были раньше представлены у восточных славян шире. Следует принять во внимание тот факт, что отсутствие 2П в древненовгородском и древнепсковском говорах было обнаружено достаточно случайно, главным образом благодаря хорошей сохранности древней новгородской письменности и архаичного слоя специальной терминологии в псковских говорах. Ничто не мешает нам

¹ См.: Живов В. М. [Рец.]: Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте // ВЯ. 1988. № 4. С. 148; Крысько В. Б. Заметки о древненовгородском диалекте... С. 32; Кудрявцев, Юрий. Очерки по русской исторической фонологии... С. 49–53.

предполагать отсутствие в древности 2П и, например, в говорах рязанской Мещеры, которые представляют собой цокающий ареал, изолированный от северо-западного цоканья (отметим, кстати, что редчайший пример с отсутствием рефлекса, правда, 3П — *отек «отец»*¹ — отмечен именно в рязанских говорах). Показательно также, что в ареалах цоканья (псковском и смоленском) представлены говоры, в которых так или иначе просматривается, судя по исследованию С. Л. Николаева², противопоставление рефлексов второй и третьей палатализаций, восходящее в конечном счете, вероятно, к эпохе до фонологизации свистящего палatalного ряда.

В то же время, если процесс возникновения цоканья происходил именно таким образом, как описано выше, следует признать, что так называемое чоканье хотя бы просто логически было первичной, или первообразной (и более архаичной), формой неразличения аффрикат, независимо от артикуляционно-акустической характеристики единственной аффрикаты. «Цоканье» и «чоканье» — это диалектологические термины, которые — с определениями «мягкое» и «твёрдое» — используются для артикуляторной характеристики имеющейся в современном говоре единственной аффрикаты, но до известной степени их противопоставление теряет смысл применительно к периоду возникновения «цоканья/чоканья», так как важен сам факт неразличения аффрикат, а теперь уже ясно, что современные рефлексы 2П и 3П не являются непосредственными результатами древних изменений. Древнерусские памятники, отражая разные способы передачи неразличения аффрикат, не дают возможности определить его характер, т. е. цоканье или чоканье. Во всяком случае, имеющиеся попытки нельзя пока признать убедительными (последнюю по времени, предпринятую В. В. Ивановым³, следует признать неудачной из-за ее излишней прямолинейности в интерпретации соотношения буквы и звука). Как попытку передать средствами графики систему с неразличением аффрикат на фоне систем с двумя аффрикатами можно рассматривать используемое в самых ранних памятниках новгородской письменности так называемое зеркальное ц (т. е. перевернутое слева направо), которое, согласно предложению Д. Ворта, могло «восприниматься как особое обозначение единой древненовгородской аффрикаты, соответствующей двум фонемам (ц и ч) других диалектов и книжного языка, т. е. такое обозначение избавля-

¹ Shevelov G. Y. A Prehistory of Slavic... P. 346.

² Николаев С. Л. Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I: Кривичи // Балто-славянские исследования 1986 г. / Отв. ред. Вяч. Вс. Иванов. М., 1988. С. 145–152.

³ Древнерусская грамматика XII–XIII вв. / Отв. ред. В. В. Иванов. М., 1995. С. 64–66.

ло пишущего от необходимости выбирать между *ц* и *Ч*¹. Такое «зеркальное *ц*» встречается уже в древнейшей новгородской надписи на цилиндре, отражающей неразличение аффрикат².

Чоканье часто рассматривают как явление сравнительно позднего происхождения, которое приходит на смену исконному мягкому цоканию в результате воздействия литературного произношения на цокющие говоры, а говоры, смешивающие [ц'] и [ч'], — как переходную ступень от цоканья к различению фонем /ц/ и /ч/³. Однако у диалектологов имеется и другая точка зрения, которая представляется достаточно убедительной, а именно, что чоканье — более архаичная форма неразличения аффрикат⁴. В. В. Колесов определенно указывает на первичность чоканья, рассматривая различение аффрикат и чоканье как одинаково «системные» явления, в то время как цоканье, по его мнению, выступает в качестве «конгломерата различных проявлений утраты исходного чоканья и представлено как раз в зонах наиболее интенсивного контактирования чокающих говоров с нечокающими»⁵. З. И. Устинская, склоняясь к спонтанной гипотезе, считает, что в древнерусском была большая вероятность для появления чоканья, чем цоканья, поскольку фонема /ч/ имела значительно большую функциональную нагрузку, о чем, по ее мнению, свидетельствуют заимствования VIII—XI вв. *Чуприян*, *Чурило*, *Чирик*, *Ничипор* и др.⁶

Обычно предполагается, что переход от мягкого цоканья к системе с различением двух аффрикат происходит под воздействием системы литературного языка, различающего /ц/ и /ч/⁷. Если признать

¹ Идея Д. Ворта, видимо, не опубликованная, изложена А. А. Зализняком в кн.: Янин В. А., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте. С. 97.

² Рождественская Т. В. Древнерусские надписи на стенах храмов: Новые источники XI—XV вв. СПб., 1992. С. 44.

³ Копорский С. А. Цоканье в Калининской области // Материалы и исследования по русской диалектологии. Т. 3. М.; Л., 1949. С. 161; Орлова В. Г. История аффрикат в русском языке в связи с образованием русских народных говоров. М., 1959. С. 43–44.

⁴ Каринская Е. Н. Описание говора д. Толстовской Молосниковской волости Котельнического уезда Вятской губернии // Труды Комиссии по диалектологии русского языка. Вып. 9. Л., 1927.; Овчинникова Р. С. Фонетические особенности говора деревни Большой Кунгур Кировской области // Учен. зап. Владимирск. ГПИ им. П. И. Лебедева-Полянского. Серия «Русский язык». Вып. 1. 1967. С. 91; Макарова Л. Н. К истории аффрикат в русском языке // ВЯ. 1973. № 1. С. 87–98.

⁵ Колесов В. В. Введение в историческую фонологию русского языка. Л., 1982. С. 88–89.

⁶ Устинская З. И. О генезисе цоканья в русских говорах (По материалам псковских, смоленских и северо-восточных белорусских говоров) // ВЯ. 1977. № 4. С. 113.

⁷ Колесов В. В. Расшифровка фонетической системы современного говора (на материале севернорусского цоканья) // Севернорусские говоры / Отв. ред. Н. А. Мещерский, А. С. Герд. Л., 1975. С. 6–18.

первичной формой неразличения аффрикат не чоканье, а чоканье (как мы и предположили), то переход к системе с различением аффрикат получает и внутренние импульсы, поскольку в русском языке аффриката [ч']/[ц] возникала не только в результате славянских палатализаций, но и как следствие морфонологических и фонетических процессов слияния [т + с], [ч + с] на стыках морфем после падения редуцированных гласных и в некоторых других случаях: *дѣтъскын*, *дѣтъство* > *де[ц]кий*, *де[ц]тво*, *коулачъскын* > *кула[ц]кий*, *нѣсѣть сѧ* > *несе[тца]*, *одинъ на дѣсате* > *одинна[ц]ать*, *дѣва дѣсати* > *два[ц]ать* и т. п. Надо признать, что с точки зрения частотности и семантической значимости данные группы лексики (прилагательные с суффиксом -ск-, глаголы на -ся и числительные на -дцаты) могли оказать значительное воздействие на фонетическую систему говора, до этого имевшего только аффрикату /ч'/. Начальный этап утраты чоканья отмечен Л. Н. Макаровой в вятских котельнических говорах, где при последовательном чоканье именно на стыках морфем в соответствующих случаях произносится [ц]¹. Видимо, в этих чокающих говорах наблюдается не переход от чоканья к различению аффрикат, а один из вариантов перехода от чоканья к цоканью. Переход от чоканья к цоканью через промежуточный этап различения двух аффрикат предполагает слияние в конце концов двух потенциальных фонем в одну, т. е. утрату зарождающейся новой оппозиции /ч'/: /ц'/. В таком случае слияние двух аффрикат похоже на фонемное изменение, которое А. Мартине назвал *катализом*, т. е. на смешение и слияние двух слабо противопоставленных функционально фонем в целях артикуляторной экономии². Применительно к нашему случаю можно было бы добавить: слияние двух сходных артикуляций в условиях интенсивного распространения новой, которая как бы притягивает и поглощает старую, т. е. поглощение старой фонемы происходит в условиях процесса возникновения новой фонемы (и новой артикуляции). При этом поглощении старой артикуляции не обязательно, возможно сохранение обеих фонем и тем самым заполнение «пустой клетки», если в системе она имеется. Кстати, А. Мартине подчеркивал, что катализ как тип фонемного изменения параллелен процессу заполнения «пустой клетки». Однако переход от чоканья к цоканью лишь похож на катализ (по Мартине), так как на самом деле это, по нашему мнению, не слияние самостоятельных фонем (оппозиция /ц'/: /ч/ так и не возникла, [ц'] и [ч'], видимо, функционировали как варианты одной фонемы), а распространение новой свистящей артикуляции за счет старой шипящей

¹ Макарова Л. Н. К истории аффрикат... С. 91.

² Мартине А. Принцип экономии... С. 122–125.

внутри одной фонемы. Кроме того, не было, судя по всему, и «артикуляторной экономии», так как [ч'] в чокающих говорах сохранялся в составе монографемного комплекса [ш'ч']: ср. наличие в говорах противопоставления [ш'ч'ука] *щука* — [сц'от] *счет*¹.

Итак, северорусское чоканье (в широком смысле — как наличие одной аффрикаты) возникло в результате междиалектного взаимодействия родственных восточнославянских говоров, при котором северо-западные древнерусские говоры, не знавшие 2П и 3П (в том виде, в каком их знали другие славянские говоры) и вследствие этого не фонологизовавшие свистящую аффрикату [ц'], заимствуя из говоров, фонологизовавших свистящую аффрикату, слова с [ц'], субSTITУировали последнюю фонемой /ч/, наиболее близкой артикуляторно. Первоначальной разновидностью неразличения аффрикат было, таким образом, чоканье. В исконных словах свистящая аффриката возникает в чокающих говорах после падения редуцированных, главным образом в результате синтагматического слияния новых групп согласных на стыках морфем. Возникновение новой артикуляции (свистящей аффрикаты) и соответственно новой оппозиции в системе фонем могло привести как к стабилизации новой оппозиции, так и к поглощению новой артикуляцией старой, что выражалось в смешении обеих артикуляций и замене чоканья чоканьем. В конце концов под влиянием литературного языка чокающие говоры переходят к системе с различием двух аффрикат.

Глава 13

ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПАДЕНИЯ РЕДУЦИРОВАННЫХ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

Падение редуцированных — это не просто фонологическое изменение, приведшее к утрате самостоятельных фонем /ь/ и /ъ/, но процесс, затронувший основы звукового строя языка и разделивший историю славянских языков на два периода: период действия так называемого закона открытого слога, или точнее — тенденции к открытости слогов, и период после прекращения действия данного закона. При этом падение редуцированных гласных представляет собой не только границу между двумя этими эпохами, но и закономерное завершение действия закона после

¹ Образование северорусского наречия и среднерусских говоров: По материалам лингвистической географии / Отв. ред. В. Г. Орлова. М., 1970. С. 33.

того, как *диахроническая* тенденция к открытости слога превратилась в *синхроническую* закономерность, не знающую исключений.

Столь кардинальное и многоаспектное изменение, как падение редуцированных, не могло завершиться быстро, оно требовало значительного времени для своего осуществления. В древнерусском языке данное фонологическое преобразование охватило продолжительный период времени — с XI по XIV в. Причины падения редуцированных, очевидно, заключались в особенностях звукового и грамматического строя позднего праславянского языка, но завершилось оно уже в отдельных славянских языках и диалектах, причем не одновременно на различных славянских (в том числе восточнославянских) территориях. Следует отметить, что и восточные славяне не представляют по отношению к падению редуцированных монолитного единства.

Отдельную фонему и соответственно фонемное изменение можно рассматривать в разных, хотя и взаимосвязанных, аспектах:

- 1) со стороны аллофонного варьирования, т. е. в аллофонной подсистеме;
- 2) со стороны дистрибуции фонем на синтагматической оси, т. е. в синтагматической подсистеме;
- 3) со стороны системы фонемных различительных признаков, т. е. в парадигматической подсистеме;
- 4) со стороны связи с более высокими уровнями языковой структуры, т. е. в функциональной (морфонологической) подсистеме¹.

Последовательное проведенное фонемное изменение, каким было падение редуцированных гласных, затрагивает все четыре подсистемы, каждая из которых соответствует определенному этапу преобразования. Исходя из сказанного, общую схему падения редуцированных в древнерусском языке предварительно (более или менее в соответствии с традиционными представлениями о ходе этого процесса) можно хронологически представить в виде следующей последовательности изменений:

- 1) *аллофонное изменение* — возникновение так называемых сильных и слабых позиций редуцированных гласных и соответственно сильных и слабых вариантов фонем /ъ/ и /ь/ (видимо, до середины XI в.);
- 2) *синтагматическое изменение* — последовательная по позициям утрата слабых редуцированных и переход сильных в гласные /о/ и /е/ (2-я половина/конец XI — XIII в.);
- 3) *парадигматическое изменение* — полная дефонологизация /ъ/ и /ь/ и соответственно утрата дифференциального признака, различавшего фонемы /ъ/ и /о/, /ь/ и /е/ (по диалектам — с конца XII до конца XIII в.);

¹ Колесов В. В. Введение в историческую фонологию. I: Система и изменение (на материале русского языка): Конспект лекций. Сегед, 1972. С. 36–46.

4) *морфонологические изменения* — становление чередований с «нулем звука» и стабилизация фонологической структуры морфем, содержащих редуцированные гласные (2-я половина XIII — XV в.).

С нашей точки зрения, период XII—XIII вв., включающий синтагматический и парадигматический этапы изменения, занимает центральное положение в хронологии собственно фонологического процесса. Надо иметь в виду, что падение редуцированных включает в себя два различных по механизму процесса — «падение» слабых и «вокализацию» сильных, причем синтагматический парадигматический этапы каждого из них хронологически пересекаются, что представляет дополнительную сложность для интерпретации.

Возможны два подхода к пониманию падения редуцированных. Во-первых, с точки зрения его результата. В таком случае оно рассматривается как точка на хронологической оси, как граница между синхронными срезами. На первый план при таком подходе выдвигается проблема поиска причин и следствий падения редуцированных. Во-вторых, возможен взгляд на падение редуцированных как на процесс, т. е. изнутри. В этом случае главной проблемой является выяснение механизма падения редуцированных гласных. Несомненно, каждый из этих подходов имеет право на существование. Но даже если рассматривать падение редуцированных с точки зрения фонологического результата изменения, оно представляет собой сложное явление: расщепление единой фонемы /ъ/ или /ь/, слияние части аллофонов прежде единой фонемы с фонемами /о/ или /е/, а другой части аллофонов — с «нулем звука». Для исторической фонетики русского языка, на наш взгляд, актуально рассмотрение фонологического механизма изменения редуцированных гласных.

В связи со сказанным возникает круг проблем, требующих своего решения. В частности, происходит ли расщепление каждого из двух редуцированных гласных (/ъ/ и /ь/) на две самостоятельные фонемы /ъ/ — /ъ/-слабая и /ъ/-сильная, /ь/-слабая и /ь/-сильная, которые затем изменяются по-разному? А если происходит, то когда и как? Уже И. В. Ягич заметил в 1889 г.: «Если бы основателям древнеславянской письменности пришлось прислушиваться к древнейшему произношению слова “сънь” у предков нынешних русских славян в течение IX—X века, я убежден, они не остановились бы на правописании “сънь”, а придумали бы разницу между первым и вторым Ъ... полное равенство обеих гласных... заходит далеко за пределы исторического существования отдельных славянских наречий¹. И. В. Ягич не был, конечно, фонологом, но мы вправе интерпретировать его высказывание в фонологическом смысле: «полное равенство обеих гласных» надо понимать, видимо, как «фонологическое тождество». Поскольку речь здесь идет о возможности

¹ Ягич И. В. Критические заметки по истории русского языка. СПб., 1889. С. 31.

графического выражения противопоставления сильных и слабых редуцированных, это означает наличие между ними фонологического противопоставления. К этой проблеме примыкает и вопрос о том, следует ли рассматривать утрату слабых редуцированных и замену сильных гласными /о/ и /с/ как единый фонетический процесс, или — до какого момента мы можем рассматривать эти изменения в рамках одного изменения? Для решения этих проблем необходима корректная постановка вопроса о том, что происходит раньше — утрата слабых или прояснение сильных редуцированных, а также критическая оценка гипотезы о так называемом заместительном продлении.

Отражение редуцированных гласных на письме: проблема церковного произношения

Основным источником наших сведений о падении редуцированных в древнерусском языке являются показания памятников письменности. Ориентация на памятник письменности принципиально важна, так как целый ряд форм и этапов фонетического изменения, зафиксированных рукописями, не находит отражения в говорах. Факты, извлекаемые из памятников, написанных в эпоху падения редуцированных, позволяют выявить несколько пластов фонологических и морфонологических преобразований, которые, хронологически наслаждаются один на другой, постепенно привели к современному распределению форм. Древние рукописи дают также возможность установить ряд промежуточных этапов изменения, существование которых не является очевидным при учете только исходного (до падения редуцированных) и современного синхронных срезов.

При изучении фонемного изменения по материалам рукописей задача исследователя состоит в том, чтобы «расшифровать» текст, т. е. по возможности дать его фонематическую транскрипцию. Для этого надо определить соотношение между орфографией рукописи и произношением писца рукописи. Сложность проблемы заключается в том, что отношения между письменной и произносительной нормами (орфографией и орфоэпии) исторически изменчивы. Имеется в виду в первую очередь принципиальное отличие орографической нормализации в памятниках XI—XIV вв. от позднейшей кодификации (начиная с XVII в.), а также роль так называемого церковного, литургического, или шире — книжного произношения на разных этапах истории русского языка.

Традиционно считается, что при интерпретации русских средневековых памятников исследователь имеет дело или в принципе может столкнуться с взаимодействием, по крайней мере, четырех явлений:

- 1) живое произношение писца;

- 2) традиционная, освоенная данным писцом орфографическая норма;
- 3) орфография непосредственного оригинала (протографа);
- 4) церковное, или книжное произношение.

Все эти величины являются искомыми: исследователь более или менее прямо соприкасается лишь с правописанием изучаемой рукописи, если вообще уместно говорить о правописании без знания его соотнесенности с произношением. Нам представляется целесообразным исходить из положения Л. Л. Васильева о том, что «не в индивидуальных случайных полусознательных описках писцов должно главным образом искать отражение их говора, а в сознательном проведении в виде орфографии известных звуковых черт»¹. Современные исследователи также отмечают, что написания, следующие определенным орфографическим нормам, в принципе могут отражать живое произношение писца², и подчеркивают самостоятельность писцов в восприятии старых норм и в проведении орфографических замен³.

При интерпретации материала рукописей определенные трудности может вызвать разграничение фонетических морфонологических явлений, с одной стороны, и орфографических — с другой. Вариантность на орфоэпическом уровне отражает борьбу старого и нового (архаизмов и инноваций) в звуковом строе языка. С точки зрения орфографической системы также возможно сосуществование вариантов, причем в ряде случаев они могут являться отражением вариантов орфоэпических. В каждом конкретном случае установление реального произношения базируется на реконструкции отношений для системы в целом.

Для эпохи падения редуцированных особую остроту приобретает проблема разграничения фактов морфонологических и орфографических. Связано это с тем, что «по орфографической линии эпоха, следующая за дефонологизацией редуцированных, характеризуется переходом к морфологическому принципу»⁴. Обусловленность многих орфографических явлений связями в морфонологической системе не подлежит сомнению. Практически задача заключается в том, чтобы различать в памятнике письменности явления графико-орфографической аналогии и явления, отражающие морфонологическую индукцию.

¹ *Васильев Л. Л.* Несколько данных для определения звукового качества буквы Ѳ сравнительно с буквой є в памятниках XVII века, употребляющих эти буквы в слоге под ударением по древнему при замене в слоге без ударения буквы Ѳ буквой є // *Известия ОРЯС*. 1910. Т. 15. Кн. 3. С. 199.

² *Князевская О. А.* Орфография и отражение в письме явлений языка (На материале рукописей XI–XIV вв.) // *Источниковедение и история русского языка* / Ред. С. И. Котков, В. Ф. Дубровина. М., 1964. С. 61.

³ *Марков В. М.* К истории редуцированных гласных в русском языке. Казань, 1964. С. 22.

⁴ *Осипов Б. И.* История русского письма: Автореф. докт. дис. Л., 1979. С. 22.

Для XI–XIII вв. (и, в частности, при интерпретации падения редуцированных) спорным среди историков русского языка является вопрос о статусе так называемого церковного, или книжного, произношения. Н. Н. Дурново считал, что большинство писцов XI–XII вв. не стремилось передать в орфографии свое живое произношение или написания протографа, а руководствовалось определенной письменной нормой, основанной на традиции, и особым книжным, или церковным, произношением¹. Если признать наличие в XI–XIII вв. такого типа произношения, отличного от «живого, разговорного», то требуется ответить на вопрос: в каком отношении орфографическая норма, которой руководствуется писец, находится с живым и церковным произношением, а также какое именно произношение — живое или церковное — отражает орфография рукописей в каждом конкретном случае, когда можно предполагать расхождение между живым и церковным произношением? В какой степени те или иные отклонения от орфографической нормы являются свидетельством живого, а в какой — церковного? Но наиболее важен для нашей темы вопрос о том, можно ли говорить об особом церковном (книжном) произношении XI–XIII вв. применительно к редуцированным гласным или точнее — применительно к словам, произносившимся в живом древнерусском языке с редуцированными гласными. Как известно, А. А. Шахматов считал, что в отношении редуцированных гласных живое и церковное произношение различались, причем в последнем буквы ъ, ь читались соответственно как [о], [е], т. е. так же, как буквы о, ε².

По мнению Н. Н. Дурново, который вслед за А. А. Шахматовым придавал церковному произношению большое значение, «требования церковной дикции были настолько настоятельны, что для нее (этноди не для передачи своего живого произношения!) писцы намеренно отступали даже от орфографии всех своих старославянских оригиналов, сохраняя ее, насколько позволяла их грамотность, там, где она не мешала этой дикции»³. В настоящее время идею противопоставленности книжного и живого произношения развивают Б. А. Успенский и В. М. Живов. Но если Н. Н. Дурново подчеркивал несовпадение книжного произношения с живым, то Б. А. Успенский, говоря о произношении редуцированных в XI–XIII вв., особое внимание обращает на несовпадение книжного произношения с орфографией рукописей. Однако само существование особого книжного произношения еще нуждается в обосновании.

¹ Дурново Н. Н. Славянское правописание X–XII вв. // *Slavia*. 1933. Roč. 12. Ses. 1–2. S. 47.

² Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. С. 208–209.

³ Дурново Н. Н. Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка // *Јужнословенски филолог*. 1924. Књ. 4. С. 73.

Особенное, не соответствующее этимологии, произношение (и написание) книжных слов не может служить убедительным доказательством наличия обособленной *системы* книжного произношения. Даже если взять такие на первый взгляд убедительные примеры, которые часто используются в качестве аргумента, как *ѹповати* и *вопити* < *ѹппвати* и *въпнти*, нельзя отрицать возможность иных объяснений. Например, в первом слове слабый редуцированный находился в уникальной группе согласных [ръv], и у нас нет других примеров, где бы слабый редуцированный утрачивался в аналогичной позиции (ср. упрощение группы согласных *bv > *b в праславянском), хотя написания данного глагола с пропуском ъ в русских рукописях встречаются. Следует указать также на то, что в ю.-слав. памятниках также имеется форма *ѹповати* с о, хотя там не может быть речи об особом церковном произношении в указанном выше смысле. Что касается второго слова, то вокализация глагольного корня могла быть связана с формированием модели отглагольного существительного *въпль* уже на морфонологическом этапе падения редуцированных, т. е. значительно позже, когда вопрос о церковном произношении может быть поставлен по-новому.

Сама идея особого церковного, или книжного произношения для XI–XIII вв., возникла, по-видимому, в дофонологический период развития исторической фонетики для объяснения отношений между живым произношением, коррелятом которого была фонетическая транскрипция, и правописанием, которое воспринималось тогда как нечто подобное транскрипции фонематической. Церковное произношение было призвано выполнять в историко-фонетических исследованиях роль своего рода «буферной зоны» между живым произношением и написанием. В сущности речь здесь может идти не о «церковном, книжном произношении», а об особом типе *произнесения*, т. е. об особо отчетливом произнесении слов, о своего рода «полном типе произношения». Полный тип произнесения более консервативен, а соотношение полного и неполного типов произнесения отражают борьбу старого и нового, архаизмов и инноваций, «правильного» и «неправильного» на уровне орфоэпии. Форма, возникшая как результат неполного типа произнесения, может затем появиться в полном типе (как мы, например, можем отчетливо выговорить лексикализованные в просторечии формы слόва *здравствуйте* как [zdra-s't'i] и даже [zdras']); и тогда произносимые в полном стиле по-разному варианты одного в прошлом слова становятся разными словами (ср. *государь* и *сударь*). Именно в процессе падения редуцированных намечается то противопоставление архаизмов и инноваций, которое действительно в XV–XVI вв. трансформировалось в сосуществование двух произносительных систем (норм) — живого и церковного произношения.

В доказательство своей точки зрения Б. А. Успенский приводит примеры из рукописей XI–XIII вв., где отклонения от традиционной

орфографии в сторону книжного произношения исправлены: ъ > о > ъ и ъ > ё > ъ. При этом вместе рассматриваются разнородные и разновременные, по нашему мнению, явления. Одно дело — рукописи до падения редуцированных (XI в.), а другое — после (XIII в.) или в процессе падения. Сильные и слабые редуцированные рассмотрены Б. А. Успенским совместно, что для его концепции естественно, поскольку в предполагаемом книжном произношении, существование которого для древнего периода представляется Б. А. Успенскому аксиомой, они произносятся одинаково (он и не рассматривает эти примеры как доказательство, а лишь как иллюстрацию). Однако сами приводимые им примеры говорят о том, что написания с о на месте ъ касаются прежде всего слабых позиций (особенно в рукописях XI в.), если не считать колебаний в окончании Тв. ед. -омъ ~ -ъмъ. Все это заставляет сомневаться в том, что приводимые написания отражают влияние книжного произношения ъ, ъ. Обильный материал рукописей, приводимый Б. А. Успенским, почти не дает примеров на ъ > ё > ъ, причем неясно, связано ли это с тем, что исправить ё на ъ практически труднее, чем о > ъ, или с тем, что исправлять было особенно нечего, т. е. не было ошибочных написаний с ё на месте ъ.

Парадокс книжного произношения редуцированных гласных заключается в том, что, по мнению исследователей, разделяющих идею о наличии в древности такого произношения, «сколько-нибудь последовательное (систематическое) отражение на письме книжного произношения еров как [о] и [е] наблюдается лишь в текстах некнижных: в книжных текстах оно встречается только спорадически (в виде написаний о и ё на месте ъ и ъ. — М. П.)»¹. Они объясняют это противоречие следующим образом: «при обучении чтению по складам такие, например, склады, как бо и бъ, бе и бъ, оказывались омофоничными. Соответственно в сознании обучающегося буквы о и ъ, ё и ъ были «синонимичными». При этом о, точно так же, как и ъ, соотносилось со звуками [о] и [ъ] живой речи, а ё, точно так же, как и ъ, — со звуками [е] и [ъ]. Отсюда в некнижном письме о и ъ могут безразлично выступать как обозначения звуков [о] и [ъ], а ё и ъ — для обозначения звуков [е] и [ъ]»². Речь здесь идет о том, что для многих берестяных грамот, начиная с XI в., характерен особый графический прием — беспорядочное смешение ъ ~ о, ъ ~ ё. Подобное явление отмечается и в других памятниках XI–XIV вв. (например, в Смоленской грамоте 1229 г.), в том числе

¹ Успенский Б. А. Русское книжное произношение XI–XII вв. и его связь с южнославянской традицией (Чтение еров) // Актуальные проблемы славянского языкоznания. М., 1988. С. 109.

² Живов В. Правила и произношение в русском церковнославянском правописании... С. 286.

церковных (например, в Евсевиевом евангелии 1283 г.¹), а также и в южнославянских (сербских) памятниках.

Традиционно было принято считать, что такое смешение свидетельствует о завершении синтагматического этапа изменения редуцированных (главным образом, о прояснении сильных) и переходе его на парадигматический уровень, что отражается в графике. Однако этому противоречит тот факт, что подобная орфография характерна уже для памятников XI в., когда прояснения редуцированных еще не было. Поэтому возникли другие гипотезы возникновения такой графики, в частности связанные с взаимодействием книжного и живого произношения (Б. А. Успенский, В. М. Живов). Наиболее обстоятельно вопрос рассмотрен А. А. Зализняком, который считает подобной смешение особым приемом, свойственным бытовой графической системе². Для объяснения происхождения такой системы ему пришлось сделать два допущения. Во-первых, принять идею об особом, отличном от живого, книжном произношении редуцированных гласных [ъ, ь] как [о, е]; во-вторых, предположить, что в Новгороде было распространено обучение книжному чтению без обучения книжному письму. Впрочем, сам А. А. Зализняк признает, что «чистое обучение чтению, без всяких элементов обучению письму, является все же скорее удобным конструктом, упрощающим описание основных особенностей ситуации, нежели полной реальностью»³. Таким образом, спорным оказывается не только вопрос о генезисе особой «некнижной графической системы», в частности о ее связи с «живым» и «книжным» произношением, но и вопрос о существовании особой некнижной графической системы как таковой⁴.

¹ Голосевич Г. К. Евсевиево евангелие 1283 года: Опыт историко-филологического исследования // Исследования по русскому языку. Т. 3. Вып. 2. СПб., 1914. С. 23–25. В приписке процент написаний о, ё вместо ъ, ь значительно увеличивается по сравнению с основным текстом и достигает 25 %. Следует отметить, однако, что для орфографии этого памятника характерно огромное количество описок. Впрочем, Г. К. Голосевич отмечает, что «едва ли можно считать постоянное смешение указанных букв у Евсевия бессознательным, механическим», и интерпретирует его как графический прием, возникший «под влиянием, с одной стороны, живого языка, в котором сильные ъ и ь перешли в о и ё, а с другой, под влиянием традиционной графики, по которой писались ъ и ь там, где в живой речи уже произносились о и ё» (с. 24).

² Зализняк А. А. Древнерусская графика со смешением ъ — о, ѿ — е // Зализняк А. А. «Русское именное словоизменение» с приложением избранных работ по современному русскому языку и общему языкознанию. М., 2002. С. 577–612.

³ Там же. С. 599.

⁴ Критику гипотезы об особой некнижной графической системе см. в работе: Осипов Б. И. Об орфографических системах древнерусских текстов // Древнерусский язык домонгольской поры. Л., 1991. С. 43–47.

Итак, получается, что «отражение на письме книжного произношения еров в принципе не допускалось церковнославянской орфографической нормой»¹. Согласно Б. А. Успенскому, одновременно предполагается и отличие особого «книжного произношения» от живого, и то, что письменная книжная норма совершенно с ним не считалась, ориентируясь на живое произношение, при том, что и орфография старославянских протографов русских рукописей отнюдь не соответствовала этому живому произношению. Таким образом, древнерусская книжная орфографическая норма противоречила как древнерусскому книжному же произношению, так и орфографической норме старославянских памятников, но соответствовала живому древнерусскому произношению. Так существовало ли особое книжное произношение, или — другими словами — отличалось ли книжное произношение от живого в XI—XIII вв.?

Нельзя рассматривать книжное произношение XI—XIII вв. как саморазвивающуюся систему, независимую от естественного языка, как это делает Б. А. Успенский. В частности он полагает, что на этапе падения редуцированных начались ассимиляционные процессы в новых группах согласных. Чтобы предотвратить это, в книжном произношении начался процесс появления вставочных гласных², причем эти вставочные гласные совпали с сохранившимися сильными редуцированными (видимо, это явление нужно относить к XII в.). Затем, по Б. А. Успенскому, в живой речи сильные редуцированные «проясняются», а в церковном произношении — сохраняются, несмотря на дефонологизацию в живой речи. Таким образом, получается, что падение редуцированных подчиняется разным закономерностям в живом и в церковном произношении: если в первом происходит дефонологизация редуцированных, то во втором, наоборот, своего рода их фонологизация, поскольку до начала падения редуцированных в живом языке книжное произношение не знало редуцированных (на их месте произносились [о] и [е]). Подобная реконструкция представляется слишком умозрительной, хотя и не лишена известного остроумия.

Как уже было отмечено выше, процесс падения редуцированных в живом языке не был столь прямолинейным: прояснение сильных редуцированных, начавшись *после* фонологической утраты слабых, завершилось *раньше* полной фонологической и фонетической утраты слабых редуцированных, что естественно, поскольку выпадение гласного тесно связано со слоговой структурой, а в древнерусском — и с действием закона открытого слога. В результате повисает в воздухе идея о ранней реакции церковного произношения на ассимиляционные про-

¹ Успенский Б. А. Русское книжное произношение... С. 117.

² Там же. С. 121.

цессы в живом произношении. Кроме того, остается непонятным, почему мы должны приписывать «противодействие ассимиляционным процессам» именно книжному, а не живому произношению? Несомненно, когда началась (уже после прояснения сильных редуцированных) активная фонологическая и особенно фонетическая утрата так называемых «задерживавшихся» слабых редуцированных, завершающая общий процесс падения редуцированных гласных, стали проявляться условия стыка морфем: стремление избежать ассимиляционных процессов на стыках морфем объясняет использование гласной вставки (особенно между корнем и суффиксом), которая выступала в функции морфемного дизъюнктора, определяя синтагматические отношения (экспонентов) морфем.

Таким образом, те явления, которые часто объясняются особенностями церковного произношения, могли бы рассматриваться как проявление живого произношения. В конечном счете завершение в XIV в. падения редуцированных гласных создало условия для формирования в XV–XVI вв. собственно церковной системы произношения на базе архаической произносительной нормы полного типа произнесения. Итак, у нас нет оснований постулировать существование такой системы произношения для XI–XIII вв.

Механизм падения редуцированных гласных: сильные и слабые позиции

Механизм падения редуцированных является, видимо, наиболее спорной проблемой истории редуцированных гласных. Он тесно связан с вопросами хронологии, так как в эпоху падения редуцированных (XI–XIV вв.) в древнерусском языке происходили и другие крупные фонетические изменения, которые так или иначе должны были взаимодействовать с ним. Падение редуцированных гласных в широком смысле, происходившее в течение нескольких столетий, относится к таким процессам, в которых довольно трудно отделить существенные условия фонетического изменения от побочных обстоятельств, так как здесь возможны изменения и условий действия фонетического закона. Реконструкция распределения редуцированных по сильным и слабым позициям производится главным образом на основании данных об их последующем выпадении и прояснении, что, как выясняется, не для всех систем было однозначным. Эмпирически установленное правило при более полном учете материала (в том числе древних рукописей и диалектов) сталкивается со значительным количеством исключений.

При определении сильных и слабых позиций в разных славянских языках и диалектах принимаются во внимание различные факторы:

количество слогов и порядковый номер слога, содержащего редуцированный, в слове; качество гласного (в частности, редуцированный или нередуцированный) в следующем слоге; долгота или краткость гласного следующего слога; характер группы согласных; ударение или безударность слога, содержащего редуцированный; тон; а также и другие факторы. В настоящее время является более или менее общепринятым, что главным условием, определяющим слабость позиции редуцированного, следует считать его положение на конце слова (или тактовой группы), а также перед слогом с так называемым гласным полного образования (традиционный условный термин для обозначения гласных, не являющихся редуцированными) или с сильным редуцированным, причем сильным признается редуцированный в положении перед слогом с редуцированным в слабой позиции. В общем виде это правило было впервые сформулировано А. А. Потебней¹, но обычно его называют «правилом Гавлика» в честь чешского лингвиста А. Гавлика, который сформулировал эту закономерность применительно к чешскому языку и вслед за А. Х. Востоковым привлек в качестве типологической параллели *ə-mièt* французского языка².

Одним из первых на трансформацию фонетических результатов падения редуцированных также обратил внимание А. А. Потебня, причем он говорил не об исключениях из фонетического закона, а о дальнейшем независимом от фонетического закона развитии, подчеркивая, что «между русскими наречиями разница здесь не в правиле, а в том, на какие именно слова оно распространяется»³. Последующие исследования в этом направлении показали, что нельзя объяснить результаты падения редуцированных в полном объеме без учета морфонологического фактора, который в известной степени можно противопоставить собственно фонетическим факторам. Впрочем, уже главное условие слабости редуцированного — положение в абсолютном конце слова — показывает, в сущности, морфонологический, а не чисто фонетический характер падения редуцированных (к этому вопросу мы еще вернемся в связи с выявлением причин этого фонетического изменения).

Одним из аспектов в изучении механизма падения редуцированных является проблема сохранения слабых редуцированных в ряде позиций не только до прояснения сильных, но и после этого изменения, т. е. в XIII–XIV вв. (и даже позднее) с последующей их утратой или вокализацией в гласные /o/ и /e/. А. А. Потебня отвергал возможность того, что «сначала древние глухие исчезли, а потом независимо от них появи-

¹ Потебня А. А. Два исследования о звуках русского языка: I. О полногласии, II. О звуковых особенностях русских наречий. Воронеж, 1866. С. 56.

² Havlík A. K otazce jerové v staré češtine // Listy filologické. T. 16. 1889. S. 45.

³ Потебня А. А. Два исследования... С. 57.

лись новые глухие же или чистые»¹. Ученые, отстаивавшие длительное сохранение редуцированных, направляли свои усилия на доказательство того, что неслоговые гласные, отмечаемые в говорах и даже в литературном языке, и есть древние редуцированные гласные². В последнее время интерес к подобным проблемам связан с работами В. М. Маркова и О. В. Малковой. Гипотеза В. М. Маркова о неорганических гласных, взаимодействие которых с исконными редуцированными и привело к их «падению», относится к сравнительно ранним периодам истории редуцированных³.

Гипотеза О. В. Малковой о том, что различие между сильными и слабыми редуцированными носило градуальный характер (т. е. было три типа позиций: определенно сильные, определенно слабые и переходные), непосредственно связана с проблемой длительного сохранения слабых /ъ/ и /ь/: «...в позднем праславянском языке и в древних славянских языках не существовало “категорического” разграничения редуцированных на сильные и слабые. Наряду с наличием двух отчетливо выраженных типов произношения редуцированных, сильного и слабого, существовали переходные типы произношения... В эпоху общего падения редуцированных славянскими языками были утрачены только определенно сильные редуцированные (сопали с гласными полного образования) и определенно слабые редуцированные (выпали). Переходные по произношению типы редуцированных падением охвачены не были. Эти сохранившиеся после общего падения редуцированные позднее постепенно устранились преимущественно через замещение гласными полного образования»⁴. В пользу своей гипотезы О. В. Малкова приводит различные соображения. Рассмотрим некоторые из них.

Она полагает, что представление о четком делении редуцированных на сильные и слабые аллофоны не соответствует фонологической теории. Она справедливо указывает на то, что «фонемы реализуются не в одном-двух типах звуков, а в целом классе звуков», мы бы даже добавили: «в бесконечном множестве звуков». Но дело в том, что само поня-

¹ Потебня А. А. Отзыв о сочинении А. Соболевского «Очерки из истории русского языка» // Известия ОРЯС. 1886. Т. I. Кн. 3–4. С. 809.

² Потебня А. А. К истории звуков русского языка. Воронеж, 1876. С. 36–37, 41; Ляпунов Б. М. Несколько слов по поводу замечаний профессора А. И. Соболевского // Журнал Министерства народного просвещения. Т. 11. 1900. С. 261; Колесов В. В. К вопросу о соотношении между фонетическими явлениями древнерусского языка и орфографическими нормами древнерусской письменности (Глухие в рукописи XVI в.) // Филологический сборник студенческого научного общества. Л., 1957; Марков В. М. К истории редуцированных...

³ Марков В. М. К истории редуцированных... С. 157–178.

⁴ Малкова О. В. О принципе деления редуцированных гласных на сильные и слабые в позднем праславянском и в древних славянских языках // ВЯ. 1981. № 1. С. 101–102.

тие аллофона — это некая условность, это, как мы уже отмечали, некий способ обобщенного представления физической реальности. В диахронической фонологии аллофоническая реконструкция производится, как правило, задним числом, вследствие учета последующих изменений. И с этой точки зрения построение самой О. В. Малковой ничем принципиально не отличается от традиционного, она лишь пытается учесть промежуточный результат изменения (задержка изменения редуцированных), который в традиционной аллофонической реконструкции действительно игнорировался, но в целом находил объяснение (сложные группы согласных, ударение, аналогия, устойчивость орфографических норм и т. п.). О. В. Малкова считает, что «трудно предположить иную причину особого развития некоторых “слабых” редуцированных в эпоху общего падения редуцированных, чем их особое качество (видимо, артикуляторно-акустическое. — *М. П.*), отличное от обычных слабых редуцированных»¹, что, видимо, справедливо по отношению к некоторым древним южнославянским диалектам, но и тогда это может быть объяснено наложением нескольких фонетических законов, их перекрециванием, что в принципе не исключает первоначального разделения редуцированных лишь на сильные и слабые. Что же касается восточнославянских диалектов, то здесь традиционные объяснения кажутся более правдоподобными. Мы же полагаем еще более правдоподобным понимание слабых и сильных редуцированных накануне их падения вообще как самостоятельных фонем. Выделяя особый аллофон редуцированных — «переходный», О. В. Малкова должна была бы в первую очередь попытаться определить его фонетическую позицию, но как раз этого она не делает, хотя речь в ее гипотезе идет именно о звуковом отличии «переходных» от «определенного сильных» и «определенного слабых». Отталкиваясь от показаний памятников (главным образом Добрилова евангелия 1164 г.), она в первую очередь указывает классы слов и морфем, в которых употреблялись «переходные» редуцированные, а не фонетические позиции. И в результате получается противоречивая и малоправдоподобная картина, когда, например, с одной стороны, «определенны сильные редуцированные употреблялись... в односложных предлогах (а также в неодносложных: *ото двою, надо всъмъ*. — *М. П.*) в позиции перед корнями слов, где редуцированные исчезли рано, до начала общего падения редуцированных...: *во мнъ... со всъмъ... со книжники... во двъ...*», а с другой — «переходного типа редуцированные употреблялись в словах, содержавших односложные приставки *въ-, съ-, въз-*»². При этом опирается она на весьма непоследовательную, хотя и показательную в отношении данных групп орографию Добрилова евангелия 1164 г. (например, в односложных пред-

¹ Там же. С. 103.

² Там же. С. 105.

логах **о** в 104 примерах, а **ъ** — в 40; в приставках **о** в 60 примерах, **ъ** — в 190). Увлекшись классами слов и морфем, О. В. Малкова, кажется, не обратила внимания на одну весьма примечательную фонетическую частность, имеющую непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме: по отношению к предшествующему редуцированному предлогу слабый (с традиционной точки зрения) корневой редуцированный ведет себя как слабый независимо от того, «задерживается» он сам или нет: ср. не только **надо многими, надо всѣмъ, ото двою, но и надо двѣри, ото пльти**. В целом мы приходим к выводу, что, несмотря на богатый материал и интересные частные соображения, использованные О. В. Малковой для подкрепления своей гипотезы, выделение «переходных» редуцированных не представляется продуктивным при изучении падения редуцированных, поскольку комплекс факторов, традиционно привлекавшихся для объяснения «аномалий» развития сильных и слабых редуцированных, сохраняет свое значение. Материал, привлеченный О. В. Малковой, вполне укладывается в традиционную схему.

Длительное сохранение слабых редуцированных обусловлено тем, что падение редуцированных как фонологический процесс включает в себя два взаимосвязанных, но относительно самостоятельных изменения: утрату слабых и «прояснение» сильных. Обычно имеется в виду, что первое изменение предшествует второму и обуславливает его. С этой идеей связана гипотеза о «возместительном продлении». Древнерусские рукописи XI–XII вв. в известной степени свидетельствуют в пользу такого предположения (но не обязательно в пользу гипотезы «возместительного продления»). Однако еще А. А. Потебня высказал мысль, что «замена глухих чистыми, так и удлинение чистых в срединных слогах суть вознаграждение не за потерю, а лишь за некоторое ослабление конечных глухих», а кроме того, что это удлинение чистого и переход глухого в чистый априорно не является необходимым¹. Несколько позднее Н. Ван-Вейк, основываясь на старославянском материале, отмечал маловероятность того, что изменение сильных редуцированных произошло после полного исчезновения слабых, полагая, что прояснение вызывалось частичной редукцией последующего слабого редуцированного². Ряд современных исследователей склоняется к тому, что полная утрата слабых редуцированных возможна только после «прояснения» сильных и связана с ней³. Однако фонологический смысл «ослабления», «неполной

¹ Потебня А. А. К истории звуков русского языка. С. 47–51.

² Ван-Вейк Н. История старославянского языка. М., 1957. С. 141.

³ Есельевич И. Э., Марков В. М. История редуцированных гласных в русском языке: Учебное пособие по исторической фонетике русского языка. Казань, 1976. С. 36; Хазагеров Т. Г. Трансформация исторических чередований в грамматические // Филологические этюды: Сб. статей. Вып. 2. Ростов н/Д, 1976. С. 170; Чекман В. М. Исследования по исторической фонетике... С. 209–210.

редукции» остается не совсем ясным. Возможно, как полагает Ю. С. Кудрявцев, опираясь на идеи В. М. Маркова, механизм падения редуцированных представляет собой латентную перефонологизацию, т. е. такой тип фонетического изменения, когда фонетическая реальность на первом, фонологическом, этапе процесса не испытывала изменений. По Ю. С. Кудрявцеву, своеобразие падения редуцированных заключалось в том, что слабые редуцированные перефонологизовались не в другие фонемы, а в фонетический нуль: «Изменение заключалось в пересмыслении роли редуцированных гласных, их переводе с уровня фонем на уровень нефонологических призвуков, выступающих лишь как необходимый компонент фонетического отныне слога СГ. Что касается собственно фонетических изменений, то они осуществлялись позже, когда фонологическая перестройка уже произошла и результаты ее были необратимы»¹.

Сама идея латентной перефонологизации в трактовке Ю. С. Кудрявцева вызывает ряд возражений общего характера. С одной стороны, любая перефонологизация, а также фонологизация и дефонологизация, т. е. вообще всякое фонологическое изменение, видимо, является латентным. Этого в известной степени требует сам характер звуковых изменений, которые происходят незаметно для носителей языка, причем сам момент фонологической мутации оказывается скрытым и для внешнего наблюдателя, который фиксирует лишь уже произошедшие сдвиги. В этом смысле вслед за Л. Л. Касаткиным можно говорить о «латентном периоде в истории фонемы»². С другой стороны, представляется весьма проблематичной, на наш взгляд, сама возможность того, что фонологическая реальность меняется до какого-либо изменения реальности физической (которая якобы происходит тогда, когда «фонологическая перестройка уже произошла и результаты ее необратимы»). Думается, что взаимосвязь функциональной и физической реальностей при любом фонетическом изменении является более сложной. Исследования такого рода следовало бы проводить на непосредственно наблюдаемом фонетическом изменении (ср. работы Лабова и его школы), но они сопряжены с большими сложностями и также не дают однозначных выводов.

Но как бы ни относиться к гипотезе о латентной перефонологизации редуцированных, можно предположить, что на определенном этапе развития процесса (возможно, к середине XII в.) слабые редуцированные гласные исчезли фонологически в статистически значимом большинстве позиций (исчезли из активной памяти носителей языка), но в

¹ Кудрявцев, Юрий. Очерки по русской исторической фонологии... С. 64.

² Касаткин Л. Л. Латентный период в истории фонемы // Metody formalne w opisie języków słowiańskich. Białystok, 1990.

ослабленном виде сохранились фонетически в составе слога, определяя качество его консонантного элемента. Видимо, эти слабые редуцированные в какой-то степени сохранялись в пассивной памяти носителей; ср. соображения Р. О. Якобсона: «При декламации традиционной французской поэзии — даже в классической трагедии, исполняемой *Comedie Française*, *E caducs* опускается, и тем не менее эти гласные остаются важнейшими, неприкосновенными элементами все еще действующего метрического канона. Если они и не произносятся, то в любом случае являются воспроизведимыми, правила обращения с ними известны любому, кто владеет французским литературным языком»¹. Соответственно, возможно реконструировать такой этап изменения, на котором только сильные редуцированные фонологически противопоставлены другим гласным². Целый ряд древнерусских памятников XII—XIII вв. подтверждает возможность такой реконструкции. Приведем некоторые примеры.

Устав Студийский (предположительно около 1170 г., Новгород) широко отражает дефонологизацию слабых редуцированных, но «сильные редуцированные нигде не заменены на письме буквами *о* и *е*»³.

Сходная картина наблюдается в другой рукописи 2-й половины XII в. (или рубежа XII—XIII вв.) из Чуд. собр. № 12 (ГИМ): пропуск редуцированного изредка наблюдается, обычно в абсолютно слабой позиции (*книг-*, *кназ-*, *мног-*, *птиц-*, *дв-*, *зл-*, *кто*, *мн-*, *тл-*, *что* и т. п.), но и в других случаях (*орла*, *творца*, *дворами*, *върно* — главным образом после плавного /р/, кроме того, имеются написания на *ρ* в конце строки), причем отсутствует замена букв *ъ*, *ь* буквами *о*, *е*⁴.

Еще более ранняя стадия изменения зафиксирована в рукописи Златоструя XII в. (1-я половина или середина века): в абсолютно слабой позиции пропуск редуцированного отражается (особенно в корнях *книг-*, *кназ-*, *мног-*), но таких написаний — «ничтожное меньшинство» (ср. также *к томоу*, *к тѣбѣ*, *к намъ*). Важная особенность этой рукописи заключается в том, что здесь встречается пропуск редуцированных в обычной слабой (не абсолютно слабой) позиции (например, в суффиксе *-ын-*) в группах согласных — *бн*, *вн*, *зн*, *дл*, *сн*, *жн*, *мн*, *рн*, *тн*, *рш*, *вш*, *тл*, при том, что в исконных сочетаниях — *бн*, *гн*, *зн*, *кн*, *сн*, *бл*, *вл*, *мл*, *пл*, *бр*, *тв*, *тр* — встречаются написания с искограническими редуцированными,

¹ Якобсон Р. О так называемой аллитерации гласных в германском стихе (1963 г.) // Роман Якобсон. Язык и бессознательное. М., 1996. С. 132.

² Колесов В. В. К фонетической характеристике редуцированных... С. 82–84.

³ Ищенко Д. С. Древнерусская рукопись XII века «Устав студийский»: Автореф. канд. дис. Одесса, 1986. С. 8.

⁴ Голышенко В. С. Из истории русского языка XII века (палеографическое и фонетическое описание рукописи Чудовского собрания № 12 ГИМ): Автореф. канд. дис. М., 1963. С. 11.

т. е. фактически в тех же сочетаниях согласных, где отмечен пропуск ъ, ь; написаний с о, є на месте сильных редуцированных практически нет¹.

Две последние рукописи трудно локализовать, но на основании написаний с редуцированными и других данных исследователи указывают на их северо-восточное происхождение². Если это так, то рукопись Златоструя XII в. можно считать древнейшим дошедшим до нас памятником письменности Северо-Восточной Руси. Несомненно северо-восточные рукописи, вышедшие из книгописной мастерской Ростова Великого и исследованные О. А. Князевской, относятся к началу XIII в. и отражают уже завершающую стадию синтагматического этапа падения редуцированных, о чем свидетельствует довольно последовательное проведение написания о, є на месте сильных редуцированных (поверже, темницу, правъденъ, жидовескъ, любовью, сажецъ и др. при тъца, дъци, съза, дъски), а также взаимная мена ъ, ь и о, є³. Если принятая локализация памятников верна, активный процесс падения редуцированных в Северо-Восточной Руси можно отнести к середине XII — 1-й половине XIII в. Приведенные выше северо-восточные рукописи (Златоструй, Чуд. № 12 и ростовские) отражают последовательные этапы этого процесса.

Как мы уже отметили, вследствие некоторых ограничений, накладываемых на новые отношения предшествующей фонологической системой (а именно законом открытого слога, действие которого не было полностью отменено), утрата слабых редуцированных, начавшихся раньше, не могла завершиться до полного «прояснения» сильных, поэтому и после их «прояснения» рефлексы слабых редуцированных сохранились, какое-то время не совпадая с другими гласными фонемами. Хорошой иллюстрацией могут служить приведенные выше примеры из ростовских рукописей начала XIII в., исследованных О. А. Князевской. Еще до «прояснения», а скорее всего уже к началу дефонологизации слабых сильные и слабые редуцированные фактически функционировали как самостоятельные фонемы. После дефонологизации основной массы слабых редуцированных и в условиях их неполной фонетической утраты те, которые «задерживались» в особых синтагматических условиях, возможно, получали особый статус (своего рода

¹ Карапулова Ф. В. Палеографическое и фонетическое описание рукописи Златоструя XII века: Автoref. канд. дис. Л., 1977. С. 13.

² Голышенко В. С. Из истории... С. 9; Карапулова Ф. В. Палеографическое и фонетическое описание... С. 6.

³ Князевская О. А. О судьбе редуцированных гласных ъ, ь в ростовских рукописях первой трети XIII в. // Лингвогеография, диалектология и история языка. М., 1973. С. 205; Она же. Буквы о, є на месте редуцированных гласных в ростовских рукописях начала XIII в. // Лингвистическая география, диалектология и история языка. М., 1976. С. 335–336.

«нефонематической гласности»). На следующем этапе — после завершения вокализации сильных редуцированных и в процессе полной фонетической утраты большинства бывших слабых редуцированных — создаются условия для противопоставления «нефонематической гласности», с одной стороны, «нулю звука», с другой — фонемам /o/ и /e/. Тем самым на морфонологическом этапе падения редуцированных бывшие слабые редуцированные, пережившие «прояснение» сильных редуцированных, через стадию «нефонематической гласности» временно получили функциональную нагруженность, фонологическую значимость, причем все это регулировалось процессами морфонологической индукции, т. е. в конечном счете более высокими уровнями языковой структуры¹.

Полагаем, что окончательный разрыв между сильными и слабыми редуцированными как оттенками одной фонемы (т. е. нарушение между ними дополнительной дистрибуции) должен был произойти до начала дефонологизации слабых редуцированных. Вследствие подобной фонологизации сильных и слабых редуцированных стали возможны процессы аналогического выравнивания между ними в одной морфеме. Это аналогическое выравнивание представляло собой морфонологическую индукцию в словоизменительных и словообразовательных парадигмах. На наш взгляд, именно исходя из выдвинутого нами предположения о сильных и слабых редуцированных как самостоятельных фонемах, легче всего объяснить расхождения в русских говорах, связанные с развитием второго полногласия. Вставные гласные, которые привели к формированию второго полногласия и первоначально, видимо, совпадали со слабыми редуцированными, начали подчиняться традиционной модели (уже не аллофонной) распределения сильных и слабых редуцированных, но затем — по мере экспансии форм с вставными гласными — способствовали дальнейшему разрушению дополнительной дистрибуции между сильными и слабыми редуцированными. При этом оказалось возможным аналогическое выравнивание в парадигмах (сильные редуцированные подчеркнуты):ср. сл. *vъгхъ/vъгха > 1)*vъгхъ/vъгха (в обеих формах вставной редуцированный слабый) ~ 2)**vъгхъ/vъгха (в обеих формах распределение сильных и слабых по аллофонному типу) ~ 3)*vъгхъ/vъгха (распределение в результате морфонологического выравнивания) > рус. лит. (1→) *верх/верха* ~ рус. диал. (3→) *верёх/верха*.

Наше предположение о том, что /ъ/ и /ь/ были накануне падения редуцированных самостоятельными фонемами, подтверждается данными

¹ Этим проблемам была посвящена работа: Попов М. Б. Морфонологический этап падения редуцированных гласных в древнерусском языке (на материале рукописей XIV–XV веков): Канд. дис. Л., 1982.

исторической фонетики украинского языка. Во-первых, в украинском языке перед рефлексом сильного /ъ/, т. е. перед /с/, представлен твердый согласный, а перед рефлексом слабого, т. е. перед «нулем звука», — мягкий:ср. /den'/ < **дънъ**, /sl' oza/ < /sl'za/ < **сълза**. Видимо, уже в процессе падения редуцированных, но еще до полной дефонологизации, сильный и слабый редуцированные по-разному смягчали предшествующий согласный, а значит, различались каким-то существенным фонемным признаком. Во-вторых, в древнеукраинском языке (в большинстве диалектов) слабый /ъ/ в отличие от сильного /ъ/ (а также от /e/, /ъ/ и /ъ/) оказывал сужающее воздействие на /e/ предшествующего слога (вследствие своего рода межслоговой ассимиляции), что привело к совпадению последнего с /ě/. Имеется в виду развитие так называемого нового ё (ср. **селень** — **сълнаго** < **сельнъ** — **сельнаго**, **камънъ** — **камене** < **камень** — **камене**). О. В. Малкова, основываясь на материале Добрилова евангелия 1164 г., полагает, что «в отрицании новый [ѣ] употребляется и перед слогом со слабым [ъ] (нѣ смѧхѹ 150а, нѣ въпроситѣ 376...»). Для нашей гипотезы это не имеет принципиального значения, но все же представляется, что в случае с отрицанием мы имеем дело с процессом аналогического выравнивания¹. Соответственно до окончательного падения редуцированных, по крайней мере во время самого падения (но, скорее всего, раньше), сильный и слабый редуцированные различались существенным ДП, по которому шла ассимиляция. В североукраинских говорах сходное явление наблюдалось не только перед слабым /ъ/, но и перед слабым /ъ/, причем сужению подвергался как предшествующий /e/, так и /o/, на месте которых после падения редуцированных появились дифтонгические гласные. Эти факты, как нам представляется, соответствуют предположению о расщеплении накануне падения двух праславянских редуцированных на четвере самостоятельные фонемы.

Ко времени падения редуцированных эти гласные были противопоставлены другим фонемам по признаку подъема и, возможно, долготы—краткости. Что касается признака подъема, то редуцированные были средневерхними, в отличие от верхних /i, у, и/ и средних /e, o/². Однако противопоставление среднего и средневерхнего подъема достаточно неустойчиво и обычно поддерживается (сопровождается) каким-то другим признаком. В данном случае таким признаком мог быть признак долготы—краткости, который входил как бы в комплексный ДП: {долгота + верхний подъем} ↔ {краткость + средневерхний подъем}. Гласные среднего подъема /e, o/ были по происхождению

¹ Малкова О. В. О принципе деления редуцированных... С. 110.

² Оставим пока в стороне вопрос о ДП фонемы /ě/; видимо, это был ДП дифтонгоподности. Что касается /ð/, то она еще не вошла в систему.

краткими, каковыми они оставались в момент деназализации носовых, которые либо остались долгими /ä/ < *e, либо совпали с исконно долгими /u/ < *q, /ü/ < *q̄. Однако к концу X в. признак количества как дифференциальный был утрачен, хотя на собственно фонетическом уровне долгота–краткость продолжала участвовать в комплексном ДП. До утраты ДП количества в подсистему кратких входили фонемы /e, o, ь, ъ/. После утраты признака количества (и процесса, который традиционно называется «сокращением долгих», но фонологически заключался в том, что /e, o/ переходили в подсистему долгих) в подсистеме кратких остаются лишь две фонемы — /ь, ъ/. Фонемы /e, o/ и /ь, ъ/ стали различаться теперь «маловыразительным» (внутри среднего подъема в широком смысле) признаком подъема (средние–средневерхние) и признаком количества (долгие–краткие). В. Н. Чекман отмечает, что вызванное разложением признака количества понижение подъема редуцированных (так называемая централизация еров) приводит к утрате ими ударности, что и «свидетельствует о их “редуцированности” и становлении сильных и слабых позиций»¹. В свою очередь, утрата редуцированными ударения приводит к тому, что основным признаком гласных, входящих в подсистему кратких, т. е. /ь, ъ/, становится их неинтонированность². Все эти преобразования в конечном счете способствуют падению редуцированных, т. е. их дефонологизации.

Поскольку рецессия ударения со слабого редуцированного как-то связана с установлением сильных и слабых позиций, возникает вопрос о соотношении «силы» и «слабости» редуцированных, с одной стороны, и «ударности» и «бездарности» — с другой. Данные северо-восточных аукштайтских говоров литовского языка, которые пережили типологически сходные с праславянским изменения (централизация и рецессия сопутствуют друг другу), по мнению В. Н. Чекмана, не исключают, что централизация первична по отношению к рецессии ударения³. На связь с ударением, но в то же время на независимость распределения редуцированных по сильным и слабым позициям от места ударения указывает В. В. Колесов: «подударные /ь, ъ/ обычно совпадают с сильной позицией редуцированного, следовательно, признак подударности является сопутствующим... счет слабых позиций от конечного слога к начальному объясняется последовательными оттяжками ударения с конечного слога на предшествующие слоги... сильная позиция определяется положением редуцированного перед слабыми /ь, ъ/, слабая — положением перед сильными /ь, ъ/, которые в этой позиции

¹ Чекман В. Н. Исследования по исторической фонетике... С. 202.

² Там же; Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. С. 107–108.

³ Чекман В. Н. Исследования по исторической фонетике... С. 200.

функционально равны гласным полного образования»¹. В сущности термин «гласные полного образования» обозначает «гласный, входящий в подсистему фонологически долгих», которые противопоставляются фонологически кратким — /Ь, ь/. После установления сильных и слабых позиций намечается сближение сильных редуцированных с долгими гласными. Следствием этого был разрыв функциональных связей между слабыми и сильными редуцированными и превращение их фактически в самостоятельные фонемы, а затем и дефонологизация (элизия) слабых.

После рецессии ударения становятся невозможными подударные слабые редуцированные, следовательно, в остатке оказываются безударные сильные, которые можно было бы назвать «среднесильными» (или «слабосильными»), поскольку в безударной позиции сильные редуцированные, видимо, отличались от ударных. Формы с пропуском таких редуцированных встречаются в старославянских памятниках, а древнерусские памятники отражают возможность элизии безударных сильных редуцированных с XII в.:ср. Галицкое евангелие 1144 г. — *правъд'нъ, старць, гласъ* и др.; Христинопольский Апостол XII в. — *немошнъ, коварнъ*²; надпись на кресте Ефросинии Полоцкой 1161 г. — *гривнъ*; Полоцкое евангелие XIII в. — *старць, конць, крѣпкъ, телць, жрець, слѣпць*³; СЕ 1340 — *правдныи, правдника, правднъ и подобные, вѣрнъ* и подобные, *должнъ, овць, конць и подобные, вѣнць и подобные, агнць, чернць, престолиь, очченникъ* и др.; в новгородской М 1369 — *члвколюбць, цѣлбеняя, непразднъство*⁴. А. А. Потебня утверждал, что в диалектном *Курѣск* краткое [ѣ] восходит непосредственно к сильному безударному редуцированному, который не прояснялся в /e/⁵. Позднее Л. Л. Васильев высказал предположение о фонетическом выпадении двух редуцированных подряд (а это значит, и сильного), приведя примеры из литературного языка (*почва, обицнй*), из говоров (*елиник, избнй*) и из древних памятников (*службнин, враждное, везомъздно* и др.)⁶. Однако доказать фонетическое происхождение подобных форм с пропуском двух редуцированных подряд довольно трудно, так как вследствие прозрачности словообразовательной структуры большинства при-

¹ Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. С. 36.

² Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. С. 209.

³ Шулаева Д. П. К истории языка в XIII в. (Палеографическое и фонетическое описание рукописи ГПБ Пог. 12): Автограф. канд. дис. Л., 1970. С. 10.

⁴ Полный список примеров из СЕ 1340, М 1369 и др. рукописей см. в работе: Попов М. Б. Морфонологический этап падения редуцированных...

⁵ Потебня А. А. К истории звуков... С. 36–37.

⁶ Васильев Л. Л. Одно соображение в защиту написания *-брь-, -бръ-, -ърь-, -ълъ-* древнерусских памятников как действительных отражений второго полногласия // Журнал Министерства народного просвещения. Т. 8. 1909. С. 308–309.

веденных образований более убедительной представляется интерпретация данных форм как возникших по аналогии, т. е. морфонологическим путем. Таким образом, «среднисильные» редуцированные при благоприятных условиях в первую очередь могли подвергаться морфонологическому выравниванию.

В связи с рассматриваемым вопросом представляется интерес распределение написаний с ъ и ь на месте сильного /ъ/ в рукописях, отражающих синтагматический этап падения редуцированных. Например, в СН1Л-1 в суффиксе -ыцъ под ударением пишется ё — писецъ 57, скопечъ 56, църнечъ 51, без ударения ь (или даже пропуск ь) — новгородцъ 15, новгородцъ 21об и др., дѣтиныцъ боб, половыцъ 31об, соудальцъ 15об, коньцъ 41об, 54 (ср. написание концъ в других памятниках), с[ы]новьцъ 28об (под титлом). Полагаем, что ь в этих формах обозначает непрояснившийся безударный сильный редуцированный. Если это предположение верно, то представляется, что мы на основании написания о, ё или ь, ь (или пропуска буквы гласного) на месте сильного редуцированного можем получить косвенные свидетельства об ударении некоторых форм в неакцентованных рукописях XII—XIV вв. Не исключено, что, например, в Договорной грамоте 1262 г. ударения ряда форм распределялись следующим образом (предполагаемые ударные гласные выделены курсивом): коупецъ, посломъ (3 случая — Тв. ед.), с посадникомъ, но новгородцъ и новгородцъ, нѣмъ-цимъ и нѣмъцъ, языкъмъ, дворцъ (Род. мн.), хотя следовало бы ожидать нѣмцемъ (нѣмецъ), однако во множественном числе возможен вторичный перенос ударения на корень, что, видимо, может отражать данная грамота. Этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении на материале памятников.

Что касается слабых редуцированных, то они, как уже было сказано, не могли находиться под ударением. Естественно, что редуцированные в слабой позиции подвергаются все большей редукции, вплоть до нуля звука. Выше отмечалось, что в определенный момент сильные и слабые еры перестали восприниматься как оттенки одной фонемы и стали самостоятельными фонемными единицами. Вопрос о том, каким признаком при этом стали различаться сильные и слабые, имеет прямое отношение к механизму падения редуцированных. Таким признаком, возможно, стал признак «неустойчивости» или «редуцированности». Как полагают некоторые исследователи, «признак неустойчивости—устойчивости может быть самостоятельным звукоразличительным признаком»¹. В осуществлении этого противопоставления важную роль играет соотношение полного и неполного типов произнесения (об этом

¹ Соколова В. С. Устойчивые и неустойчивые гласные // Памяти академика Л. В. Щербы. Л., 1951. С. 236—244. С ней соглашается В. Н. Чекман. См.: Чекман В. Н. Исследования по исторической фонетике... С. 204.

сказано в разделе о «живом» и «книжном» произношении): неустойчивые сохраняются в полном (медленном) произношении. Р. О. Якобсон особенностями аллегровой речи объяснял причину падения слабых редуцированных: пропуск редуцированного в аллегровой (небрежной, торопливой) речи, происходивший для ускорения темпа речи, стал нормой, а затем был перенесен в другие стили речи. Такой механизм изменения он называл *пермутацией функций*¹.

Типологические исследования² (с учетом языков, переживавших в недавнем прошлом или переживающих в настоящее время сходные с праславянским процессы) подтверждают две важнейшие характерные для механизма падения редуцированных особенности, которые были установлены на основании изучения древних памятников: 1) появление «неэтимологических» редуцированных в группах согласных (в других языках они появляются и на конце слов) — ср. гипотезу В. М. Маркова; 2) наличие особой группы (класса) слов, в которых элизия происходит раньше, чем в других, и в которых выпавшие редуцированные не восстанавливаются в полном стиле речи, — ср. гипотезу И. А. Фалева. Оба эти обстоятельства, видимо, тесно связаны друг с другом.

А. А. Шахматов полагал, что сначала редуцированные исчезали в начальном слоге слова³ (однако в полном стиле они могли восстанавливаться, если не находились в абсолютно слабой позиции). В. Н. Чекман, в принципе соглашаясь с Шахматовым, уточнил, что элизия могла иметь место в тех случаях, когда это не приводило к образованию закрытых слогов, которые, в свою очередь, раньше всего возникают в конце слова⁴. В сущности последнее предположение хорошо согласуется с характером оттяжек ударения именно с конечных редуцированных и с тем, что отсчет позиций редуцированных начинается с конца слова. Однако с фонологической точки зрения в потоке речи пропуск слабого редуцированного в начале слова и в конце слова принципиально не различаются, хотя морфонологически и относительно информативной нагруженности в целом конец и начало слова различны, что, несомненно, могло оказывать влияние на ход падения редуцированных. Полагаем, что на начальном этапе падения полная утрата конечных слабых редуцированных была невозможна. Но и после того как конечные еры могли идентифицироваться с фонематическим нулем, закрытый слог не образовывался (различие между открытыми и закрытыми слогами носит, с нашей точки зрения, фонетический, а не фонологический характер). Совсем другая картина

¹ Якобсон Р. Принципы исторической фонологии (1931 г.) // Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985. С. 129–130.

² Mańczak W. O zaniku jerów w staroruskim // Slavia Orientalis. T. XVIII. No 1. Warszawa, 1969. С. 415–424; Чекман В. Н. Исследования по исторической фонетике... С. 207.

³ Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. С. 217.

⁴ Чекман В. Н. Исследования по исторической фонетике... С. 211.

могла иметь место перед паузой, в том числе перед так называемой психологической паузой, отмечающей конец синтагмы (и одновременно — конец слова). Здесь отсутствовали условия, предотвращающие образование закрытых слогов, и именно отсюда, с нашей точки зрения, началась дефонологизация конечных редуцированных. Особым случаем паузы, одновременно совпадающей с концом слова, у древнерусских писцов был конец строки. Уже древнейшие рукописи отражают написания с пропуском **ъ**, **ь** в конце строки и одновременно в конце слова. Ср. примеры из Пандектов Антиоха XI в., в которых вообще широко отражается пропуск еров: **пожцах**, **цицим**, **един**, **оучителем**, **нам**, **благовѣствоѹжциим**, **тьмничник**, **оѹм**, **трѣбоѹжциих**, **вашим**, **моѹж**’ (все примеры — конец строки)¹. Как видим, пропуск ера или паерок (?) возможны практически только после сонантов и щелевых согласных. Особая роль сонорных согласных в процессе падения редуцированных, которые до падения были глиайдами, подчеркнута В. В. Колесовым, который склоняется к тому, что первыми, наряду с абсолютно слабыми, утрачивались конечные редуцированные². К тому же мнению склоняется и А. А. Зализняк на основании материала берестяных грамот³. Интересно основанное на типологии процессов, сходных с падением редуцированных, предположение В. Н. Чекмана, что «конечные еры начали падать прежде всего после сонорных, но по памятникам это вряд ли можно проследить»⁴. Как будто косвенно и это подтверждается памятниками. Кказанному хотелось бы добавить еще одно немаловажное обстоятельство: фактически все конечные редуцированные представляют собой особую разновидность изолированных редуцированных. Поэтому гипотеза И. А. Фалева об абсолютно слабой позиции редуцированных гласных оказалась не только не поколебленной, но и получает новое подтверждение.

Начало падения редуцированных гласных: абсолютно слабая позиция

Одним из дискуссионных вопросов в изучении падения редуцированных является хронология процесса. Мы уже отметили, что под падением редуцированных следует понимать не только исчезновение этих гласных в слабых позициях (собственно «падение»), т. е. синтагматическое

¹ Конко П. М. Исследование о языке Пандектов Антиоха XI в. // Известия ОРЯС. 1915. Т. 20. Кн. 3–4. С. 155.

² Колесов В. В. Несколько дополнений к акцентологическому закону Шахматова // Вопросы теории и истории языка: Сб. в честь проф. Б. А. Ларина. Л., 1963. С. 185; Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. С. 116–118.

³ Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. М., 1995. С. 47.

⁴ Чекман В. Н. Исследования по исторической фонетике... С. 213.

изменение, но и их дефонологизацию, т. е. изменение парадигматическое, которое только и может указывать на утрату /ъ/ и /ь/ как самостоятельных фонем. В связи с этим представляются неубедительными попытки некоторых современных исследователей обосновать отсутствие редуцированных гласных как самостоятельных фонем уже в древнерусском языке XI в.¹ Эти ученые, видимо, рассматривают процесс падения редуцированных как границу между двумя синхронными срезами, поэтому для них, например для Г. А. Хабургаева, наличие в древнерусских рукописях XI в. написаний с пропуском ъ, ь уже является свидетельством завершившейся дефонологизации редуцированных. Он полагает, что часто фиксируемый в рукописях уже XI в. пропуск редуцированного в так называемой *абсолютно слабой*, или *морфологически изолированной*, позиции можно объяснить тем, что писец, в языке которого уже якобы нет редуцированных, не может проверить написание буквы ъ или ь в корнях таких слов как *кънѧзь*, *мъного*, *къто*, *чъто* и т. п. Регулярное же написание редуцированных в обычных слабых позициях объясняется при этом как результат проверки по сильной позиции, т. е. как следствие орфографической выучки, а не как отражение произношения.

Однако такой прямолинейный подход к интерпретации данных древней письменности вызывает серьезные возражения. Во-первых, даже если интерпретировать написания с пропуском слабого редуцированного буквально как отражение живого произношения, из этого сице не следует, что сильные уже не противопоставлены фонемам /о/ и /е/. Во-вторых, нет оснований утверждать, что данные написания отражают исчезновение всех слабых редуцированных, а не только тех, которые оказались в морфологически изолированной позиции, хотя, конечно, написания с пропуском ъ, ь в слабой позиции, несомненно, могут отражать некие изменения в фонологическом статусе редуцированных. С другой стороны, однако, возможна трактовка подобных написаний как отражение орфографической традиции, идущей от южнославянских оригиналов, или — иными словами — как влияние орфографии протографов. С удовлетворением заметим, что Ю. С. Кудрявцев, который в 1970-е гг. присоединился к точке зрения Г. А. Хабургаева, к середине 1990-х гг. пересмотрел свои взгляды на обсуждаемый вопрос и привел весьма вес-

¹ Хабургаев Г. А. Еще раз о хронологии падения редуцированных в древнерусском языке (в связи с вопросом о соотношении книжно-письменной и диалектной речи) // Лингвистическая география, диалектология и история русского языка. Ереван, 1976. С. 397–406; Кудрявцев Ю. С. Отражение напряженных редуцированных гласных в Успенском сборнике // Труды по русской и славянской филологии. Т. 24 // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 425. Тарту, 1977. С. 136–142; Кудрявцев Ю. С. Напряженные редуцированные гласные в связи с проблемой праславянского и древнерусского звукового развития: Автореф. канд. дис. Л., 1980. С. 14–15.

кие аргументы против хабургаевского толкования падения редуцированных, вернувшись к традиции, идущей от работы И. А. Фалева¹.

Таким образом, пропуски слабых редуцированных во вполне определенных морфемах и фонетических условиях, т. е. морфонологически обусловленных позициях, даже если их интерпретировать как отражение соответствующего звука, не дают оснований говорить о дефонологизации, т. к. остаются еще сильные редуцированные и сохраняется еще целый ряд особых позиций, в которых слабые редуцированные продолжают сохраняться. Важно определить соотношение сохранившихся сильных и слабых редуцированных на данном этапе «падения»: оно уже не будет таково, как в предыдущий период (нельзя исключить и того, что сильные и слабые уже являются разными фонемами). Затем происходит «прояснение» сильных редуцированных, но это тоже был, видимо, поэтапный процесс. Есть основания предполагать, что сначала прояснялись редуцированные в абсолютно сильной позиции (морфологически изолированной и под ударением). Однако и после прояснения всех сильных положение остается сложным, поскольку в некоторых позициях продолжают сохраняться слабые редуцированные, фонологический статус которых нуждается в интерпретации. Итак, конечно, недостаточно лишь констатировать «долгое сохранение» редуцированных вплоть до XII, XIII, XIV или даже XV–XVI вв.: необходимо вскрыть их место в фонологической системе в каждый из этих периодов.

Из того факта, что даже для исследователей, разделяющих идею о различии книжного и живого произношения еров, «книжная» орфография ориентируется на живое произношение, по крайней мере, следует, что памятники «книжной письменности» являются важнейшим источником при изучении падения редуцированных как для сторонников гипотезы об особом книжном произношении XI–XIII вв., так и для скептиков, поэтому и для тех, и для других актуальной является интерпретация орфографии древнейших восточнославянских памятников с точки зрения того, какой этап эволюции редуцированных в живом произношении она отражает. Выше мы уже касались интерпретации пропусков редуцированных в некоторых корнях слов в памятниках XI — начала XII в. Какое же явление скрыто за подобной орфографией? Что это — отражение выпадения редуцированного гласного или орографическая традиция? Здесь наметились, как представляется, три подхода.

Из современных исследователей влиянием старославянской орфографии объясняет пропуск ъ и ѿ на месте слабых редуцированных в древнейших русских рукописях Б. А. Успенский: «...пропуск еров в таких словах, как **кнѧзь**, **кто**, **много**, **вс-**, **книга** и ряде других, воспринимался писцами как элемент правильного написания, и поэтому написание данных слов без еров складывалось в определенную орографическую

¹ Кудрявцев, Юрий. Очерки по русской исторической фонологии... С. 68–69.

традицию»¹. О том, что в этих написаниях отражен орфографический прием, а не процесс падения редуцированных, по мнению В. М. Живова, «свидетельствуют написания с пропуском ь в сильной позиции, ср. написания местоимения *весь* в им. падеже муж. рода — *всь* — в Минеях 1095 и 1097 гг., в Типографском уставе и в целом ряде других памятников»². Аргумент В. М. Живова особенно неприемлем в свете того, что в древненовгородском диалекте в Им. ед. типа склонения на *о была флексия -е — *въхё*, *пъсё*, видимо, с сохранением ударения на флексии для корней с редуцированным, который у местоимения оказывался абсолютно слабым, так как в местоименном склонении не было сильного редуцированного и в форме Род. мн. Предположение о том, что частое в псковских памятниках XIV—XV вв. написание *всь* произносилось с гласным на конце, высказал еще Н. М. Каринский, не считая это явление исключительно псковской диалектной чертой. Он отметил, что «вполне последовательно пишется *всь* в памятниках с особенно яркой диалектической окраской... В памятниках, писанных хорошими грамотеями, *всь* чередуется с *весь* (Пал. 1477 г.), причем написание *весь* даже преобладает (Сб. Син. Библ. № 154)»³. Форма *всь* является, по мнению Каринского, для псковской письменности более древней, чем *весь*, которая была введена в XV в. литературным путем.

Итак, никаких аргументов в пользу точки зрения В. М. Живова, кроме того, что пропуск еров характерен для этих корней и в старославянских памятниках, не приводится. Но в старославянских рукописях ь и ё пропускаются и во многих других случаях, а также они заменяются о и є в сильной позиции, однако особой орфографической традиции при этом не возникло. Поскольку, по мнению Б. А. Успенского, в живой речи редуцированные в перечисленных словах сохранялись, то следует, вероятно, как-то обосновать возникновение орфографической традиции применительно к данным словам в отличие от слов, где слабые редуцированные продолжали сохраняться на письме (*съна*, *днє*, *тьма* и т. п.), т. е. ответить на вопрос: почему именно в этих словах возникла орфографическая традиция, противоречащая живому произношению, в то время как в целом правописание опиралось на живое произношение (противореча при этом и церковному произношению, и орфографии старославянских памятников)?

¹ Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI—XVII вв.). Budapest, 1988. С. 110.

² Живов В. Правила и произношение в русском церковнославянском правописании... С. 283—284. Иная точка зрения на пропуск ь в этом местоимении представлена в работах: Колесов В. В. Въсь, всь, весь, вхе, све — «omnis» // Эволюция и предыстория русского языкового строя / Отв. ред. Н. Д. Русинов. Горький, 1978. С. 28—36; Кудряев, Юрий. Очерки по русской исторической фонологии... С. 72—74.

³ Каринский Н. М. Язык Пскова и его области в XV веке. СПб., 1909. С. 168—169.

В противоположность Б. А. Успенскому Г. А. Хабургаев полагает, что древнерусские писцы XI — начала XII в., которые правильно (в соответствии с этимологией) и последовательно употребляют буквы ъ и ь, «конечно же, отражают не “общерусское произношение” середины XI в. (даже если это произношение продолжало сохранять ъ, ь и другие особенности!), а свои личные орфографические и произносительные на-выки (нормы книжного, церковного чтения), сложившиеся не позднее первой половины XI в.»; и дальше: «коль скоро писцы, подвизавшиеся в Киеве и Новгороде в конце XI в., в переписываемых ими текстах допускают не единичные пропуски букв ъ и ь... то это возможно только в том случае, если в их родной речи особых фонем /ъ/ и /ь/ уже не было; а более или менее последовательное употребление букв ъ и ь могло поддерживаться лишь книжной выучкой»¹. По мнению Г. А. Хабургаева, последовательное «плавное» убывание написаний с ъ и ь в рукописях XI–XII вв. не отражает последовательности процесса фонетического изменения, а указывает на последовательность разрушения орфографической нормы. В частности, наиболее ранние примеры с пропусками редуцированных в таких корнях, как **много**, **книга**, **кто** и т. п., объясняются, по Г. А. Хабургаеву, тем, что в живом языке в этих корнях не было чередований с /о/, /е/, т. е. это были своего рода написания с «непроверяемыми гласными».

Два представленных выше подхода, противоположных с точки зрения реконструкции живого произношения еров, имеют между собой и нечто общее. И Б. А. Успенский, и Г. А. Хабургаев отрицают, что орфография рукописей отражает ход живого фонетического процесса, что пропуск ъ в слове **къниги** и т. п. и, наоборот, его сохранение в слове **окъно** могут отражать различие в живом произношении и тем самым фиксировать некий этап падения редуцированных в древнерусском языке. Для обеих точек зрения характерен в целом «орфографический» подход к интерпретации материала рукописей.

Итак, при анализе орфографии древнейших рукописей XI в. возникает серьезная методологическая проблема. Отсутствие букв ъ, ь на месте слабых редуцированных в церковных памятниках может быть интерпретировано как старославянское влияние в условиях еще не сформировавшегося русского извода. И действительно, такой подход мог бы быть, видимо, справедлив, например, в отношении Новгородского кодекса начала XI в. («Новгородская псалтырь» на церах)², где болгарская одно-

¹ Хабургаев Г. А. Еще раз о хронологии падения редуцированных... С. 400–401.

² Зализняк А. А., Янин В. Л. Новгородский кодекс первой четверти XI в. — древнейшая книга Руси // ВЯ. 2001. № 5. С. 3–25; Зализняк А. А. Проблемы изучения Новгородского кодекса XI века, найденного в 2000 г. // Славянское языкознание. XIII Международный съезд славистов. Любляна, 2003 г.: Доклады российской делегации. М., 2003. С. 190–192.

еровая (ъ) орфография сочетается с нередкими, в принципе характерными и для других рукописей XI в., пропусками редуцированного в слабой позиции (*кто, ничто, илюгахъ, кназем-, вси, всѧ, дни, створилъ, всѣд'ши, оѹснжша*, один раз даже на конце слова *вънлатши*) при их сохранении в сильной (въчънъ, въшъдъшоумоу сънъ, страшънъ, въскръснетъ). А. А. Зализняк считает, что эта орфография не отражает древнерусской фонетики, а написания с пропуском ъ появляются вследствие прямого копирования протографа или следования престижной (южнославянской) орфографической норме¹. Действительно, все случаи с пропуском редуцированного могли быть взяты из протографа. Но даже в этом, небольшом по объему, памятнике просматривается закономерность не столько орфографического, сколько морфонологического характера: слабые еры (за исключением *створилъ*) не пропускаются в группах из более чем двух согласных (*богатъства, съкроуши, въздрѣмаша, възматаша сѧ, клауциаше, въскръснетъ*), а также в морфемах, где они чередуются с сильными ерами (*дивъно, неразумъни, кротъкыя, страшъноумоу*). Вопрос заключается в том, отражают ли эти закономерности особенности древнерусской фонетической системы или они были характерны для определенного этапа в падении редуцированных у южных славян и законсервировались в соответствующей орфографии протографа. В обоих случаях это не только орфография, так как и южнославянская орфография закрепляет определенный этап в эволюции редуцированных гласных.

В русской исторической лингвистике существует устойчивая традиция «морфонологического» подхода к раннему этапу падения редуцированных. Еще В. Н. Щепкин высказал мысль о том, что слабый редуцированный мог в ряде случаев сохраняться вопреки фонетической позиции, в которой он находился, поддерживаясь «какими-то грамматическими аналогиями там, где значение суффикса продолжало чувствоваться ясно... там же, где слово выходило из своего класса и смысл суффикса мог утрачиваться, фонетическое выпадение полугласного наступало беспрепятственно»². В том же направлении работала мысль и других историков русского языка. Ср. высказывание Р. Брандта: «Если же в них (глаголы *съпти, възати*) ъ сохранялся на письме, то, вероятно, потому, что состав таких слов ясно и живо сознавался, в словах же *къназь* и *къниги* никакого грамматического смысла не имел»³. Позже И. А. Фалев вводит понятие «абсолютно слабого редуцированного», т. е. морфологически изолированного — редуцированного в таких словах, где он, находясь все

¹ Зализняк А. А., Янин В. Л. Новгородский кодекс... С. 9.

² Щепкин В. Н. Новгородские надписи Graffiti // Труды Московского Археологического общества. 1902. Т. 19. Вып. 3. С. 43.

³ Брандт Р. Ф. Лекции по истории русского языка. М., 1913. С. 56.

время в слабой позиции, не мог чередоваться с сильным в той же морфеме. По мнению И. А. Фалева, с абсолютно слабой позиции и началось падение редуцированных¹. Большинство примеров с пропуском ъ в Новгородском кодексе начала XI в. можно смело отнести к абсолютно слабой позиции. Таким образом, если писец кодекса и ориентировался на южнославянский оригинал или норму, то действовал выборочно, в какой-то степени опираясь на древнерусскую фонетическую реальность.

Классическим памятником (особенно ярким в силу своей лаконичности), отражающим пропуск редуцированных гласных только в абсолютно слабой позиции, является, видимо, Мстиславова грамота. В этом единственном дошедшем до нас в подлиннике деловом документе 1-й половины XII в., ориентированном на книжное письмо, пропуски абсолютно слабых редуцированных отмечаются во всех возможных случаях: *кназъ*, *кнажение*, *всеволодъ*, *всеволодоу*, *кто* — 2 случая; редуцированные сохраняются в слабых позициях: *почнеть*, *мъстиславъ*, *роусъскоу*, *дължни*, *осеньник*, *даровъноу* и др. (в том числе так называемые *напряженные*: *братиъ*), в сильных позициях: *държа*, *грибъни*, *въ съмърти*, *пришъствия* и др. Редуцированный ъ в *мъстиславъ*, возможно, следовало бы отнести к абсолютно слабым редуцированным, поскольку при склонении нет чередования с сильным. По этой же причине независимо от трактовки слабого редуцированного в местоимении *въсь* (см. выше точки зрения В. М. Живова и В. В. Колесова) в имени существительном *въсеволодъ* первый редуцированный считаем абсолютно слабым. В форме *мъстиславъ* абсолютно слабый редуцированный ъ сохраняется, потому что находится в группе согласных, которая препятствует его выпадению. Это имеет место и в других словах, содержащих тот же корень — *мъсти*, *мъстити*, *мъцию* и др., вплоть до XIV–XV вв. Итак, несмотря на то что чисто фонетически в Мстиславовой грамоте слабые и абсолютно слабые позиции редуцированных не совсем однородны, поскольку группы согласных, в окружении которых оказываются /ъ, ы/, различны, контраст между позициями — разительный. Впрочем, орфографическая система этого памятника интерпретировалась и по-другому. Например, Н. Н. Дурново считал, что здесь ъ и ы «пропускаются только в начальном слоге... в других всегда пишутся...»²

В последнее время некоторые ученые выделяют по типу абсолютно слабой также и абсолютно сильную позицию редуцированных (см. ниже). Таким образом, имеется длительная исследовательская традиция, трак-

¹ Фалев И. А. О редуцированных гласных в древнерусском языке // Язык и литература. Т. 2. Вып. 1. Л., 1927. С. 121–122.

² Дурново Н. Н. Очерк истории русского языка. М., Л., 1924. С. 156.

тующая пропуск редуцированных в так называемых морфологически изолированных позициях как отражение реального произношения.

Для фонологической интерпретации написаний с пропуском еров большое значение имеют идеи В. М. Маркова, в частности его мысль о том, что «отсутствие букв “ъ” и “ъ” не является безусловным показателем отсутствия гласного звука в фонетическом смысле и может рассматриваться лишь как свидетельство ослабленного его восприятия, определяющего яркое чередование еровых и безъеровых написаний»¹. При всей неопределенности фонологических представлений В. М. Маркова основная мысль ученого ясна и может быть изложена следующим образом. Главная причина дефонологизации слабых редуцированных лежит, по В. М. Маркову, в развитии так называемых неорганических, или неэтиологических, редуцированных, которые в процессе завершения праславянской тенденции к открытости слогов как бы «разряжали» скопления согласных, этимологически не содержащие редуцированных. Совпав в своем фонетическом качестве, т. е. фонологически, с исконными (этимологическими) редуцированными, неорганические подорвали функциональную, т. е. фонологическую, значимость редуцированных гласных. Итак, в связи с перерастанием диахронической тенденции к открытости слогов в синхронический «закон открытого слога», который трактуется скорее уже как «закон идеального слога» (ССГССГ > СГСГСГСГ), одиночный согласный перестал противопоставляться группе согласных, а слабые редуцированные — нулю звука, т. е. функционально слабые редуцированные превратились в «нуль звука». В гипотезе В. М. Маркова есть одна важная особенность: фонологическое изменение («ослабление восприятия слабого редуцированного») предшествует фонетическому изменению, т. е. фонологически слабые редуцированные равны нулю звука, но фонетически они продолжают сохраняться, что, видимо, важно для сохранения качества согласного в слоге. Таким образом, написания типа *гънити* (псл. *gnītī) и типа *гнати* (псл. *gъnati), которые в одинаковой степени не соответствуют этимологии, отражают в сущности одно и то же явление, а именно: фонологическое и фонетическое совпадение старой и новой групп согласных — др.-рус. gn < псл. *gn, *gъn. При этом пропуск ъ отражает дефонологизацию /ъ/, но не указывает на фонетическую утрату [ъ].

Гипотеза В. М. Маркова, в частности аспект, связанный с развитием неорганической гласности, получает, видимо, новое подтверждение. В пользу этой гипотезы, возможно, свидетельствует материал упомянутого выше древнейшего восточнославянского письменного памятни-

¹ Марков В. М. К истории редуцированных гласных... С. 263.

ка Новгородского кодекса начала XI в. А. А. Зализняк утверждает, что в его «скрытых» (т. е. не очень надежно реконструируемых процарапанных или слабо отпечатавшихся на деревянной подложке воска) текстах часто встречается неэтиологический вставной ъ между шумным согласным и сонантом: *вѣтъръ, огънъ, жиынъ, жъзъломъ, въскли-кънѣтѣ* и др.¹ Впрочем, материал этих «скрытых» текстов является сугубо гипотетическим.

Еще одной особенностью древнерусских рукописей XI–начала XII в. является написание букв, соответствующих другим гласным, на месте редуцированных. Имеются в виду такие написания, как *вѣсѣхъ, скрѣбныи, на криѣтѣ, кото, дамы, дова* и подобные. Их нельзя рассматривать как простые описки, поскольку касаются они только редуцированных в слабой позиции (причем без противопоставления написаний в слабой и абсолютно слабой позициях). Эти написания не следует также ставить в связь с гипотетическим книжным произношением, так как, наряду с позиционной обусловленностью, для них характерно не только о и є, но также и и, ы, оу. В. В. Колесов рассматривает подобные написания как отражение межслоговой ассимиляции в зависимости от степени подъема гласного следующего слога². Если такая интерпретация верна, то в принципе эти написания косвенно подтверждают фонетическое сохранение слабого редуцированного, но в то же время отражают его фонологическую неустойчивость и подверженность ассимиляциям.

В принципе можно предполагать, что дефонологизация слабых редуцированных могла происходить не только в форме совпадения их с нулем звука и фонетической утраты. Теоретически вполне допустима дефонологизация слабых редуцированных путем их вокализации, т. е. прояснения в гласные /o/ и /e/, что, в общем-то, и произошло в ряде позиций, в частности в так называемых непроизносимых группах согласных (ср. *снъха, двъри* и мн. др.). Некоторые исследователи предполагают, что, возможно, наиболее последовательно такое прояснение слабых редуцированных проводилось в языке полабских славян. Что касается соответствующих написаний в древнерусских рукописях XI–XII вв., то не исключено, что они отражают поиски системы путем нащупывающего выбора в том же направлении. То же самое можно сказать и о тех особенностях графики и орфографии новгородских берестяных грамот, которые многие рассматривают и объясняют как особенности «некнижной графической системы», находящейся в зависимости от «книжного произношения». Возможно, эти особенности отражают

¹ Зализняк А. А., Янин В. Л. Новгородский кодекс... С. 9.

² Колесов В. В. К фонетической характеристике редуцированных гласных в русском языке XI в. // ВЯ. 1968. № 4. С. 84.

особое развитие редуцированных гласных в новгородском диалекте, где на некоторых этапах «падения» в определенном синтагматическом контексте могли «проясниться» и слабые редуцированные.

Морфологически изолированные редуцированные: абсолютно сильная позиция

Как было отмечено выше, падение редуцированных гласных в древнерусском языке выражается «правилом Потебни–Гавлика», согласно которому /ъ/ и /ь/ в слабой позиции исчезают, а в сильной переходят в гласные /о/ и /е/. Понятно, что термины *сильная* и *слабая* позиция не имеют здесь фонологического содержания. Редуцированные гласные дефонологизовались во всех позициях, а значит, с точки зрения конечного результата данного изменения, фонологически слабыми были редуцированные не только в тех позициях, которые традиционно называются слабыми, но и в так называемых сильных позициях. Традиционная терминология, однако, оправдана, если принять во внимание тот общеизвестный факт, что само падение редуцированных началось с дефонологизации редуцированных именно в слабых позициях при сохранении их в сильных. На начальном этапе изменения так называемые сильные редуцированные сохраняли свою фонологическую силу, функционально противопоставляясь не только гласным /о/ и /е/, но, видимо, и собственно слабым редуцированным. Впрочем, такое положение могло сложиться не в связи с конфигурацией парадигматической системы фонем, а могло быть вызвано общефонетическими факторами, главным из которых было то обстоятельство, что в синтагматической цепи не могли выпасть все редуцированные, даже если с точки зрения парадигматической системы фонем они были фонологически слабыми и подлежали дефонологизации. Другая теоретическая возможность дефонологизации редуцированных — слияние как сильных, так и слабых с парадигматически сильными фонемами /о/ и /е/ — тоже как будто подтверждается данными некоторых древних славянских диалектов, где вокализуются и сильные, и слабые редуцированные.

Изучение древних рукописей показало недостаточность выделения только сильных и слабых позиций для полного описания процесса падения редуцированных. В русистике было выдвинуто понятие «абсолютно слабой позиции», т. е. такой позиции, в которой слабый редуцированный не чередовался с сильным в данном корне: *мъног-*, *кънѧз-* и т. п. (И. А. Фалев). В дальнейшем происходило уточнение набора таких морфем, к которым отдельные ученые стали, например, относить также корни *въс-* и *չъл-*, где корневые /ъ/ и /ь/ в XI в. были фонологически безударными, а значит, слабыми (В. В. Колесов), а также фонетиче-

ское обоснование возможности функционального «опустошения» фонем /ъ/ и /ь/ как следствия развития неорганических редуцированных (В. М. Марков).

Древнейшие рукописи (до середины XII в.) отражают пропуск еров главным образом в абсолютно слабой позиции. Как мы показали в предыдущих разделах, существуют две интерпретации этого факта. Согласно морфолого-фонематическому (морфонологическому) подходу исчезновение /ъ/ и /ь/ в абсолютно слабой позиции (в XI в.) предшествует по времени их утрате в слабой позиции (в XII в.), что более или менее прямо и отражается в пропусках ъ, ь соответствующими рукописями. Другой подход — морфолого-орфографический — предполагает одновременную утрату редуцированных во всех позициях (уже в XI в.), а пропуск ъ, ь в абсолютно слабой (= непроверяемой) позиции объясняет невозможностью «проверки» по сильной позиции (Г. А. Хабургаев). Положения первого подхода (И. А. Фалев, В. М. Марков, В. В. Колесов и др.) представляются нам более убедительными, хотя аргументы в пользу и того и другого подхода являются в основном косвенными. Существенно, что ряд фонетических изменений, зафиксированных в процессе осуществления, в частности в диалектах русского языка, подтверждают именно лингвистический характер абсолютно слабой, а в более широком смысле — изолированной (морфологически) позиции фонемы в процессе синтагматического фонологического изменения. Например, в говоре района Рузы (Московская обл.) переход /k'i > t'i/ осуществлялся только в изолированной (абсолютно слабой) позиции: /t'i/ слый, /t'i/ирпич; но ру/k'i/ ~ ру/ka/, и лишь затем распространялся на другие позиции: ру/k'i/ > ру/t'i/. Аналогичная последовательность изменения по позициям вполне вероятна и для процесса падения редуцированных. Более того, именно в абсолютно слабой позиции еще на самом раннем этапе изменения, видимо, вырабатывалась общая стратегия изменения редуцированных гласных, а именно в направлении слияния сильных редуцированных с /o/ и /e/, о чем могут свидетельствовать написания о, ё на месте ъ, ь в рукописях XI в., т. е. еще до падения слабых: ср. кото, седе, золо, дова и т. п. Полагаем, что это связано именно с морфологической изолированностью позиции, т. е. с неучастием в чередованиях. Как мы уже отметили, существует альтернативная точка зрения на подобные написания, связывающая их с особенностями так называемого книжного произношения редуцированных (Б. А. Успенский).

Поскольку с точки зрения типологии фонологических изменений падение редуцированных можно охарактеризовать как «частичную утрату со слиянием в результате щепления фонемы», т. е. процесс состоит как бы из двух изменений — элизии (слабых редуцированных) и слияния (сильных редуцированных с фонемами /o/ и /e/), можно предположить

существование и «абсолютно сильной позиции», т. е. такой позиции сильного редуцированного, когда он в данной морфеме не чередуется со слабым. Впервые эту идею высказала О. В. Малкова¹. В таком случае за слогом с абсолютно сильным должен следовать слог с абсолютно слабым редуцированным: ср. *въсьде*, *тъкъмо*, *тъчию*, *бъхъма* и т. п. Впрочем, такие случаи крайне малочисленны и ограничиваются кругом неизменяемых слов, как правило, наречий. Тем не менее взгляды ученых по этому вопросу менялись в сторону признания абсолютно сильной позиции. Например, В. В. Колесов в 1960-е гг. еще проявлял колебания относительно признания абсолютно слабых позиций², а позднее независимо от О. В. Малковой посвятил абсолютно сильным редуцированным целый параграф своей «Исторической фонетики русского языка»³.

Для понимания абсолютно сильной позиции редуцированных представляется целесообразным различать понятие *корня*, которое является понятием этимологического анализа, и понятие *основы слова*, связанное с живыми отношениями формо- и словообразовательного характера. В таком случае абсолютно сильную позицию можно определить как позицию, в которой сильный редуцированный не вступает в чередования со слабым редуцированным в словоформах данной лексемы. Например, во всех формах глаголов типа *ръпътати*, *шъпътати* первый редуцированный находится в абсолютно сильной позиции, в отличие, например, от такого же (по порядковому номеру в морфеме) редуцированного в формах косвенных падежей существительного *ръпъта*, *-оу* *шъпъта*, *-оу*. В последних примерах первый редуцированный не является изолированным (абсолютно сильным), поскольку чередуется со слабым, который проявляется в Им. ед. той же лексемы — *ръпътъ*, *шъпътъ*. Аналогичное соотношение наблюдается в местоименных и именных формах прилагательных: ср. *тъмыни*, *-а*, *-оу* — *тъмынъ* ~ *тъмына*, *-о*; *пользъни*, *-а*, *-оу*... — *пользънъ* ~ *пользъна*, *-о*. Абсолютно сильный редуцированный обнаружим также в словах *тъмыница*, *таръмыникъ*, *лъчъбъноу* и мн. др. При таком понимании флексия соотносится с основой слова, поэтому редуцированные во флексиях *-ъмъ*, *-ъхъ* можно также считать находящимися в абсолютно сильной позиции.

Наиболее ранние случаи прояснения редуцированных в рукописях XII в. приходятся именно на абсолютно сильные позиции. В качестве

¹ Малкова О. В. Редуцированные гласные в Добриловом евангелии 1164 года: Автограф. канд. дис. М., 1967. С. 13.

² Колесов В. В. Введение в историческую фонологию. I. Система и изменение (на материале русского языка): Конспект лекций. Сегед, 1972. С. 15.

³ Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. С. 115–116.

примера можно привести памятник 1-й половины XII в. Толстовскую псалтырь (РНБ, F n 123), в которой буквы ъ, ь заменяются буквами ѿ, є в следующих группах примеров:

1) в абсолютно сильной позиции: **рёвъноуи, шепълахоу, полезъствоуєть, праведыныи, псаломъскыи, праведыникъ, весьде** и др.;

2) а) в суффиксе **-ък-** (соотносился с суффиксом **-ок-**): **кротокъ, начатокъ; б) в суффиксе -ын-** (соотносился с суффиксом причастия **-ен-**): **празднъ, свободенъ.**

3) в сильной позиции под перенесенным с конечного слабого редуцированного ударением (главным образом в новых односложных словоформах): **дождъ, честь, месть, левъ, дверь, орелъ** и под.

Если примеры второй группы можно рассматривать как появившиеся в результате суффиксальной (морфологической) индукции, то третья группа представляет собой своего рода абсолютно сильную акцентологическую позицию. Эти примеры указывают на то, что в языке писца уже завершился перенос ударения с конечных редуцированных и произошла фонологизация ударения. Особенностью Толстовской псалтыри, кстати, является систематическое сохранение ъ, ь на месте слабых редуцированных, что отводит предположение о влиянии протографа или церковного произношения на написание им ѿ, є на месте сильных редуцированных. Полагаем, что следует рассматривать такие написания как отражение живой речи писца.

Возможно, для определения абсолютно слабой позиции также следовало бы воспользоваться понятием основы, а не корня, так как, например, корень **път-**, традиционно относимый к корням с абсолютно слабым редуцированным, встречается в производных **пътица** (действительно с изолированным ъ) и **пътъка** (с сильным ъ, который вступает в чередование со слабым: ср. Род. мн. **пътъкъ**). Но тогда пришлось бы значительно расширить количество слов с абсолютно слабыми редуцированными, признав таковыми **ръпътати, красыны** и т. п., что явно обессмыслило бы понятие абсолютно слабой позиции. Не исключено, что внутри процесса падения редуцированных гласных проходил некий важный водораздел между двумя эпохами, когда изменился характер морфологической и словообразовательной структуры древнерусского слова, изменилось ее восприятие носителем языка. До XI в. и в XI — начале XII в., т. е. в период утраты редуцированных в абсолютно слабой позиции, еще важен корень, связывающий этимологическое гнездо в единое целое (это приходится отразить и в понимании и определении абсолютно слабой позиции). В XII в. (и позднее) — в период изменения абсолютно сильных редуцированных — центральное место занимает основа слова, происходят активные процессы дезимологизации, дальнейшей дифференциации существительного и прилагательного, полной и краткой форм

последнего, изменения мотивации в словообразовательных отношениях (например, у тех же полных и кратких прилагательных), более активное взаимодействие аффиксов (-ък- : -ок-, -ън- : -ен-).

Для обеих «абсолютных» позиций характерно преобладание морфологической составляющей (это морфологически изолированные позиции); для «неабсолютных» — фонетического (ср. роль тех или иных сочетаний согласных, которые возникают в результате выпадения еров). Общая схема падения редуцированных гласных в древнерусском языке такова, что изменение начинается (утрата абсолютно слабых в XI в.) и заканчивается (изменения по аналогии в XIII–XV вв.) на морфонологическом уровне. Рассмотрение морфологически изолированных позиций в ходе разных фонологических изменений должно стать одним из объектов исторической фонологии и морфонологии таких языков — с развитой флексией и чередованиями, — как русский.

Диалектные особенности падения редуцированных гласных и некоторые вопросы хронологии

По мнению большинства историков русского языка, у восточных славян наиболее активно процесс падения (дефонологизация) редуцированных гласных происходит в XII в. В силу особого значения данного фонетического изменения вопрос хронологии является весьма существенным. Однако до сих пор имеются разногласия, касающиеся как абсолютной, так и относительной хронологии тех частных изменений, которые традиционно объединяются термином «падение редуцированных гласных».

Традиционный взгляд на хронологию падения редуцированных у восточных славян предполагает, что в юго-западных областях Древней Руси начало активного процесса падения редуцированных падает на 1-ю половину и середину XII в. (Добрилово евангелие 1164 г. отражает завершение синтагматического этапа прояснения сильных редуцированных), а в северо-западных областях (Новгород, Псков) этот процесс «запаздывает» приблизительно на столетие. Что касается северо-восточных земель, то есть основания предполагать, что прояснение сильных редуцированных завершается здесь в начале XIII в.

Существует и структурно-фонологическая, а не хронологическая интерпретация расхождений между южными и северными древнерусскими говорами. Так, В. В. Колесов полагает, что «причины расхождения по говорам — различное распределение признаков между гласными и согласными прежде единой силлабемы, а вовсе не разное время

утраты редуцированных»¹. Но это не противоречит тому, что такое важное фонологическое изменение, как вторичное смягчение полумягких, которое затронуло именно распределение признаков между гласными и согласными, могло, начавшись на ранних стадиях падения редуцированных, приостановить течение этого процесса. Отставание северо-восточных говоров от юго-западных в проведении падения редуцированных было вызвано тем, что в них началось вторичное смягчение, которое отсутствовало в юго-западных говорах. Северо-западные говоры также, по-видимому, переживали процессы, сходные с «вторичным смягчением», хотя здесь они проходили другим путем (обобщение палатального ряда на Северо-Западе, в отличие от обобщения палатализованного ряда на Северо-Востоке).

Рассматриваемое расхождение в хронологии падения редуцированных между северными и южными говорами находит любопытное отражение в рукописях XII–XIV вв. Южнорусские (юго-западные = древнеукраинские) рукописи отражают прояснение сильного /ъ/ во всех морфемах практически одновременно. В то же время многие рукописи северного происхождения XIII–XIV вв., отражая прояснение /ъ/ в корнях, суффиксах и окончаниях, либо вовсе не имеют написаний с о в предлогах-приставках, либо ограничивают такие написания только приставками и «адвербиализованными» сочетаниями типа со мною, во что и т. п. В конечном счете подобное различие в распределении форм вызвано различиями в прохождении падения редуцированных.

В предлогах и приставках /ъ/ синтагматически мог находиться в сильной и слабой позициях в зависимости от гласного следующего слога, что в результате так называемого падения редуцированных гласных давало разные рефлексы: ср. съ кънѧзъмъ > со кнѧземъ, но — въ дворъ > в дворъ. Обычно считают, что закономерные отношения нарушались вследствие аналогических процессов (так называемых изменений по аналогии), в результате которых возникли фонетически незакономерные формы типа с кнѧзем (вместо со кнѧзем) и во двор (вместо в двор). Таким образом, на фонетическом этапе падения редуцированных ожидается «прояснение» предложно-приставочного /ъ/ в /о/ перед слогом с абсолютно слабым (= морфологически изолированным, т. е. не чередующимся с сильным в составе морфемы) редуцированным.

Однако в отношении данной позиции имеются определенные различия между показаниями древнерусских и древнеукраинских (термины указывают не на этническую, а на территориальную принадлежность писцов) рукописей. Например, один из древнейших памятников, последовательно отражающих в орфографии прояснение сильных редуцированных, южное (древнеукраинское) Добролово евангелие 1164 г.

¹ Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. С. 120.

регулярно фиксирует написания **во дѣѣ, со книжники, надо многыми** (< въ дѣѣ, съ книжники, надъ многыми) и др. В то же время рукописи XII–XIV вв. не южного (т. е. собственно русского происхождения — Толстовская псалтырь XII в.¹, Устюжская кормчая XIII–XIV вв.², 1-й и 2-й почерки Синодального списка I Новгородской летописи³ и др.), отражая вокализацию сильных редуцированных в корнях, суффиксах и окончаниях, либо вовсе не имеют написаний с о в предлогах (особенно перед слогом, содержавшим морфологически изолированный редуцированный) и приставках, либо ограничивают круг таких написаний только приставочными формами и примыкающими к ним сочетаниями предлогов с местоимениями (со мною, ко всѣмъ, во что и подобные).

Сохранение в рукописях ъ на месте предложно-приставочного сильного /ъ/ принято объяснять сдерживающим влиянием орфографической традиции, которая проявлялась особенно сильно именно в отношении предлогов и приставок. Однако как тогда объяснить регулярное написание о на месте ъ в предложно-местоименных сочетаниях? Да и само расхождение между древнерусскими и древнеукраинскими памятниками: почему южные писцы смогли избежать сдерживающего влияния традиционной орфографии применительно к предложно-приставочным формам? Но в любом случае орфографическое объяснение представляется нам недостаточным: в основе орфографического различия применительно к памятникам XII–XIV вв. должны были лежать какие-то собственно языковые причины. Кстати, мы совсем не отрицаем сдерживающего влияния орфографической традиции на написания предлогов и приставок. Оно проявляется в том же Добриловом евангелии 1164 г., где, например, в приставках въ-, съ-, въз- соотношение написаний с о и ъ на месте сильного редуцированного — 60 и 190, в то время как в корнях — 809 и 34⁴.

Итак, мы исходим из того, что за орфографией в таких случаях скрывается живое произношение, и принимаем во внимание следующие два обстоятельства. Во-первых, следует учитывать принципиальную возможность специфического функционирования приставок и особенно предлогов в процессе вокализации сильных редуцированных. В частности, уже то, что предлог отделен от корня, имевшего слабый редуцированный, межсловной границей, содержало в себе внутреннее

¹ Попов М. Б. Некоторые вопросы относительной хронологии изменений редуцированных гласных в древнерусском языке // Проблемы комплексного анализа языка и речи. Л., 1982. С. 22–28.

² Ушаков В. Е. О языке Устюжской кормчей XIII–XIV вв. Киров, 1961. С. 28–29.

³ Ляпунов Б. М. Исследование о языке Синодального списка 1-й Новгородской летописи // Исследования по русскому языку. Т. 2. Вып. 2. СПб., 1900.

⁴ Малкова О. В. О принципе деления редуцированных... С. 105; Она же. Редуцированные гласные в Добриловом евангелии...

противоречие, обусловившее различные результаты изменения по диалектам. Во-вторых, в ряде случаев, а именно в приставочных образованиях и в сочетаниях предлогов с местоимениями, где фактор межсловной границы в известной степени нейтрализован, имело место более раннее закрепление вокализованного варианта (ср. такие формы, как *сомлю*, *во что* и т. п., часто отмечаемые в рукописях). Следует иметь в виду также высокую частотность предложно-местоименных сочетаний в речи, что могло препятствовать обобщению слабого ъ в результате возможной морфонологической индукции со стороны форм типа *въ дворъ* еще накануне падения редуцированных. Последнее обстоятельство — возможность аналогического взаимодействия сильных и слабых редуцированных — нельзя сбрасывать со счетов, если учесть, что сильные и слабые редуцированные накануне падения скорее всего являлись самостоятельными фонемами, а не оттенками одной фонемы.

В связи с данной проблемой обращает на себя внимание тот факт, что украинские говоры в целом более последовательно, чем русские, осуществляют оттяжку ударения на предлог. Однако не совсем ясно, является ли это следствием последовательной вокализации предлогов или одной из причин вокализации (по крайней мере, одним из условий, способствовавших ее проведению). Во всяком случае, представляется, что время и особенности фонологизации ударения в разных древних восточнославянских диалектах во многом определяли специфику прохождения падения редуцированных.

Обсуждаемое нами различие в древнеукраинских и древнерусских памятниках может быть связано с разницей во времени прояснения сильных редуцированных в различных диалектах восточных славян. Со времен А. А. Шахматова принято считать, что в южных (древнеукраинских) диалектах общевосточнославянского языкового континуума падение редуцированных завершилось в середине XII в. — на сто лет раньше, чем в северных (т. е. собственно древнерусских). В. В. Колесов предположил, что «процесс падения редуцированных начался рано, еще до вторичного смягчения согласных, но затем на время приостановился в связи с начавшимся вторичным смягчением и перераспределением фонемных признаков между 〈ъ〉 и 〈ъ〉 (два столь важных преобразования не могли происходить одновременно, иначе бы нарушилась фонетическая структура словоформ)»¹. Поскольку древнеукраинские говоры в основной своей массе, видимо, не осуществили вторичного смягчения согласных², то они завершили процесс падения редуцированных к середине XII в., а

¹ Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. С. 109–110.

² Впрочем, широко распространена иная точка зрения. См. изложение основных взглядов на данную проблему в работе: Малкова О. В. Имело ли место вторичное смягчение согласных перед [е], [и] в диалектах южной зоны древнерусского языка? // ВЯ. 1980. № 6. С. 78–80.

древнеукраинские памятники соответственно отразили синтагматический этап прояснения /ъ/ в предлогах последовательно. Собственно же древнерусские говоры, утратив к XII в. абсолютно слабые редуцированные, переключились на вторичное смягчение, в связи с чем начали прояснение сильных редуцированных позднее. Этим можно объяснить отсутствие написаний с о в предлогах перед слогом с выпавшим абсолютно слабым редуцированным в собственно древнерусских памятниках.

Итак, рассмотренное нами различие в южных (украинских) и северных древнерусских рукописях в конечном счете вызвано различиями в прохождении процесса падения редуцированных, а также, возможно, и вторичного смягчения согласных, о механизме и хронологии которого трудно судить по материалу памятников. В юго-западных древнерусских говорах падение редуцированных, начавшись в конце XI в., завершилось во 2-й половине XII в. В северных говорах фонологическая утрата абсолютно слабых редуцированных также началась в конце XI в., но вскоре — в начале XII в. — общее падение слабых было, видимо, прервано вторичным смягчением согласных. Южные говоры, не переживавшие «вторичного смягчения», полностью завершили синтагматический этап вокализации редуцированных в середине XII в., в том числе и перед абсолютно слабыми, а рукописи последовательно отразили это прояснение в предлогах. Северные же говоры, утратив к XII в. абсолютно слабые редуцированные, не успели начать вокализацию сильных. Этим была обусловлена возможность функционального сближения и совпадения «исконных» и «новых» (содержавших ранее абсолютно слабый редуцированный) групп согласных, в результате чего предлоги обобщили слабый редуцированный в положении перед слогом, содержавшим этимологический абсолютно слабый редуцированный, что дало его «непрояснение», отразившееся в отсутствии написаний с о в предлогах.

В отношении обеспеченности источниками новгородский диалект находится в более выгодном положении, чем другие диалекты древнерусского языка. Так, до нас дошли, начиная с XI в., как книжные, так и некнижные (берестяные грамоты, граффити) новгородские письменные памятники. Это позволяет уже начиная с XI в. сравнивать ход падения редуцированных отдельно по новгородским рукописным книгам и по берестяным грамотам. Существует и активно разрабатывается гипотеза, согласно которой первые представляют «книжную», а вторые «бытовую» графическую систему, что, в частности, особенно ярко проявляется именно в отражении редуцированных гласных (яркой особенностью «некнижной» системы является использование такого графического приема, как беспорядочное смешение букв о и ъ, е и ѹ)¹.

¹ Зализняк А. А. Наблюдения над берестяными грамотами // История русского языка в древнейший период / Под ред. К. В. Горшковой. М., 1984. С. 36–153. Выше — в разделе о книжном произношении — уже говорилось о том, как представляют генезис этого графического приема сторонники данной гипотезы.

Данные берестяных грамот свидетельствуют, что падение редуцированных в новгородском диалекте «наметилось уже в XI в. ...но в основном протекало в XII в. и в начале XIII в. практически завершилось»¹. Позднее А. А. Зализняк уточнил, что если начало утраты конечных редуцированных относится, по крайней мере, к концу XI — началу XII в., то «падение неконечных слабых редуцированных продолжалось около ста лет: примерно со 2-й четверти XII в. по 10-е гг. XIII в.»² Оказывается, что для установления хронологии падения редуцированных берестяные грамоты не являются более надежным источником, чем рукописные книги. Новгородские берестяные грамоты не дают принципиально новой датировки падения редуцированных. Некоторое «отставание» книжного рукописного источника от бытовых берестяных грамот в отражении падения редуцированных гласных понятно: писец рукописной книги в большей степени ориентируется на полный тип произнесения, а берестяные грамоты в большей степени отражают аллегорическое произношение.

Выше уже говорилось о том, что для многих берестяных грамот, начиная с XII в., характерен особый графический прием — беспорядочное смешение ъ ~ օ, ь ~ ے. Традиционно такое смешение рассматривали как следствие прояснения сильных редуцированных. Однако, как мы отметили, имеются и другие гипотезы, в частности связанные со взаимодействием книжного и живого произношения. Правомерна также постановка вопроса о том, в какой степени беспорядочное смешение ъ ~ օ, ь ~ ے в новгородских берестяных грамотах связано с более длительным сохранением слабых редуцированных на Севере и с некоторыми особенностями звукового строя севернорусских говоров (особая слоговая структура, развитие второго полногласия и др.).

Слабые редуцированные на завершающем этапе: проблема «нефонематической гласности»

Изменения на морфонологическом уровне, связанные с падением редуцированных — морфологизация возникших чередований с «нулем звука», преобразование моделей, стабилизация фонологической структуры морфем, — происходили на протяжении XIII–XV вв. Этот последний, завершающий этап падения редуцированных можно условно назвать

¹ Зализняк А. А. Комментарий и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951–1983 гг.) // Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). М., 1986. С. 124.

² Он же. Падение редуцированных по данным берестяных грамот // Русистика сегодня. Функционирование языка: лексика и грамматика. М., 1993. С. 270.

морфонологическим. Начало морфонологических преобразований есть показатель завершения синтагматического и парадигматического этапов фонемного изменения. На морфонологическом этапе происходит восстановление нарушенного единства морфемы путем морфологизации возникших чередований.

В. В. Колесов отметил, что после завершения собственно фонемных изменений имелось два возможных пути дальнейшего развития системы: либо она закрепляла фонетический этап, не доходя до аналогических морфонологических процессов, либо приводила к перераспределению чередований и выравниванию форм. Первый путь прошли северорусские говоры, сохранившие отношения *тестъ : цтя*, *лед : леда* и т. п., второй представлен южнорусскими говорами, в которых происходило выравнивание *тестъ : тестя*, *лед : льда* и т. д. Главную причину такого расхождения В. В. Колесов видит не в разновременности прохождения процесса падения редуцированных, а в особенностях фонологических систем данных говоров, которые сформировались в результате разложения силлабемы¹.

Особую роль в процессах аналогического выравнивания форм играли те слабые редуцированные, которые не пали до прояснения сильных редуцированных. На синтагматическом этапе утрата слабых /ъ, ь/ не могла завершиться полностью до начала перехода сильных аллофонов в /о, е/, что объяснялось ограничениями, накладываемыми на новые отношения фонологической системой эпохи открытого слога (имеется в виду сложность некоторых групп согласных). Но в некоторых положениях слабые редуцированные сохранялись и после полной вокализации сильных, которая в основной массе контекстов проходила быстро и последовательно. Поскольку после завершения перехода сильных /ъ, ь/ > /о, е/ произошла дефонологизация редуцированных, продолжавшихся сохраняться в определенных условиях слабые редуцированные можно было бы рассматривать как стилистические варианты фонем /о, е/ или нуля звука.

Большинство историков русского языка считает, что слабые редуцированные действительно могли «задерживаться» вплоть до XIV–XV вв. и даже до настоящего времени, а затем утрачиваться или проясняться в гласные полного образования. С другой стороны, возможна иная интерпретация: редуцированные сначала исчезали в соответствии с фонетическим законом, а затем возникали вторичные вставочные гласные также фонетическим путем. Одним из первых решения данной альтернативы предложил А. А. Потебня, который, исходя из положения о том, что «исчезновение глухих происходило разновременно», причем «не только в разных говорах, но и в том же говоре в разных разрядах

¹ Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. С. 119–120.

слов», отверг возможность того, что «сначала древние глухие исчезли, а потом независимо от них появились новые глухие же или чистые»¹.

Позднее Б. М. Ляпунов ставил проблему несколько иначе: в каких случаях в современных говорах «неслоговые гласные» являются паразитными, а в каких восходят к древним редуцированным? Он отмечал, что явление вставочной гласности «всёма распространено и чревато последствиями», что оно «проходит цепью по всей истории славянских наречий с древнейших времен до настоящего времени»². Тем самым проблема была переведена в другую плоскость, но оставалась открытой. Пафос лингвистов, отстаивавших длительное сохранение редуцированных, во многом был направлен на то, чтобы доказать, что «неслоговые гласные», зафиксированные в большом количестве в говорах, особенно в северновеликорусских, и даже некоторые «паразитные» гласные в литературном языке и есть древние редуцированные, хотя видоизменившиеся. В частности, А. А. Потебня утверждал даже, что в диалектном *Курескъ /ě/* восходит непосредственно к др.-рус. /ь/, который не «прояснялся» в /e/, подкрепляя это предположение тем, что в русском языке опущение чистого гласного вообще редко³. Такое решение в целом неприемлемо, хотя в некоторых (особенно северных) говорах, не затронутых редукционными процессами, /и/ или /е/ на месте древних глухих в суффиксах или на конце слов, возможно, действительно являются продолжением этих древних глухих, как полагал А. А. Потебня⁴. В последнее время интерес к подобным проблемам связан с работами В. М. Маркова и О. В. Малковой, которые решают их в разных аспектах и на различном материале.

Не выпавшие и не прояснившиеся этимологически редуцированные вместе с новыми неэтимологическими гласными призвуками на завершающем этапе падения редуцированных получают особый фонологический статус «нефонематической гласности» (НФГ) — /ə/, противостоя, с одной стороны, фонемам /о, е/, а с другой — «нулю звука». Эта временная, неустойчивая фонологическая оппозиция, как и активность НФГ, находит отражение в орфографии рукописей.

Однако картина осложнялась тем, что существовал еще один источник появления звуковых сегментов, сходных с сохранявшимися слабыми редуцированными: после падения редуцированных сочетания шумных согласных с глайдами переходили в класс согласных, что на синтагматическом уровне могло сопровождаться разложением глайда

¹ Потебня А. А. Отзыв о сочинении А. Соболевского... С. 809.

² Ляпунов Б. М. Несколько слов по поводу замечаний профессора А. И. Соболевского. С. 261.

³ Потебня А. А. К истории звуков... С. 36–37.

⁴ Там же. С. 44.

на шумный и гласный неопределенного качества типа старого редуцированного. Фактически эти гласные призвуки являются рефлексами тех неорганических редуцированных, которые, по В. М. Маркову, возникли накануне падения редуцированных. Большинство возникших таким образом вставочных гласных не было обусловлено морфонологическими чередованиями и находилось в морфологически изолированной позиции, что затрудняло их фонологизацию и отражение на письме. Ряд рукописей XIV–XV вв. отражает эти паразитические гласные призвуки, которые, даже находясь в изолированной позиции, могут обозначаться не только графемами ъ, ъ и паерком, но и о, е. В качестве иллюстрации приведем материал наиболее характерных в этом отношении рукописей¹.

Сийское евангелие 1340 г.² (1-й почерк): 1) в исконных и новых группах согласных (написания с о, е, и): ало/чють, -юще 69 (ср. алчють, алкати 69), велезаулъ 71 (ср. вельзаулъ 70), до/недеже 35, доне/деже 199об (ср. дондеже 32, 64об, 200, доньдеже 25об, 35), воло/хвомъ 200, сковозъ 82, 95, 96, 106 (ср. сквозъ 103), сковернить 82, осковернити 82 — 2х, -юща 82, нико/то 28об, бо/чель 26, чеваномъ 81 (ср. чванъ 81об), погыбенеть 4об, 7, 33 (ср. погыбнеть 20об и др.), съблажненеться 48об, въскресе/нугти 54об, -еть 58об; пи/тицъ 40об, птицы 40об (ср. птица 113об, -и 47, птёнца 64об), писомъ 38об (ср. псомъ 82об, 85), оғсуми/нитесь 60об; 2) в сочетаниях типа «ТЪРТ»: доло/гъ 67 (ср. долгъ 67, 67об и др.), доложникъ 67, оғмоло/кни 68об (ср. оғмолкнета 69об — 2х), поло/нү 28об, наполо/ни 50 (ср. наполни 29об, -ена 30об, о-т-вере/жеться 36, о-т-верегуся 36, моло/ни 190об, молониу 196, оғмолоча 77, воло/нами 196, воло/хвомъ 200 (ср. волхво-м 200об, -ы 199 об), перестомъ 76, 104об (ср. перста 100об, пер/стъ 102), свере/шиги 110об (ср. свершити 110об), сквэре/нить 52об (ср. сквэр'нить 52).

Все примеры из 2-го почерка Сийского евангелия 1340 г. приходятся на конец строки: че/то 160, съ де/вѣма 127об, избераныя 133, де/ни 144об, 161об (ср. П XV³ — мо/нога 1, ско/ровены 3).

Пролог 1431–34 гг.⁴ — бо/лижняго 19, сто/ворю 20об, то/вердо 26об, посраме/ленъ 23, земе/лю 213об, по/рочими 28, те/рени 23, сково/зъ 51, посо/лѣдняя 137, ане/гель 180об, поховалиста 208об, по-мыш/е/ляя 210, распелевавши 210, мѣсо/то 226, со/вою 254, хворастъе 193об (ср. хворастъе 231), бысе/трину 216об, сущесте/вомъ 41, скоисто/вѣ-х 213об, множьс/тво 47, велеми 141 (ср. вельми 237, велми

¹ Здесь и далее в примерах из памятников я обозначаю как ю, так и ѿ.

² БАН. Археогр. Ком. 189 (далее — СЕ).

³ Пролог, июль–август (отрывки), XV в. БАН. 4. 9. 36.

⁴ РНБ. F n I 48.

207), **веле**можа 253, **веле/ми** 29, 112, 133, 207, **оставель** 248; в именах собственных только после сонанта: **Ано/дрѣянѣ** 144, **Ано/тугатъ** 235 (ср. **Антигатъ** 235об), **Ано/тония** 97об, **Гере/мана** 97об, **Самосоново** 88об, **Аре/сенья** 127, **Серегия** 109об, **Баро/сонофья** 128 (ср. **Барсонофъи** 128об), **Барофоломѣемъ** 235об (ср. **Барфломѣи** 235об). Особый интерес представляют аналогичные написания после плавных в позиции второго полногласия: **ввѣреженъ** 144, **ввѣре/женъ** 1006, -а 68об, **ввѣрѣгоша** 208, **коро/митель** 32об, **коро/мяшеся** 219об-2, **мерезъскими** 46, **свѣре/шая** 80, **свере/шения** 207об, **скоро/битъ** 84об, **оскоро/бимъ** 138, -иша 250, **о-т-верезаются** 94, **доло/готерпѣнѣ** 104об, **оумолочавъ** 135, в **молочаныи** 214об, **меретвяя** 231, **оумеретвнѣ** 221, -я 207, **сме/рети** 245об, **свере/шения** 207об, **полокъмъ** 208, **на торо/зѣхъ** 210, **толо/кущему** 239об, **терепѣти** 242, **перевыи** 247об, **горо/дость** 253об, **дерѣ/знихъ** 217, **пороплица** 227 (ср. **скорпию**, **скарпин** 63); ср. также **моланья** 130об с а (но **молны** 129об). Ср. написания с ъ, ы и паерком: 1) **долъжни** 18об, **толъста** 36, **вольхвуетъ** 33, **деръзнихъ** 95об, **выполъзнуша** 53, 54, **пополъзнетъ** 53об (ср. **въсползнет-ся** 167об), **коръмленыи** 164, **столъпникъ** 179об (ср. **столпоницѣ** 179об), **ото/лъстѣвъшию** 212об), **въ оутольстѣ** 74об, **коръм/ники** 175, **безмолъвь/ство** 215, **толъкнувшю** 140об, **оумерть/влю** 172 (ср. **ме/ртву** 173), **терьплю** 216об, 233об (ср. **терплю** 234), **жерътвами** 226, **перъстью** 143, **веръвми** 216, **вольхвъ** 26, **волькъ** 220об, **столъпъ** 139, 180, **о-т-верь/сть** 53, **съ/мерть** 214, 240, **паперть** 142об, **веръхъ** 219, **перъси** 17, **верътепъ** 182об, **долъженъ** 219; 2) **из'вѣр'тѣша** 93, **оумер'твнї** 75, **ввѣр'гоша** 12, **оумер'щваетъ** 94, **пер'вое** 130, **тол'кнї** 140об, **мол'чанин** 216. Отметим, что среди примеров с о, є отсутствуют такие, где бы эти графемы отражали вставочную гласность перед группой согласных или в новом закрытом слоге (перед выпавшим слабым редуцированным); наоборот, среди примеров с ъ, ы такие случаи преобладают. Имеются и написания, отражающие упрощение групп согласных: **оумер'щваетъ** 94, **мервяя** 228, **ввѣршє** 216. Видимо, примеры с оро, ере, оло не связаны непосредственно с развитием второго полногласия, особенно если учитывать большое количество аналогичных примеров в других позициях.

Следует обратить внимание на частые (в обеих рукописях их большинство) написания с о, є на конце строки. Это свидетельствуют о фонетической природе таких написаний, так как данное графическое условие, видимо, обостряет фонетическое внимание писца. Таким образом, материал древнерусской письменности XIII–XV вв. подтверждает существование стадии активности сохранявшихся слабых редуцированных.

Этап активности НФГ является необходимым и закономерным звеном в цепи фонологической эволюции от эпохи открытого слога

к современной системе. В отношении фонологического статуса /ə/ XIII–XV в. принципиально отличается как от «неорганических» редуцированных XI–XII вв., когда /ъ, ь/ еще входили в парадигматическую систему фонем, так и от различных «паразитических» гласных призвуков, разряжающих некоторые группы согласных в современном языке.

Итак, НФГ — это своего рода архаизм переходной фонологической системы, возникшей после дефонологизации редуцированных. Обладая определенной функциональной самостоятельностью, НФГ была широко использована на завершающем этапе падения редуцированных в качестве материальной базы многих изменений морфонологического характера. В частности, она выполняла важную в то время функцию дизъюнктора морфем, а также участвовала в морфонологических чередованиях типа /о, е/ : /ə/ (ср. *дождь* : *дъждя*, *мудрец* : *мъдрьци* и т. п.). Морфонологическая активность НФГ совпадает по времени с процессом морфологизации ударения, поэтому не исключена функциональная связь такого явления, как НФГ, с последующими редукционными процессами в системе вокализма, в частности с формированием различных типов аканья. В принципе, реконструкция этапа морфонологической активности /ə/ согласуется с взглядом на падение редуцированных гласных как на изменение, при котором фонологический сдвиг предшествует фонетическому изменению (В. М. Марков, Ю. С. Кудрявцев).

Данное явление необходимо всякий раз рассматривать в контексте фонологической системы. История русского языка в отношении «неонематической гласности» обнаруживает три сменяющих друг друга эпохи: 1) первая предшествует падению редуцированных и захватывает его начальный этап (НФГ в виде «неорганических» редуцированных гласных способна идентифицироваться с исконными *ъ, *ь, входящими в парадигматическую систему фонем, и подрывать их функциональный статус в условиях закона открытого слога); 2) вторая начинается после дефонологизации сильных редуцированных и охватывает морфонологический этап падения редуцированных (НФГ, фонетически продолжая старые этимологические и неэтимологические редуцированные гласные, обладает определенной функциональной самостоятельностью, которая позволяет ей сыграть выдающуюся роль в морфонологических процессах, а также в приспособлении к новым синтагматическим закономерностям после прекращения действия закона открытого слога); 3) третья эпоха наступает после возникновения редукции безударных гласных («неонематическая гласность» выступает в виде различных гласных вставок, функциональная ценность которых сведена к минимуму, хотя они факультативно могут быть идентифицированы с фонемами /а/ и /и/).

На роль вставочных гласных в осуществлении морфонологических процессов обратил внимание В. М. Марков. Рассматривая экспрессивные

глаголы с суффиксом *-ануть* < *-онуть* (ср. *толкануть*, *стукануть* и т. д.), он предположил, что суффиксальный гласный есть «результат прояснения вставочного звука (восходящего к неорганическому редуцированному. — М. П.), обвязанного своим закреплением и экспрессивности соответствующих образований... и необходимости семантического и формального (а отчасти и стилистического) противопоставления этой формирующейся категории глаголам на *-нуть*, и, наконец, ряду фонетических причин»¹. Один из древнейших рукописных примеров встретился нам в Прологе 1431–34 гг. — *двери толконувъ* 6 (ср. также приведенные выше написания *погибенеть*, *въскресенуты* из Сийского евангелия 1340 г.). Видимо, НФГ могла перемещаться внутри сложной группы согласных в целях оптимального ее использования морфонологической системой. Формирование новой морфемы на базе морфонологических вариантов представляет собой уже не морфонологическое, а морфологическое изменение.

Завершение падения редуцированных: морфонологические изменения

Основной единицей исторической морфонологии является морфонологическая модель морфологической (или словообразовательной) парадигмы. Содержанием изменения в морфонологической системе является переход слов из одной модели в другую (сингтагматическое изменение) или возникновение и утрата моделей (парадигматическое изменение). В процессе преобразования существенны три фактора: морфонологическая индукция со стороны конкурирующей модели, соотношение морфонологически противопоставленных форм внутри модели-парадигмы, вторичное взаимодействие словообразовательных парадигм. Сингтагматическое изменение не всегда приводит к парадигматическому сдвигу, так как нейтрализации (утрата) чередования в ряде позиций (которые часто обусловлены фонетически) есть необходимое условие морфонологизации возникших чередований, снятия их с фонологического уровня и закрепления как функционально обусловленных морфонологических моделей. В позиции нейтрализации обычно выступает наиболее распространенная «нулевая» модель (без чередования). Понятие нейтрализации описывает преобразование с точки зрения отношений внутри парадигмы, но отражает внешнепарадигматические

¹ Марков В. М. К истории редуцированных гласных. С. 121–122; Марков В. М. Проблема формирования самостоятельных морфем на основе противопоставления фонетических вариантов // Вопросы грамматического строя русского языка. Казань, 1970. С. 14–19.

связи. Движущая сила изменения заключена не внутри модели, а вне ее; отношения внутри модели-парадигмы являются условием приложения внешней системной силы. Морфонологическое изменение может быть «чисто морфонологическим», т. е. непосредственно не затрагивающим морфологические отношения в модели-парадигме. Такое преобразование в структуре чередования недвусмысленно указывает на самостоятельность морфонологического уровня, другой тип изменений связан с деформацией морфонологически выраженных грамматических противопоставлений в парадигме; но и такое изменение носит морфонологический характер, так как охватывает морфонологическую модель, а не морфологическую парадигму. Таким образом, по своей сути и механизму морфонологическое изменение отличается как от фонологического, так и от морфологического.

Представляется целесообразным различать два типа морфонологической индукции, которые существенны на морфонологическом этапе падения редуцированных. Они связаны с разными типами чередований по отношению к выражаемому ими значению. При парадигматической индукции происходит взаимодействие разных моделей одной морфологической парадигмы, причем индуцирующая модель переносит в индуцируемую свои отношения сильных и слабых падежей, выраженные наличием или отсутствием чередования: ср. *местъ : мсти* > *местъ : мѣсти* (индуцирующая модель — *вѣсть : вѣстъ*), *рѣвъ : рѣва* > *рѣвъ : рѣва* (по модели *сонъ : сна*), *Смоленскъ : Смоленска* > *Смоленскъ : Смоленска* (по модели *Изборскъ : Изборска*; в данном случае преобразование носит «чисто морфонологический» характер, затрагивающая структуру чередования, а не отношения в модели-парадигме). При структурной индукции взаимодействуют морфонологические синтагмы (модели словоформ); на первый план выходит «аналогия фонологического контекста», а морфологическому значению отводится второстепенная роль. После падения редуцированных гласных структурная морфонологическая индукция определяет формирование и развитие предложно-приставочного параллелизма: ср. *къ двору* > *ко двору* (как *ко мнѣ*, *ко сну*, *по двору* и т. п.).

Формирование предложно-приставочного параллелизма

Возникновение и развитие противопоставления вокализованных и невокализованных вариантов предлогов-приставок — одно из важных преобразований, которое происходило на морфонологическом этапе падения редуцированных. Предложно-приставочный параллелизм был обусловлен двумя обстоятельствами. Во-первых, в исходной системе

существовало несколько структурных типов предлогов-приставок: 1) с /ъ/ в исходе — въ, съ, къ, предлоги-приставки на -дъ (к этому типу примыкает приставка въз-, имеющая редуцированный в середине); 2) с исходом на другие гласные — по, до, за и т. д.; 3) с исходом на согласный — от, об (ср. варианты объ- и оби-, примыкающие к двум первым типам) и предлоги-приставки на -з. Потенциально существенно противопоставление предлогов и приставок (ср. также наличие «только предлогов», «только приставок» и «предлогов-приставок»). Во-вторых, /ъ/ в предлогах и приставках мог находиться в сильной и слабой позиции, что, по правилу Потебни-Гавлика, должно определяться характером гласного в следующем слоге фонетического слова.

А. Материал исследованных нами памятников XIII–XV вв. позволяет различать три разновидности слабой позиции предложно-приставочного /ъ/: А1 — положение перед одиночным неоднородным согласным, А2 — положение перед одиночным однородным согласным, А3 — положение перед группой согласных.

В А1 рукописи XIV в. при наличии некоторых колебаний в основном отражают полную утрату /ъ/. Сложнее обстоит дело с А2, где особое место занимает предлог-приставка въ в положении перед /в/. Целый ряд памятников (СНЛ-3, ПЕ 1317¹, СЕ 1340, М 1369², П XIV³) в этом случае регулярно сохраняет на письме ъ. Представляется, что здесь имеет место не графическое, а языковое явление: написания с ъ отражают «задержку» /ъ/, трансформировавшуюся в /а/, причем эта «задержка» связана, очевидно, с губно-губным образованием фонемы /в/. В пользу этого свидетельствуют написания с о, отражающие вокализацию /а/ в А2 (не только в предлоге-приставке въ): ср. СЕ 1340 — во върже 131 об, со женою 18, предо твою 202 об, 210 об и др.; П XIV — воверженъ 25, ко концемъ 39 об; ПС⁴ — со земнымъ 143, со собою 96 и др.; АД XIV⁵ — созижетъ 71; П 1431–34 — воводить 210, во велицѣ 107 об, со сестрою 219, сосудъ 211 и др. Однако уже в середине XIV в. положение начинает меняться: в ЧНЗ⁶, ЛЛ 1377⁷, ПП 1406⁸ и др. нормой являются написания с пропуском ъ.

Сохранение на письме ъ в А3 является давно замеченной чертой многих рукописей XIII–XIV вв., оно отражает «задержку» /ъ/, соответ-

¹ Пантелеймоново евангелие, 1317 г., БАН. 34. 5. 22.

² Минея на март, 1369 г., РНБ. Соф. 198.

³ Пролог, сентябрьская половина года, XIV в., БАН. 17. 11. 4.

⁴ Паисиевский сборник, конец XIV–XV вв. РНБ. Кир. /. Белоз. 4/1081.

⁵ Поучения и слова Аввы Дорофея, конец XIV в., РНБ, F n I 42.

⁶ Чудовской Новый Завет, середина XIV в.

⁷ Лаврентьевская летопись, 1377 г. РНБ. F n IV 2.

⁸ Киево-Печерский патерик, 1406 г. РНБ. Q n I 31.

ственno ъ обозначает /ə/. В соответствии с морфонологическими закономерностями системы /ə/ могла развиваться как в сторону /o/, так и в сторону «нуля звука», что находило отражение в орфографии рукописей. По соотношению написаний с ъ, о и с пропуском ъ в А3 исследованные рукописи группируются следующим образом: 1) рукописи, в которых отсутствуют написания с о, но имеются пропуски ъ (СНЛ-3 и ПЕ 1317), причем распределение форм различно: в СНЛ-3 ъ сохраняется только в предлогах, а в приставках всегда пропускается (за исключением таких случаев, как *съзвониша* 148, *съступившема* 159 и др., где /ъ/ находится в положении между однородными согласными; ср. *с запада* 120об, *с женами* 125, где /ъ/ находился не перед группой согласных); в ПЕ 1317 ъ может пропускаться в приставках только перед глухими согласными (ср. *створимъ* 8об, *с хранихъ* 19 и др., но *съблудутъ* 8об, *съгрѣшан* 9об и др.); 2) норма — написания с ъ при наличии отклонений, число которых колеблется от незначительного (в СЕ 1340, М 1369, П XIV, ПП 1406) до существенного (в ЛЛ 1377-1, Пар. XIV¹, АД XIV, КТ-1², СБ 1411³, ПЕ-1, 3⁴, П 1431–34, отчасти ПС); 3) норма — написания с пропуском ъ (ЧНЗ, ЛЛ 1377-2, КТ-2, отчасти ПС); 4) единственная рукопись, где в целом преобладают написания с о (особенно в приставках) — ПЕ-4. Материал рукописей противоречив: конкурирующие морфонологические варианты могут быть представлены в рамках одной рукописи и даже почерка: ср. в СЕ 1340 — *съблазнъ* 57 и *съблазномъ* 113, *со/твори* 83 и *створити* 45об, в П XIV — *впроси б* и *впроси 124* и т. п. Различия в орфографической норме рукописей одного времени или даже писцов одной рукописи объясняются особенностями писцовых школ или отдельных писцов в восприятии и отражении /ə/ либо диалектными различиями в прохождении процесса вокализации и утраты /ə/.

Развитие вокализованного варианта с /o/ происходит на базе фонологизации /ə/. На морфонологический характер процесса указывает, в частности, более высокая активность его прохождения в приставках: ср. в П XIV — *водворися* 128, но *въ дворъ* 46об, в ПП 1406 — *согрѣшихъ* 123, но *с' грѣхомъ* 61об и т. п. В глаголах новая модель выражается ярче: на почве формирования видовых отношений увеличивается возможность функционального использования чередования в приставке (вокализованный вариант, как правило, отмечается в глаголах совершенного вида: *согнити*, *водворити*, *соглачити*, *воплотити* и др.).

¹ Паремейник, XIV в. РНБ, Q п I 14.

² 1-й почерк Сборника поучений Кирилла Туровского, слов и чудес, XIV–XV вв. РНБ, Соф. 1261.

³ Сборник богослужебный (Канонник), 1411 г. РНБ. Соф. 399.

⁴ 1-й и 3-й почерки Пивоваровского евангелия, XIV–XV вв. БАН. 34. 7. 20.

В этом процессе несомненна индуцирующая роль приставок **по-** и **до-** (ср. **вопросити** как **попросити**). Широко представлено развитие вокализованных вариантов предлогов-приставок перед корнями с неполногласием типа **трат-**, **треt-**: наличие в системе литературного языка дублетных форм типа **городъ-градъ**, относящихся к разным стилистическим пластам, но связанных лексически, создавало условия для функционального наполнения чередования в корне, что, в свою очередь, обусловило закрепление чередования в предложно-приставочной морфеме (ср. к **воротомъ**: **ко вратомъ**). Стилистическая нагрузка на чередование в корне определила ассоциацию вокализованного варианта предлога-приставки с высоким стилем. Показательно морфонологическое распределение вариантов в ПС: перед звонким согласным всегда выступает вокализованный вариант приставки, а если следующий согласный глухой, то вокализованный вариант употребляется при наличии в корне чередования полногласного и неполногласного вариантов — **сохранить** 91об, **-иша** 53 и др., но **спряглъ** 14об, **створилъ** 13об, **скрушенъ** 17 и др. (ср. также в ПЕ-4 — **сократи** 128об, но **створи** 107об, **скруши** 111, **сътрясе** 102 и др.). Распределение вариантов (как в А3, так и в А1, А2), максимально приближенное к современному, отмечается в Назирателе XVI в.

Важно развитие вокализованного варианта приставки **въз-**, когда /ъ/ находился в слабой позиции. Рукописи XIV в. показывают, что вариант **воз-** появился раньше, чем **вз-** (здесь не учитывается положение перед гласным, где /ъ/ утрачивался сравнительно рано); это связано с наличием группы согласных после /ъ/. В целом нет никаких оснований вводить появление варианта **воз-** в слабой позиции к церковному произношению или к результатам второго южнославянского влияния — он формировался на основе фонологизации НФГ, подчиняясь действию структурной морфонологической индукции.

Б. В сильной позиции материал рукописей целесообразно рассматривать в предлогах (Б1) и в приставках (Б2) раздельно. Памятники XIII–XIV вв. неюжного происхождения, в той или иной степени указывающие на вокализацию сильных /ъ, ь/ в корнях, суффиксах и окончаниях, не отражают ее в предлогах и приставках. В ТП¹ и СНПЛ-1, 2 написания с о в предлогах-приставках полностью отсутствуют, невелико их число в ПЕ 1317, СЕ 1340, М 1369 и др. Представляется, что в данном случае орфография отражает задержку вокализации сильных редуцированных в предложно-приставочных морфемах в некоторых диалектах древнерусского языка. На синтагматическом этапе перехода /ъ, ь/ > /о, е/, когда /ъ, ь/ функционировали как факультативные фонемы, были возможны

¹ Толстовская псалтирь, не датирована. РНБ. Ф п I 23. Датируют XI в. (В. И. Срезневский), XI–XII вв. (Л. Л. Васильев), XII в. (П. А. Лавровский).

спорадические случаи вокализации в предлогах-приставках. Однако это изменение, будучи чисто фонетическим, не осознавалось носителями языка (могло не отражаться на письме) и не закреплялось в системе парадигматически, чему, в частности, способствовало наличие межсловной границы в Б1. Парадигматическому закреплению вокализованного варианта препятствовала структурная морфонологическая индукция со стороны А3, действие которой было обусловлено функциональным совпадением исконных и новых групп согласных в корне. В результате действия структурной индукции в Б1 обобщилась ступень /ə/ (как и в А3), а формирование противопоставления вокализованных и невокализованных вариантов на базе /ə/ в А3 и Б1 происходило одновременно на морфонологическом этапе падения редуцированных. Вокализация НФГ, однако, активнее проходила в Б1, так как новые группы согласных были более «сложными» по сравнению с исконными, что препятствовало полной утрате /ə/. Раньше вокализованный вариант закрепился в приставочных образованиях и в близких им сочетаниях предлогов с местоимениями (со *мною*, *во что*, *ко всему* и т. п.), где фактор межсловной границы былнейтрализован. В предлогах вокализация проводится более последовательно перед морфологически не изолированными основами (ср. *ко сну*, но *с княземъ*).

Памятники отражают следующие характерные морфонологические противопоставления: 1) вокализованная приставка — не маркированный в этом отношении предлог (ср. в СНЛ-3 — *вослаша* 154об, сонде 160об и др., но *с княземъ* 127, *съ многими* 133об, *въ мнишьскыи* 141 и *со лжнымы* 136об, *во вторни-к* 164 и др.; в предлогах вокализация обусловлена особенностями группы согласных); 2) вокализованный предлог перед местоимением — невокализованный вариант предлога-приставки в других формах (ПЕ 1317, СЕ 1340-1 и в меньшей степени другие рукописи); 3) среди предложно-местоименных сочетаний морфонологически маркирована форма *Тв. ед.* (ср. в СЕ 1340-1 — *обычно со мною, предо мною, предо всѣми, надо всеми, но въ мнѣ, къ мнѣ, въ все, -ю* и др.; то же в Пар. XIV); 4) вокализованный вариант предлога-приставки перед основой с приставкой *въз-* и *въ-* — невокализованный вариант перед основой с приставкой *съ-* (ср. в ЧНЗ — *ко взрасту* 5об, *во взданье* 104об, *свѣдосте* 14 и др., но *в скропнѣ* 33об, *в сборѣ* 75об, *сстякоша-с* 16 и др.; то же в П XIV, ЛЛ1377-2 и в меньшей степени в других памятниках).

Предлоги-приставки на *-з* включаются в развитие предложно-приставочного параллелизма позднее, причем процесс этот связан с вокализацией сильных /ъ, ѿ/ опосредованно (через «геровые» предлоги-приставки), так как «отставание» от предлогов-приставок на *-ъ* имеет место как перед новыми, так и перед исконными группами согласных. Памятники XIV в., в том числе и содержащие церковные тексты,

отражают возникновение вокализованных вариантов: ср. ЧНЗ — бεзο чти 8об, изо всεя 23 и др., АД XIV — изо вси 98об, изо/чтёными 65 об и др. Вокализация /ə/ > /o/ отмечается в сложных группах согласных /zəvs/, /zərv/, /zədxn/, /zəpsk/, /zətč/ и т. п., причем наличие морфемной и межсловной границ делает невозможным упрощение этих групп. Следует иметь также в виду, что эти группы согласных провоцируются в начале корня, несущем максимум информации. В целом процесс управляемый морфонологически и обнаруживает принципиальный параллелизм с формированием вокализованных вариантов «еровых» предлогов-приставок.

Морфонологические процессы в корнях, суффиксах и окончаниях

Другим направлением морфонологических изменений на завершающем этапе падения редуцированных было становление морфонологических моделей с чередованием /o, e/ : ø, организующих корневые и суффиксальные образования. Морфонологические преобразования в области корней и суффиксов связаны с действием парадигматической индукции и затрагивают не отдельные словоформы, а морфонологические модели-парадигмы.

Распределение по моделям осуществляется в соответствии с двумя принципами. Основным содержанием фонологической характеристики модели является качество группы согласных, содержащих /ъ, ь/: ср. сонъ : сна и дождь : дъждя, мұдрең : мұдръца. Морфологическая характеристика разграничивает глагольные и именные основы, суффиксальные и флексивные морфемы, а также морфологические парадигмы. Сущность морфонологической модели определяется характером соотношения сильных и слабых падежей. Соответственно в рамках каждого фонологического типа выделяются несколько моделей-парадигм: 1) дождь : дъждя (сильный падеж — Им. ед.), 2) дебрь : дъбри (сильные падежи — Им., Вин., Тв. ед. и Тв. мн.), 3) стъзға : стөзь (сильный падеж — Род. мн.), 4) дъбрлнескъ (морфологически изолированный корень); 5) дъхнұғти : дохши (глагольная основа). В зависимости от числа редуцированных в словоформе могли возникать простые (сонъ : сна, күпең : күпца) и сложные (жрең : жерца, жерческъ : жречска) чередования.

После завершения синтагматического этапа падения редуцированных морфонологическая система характеризовалась наличием двух типов чередований — /o, e/ : ø и /o, e/ : /ə/, — не противопоставленных друг другу функционально (ср. күпең : күпца и чөрнөң : чөрнъца). Чередование второго типа было обусловлено фонетически сложной группой

пой согласных. Оно последовательно отражено, например, в СНЛ-3: ср. *кровь* 119 и др., но *кръви* 119 и др., *дъждемъ* 125об, *дъри* 123 и др. В корнях морфонологический процесс /ə/ > /o, e/ и элиминации чередования охватил первую половину XIV в. Но для некоторых корней по памятникам и диалектам отмечается утрата НФГ и упрощение группы согласных с сохранением чередования: ср. *тѣсть* : *цтѧ*, *скло* : *стѣклъ*, *цка* : *доскъ* и др. Их объединяет наличие в группе согласных потенциально однофонемных сочетаний /st, sk/ (ср. также утрата /ə/ в формах *кстить*, *Псковъ*, *скжетъ*, *лесца* : *лестеъ* и т. п.). На морфонологический характер преобразования указывает утрата /ə/ в морфологически изолированной позиции: ср. *склянка*, но — *стекло* : *стекль*; *Брянск* < *Дъбрънъскъ*, но *дебръ* : *дебри*.

Аналогичный процесс имел место в суффиксальных моделях типа *мудрецъ* : *мудръца*, *огненъ* : *огнъна*, где чередование /e/ : /ə/ было обусловлено позиций сонанта между согласными. Внутри модели последовательность вокализации НФГ определялась «звукостью» сонанта: раньше всего /ə/ > /e/ вокализовалась после /v/, затем после /t, l/ и в последнюю очередь после /n/. Однако на морфонологический, а не чисто фонетический характер процесса указывает неодновременность вокализации НФГ в разных морфемах и моделях при равенстве фонетических условий: ср. *мысленъ* : *мыслена*, но *мыслыми*; *огненъ* : *огнена*, но *агнѣцъ* : *агнъца* и т. п. Решающим морфологическим фактором элиминации чередования в модели *огненъ* : *огнъна* была индукция со стороны «нулевой» модели причастий *чѣрвлѣнъ* : *чѣрвлена*, которая была обусловлена постепенным закреплением за краткими прилагательными предикативной функции в предложении, причем многие прилагательные данной модели соотносились с глаголами (ср. *іазвѣнъ* — *іазвигти*, *мыслѣнъ* — *мыслити* и т. п.). Характерно, что индукция имела место не только в фонетически обусловленной позиции: ср. в ПП 1406 — *возможено* 31об, *бескровеныя* 4об, *подобено* 74об (*мочи, крыти, подобити*) и т. п. Подобные процессы нейтрализации чередования свидетельствуют о морфологизации чередования /o, e/ : /ə/ в системе языка.

Появляющиеся на синтагматическом этапе вокализации сильных редуцированных чередования с «нулем звука» еще не были морфологизованы, поэтому под влиянием более сильного фактора ударения, которое в данном случае выполняло морфонологическую функцию, могло происходить выравнивание парадигм: при постоянном ударении на корне оно шло по слабой позиции (*старцъ* : *старца*), а при ударении на окончании — по сильной (*скопѣцъ* : *скопѣцá*). Ср. в П 1431-34 — *чюдотворцъ* 241об, но *твореча* 86 (в сложном слове ударение постоянно на корне). В ряде случаев колебания могут быть обусловлены колебанием ударения и тенденцией морфонологического противопоставления ед. и мн. чисел (ср. *къ стареци*, но *отъ старцъ* и т. п.).

В сфере морфонологических изменений проявлялась тенденция системы к противопоставлению прямых и косвенных падежей в парадигме единственного числа, то есть морфонологического выделения формы Им. ед. Эта тенденция отражается в расширении модели с чередованием у имен мужского рода I склонения: 1) путем развития вставочного гласного (ср. в Пар. XIV — **вихоръ** 146, **багоръ** 148, **нагъль** 82об, в КТ — **волховъ** 22об, 23, в Назирателе — **огонь** 3, 34, **конопель** 172об: **конопли** 58об и т. п.); 2) после перехода существительных на **-ень** в мягкую разновидность I склонения (ср. только в Назирателе XVI в. — **плетня** 169, **стружня** 138, **ступневъ** 35 и др.). Ранний переход в модель с чередованием характеризует слово **ровъ** : **рова** (**рвати** : **рву**), которое было индуцировано широкой глагольно-именной моделью типа **соль** : **сла** (**слати** : **слю**): ср. в ЛЛ 1377 — **въ рвъ** 46об, но **по леду** 127. С другой стороны, данная тенденция выражается в утрате модели с чередованием у имен женского рода III склонения, так как эта модель характеризовалась более сложным, неактуальным для системы противопоставлением сильных и слабых падежей. Соответственно члены модели индуцируются моделью без чередования: ср. **лесь** : **льсти** > **лесь** : **лести** (но **льстити**), **весь** : **вси** > **весь** : **веси** и т. п. (говоры проводят утрату модели более последовательно, в том числе и путем перевода некоторых слов в другую морфологическую парадигму: ср. **рожь** > **ржса**, **воинь** > **вина** и т. п.). Вставочный гласный развивается в числительном **восьмь** (ср. в ПЕ 1317 — **восемь** 128), что, вероятно, связано с изменением **седьмь** > **семь**, а не с индуцирующим воздействием модели с чередованием (ср. **восемь** : **восьмью**). На ранних этапах изменения числительное **шесть** : **шести** было индуцировано новой моделью типа **честь** : **чи** (ср. **шесть** : **шти**), а затем снова элиминировало чередование вместе с другими словами данной модели.

Одной из ведущих тенденций развития морфонологической системы после падения редуцированных была утрата сложных чередований: модели с двойными и тройными чередованиями были индуцированы моделями с простыми чередованиями, причем морфологическое содержание модели-парадигмы оставалось прежним. Раньше всего эта тенденция охватила корни типа ***тыт**: **въръхъ** : **въръха** > ***врѣхъ** : **вѣрха** > **верехъ** : **верха** > **верхъ** : **верха**. Столь раннее (возможно, уже на синтагматическом этапе изменения) преобразование было связано с тем, что чередование имело место внутри корня. Чередование было рано утрачено и в случае присоединения постпозитивного местоимения: ср. в ЧНЗ — **Павелось** 72об, **инородецесь** 36об (вместо ****Павлось**, ***инородцесь**; ср. **днесъ**). Позднее модель с двойным чередованием была утрачена у кратких прилагательных: **правдѣнъ** : **правѣдна** > **правѣдѣнъ** : **правѣдна** (по модели **красенъ** : **красна**), **Смоленскъ** : **Смоленска** > **Смоленескъ** : **Смоленска** (по модели **Изборескъ** : **Изборска**) (ср. в ЛЛ 1377 —

дѣвоческъ 6, Пар. XIV — египетескъ 102 и т. п.). Данное преобразование отражает также изменение отношений производности между полными и краткими формами прилагательных: маркированным стало краткое прилагательное (ср. также последующее изменение — Смоленескъ > Смоленскъ). История модели *шпотъ* : *шептъ* определяется взаимодействием с моделями *скрежетъ* : *скрежта* и *хочотъ* : *хочота*, объединяемых общностью семантического поля. В последнюю очередь преобразованию подверглась замкнутая модель *швецъ* : *шевца* (ср. *шити* — *шию*). Связь с глаголом препятствовала развитию модели ***шевецъ* : *шевца* (ср., наоборот, в модели *шпотъ* : *шептъ* связь с глаголом *шептатъ* препятствовала развитию модели ***шпотъ* : *шпота*), поэтому в XVI—XVII вв. данная модель была индуцирована возникшей на морфонологическом этапе моделью *игрецъ* : *игреца*, чему могло также способствовать ударение на окончании в словах обеих моделей. В некоторых словах были осуществлены обе возможности преодоления двойного чередования (ср. *пришелецъ* : *пришельца*, *лестецъ* : *лестца* по модели с простым чередованием в суффиксе и *пришелецъ* : *пришлѣца*, *льстецъ* : *льстеца*).

Вокализация слабых редуцированных в суффиксах -ьск- и -ьств-

В современном русском литературном языке распределение вариантов морфем *-ск-* / *-еск-* и *-ств-* / *-еств-* подчиняется морфонологической закономерности. Вокализованный вариант выступает при наличии двух условий одновременно: 1) шипящий согласный в исходе корня перед суффиксом (*княжеский*, *княжество*, но — *рабский*, *рабство*); 2) производящая основа имеет значение лица, но не связана при этом с наименованием по происхождению и национальности (*юношеский*, *юношество*, но — *варяжский*, *чешский*)¹. Подобная сложная морфонологическая обусловленность вариантов не была еще известна языку XIV в., хотя фонетическое условие указанного правила начало формироваться уже во 2-й половине XIV — начале XV в.

В древнерусском языке имелось значительное количество суффиксов, содержавших редуцированные гласные. Словообразовательные модели с такими суффиксами, по правилу Потебни—Гавлика, развивали чередования с нулем звука, которые именно в суффиксальных образованиях стали наиболее продуктивными. Особое место в ряду этих суффиксов занимают *-ьск-* и *-ьств-*. Как свидетельствуют древнерусские памятники эпохи падения редуцированных, слабый *ь* в этих суффиксах

¹ Есевевич И. Э., Марков В. М. История редуцированных гласных в русском языке... С. 41.

имел тенденцию «задерживаться» на фоне его утраты в других суффиксах, что, видимо, было обусловлено сложностью группы согласных, которая возникала при выпадении редуцированного.

Довольно последовательно описанное распределение написаний с ь и без него проведено в орфографии 3-го писца Синодального списка I Новгородской летописи, где ь никогда не пропускается в суффиксах -ъск¹, -ъств- (женьска 124об, ъмьскую 135об, варяжъскыи 157, посадничество 134, множество 121, чернечество 141 и др.), а также в суффиксе -ын- после -н- (окамыньи 119, -ии 124 и др., везаконьнии 123об, иноплеменьникъ 125, 126, -ци 121, 122). В целом же СНЛ-3 последовательно отражает новую, возникшую после падения редуцированных, систему с пропусками слабых и вокализацией сильных: останокъ 132 — останкы 132об, торжекъ 124 — торжкы 125 (но и торжъкы 136об), силенъ 151 — силнымъ 125об и т. д. В сильной позиции СНЛ регулярно отражает прояснение ь, ъ > є, о, причем единственное исключение также касается суффикса -ъск-: сп. изборьскъ 127об и изборьско 127об.

Следует, видимо, согласиться с мнением Б. М. Ляпунова, что в основе орфографии СНЛ-3 лежат действующие фонетические закономерности: «Для 3-го почерка нельзя сомневаться в произношении именно не вполне слогового ь: если бы говорили посадничество, то так бы и писали, что ясно из общего характера правописания 3-го почерка»². Добавим также, что регулярно сохранявшиеся в произношении (не будем в данном случае уточнять, «живом» или «книжном») в некоторых позициях слабые редуцированные имели специфический фонологический статус (в противном случае орфография не отражала бы их), противопоставляясь, с одной стороны, нулю звука, а с другой — фонемам /о/ и /е/, причем сами эти «нефонематические фонемы» {ъ} и {ь} друг с другом в целом не смешивались³. Требуют комментария написания СНЛ 3, в которых перед сохраняющимся ь на месте этимологического ч находим ц: нѣмѣцьскыи 144об, -ая 144об, -ою 156, коупецьскую 156, тысяцьского 159 (но в последнем слове постоянно ч: тысячъское 136об, -ою 145 и мн. др.). Полагаем, что формы типа коупецьскыи, нѣмѣцьскыи возникли еще до утраты суффиксального редуцированного в результате морфонологической индукции в рамках словообразовательных отношений коупець — коупецьскыи, нѣмѣць — нѣмѣцьскыи и в условиях частичного опрощения в производящей основе (-еу- в словах

¹ Исключением является написание дѣцкыи 119 при полоцьскыи 139, полоцьскъ 126об, 140.

² Ляпунов Б. М. Исследование о языке Синодального списка... С. 105.

³ Раньше для обозначения фонологического статуса сохранявшихся слабых редуцированных мы пользовались термином «нефонематическая гласность». См.: Попов М. Б. Морфонологический этап падения редуцированных гласных... С. 32–44.

купецъ и нѣмецъ перестает восприниматься как суффикс, а связь с копити и нѣмъ утрачивается). С таким объяснением согласуется сохранение ч в **тысячъскыи** (ср. **тысяча** — **тысячъскыи**). В принципе не исключена возможность взаимодействия согласных и через сохраняющийся /ь/, как полагал А. А. Потебня¹. В этом случае формы типа **купецъскыи**, **тысяцъскыи** можно рассматривать как переходные к современным *грецкий*, *половецкий*, *купецкий* и др.² Однако к такому решению более склоняет материал СНЛ-1, 2, где картина распределения написаний несколько иная.

Итак, СНЛ-3 можно рассматривать в отношении орфографии интересующих нас суффиксов как своеобразную точку отсчета дальнейших изменений. Из других изученных нами памятников аналогичное распределение форм представлено в СЕ 1340-2 и в АД XIV-1, 2, 4. Все остальные рассмотренные нами памятники отражают уже либо вокализацию {ь}, либо его затухание, что, с нашей точки зрения, выражается в написаниях с ё или с пропуском ь.

Материал исследованных нами памятников XIV–XV вв., который был представлен нами ранее³, показывает, что вокализация бывших слабых редуцированных, т. е. «нефонематической гласности», в составе суффиксов -ьск- и -ьств- предшествует их исчезновению. Замена ь на ё отражена уже в ПЕ 1317, СЕ 1340-1, а в М 1369 таких примеров уже довольно много, хотя все три рукописи еще не фиксируют выпадения ь. Однако в ЛЛ 1377 активно отражена утрата «нефонематической гласности», в то время как количество вокализованных форм незначительно. Законченный вид эта система приобретает в ЧНЗ, причем немногочисленные написания суффикса -ьск- с сохранением ь, на наш взгляд, лишь подтверждают реальность фонетической значимости ь в середине XIV в.: 7 примеров (понтъскыи 62, -ому 15, 27, змиръско 24об, александърска 62, кедръска 50об, кипръстии 66) из 8 приходятся на фонетически обусловленную позицию в группе из 4 и более согласных. Приближающееся к современному распределение «вокализованных» и «невокализованных» вариантов суффиксов наблюдаем в КТ-1 (XIV–XV в.). Ряд рукописей — в частности, ЧНЗ, ПС, ПЕ — отражает большую активность суффикса -ьств- в процессе вокализации «нефонематической гласности» по сравнению с -ьск-, что, вероятно, связано с тем, что первый имеет более громоздкую консонантную структуру, т. е. опять же в орфографии рукописей отражаются тенденции произношения.

¹ Потебня А. А. К истории звуков... С. 37.

² Ляпунов Б. М. Исследование о языке Синодального списка... С. 87.

³ Попов М. Б. К вопросу о судьбе слабого редуцированного в древнерусских суффиксах -ьск- и -ьств- // Dissertationes slavicae: Материалы и сообщения по славяноведению. Вып. 17. Szeged, 1985.

Уже в начале процесса вокализации редуцированных «нефонематическая гласность» могла идентифицироваться с /e/, что и отражалось на письме: ср. в ТП (XII в.?) — **отчества** 21, **жидовеска** 99 (ср. **жидовесь** 162об), в Минеи XII в.¹ — **соуществоу** 85об, причем последняя рукопись еще вообще не отражает прояснения сильных редуцированных. Позднее, когда начался активный процесс утраты {ь} и стали проявляться условия стыка морфем, существенную роль приобрели фонетические особенности конечного согласного корня. В целом памятники отражают тенденцию к более активной вокализации «ннефонематической гласности» в позиции после /ж ш ч/ (т. е. после «шипящих» — двухфокусных — согласных), которые оказывались перед «свистящим» (однофокусным) /с/. Эта тенденция проявляется в ЛЛ 1377, АД XIV-3, КТ-1, в меньшей степени в ПС, П 1431-34. В более ранних памятниках (ПЕ 1317, СЕ 1340, М 1369) она проявляется значительно слабее. Вокализация {ь} (а фактически — большее дистанцирование от следующего согласного) именно после шипящих лишь отчасти связана с фонетическими особенностями данной группы согласных. В результате полной утраты гласной прослойки на стыке морфем могли происходить ассимиляционные процессы и упрощения групп согласных, что приводило к стиранию морфемной границы. Ср. в П 1431-34 (при норме написания с ь) — **ество** 61, -а 228об и **естество** 59 и др., **блуть/тво** 167об (д. надписано сверху) и **дѣтество** 211об, **оуроде/ство** 125 (и даже **оуродство** 28 и **сыгоству** 80; здесь, видимо, сыграл роль морфологический фактор — индукция со стороны суффикса **-ость**, пересекавшегося по значению с суффиксом **-ство**), **муству** 82об и **мужество** 3об и др., **тыслачкого** 76, **грецкому** 186 и **чертежескы** 104, **иначескии** 128об и т. п. Примеры упрощения групп согласных из памятников подтверждаются и материалом говоров: ср. отмеченные диалектологами формы типа **богаство**, **роство**, **ества**, **слество**, **замужсво**, **одиносво** и т. п.² Стремлением избежать подобных явлений на стыках морфем объясняется использование гласной вставки между морфемами. Не после шипящих вокализованные варианты суффиксов широко отмечаются в северных русских рукописях XVII в.: ср. **богатество**, **понтескаго** и др.³, а также в говорах (ср. **богатесьво**⁴).

¹ Зубова Л. В. Фонетика и орфография русской рукописи XII века: Канд. дис. Л., 1974. С. 183.

² Колосов М. А. Обзор звуковых и формальных особенностей народного русского языка. Варшава, 1878. С. 198.

³ Колесов В. В. Развличительные особенности языка и письма в северорусских рукописях из собрания Пушкинского Дома // Рукописное наследие Древней Руси: По материалам Пушкинского Дома. Л., 1972. С. 357–358.

⁴ Труды Комиссии по диалектологии русского языка (б. Московской диалектологической комиссии). Вып. 2. Л., 1930. С. 3.

Таким образом, «нефонематическая гласность» служила в качестве своего рода дизъюнктора морфем. Это была ее важнейшая функция на завершающем этапе падения редуцированных гласных. Определяя синтагматические отношения морфем (дизъюнкторская функция), изменение в XIV–XV вв. еще не вышло на парадигматический уровень морфонологии, так как вариантизм морфемы в полном смысле слова возникает в случае двойного морфонологического подчинения вариантов.

Объяснение А. А. Шахматова, который полагал, что формы типа *мужеска, богатство* возникли по аналогии с формами типа *мужескъ, богатствиe*, где /ь/ был в сильной позиции¹, представляется нам упрощенным и не во всем согласующимся с фактами. Воздействие форм на *-естьвие* < *-ьствие* в особенности маловероятно вследствие их сугубо книжного характера² и отсутствия в тексте большинства русских рукописей (за исключением приставочных образований с ...*ьствие*, в котором морфемное членение проблематично). Материал единственного из исследованных нами памятников (за исключением ТП), имеющего формы с суффиксом *-ьствие*, — М 1369 — не подтверждает гипотезу А. А. Шахматова: ср. *мчицъскъ* 117, *женъско* 116, *мужъскъ* 116 (написания с *ь* в Им. ед. в рукописи отсутствуют), но — *мужеска* 110, *-ы* 124, *икатанески* 83; ср. также *божества* 108об, *естьство* 116, но — *безбожъствия* 15, *естьствиель* 67об, хотя в целом в *-ьствие* процент вокализованных написаний выше, чем в *-ство*, но из 5 примеров с *е* 4 приходятся на одно слово *чювествиe* 6, 27, 81, 86, а 5-й — *величествия* 120об — имеет суффикс после шипящего, в то время как в 5 разных словах пишется *-ьствие* (*лукавъствия* 79об, *коварьствия* 75, *суроъствиe* 131об и два указанных выше). Характерен также материал ПЕ (XIV–XV вв.), где вокализация отражена только в суффиксе *-ьство*: ср. *безочество* 93об, *множество* 109об (пропусков *ь* в суффиксе *-ьство* вообще нет, а формы на *-ьствие* отсутствуют), а предполагаемые регулярные формы *жреческъ, мужескъ, человѣческъ*, в рукописи, правда, нами не зафиксированные (хотя зафиксированы формы *женескъ* 61об, *жидовескъ* 134об, *сидонескъ* 146об при *жидовъскъ* 119, *дѣтьскъ* 78об, *силаумъскъ* 101 и т. д.), не оказывают «влияния» на представленные в памятнике формы *жречески* 134об, *че/ловѣчески* 124об, *жреческымъ* 38, *человѣчески* 124об. Вряд ли находящиеся на периферии системы и исчезающие из употребления формы Им. ед. на *-ескъ* могли оказать индуцирующее морфонологическое воздействие на формы косвенных падежей кратких прилагательных и особенно на полные прилагательные. Наоборот, в XIV–XV вв. на морфонологическом

¹ Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. С. 252.

² О книжном характере данных образований см.: Цейтлин Р. М. Лексика старославянского языка. М., 1977. С. 159–161.

этапе падения редуцированных именно полные формы прилагательных влияли на краткие (ср. *темен* <*тмэнъ* || *тёмныи*, *праведен* <*правдень* || *праведныи*, *Смоленск* <*смолнеськъ* || *смоленскыи*). Что касается сильной позиции редуцированного в суффиксе *-ьство*, то она была возможна в Род. мн. Примеры из наших рукописей исчерпываются тремя написаниями, причем вокализация не встретилась: *мытарьствъ* 85 (ПП 1406), *мытарьствъ* 167, *проказьствъ* 210об (П 1431-34). Если учесть то, что примеры представлены сравнительно поздними рукописями, то можно предположить «выравнивание» как раз по слабой позиции.

Редуцированный в суффиксе *-ьск-* сравнительно часто оказывался в сильной позиции. В кратких прилагательных чередование типа *женескъ* : *женска*, однако, отражается не очень последовательно — даже в Толстовской псалтыри мы уже встречаем написания *жидовескъ* 162 : *жидовеска* 99. В СНЛ-3 — *полтескъ* 143 при *изборьскъ* 127об и *изборьско* 127об, причем интересно, что форма *изборьскъ* — единственный пример, где на месте сильного /ы/ пишется ь, а не ё. Видимо, описка писца маловероятна. Принимая во внимание наличие написания *изборьско*, а также тот факт, что формы на *-ско* для обозначения названий городов известны в летописях (ср. в Комиссионном списке Новгородской I летописи *изборьско* 165, *смоленско* 257, *вятеско* 204 и др.), полагаем, что эти формы отражают унификацию по парадигме среднего рода — во избежание скопления согласных в ауслауте, — возникшей на первых этапах падения редуцированных модели с чередованием (типа *изборескъ* : *избор[ы]ска*) в условиях, когда это чередование еще не было морфологизовано. Ср. также формы М 1369 — *женьско* *полъ* и *мужьскъ* *полъ* 116. Для данных форм следует учитывать возможность влияния имевшейся в древненовгородском диалекте особой парадигмы (к XIV в. постепенно утрачиваемой?) имен мужского рода типа склонения на *о с Им. ед. на -е (Им. ед. *останькѣ* — В. ед. *останькъ*).

Трудность интерпретации рукописного материала заключается в том, что вследствие определенных орфографических особенностей рукописей неясно, каково фонетическое значение ь в написаниях типа *жидовьскъ* (особенно в условиях возможности обозначения буквой ь так называемой нефонематической гласности). С одной стороны, это могут быть традиционные написания с ь на месте /е/ < *ъ (орфографическая традиция или влияние оригинала), а с другой — особенно для памятников XIV–XV вв. — это могут быть написания, отражающие инновации, связанные с морфонологическим процессом выравнивания парадигмы. Наиболее последовательно вокализация сильного редуцированного суффикса *-ьскъ* отражена в СЕ 1340-2, ЧНЗ (сер. XIV в.) и Пар. XIV. Для ПЕ 1317 и СЕ 1340-1 в написаниях с ь можно предполагать влияние орфографической традиции. Аналогичные написания более поздних рукописей могут уже отражать последовательный процесс утраты чередования

в модели **женескъ** : **жен[ь]ска** > **женскъ** : **женска** (но после шипящих — **мужескъ** : **мужьска** > **мужескъ** : **мужеска**): ср. в ЛЛ : 1377 — **пинескъ** 88об, 100об и **пиньскъ** 109об, **дреютескъ** 96об, 99 и **дрьютьскъ** 81об, **луческъ** 109об, 112, 115 и **лучьскъ** 92, 107об, а также **словѣнескъ** 2об, **словѣн-е-скъ** 9, где первоначально пропущенное **е** надписано сверху, и **смоленскъ** 4; ср. в ПЕ XIV–XV вв. — **женескъ** 61об, **жидовескъ** 134об, **сидонескъ** 146об при **жидовъскъ** 119, **дѣтьскъ** 78об, **силаумъскъ** 101 и т. п.

В целом формы кратких прилагательных (особенно относительных, которыми были прилагательные с суффиксом **-ьск-**) находились на периферии морфологической системы, вытесняясь полными формами. Влиянием полных форм надо объяснять и морфонологический процесс обобщения ступени «нефонематической гласности» в модели **женьскъ** : **женьска**. Тем, что выравнивание идет на базе «нефонематической гласности», объясняется такая странная на первый взгляд возможность соседства написаний как **жидовъскъ** — **жидовеска**, **мужьскъ** — **мужеска**. Активным звеном системы были топонимы — названия городов на **-ьскъ**, которые особенно широко представлены в летописях.

Все сказанное выше по поводу формальной истории суффиксов **-ьск-** и **-ьств-** позволяет сделать вывод о том, что утрата исходного чередования в этих суффиксах и формирование новых моделей были, скорее всего, частью внутреннего морфонологического процесса. Возникновение вокализованных вариантов **-еск-** и **-еств-**, видимо, не связано ни с выравниванием по сильной позиции, как полагал А. А. Шахматов, ни с церковным произношением¹ или вторым южнославянским влиянием². Главный фактор, вызвавший к жизни подобные формы, лежал в сфере функций, а не стиля.

Причины падения редуцированных гласных

Заслугой структуралистов является преодоление распространенного заблуждения их предшественников, которые смешивали причины и условия фонетических изменений. Имеются в виду, например, утверждения типа «причиной перехода /e/ в /o/ была лабиализация /e/ перед твердыми согласными», «причиной палатализации /k/, /g/, /x/ было воздействие следующего гласного переднего ряда» (или еще более тавтологично — «причиной палатализации заднеязычных была тенденция к палатализации

¹ Isačenko A. V. East Slavic Morphophonemics and Treatment of the Jers in Russian: a Revision of Havlík's Law // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1970. Vol. 13. P. 118.

² Кипарский Б. О судьбе **-ь-** в суффиксах **-ьск-** и **-ьство** // ВЯ. 1972. № 2. С. 77–82.

перед гласными переднего ряда»). Отголоски старого смешения причин и условий иногда встречаются и в современной литературе.

В поисках причин конкретных фонетических изменений структурализм предполагает обращение прежде всего к двум типам факторов, обуславливающих фонетические изменения: *структурным* (например, наличие «пустой клетки» рассматривается как причина ее заполнения) и *функциональным* (малая функциональная нагрузка противопоставления рассматривается как причина нейтрализации противопоставления, и наоборот, большая функциональная нагрузка является причиной возникновения цепей отталкивания с целью сохранения полезного противопоставления). И структурные, и функциональные факторы являются по своей природе внутриязыковыми. Факторы внешнелингвистические, или социолингвистические, как правило, не принимались в расчет традиционной диахронической фонологией или рассматривались в последнюю очередь. Исключение обычно делалось для междиалектного взаимодействия. Но и оно не всегда принимается во внимание при анализе фонетических изменений с позиций диахронической фонологии. В то же время многие лингвисты считают, что «основным двигателем фонетических и иных изменений в языке являются социолингвистические факторы»¹.

Главная трудность, с которой сталкивается структуралистский подход к объяснению звуковых изменений, лежит на поверхности: часто в одних родственных диалектах изменение происходит, в других — нет, тогда как структурные и функциональные факторы в них как будто совпадают. Из этого вытекает, что структурные и функциональные факторы изменений не всегда следует рассматривать как причины изменений. Это именно факторы, сопровождающие изменение, но не их причины.

Прежде чем перейти непосредственно к причинам падения редуцированных, отметим несколько важных, с нашей точки зрения, общих положений, поднимаемых в литературе вопроса. Видимо, прав В. Н. Чекман, который считает, что «анализом причин изменений реконструкция завершается... но приступать к ней возможно после получения исчерпывающих данных о механизмах изменений и иных дополнительных сведениях о них»². В то же время В. Н. Чекман склоняется к тому, что «основным двигателем фонетических и иных изменений в языке являются социолингвистические факторы»³. Социолингвистические факторы, видимо, связаны с изменчивостью языка вообще, но вряд ли в них обязательно следует искать причины конкретных изменений. В то же время социолингвистические факторы, несомненно, отражаются в механизме

¹ Там же. С. 17–18.

² Чекман В. Н. Исследования по исторической фонетике... С. 18.

³ Там же.

фонетических изменений, как это демонстрируют исследования живых фонетических изменений школой У. Лабова¹.

Ю. С. Курдяевцев полагает, что «о причине звукового изменения можно говорить только тогда, когда показано, что одинаковые условия обязательно ведут к одинаковым изменениям», из чего вытекает вывод о необходимости типологических исследований для объяснения причин конкретных фонетических изменений². Разумеется, обращение к типологии фонетических изменений нельзя не признать полезным и стимулирующим. Однако следует отметить и то, что одинаковых условий изменений в разных языках быть в принципе не может, а с другой стороны, максимально близкие структурные и функциональные факторы в родственных диалектах могут приводить к различным, иногда противоположным по направленности изменениям.

Итак, согласимся с тем, что, во-первых, анализ механизма фонетического изменения должен предшествовать анализу его причин; во-вторых, поиски сходных по условиям и механизму изменений в других языках и выявление в них общих факторов должны пролить свет на причины этих сходных изменений.

Рассмотрим некоторые трактовки падения редуцированных гласных в древнерусском языке, не касаясь (за одним исключением, о котором будет сказано ниже) гипотез, в которых используются методы квантитативной лингвистики³. Сначала (на дофонологическом этапе исторической фонетики) причину падения редуцированных усматривали в «тенденции к редукции гласных» и «тенденции к заместительному проявлению», поскольку изменение редуцированных различалось в так называемых слабых и сильных позициях. Первая тенденция больше всего отразилась на слабых редуцированных, которые в конце концов «редуцировались» до нуля, вторая — на сильных, которые как бы «удлинились» в гласные «полного образования». В сущности так понимал падение редуцированных А. А. Шахматов, который говорил о «падении полукратких (т. е. слабых редуцированных) гласных» и о вызванном им «переходе кратких глухих (т. е. сильных редуцированных) в гласные полного образования»⁴.

Позднее возникли попытки связать падение редуцированных с преображением действия закона открытого слога. Если иметь в виду, что

¹ См.: Лабов У. Отражение социальных процессов в языковых структурах (1968 г.) // Новое в лингвистике. Вып. 7. М., 1975.

² Курдяевцев, Юрий. Очерки по русской исторической фонологии... С. 22.

³ Abernathy R. The Fall of Jers: a Statistical Interpretation // For Roman Jakobson. The Hague, 1956. P. 13–18; Колесов В. В. Падение редуцированных в статистической интерпретации // ВЯ. 1964. № 2.

⁴ Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. С. 200–246.

падение редуцированных знаменует в то же время появление закрытых слогов, попытки обнаружить причинно-следственную связь между падением редуцированных и прекращением действия закона открытого слога представляются вполне естественными. С. Б. Бернштейна интересует не столько то, почему произошло падение редуцированных (видимо, ответ для него ясен: потому что они «сверхкраткие»), сколько: «Почему же слабые сверхкраткие упорно, в течение длительного времени, несмотря на потерю ударения, держались в языке? Что давало им силу?» И он дает на эти вопросы следующий исчерпывающий ответ: «Они сохранялись потому, что действовала тенденция открытого слога. Пока в языке существовала эта тенденция, слабые сверхкраткие утратиться не могли. После прекращения ее действия они исчезли бесследно. Таким образом, не утрата слабых редуцированных обусловила появление закрытых слогов, а возможность появления закрытых слогов явилась причиной падения слабых сверхкратких»¹. Итак, по С. Б. Бернштейну, получается, что «тенденция открытого слога» прекращает свое действие до того изменения, которое прекращение ее действия манифестирует, т. е. тенденция (закон) действует скрытым, таинственным образом. Однако вряд ли понятие «тенденции» годится для объяснения причин фонетических изменений, поскольку оно ничего не проясняет, а скорее затемняет характер изменений. Как подчеркивал М. И. Стеблин-Каменский, тенденция «остается некой перманентно и необъяснимо действующей, т. е. в сущности мистической силой. Сказать, например, что переход /p > b/ объясняется “тенденцией к ослаблению артикуляции” и т. п., значит, ничего не объяснить... Единственно реалистическое понимание фонетической тенденции — это понимание ее как процесса... Но при таком... понимании слово “тенденция” в сущности не нужно. Его может заменить слово “процесс”»². Таким образом, диахроническая тенденция к открытому слогу в праславянском языке — это процесс замены закрытых слогов открытыми в результате ряда праславянских фонетических изменений. Эта тенденция прекратилась в связи с тем, что все слоги стали открытыми: диахроническая тенденция стала позднепраславянским синхроническим законом.

Подтверждением справедливости приведенных слов М. И. Стеблин-Каменского является то, с какой легкостью при помощи понятий «тенденция открытого слога» или «закон открытого слога» можно дать объяснение, совершенно противоположное тому, которое дал С. Б. Бернштейн. Попытавшись опровергнуть мнение, согласно которому падение слабых

¹ Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961. С. 248–249.

² Стеблин-Каменский М. И. Исландско-норвежские изменения согласных // ВЯ. 1963. № 5. С. 60.

редуцированных вызвано прекращением действия закона открытого слога, Н. Д. Русинов пришел к выводу, что «закон открытого слога в древнерусском языке перестал действовать (вопреки мнению некоторых лингвистов) вовсе не до падения слабых редуцированных, а после него и сопротивлялся ему», а «одной из существенных причин прекращения его действия было то, что отпадение ставших конечными согласными в большинстве случаев оказалось невозможным, так как сильно изменяло бы основы слов и мешало бы смыслоразличению»¹. Гипотезе Русинова, с функциональных позиций объясняющей прекращение действия закона открытого слога после падения редуцированных, нельзя отказать в остроумии, но его предположение оставляет без ответа собственно интересующий нас вопрос о причинах самого падения редуцированных. Проблема заключается в том, что падение редуцированных и прекращение действия закона открытого слога — это в значительной степени одно и то же явление, поэтому объяснить одно другим представляется нам не совсем продуктивным. Что же касается ответа на поставленный С. Б. Бернштейном вопрос о причинах длительного сохранения («непадения») редуцированных, то наиболее естественным предварительным ответом на него будет следующий: редуцированные долго сохранялись потому, что они не были *сверхкраткими*.

Г. Шевелов говорит не о причинах, а о предпосылках дефонологизации редуцированных. Главной из них он считает рост числа согласных фонем (в ходе палатализационных процессов), что увеличило различительные возможности системы и позволило сократить количество гласных не только парадигматически, но и синтагматически. По мнению Г. Шевелова, перегруженность среднего подъема и возможность осуществить синтагматическую экономию способствовала тому, что сокращение числа гласных фонем произошло за счет редуцированных².

Наиболее подробно внутрисистемные — структурные и функциональные — причины падения редуцированных были проанализированы В. В. Ивановым. Структурную причину утраты /ъ/ и /ь/ как самостоятельных фонем он склонен видеть в сложившейся системе дифференциальных признаков древнерусского вокализма, а именно в том, что эти две фонемы оказались изолированными вследствие наличия у них неустойчивого признака *сверхкраткости*, который противопоставлял фонемы

¹ Русинов Н. Д. Падение редуцированных и закон открытого слога в древнерусском языке // Уч. зап. Горьковского гос. ун-та. 1967. Вып. 76. Сер. лингвистическая. С. 82. Этому же автору принадлежит и так называемая кибернетическая интерпретация падения редуцированных: Русинов Н. Д. История древнеславянских редуцированных гласных в кибернетической интерпретации // Эволюция и предыстория русского языкового строя. Горький, 1979.

² Shevelov G. Y. A historical phonology of the Ukrainian language. Heidelberg, 1979. P. 258.

/ъ/ — /e/ и /ъ/ — /o/ и был дифференциальным (фонологически значимым в системе). Неустойчивость этого признака, по Иванову, заключалась в следующем: «Количественные различия гласных древнерусского языка, если они и были, не являлись фонологически значимыми: гласные противопоставлялись иными признаками, вполне достаточными для такого противопоставления. И только наличие редуцированных вводило количественные отношения в фонологическую систему. Это не могло не нарушать общей симметричности системы и делало ее менее экономной и внутренне нелогичной. Утрата фонологически значимого признака сверхкраткости уничтожала противоречие в системе и устанавливала более четкие отношения между фонологическими единицами»¹.

Этот структурный фактор поддерживался функциональным, поскольку, по мнению В. В. Иванова, функциональная нагрузка оппозиций /ъ/ и /ъ/ другим фонемам была слабой: «Внутри морфем наиболее слабую функциональную нагрузку обнаруживает оппозиция [ъ] — [e]: кажется, нет ни одной пары слов, противополагаемой по звуковой оболочке этой оппозицией»; на стыках морфем «[ъ] и [ъ]» как элементы морфологической системы не были противопоставлены нулю звука и, следовательно, при отсутствии [ъ] и [ъ] в такой роли не могло возникнуть омонимии форм»². Слабая функциональная нагрузка не могла противодействовать давлению системы, соответственно «кобе эти причины, возможно в соединении с какими-то, сейчас пока неизвестными, обусловили в истории древнерусского языка утрату двух гласных фонем»³.

Трактовка В. В. Ивановым редуцированных гласных и их падения вызывает ряд вопросов и возражений общего и частного характера. Осталось без объяснения, почему релевантный признак, который различает /ъ/ — /e/ и /ъ/ — /o/, в системе, не имеющей, как утверждается, других оппозиций по количеству, назван признаком *сверхкраткости*? Более логичным было бы понимать оппозиции /ъ/ — /e/ и /ъ/ — /o/ как противопоставления по *долготе-краткости* и объяснить падение редуцированных как утрату признака *краткости*. В этом случае, правда, возникает проблема трактовки сильных и слабых позиций редуцированных, поскольку они дают в целом разные рефлексы, что полностью проигнорировано в концепции В. В. Иванова. Видимо, стремление разрешить это противоречие и привело к введению понятия *сверхкраткость*. Однако либо признак *сверхкраткости* не приложим одновременно и к сильным, и к слабым редуцированным, а значит, не может быть признан фонемным, т. е. свойственным данным фонемам во всех позициях, либо этот признак следует признать дифференциальным.

¹ Иванов В. В. Историческая фонология русского языка. С. 296.

² Там же. С. 106.

³ Иванов В. В. Историческая фонология русского языка. С. 297.

Но тогда придется рассматривать сильные и слабые редуцированные как самостоятельные фонемы.

Представляется, что неувязка со «сверхкраткостью» вызвана тем, что В. В. Иванов пытается установить причину падения редуцированных совершенно изолированно от решения проблемы механизма данного изменения. Такой подход тесно связан с его подходом к диахронической фонологии как к истории фонологических отношений с упором на *сравнение синхронных срезов*: «...при изучении истории фонологических отношений... важен не процесс, а результат, к которому привел данный процесс... Следовательно, как бы ни шел сам процесс... какие бы этапы он ни проходил, — важно рассмотреть тот период, когда этот процесс завершился и когда в результате его установились новые отношения в фонологической системе древнерусского языка»¹. Как видим, В. В. Иванов принадлежит к тому направлению в диахронической фонологии, которая не различает «фонетические изменения» и «диахронические соответствия». При таком подходе *фонетические изменения* как бы подменяются *диахроническими соответствиями*, которые понимаются как регулярные соответствия между фонемами разных синхронных срезов одного языка, являясь неким аналогом регулярных фонетических соответствий в компаративистике.

Механизм падения редуцированных гласных непосредственно связан с отношениями сильных и слабых редуцированных. Таким образом, даже если структурные факторы в трактовке В. В. Иванова и могут как-то объяснить утрату признака *сверхкраткости* (правильнее — *краткости*), они не могут объяснить дефонологизация слабых редуцированных; ведь то, что мы знаем о механизме падения редуцированных, указывает на то, что процесс начался именно с утраты слабых редуцированных. Собственно от этого он и получил свое наименование: «падение» — это не просто дефонологизация, а «выпадение», т. е. элизия. Кстати, отталкиваясь именно от механизма падения редуцированных, пытался выйти на причины этого изменения Р. О. Якобсон, который объяснял элизию редуцированных особенностями аллегровой речи. Такой подход — от механизма к объяснению причин, — дополненный функциональными соображениями, представляется более перспективным.

Как видим, скептическое отношение вызывают прежде всего такие объяснения причин фонетических изменений, которые основаны исключительно на структурных факторах, на так называемом давлении системы. Отсюда попытки расширить функциональную составляющую при поисках причин звуковых изменений, выйти за пределы традиционного узкого понимания «функциональной нагрузки». В этом отношении

¹ Иванов В. В. Историческая фонология русского языка. С. 191.

заслуживают внимания две гипотезы объяснения причин падения редуцированных — В. М. Маркова и В. Н. Чекмана.

В. М. Марков связал падение редуцированных гласных в древнерусском языке с завершением праславянской тенденции к открытому слогу. Он предположил, что дефонологизация слабых редуцированных была следствием развития неорганических, паразитных, неэтимологических гласных, которые разряжали группы согласных и фонологически совпадали с редуцированными. При этом происходило как бы «растворение» исконных редуцированных «в широком потоке неорганических гласных, причем для исконных редуцированных звуков в системе фонематических отношений выпадало важное звено: возможность противопоставления гласной фонемы и фонематического нуля при сохранении фонетически обобщенного, типового противопоставления гласным полного образования, по отношению к которым утрачивающие морфологическую значимость гласные звуки приобретали характер нулевой категории»¹.

Утрата возможности противопоставления гласных фонем «нулю звука» при сохранении противопоставления гласных фонем друг другу означает, что любая гласная фонема может приобрести фонематический статус «нуля звука» и подвергнуться элизии. Естественно, главными кандидатами являлись слабые редуцированные, поскольку именно они совпадали с неорганическими гласными, появлявшимися на месте «нуля звука». Альтернативы не было. Таким образом, получается, что новые редуцированные появились, чтобы сразу исчезнуть. Но на это можно посмотреть и с другой стороны: развитие неорганической гласности (а она развивалась главным образом в морфологически изолированной позиции) — это обратная сторона падения редуцированных, а может быть, и следствие начала процесса (утраты морфологически изолированных, т. е. так называемых абсолютно слабых редуцированных). Редуцированные должны были исчезнуть по иной причине (более глубокой), а развитие неорганических редуцированных сыграло роль повивальной бабки данного диахронического процесса. Появление неорганических редуцированных — это попытка системы поддержать равновесие, сделать падение редуцированных постепенным. Развитие неорганических гласных и растворение в них этимологических редуцированных создавало благоприятные условия для свободного варьирования, но не в смысле сосуществования собственно фонетических вариантов, а в смысле возможности двойной фонематизации, двойной интерпретации слабых редуцированных — как гласной фонемы и как «нуля звука».

¹ Еселеевич И. Э., Марков В. М. История редуцированных гласных в русском языке. С. 30. См. также: Марков В. М. К истории редуцированных гласных...

В принципе здесь мы также имеем дело с «пустыми клетками» и «цепями отталкивания», когда не совсем ясно, что является причиной, а что — следствием. Появление неорганического редуцированного в группах согласных создает «пустую клетку» для «нуля звука», и эту «пустую клетку» начинают заполнять слабые редуцированные. Нейтрализация с «нулем звука» — это особый тип нейтрализации, она происходит постепенно от позиции к позиции, это такой тип звукового изменения, который не только позволяет, но и предполагает морфологическое регулирование процесса и поэтому не во всем согласуется с младограмматическим понятием регулярного «звукового закона». Итак, гипотеза В. М. Маркова объясняет многое в *механизме падения редуцированных*, но собственно *причина изменения* опять как будто ускользает, поскольку нецелесообразно отождествлять причины изменения и особенности его механизма, т. е. фактически его следствие. Тем не менее гипотеза Маркова больше всего похожа на объяснение причин падения редуцированных, точнее, причин использования именно этого механизма изменения.

Попытку выйти из порочного круга объяснения фонологического фонологическим же (давлением системы и функциональной нагрузкой) предпринял В. Н. Чекман. Если бы его гипотеза была верной, то она могла бы претендовать на объяснение причин падения редуцированных. Указав на однообразие слоговой структуры языков, в которых имеются только открытые слоги, и отметив, что в позднем праславянском нет звуковых сигналов конца слова, Чекман высказал предположение, что на начальном этапе изменения падение редуцированных в славянских языках представляло собой пограничный звуковой сигнал конца слова, а позднее по аналогии распространялось на позиции внутри слов¹.

Итак, В. Н. Чекман предполагает, что падение редуцированных началось с конечных редуцированных. С одной стороны, это противоречит тем фактам, которые мы можем почерпнуть из письменных источников. Например, А. А. Шахматов, наоборот, предполагал, что падение началось с начальных слогов слова². Затем И. А. Фалев «скорректировал» точку зрения Шахматова, введя понятие «абсолютно слабой», т. е. морфологически изолированной, позиции³. Однако, с другой стороны, не следует забывать, что, строго говоря, конечные редуцированные в основной своей массе и были самыми настоящими «абсолютно слабыми» редуцированными, т. е. такими, которые не чередовались с сильными (исключением были случаи типа рабъ — рабъ тъ, дънь — дънь

¹ Чекман В. Н. Исследования по исторической фонетике... С. 211–212.

² Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. С. 217–218.

³ Фалев И. А. О редуцированных гласных...

сь и подобные). Другими словами, статистически основную массу «абсолютно слабых» редуцированных, возможно, составляли именно конечные редуцированные. Это можно интерпретировать как за, так и против гипотезы В. Н. Чекмана. Если падение и началось с конечных редуцированных, что могло почти не отражаться памятниками письменности в силу легкости усвоения соответствующего орфографического правила, то, возможно, не потому, что они конечные, а потому, что они «абсолютно слабые». Тогда наличие пропусков конечных редуцированных в древнейших рукописях не свидетельствует в пользу гипотезы В. Н. Чекмана.

Но главное возражение заключается в другом. Если предположить, что целью утраты конечных редуцированных было установление пограничных сигналов, то процесс должен был бы остановиться на элизии конечных редуцированных. Но он распространился и на срединные редуцированные, дискредитировав тем самым предполагаемую цель изменения. Если даже предположить, что срединные группы согласных, возникшие в результате элизии срединных редуцированных, не совпадали с теми группами, которые возникли в результате элизии конечных редуцированных, то после ресиллабации (т. е. возникновения новых открытых слогов на стыках слов) они все равно совпали, что не позволило достигнуть якобы намечавшегося результата — выработать пограничные сигналы.

Следует отметить также, что фонетические пограничные сигналы не только не обязательны в языке. Наоборот, в языках фонемного строя (типа русского) они вовсе не нужны, а в каком-то смысле даже «вредны», поскольку они как бы парализуют роль межсловных стыков в синтагматической идентификации фонем. В таких языках слово (словоформа) является центральной единицей языковой системы и абсолютно не нуждается в какой-либо фонетической маркировке, а главное — такая маркировка никогда не может быть достигнута. Если что-то похожее на пограничные сигналы возникает в таком языке, это может быть только побочным результатом совсем других процессов. Такой отрицательный пограничный сигнал как раз имелся в славянских языках накануне падения редуцированных: межсловная граница не может проходить после согласного, т. е. если перед нами согласный, значит, это *не* конец слова. После падения редуцированных и этот (квази)пограничный сигнал перестал действовать. Если появившиеся в процессе падения редуцированных конечнослоговые согласные оказались возможны перед межсловной границей, это было временным следствием падения редуцированных, а не целью изменения. Тем не менее в рассуждениях В. Н. Чекмана есть рациональное зерно: он обратил внимание на функциональную важность стыков слов и их возможную роль в фонетических процессах. Правда, роль эту он интерпретировал, с нашей точки зрения, неверно.

Происходившие в праславянском языке фонетические изменения, которые традиционно рассматриваются в рамках закона открытого слога (с его «отрицательным» граничным сигналом) и частично в рамках тенденции к внутрислоговому сингармонизму (последняя действовала на более поздних этапах и может рассматриваться как следствие первой тенденции), функционально усиливали слог и способствовали его становлению в качестве основной фонологической единицы. Этому процессу противодействовала морфемная структура славянского слова, при которой очень важные морфемные стыки (в первую очередь между основой и флексисом) проходили внутри открытого слога, функционально расчленяя его на согласную и гласную фонемы. Что касается групп согласных, то многие из них действительно никогда не расчленялись даже морфемной границей. Таким образом, представляется, что праславянский язык дрейфовал в направлении к слогоморфемности. Тем не менее противоречие между слоговой и морфемной структурой должно было как-то разрешиться, язык должен был сделать выбор, и таким удачным решением проблемы было падение редуцированных гласных, которое в значительной степени привело слоговую структуру в соответствие с морфемной, а последовавшая за падением ресиллабация на стыках слов ликвидировала отрицательные граничные сигналы, установив четкую границу между гласным и согласным и, что особенно важно, между согласными во внутрислоговых консонантных группах. Проявлением и в какой-то мере символом этого разрыва между гласным и согласным в слоге при условии возникновения корреляции по твердости–мягкости был «переход *e* > *o*».

Таким образом, настоящей причиной падения редуцированных было стремление к эмансиpации гласного и согласного в слоге. Падение редуцированных произошло для того, чтобы остановить сползание к слогоморфемности. Но какие дополнительные факторы способствовали именно такому развитию? Чем был плох слогоморфемный строй для славянских языков? Ведь германские языки пошли по этому пути¹. Видимо, это было связано со «словообразовательным взрывом» поздне-праславянской эпохи и с общим увеличением длины славянского слова (ср. относительную краткость германского слова по сравнению со славянским). В недавно опубликованной статье В. Лефельдт и Г. Альтманн дают оригинальную интерпретацию падения редуцированных, опираясь на закон П. Менцерата². Они исходят из того, что накануне падения редуцированных древнерусские слоги были относительно краткими,

¹ См. об этом: Кузьменко Ю. К. Фонологическая эволюция германских языков. М., 1991.

² Lehfeldt W., Altmann G. Падение редуцированных в свете закона П. Менцерата // Russian linguistics. Vol. 26. 2002. P. 327–344.

набор слогов был относительно ограниченным, а словоформы содержали относительно много слогов. Все это мешало проявлению закона Менцерата, который лингвистическая типология рассматривает в качестве одного из фундаментальных языковых принципов. Закон Менцерата применительно к данному случаю можно упрощенно сформулировать следующим образом: чем больше слогов в словоформе, тем она короче, т. е. содержит меньше фонем. Слабые редуцированные мешали осуществлению этого принципа и были утрачены. Подобная интерпретация не противоречит предлагаемой нами.

Итак, причины падения редуцированных, общие для всех славянских языков, уходят корнями в поздний праславянский период. Главная цель падения редуцированных — проведение ресиллабации и утверждение фонемного звукового строя. Нас не должен смущать значительный промежуток времени, отделяющий начало процесса (утрата слабых еров) от осуществления конечной цели (ресиллабации, которая завершилась уже после оглушения конечных звонких), поскольку здесь было много привходящих обстоятельств, которые осложняли течение процесса, развивавшегося путем нашупывающего выбора. Падение редуцированных не только устранило противоречие между тенденцией к увеличению длины слова и тенденцией к слогоморфемности, но и позволило несколько сократить фонемную длительность славянской словоформы, а также осуществить и парадигматическую «экономию». Падение редуцированных вполне могло начаться с конечных слогов, как и полагает В. Н. Чекман, но не только потому, что это создает условия для межсловной ресиллабации, в которой мы видим главную цель (функциональную) падения, но и потому, что конечные — «абсолютно слабые», причем не только в духе Фалева, но и акцентологически (ср. оттяжки ударения с конечных редуцированных, хотя не совсем ясно, что чему предшествовало: оттяжки возникновению слабых редуцированных или наоборот). Особую проблему составляет сохранение гласных на месте конечных слабых редуцированных в северорусских говорах и частично с ней связанная проблема интерпретации написаний с *о*, *е* на месте слабых редуцированных в новгородских берестяных грамотах¹.

Итак, мы склоняемся к тому, что причину падения редуцированных не стоит видеть в неэтиологических вставных гласных, которые развивались в группах согласных. Если принять наше объяснение, то развитие таких гласных можно рассматривать скорее как следствие начав-

¹ Из последних работ на эту тему см.: *Касаткин Л. Л.* Гласные звуки на конце слова в современных северорусских говорах на месте редуцированных гласных древнерусского языка // Русистика. Славистика. Индоевропеистика: Сб. к 60-летию А. А. Зализняка. М., 1996. С. 243–255; *Кудрявцев, Юрий*. Очерки по русской исторической фонологии... С. 74–77. В этих работах также дается критический разбор других гипотез.

шегося процесса падения слабых редуцированных, а отражение ее на письме — как манифестацию функциональной важности отдельной фонемы, а не целого слога в звуковом строем древнерусского языка. Развитие нефонематической гласности в группах согласных — это своего рода реакция на последовательное осуществление тенденции к открытости слога с ее потенциальной угрозой функциональной ценности отдельной фонемы и фонемному звуковому строю в целом. Противопоставленность слабых редуцированных нулю звука и до развития вставных гласных была очень низкой.

В качестве близкой типологической параллели к древнерусскому падению редуцированных Ю. С. Кудрявцев приводит, как он называет, «новое падение редуцированных, происходящее в настоящее время в определенных русских говорах»¹. Имеются в виду процессы, которые происходят главным образом в юго-восточных акающих русских говорах², где, с одной стороны, имеет место редукция гласных до нуля (в позициях максимальной редукции, например, во 2-м предударном слоге: ср. *n[ъ]латно*, *c[ъ]поги*), а с другой — отмечается вставка гласного внутрь сочетания согласных (ср. *к[ъ]рапива*, *с[ъ]мородина*). Собственно, аналогичные явления имеют место и в спонтанной речи носителей литературного произношения. Ю. С. Кудрявцев полагает, с одной стороны, что «специфика данных говоров состоит в одновременной (курсив наш. — М. П.) утрате этимологического гласного: [пл’ивои] и появлении паразитного звука: [пъл’ивои]. Звуковые оболочки данных слов находятся в состоянии свободного варьирования», а с другой — что здесь работает тот же механизм, что и при падении редуцированных в древнерусском языке: «сначала появляются вставки, а затем (оба слова выделены нами. — М. П.) элизия. Действие закона идеального слога вызывает падение»³. Кажется, материал говоров как раз не дает основания для вывода о свободном варьировании. Специфика говоров заключается в том, что при выпадении гласного противопоставление сохраняется (ср. [п]левали ‘плевали’ — [г]ливали ‘поливали’, где [п] — слоговой согласный⁴). Это значит, что фонологически элизии не проис-

¹ Кудрявцев, Юрий. Очерки по русской исторической фонологии... С. 62.

² См.: Стrogанова Т. Ю. О вокализме 2-го предударного слога после твердых согласных в акающих говорах // Диалектологические исследования по русскому языку. М., 1977; Бурова Е. Г. Гласные вставки в начальных группах согласных в русских говорах // Диалектология и диалектография русского языка. М., 1981; Голубева Н. Л. О консонантном окружении гласных, редуцируемых до нуля // Диалектография русского языка. М., 1985.

³ Кудрявцев, Юрий. Очерки по русской исторической фонологии... С. 63.

⁴ Касаткин Л. Л. Современная русская диалектная и литературная фонетика... С. 255. Там же Л. Л. Касаткин указывает, что «при этом количество слогов в слове часто остается прежним, так как слоговость с утраченного гласного переходит на согласный», а также уточняет: «Это, к сожалению, почти не отмечается в материалах ДАРЯ».

ходит: [п] = /па/. Примеры на вставку гласного внутрь консонантного сочетания обычно ограничены морфологически изолированной позицией, что наводит на следующий вывод (противоположный тому, к которому пришел Ю. С. Кудрявцев): вставка гласного есть следствие элизии редуцированного и происходит в морфологически изолированных контекстах. При эпентезе же гласного свободное варьирование возможно, поскольку это не системное фонетическое изменение, которое действует согласно условиям звукового закона, а изменение в конкретных словах (поэтому возможно более широкое распространение некоторых слов — например, таких как *п[ъ]шено*, *п[ъ]шеница*, *с[ъ]мородина* — за пределы юго-восточного очага изменения).

Кроме того, Ю. С. Кудрявцев полагает, что древнерусское падение редуцированных и так называемое новое падение редуцированных в современных акающих диалектах различаются в парадигматическом аспекте: в древнерусском редуцированные были самостоятельными фонемами, в то время как в диалектах «в отличие от старого падения элизии подвергаются не фонемы, а аллофоны фонем»¹. Если считать, что сильные и слабые редуцированные накануне древнерусского изменения представляли собой разные фонемы (а это, скорее всего, так и было), то тогда это различие между двумя «падениями» действительно следует рассматривать как принципиальное. Но в этом случае возникает сомнение в целесообразности данной типологической параллели, точнее, могут вызывать сомнения выводы, делаемые из сходства двух процессов. Однако Ю. С. Кудрявцев отнюдь не считает сильные и слабые редуцированные разными фонемами, его подход в известном отношении диаметрально противоположен. Он не считает необходимым и предположение об аллофонном варьировании редуцированных в сильных и слабых позициях накануне «падения».

Основная идея Ю. С. Кудрявцева относительно механизма древнерусского падения редуцированных заключается в следующем. Во-первых, все редуцированные гласные независимо от позиции должны были перефонологизоваться «не в другие фонемы, а в фонематический нуль. Это могло произойти... без всякого фонетического сдвига. Просто в структуре /льжьцы/ прежняя фонематика (6 фонем) сменилась новой: /лж'ц'/ — 3 фонемы»². Во-вторых, «чтобы выпадение дало ощущимую синтагматическую экономию, должны были выпасть в первую очередь те еры, которые стояли последними в цепи редуцированных или стояли вне цепи. Предшествующие выпавшим еры прояснялись не столько даже по заместительному удлинению, сколько ради предупреждения чрезмерного скопления согласных. Такая вокализация вновь создавала условия

¹ Кудрявцев, Юрий. Очерки по русской исторической фонологии... С. 62.

² Там же. С. 64.

для выпадения 3-го по счету редуцированного»¹. Таким образом, после перефонологизации в фонематический нуль происходит вокализация уже павших (фонематически) редуцированных.

Надо сказать, что данная трактовка падения редуцированных никоим образом не подтверждается теми данными письменности, которыми мы располагаем. «Новая фонематика» типа /лж'ц/ не находит отражения в древних памятниках: написания типа лж'ц не встречаются. Отражение выпадения двух редуцированных подряд, или выпадения сильного редуцированного (типа службъи, смоленск и т. п.) имеет место в более поздних памятниках, отражающих морфонологический этап падения редуцированных, и все они могут объясняться морфологическими и словообразовательными аналогиями². Наоборот, имеются памятники, отражающие этап падения после утраты слабых и до перехода сильных редуцированных в /e/ и /o/, или памятники, отражающие наличие особого гласного на месте слабого редуцированного в группах согласных после утраты слабых и перехода сильных в /e/ и /o/.

Недостаточно аргументированы и возражения Ю. С. Кудрявцева против аллофонной реконструкции слабых и сильных еров до падения. Он считает недостатком аллофонной реконструкции «её круговой характер: она нужна, чтобы объяснить позднейшее фонемное изменение, но сама она обычно подтверждена только данным изменением»³. Сказанное справедливо, но это недостаток любой реконструкции, поскольку любая реконструкция призвана «объяснить» позднейшее. Мы ведь можем объявить реконструкцию слабых и сильных еров фонемной, а не аллофонной, и она тоже будет подтверждена в основном последовавшим изменениям. В конечном счете это связано с тем, что «аллофон» это не языковая реальность (он ведь не существует в языке, не осознается носителем), а лингвистическое понятие, языковой реальностью он становится тогда, когда фонологизуется или перефонологизуется в другую фонему. Конечно, именно позднейшее поведение редуцированных гласных в период падения позволяет предположить определенное аллофонное варьирование их накануне падения. Но и до падения они обнаруживают несколько различное поведение, что отражает материал рукописей (например, памятники XI–XII вв. отмечают написания օ, ӗ на месте именно слабых и абсолютно слабых, а не сильных редуцированных).

Характерно, что Ю. С. Кудрявцев, не признавая аллофонической реконструкции сильных и слабых еров, видимо, принимает другую аллофоническую реконструкцию, а именно реконструкцию передних и зад-

¹ Там же. С. 65–66.

² Попов М. Б. Проблемы исторической морфонологии и падение редуцированных гласных // Вестник ЛГУ. Сер.: История, язык, литература. 1982. №14.

³ Кудрявцев, Юрий. Очерки по русской исторической фонологии... С. 65. Со ссылкой на известную работу: Крупинкин Я. Б. Об аллофонических реконструкциях // ВЯ. 1969. № 4.

них аллофонов фонем /ь + ѿ/, /и + ѿ/, /е + о/ и /ѧ + а/. Если /ь + ѿ/ «в поздних праславянских говорах без вторичного смягчения... составляли одну фонемную единицу»¹, становится непонятным, откуда в древней славянской письменности появилась двусеровая орфография, а затем возникло противопоставление односеровой и двусеровой орфографии. Зачем Кирилл создал буквы ѿ и ѿ? Ведь не для того, чтобы обозначить аллофоны фонемы /ь + ѿ/. Представляется, что такая аллофонная реконструкция не подтверждается даже позднейшими изменениями, не говоря уже о том, что она входит в противоречие с общепринятыми представлениями об отражении фонемных различий в алфавите, графике и орфографии, никоим образом, впрочем, их не опровергая.

В заключение повторим основные положения нашей гипотезы в отношении причин падения редуцированных гласных:

1) праславянский язык дрейфовал в направлении к слогоморфемности, что выражалось в тенденции к открытому слогу и внутрислоговому сингармонизму;

2) структура славянских морфем и в целом значительная длина славянских словоформ вступили в противоречие с этой тенденцией к превращению слога в главную функциональную единицу звукового строя;

3) падение редуцированных гласных и последовавшая за ним ресиллабация на межсловных границах остановили движение звукового строя к слогоморфемности и утвердили фонему в качестве единственной функциональной сегментной единицы звукового строя;

4) причины такого глобального фонетического изменения, каким было падение редуцированных гласных, следует искать в глубинных взаимосвязях фонологического и морфологического ярусов языковой структуры; воспользовавшись остроумным комментарием, сделанным, правда, по другому поводу, можно сказать, что «фонологической системе была предоставлена роль режиссера этой драмы, но сценарий сочинялся за ее пределами»².

Глава 14

ПЕРЕХОД /Е/ В /О/ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Так называемый переход *е* в *о* всегда занимал особое место в исторической фонетике русского языка. Это изменение часто используется для иллюстрации общетеоретических положений диахронической

¹ Там же.

² Ливерман А. С. Заметки о теории звуковых изменений (на германском материале) // Проблемы фонетики. Вып. 4. М., 2002. С. 20.

фонологии, в частности, касающихся типологии, причин и механизма звуковых изменений. Однако, как часто бывает с изменениями, долго находящимися в центре внимания исследователей, реконструкция «перехода *e* в *o*» обросла многочисленными штампами и даже своего рода мифами, которые нуждаются в пересмотре. Следует признать, что многое в этом изменении до сих пор остается неясным и вызывает споры. Это касается не только причин и механизма перехода, но также его условий и локализации во времени и пространстве, связей с другими изменениями, в частности такими, как падение редуцированных гласных и развитие корреляции по твердости–мягкости. Рассмотрим некоторые узловые проблемы, которые имеют, на наш взгляд, решающее значение при реконструкции «перехода *e* в *o*».

Изменение /e/ в /o/ дает достаточно противоречивый материал для фонологической и историко-диалектологической интерпретации. В известной степени это связано с тем, что оно относительно слабо (например, по сравнению с падением редуцированных) фиксируется памятниками письменности. С другой стороны, под «переходом *e* в *o*» как единым историко-фонетическим процессом часто понимают несколько различных звуковых изменений, которые происходили в отдельных славянских (в частности, восточнославянских) языках и диалектах в разное время. Если ограничиться лишь восточнославянскими явлениями, то следует признать, что отраженные с XI–XII вв. в древнерусских (а именно южнорусских, т. е. в известном смысле древнеукраинских) рукописях написания типа *чоловъка, осужонъ, имоужомоу* и т. п.¹, где *e* «переходил» в *o* после палатальных согласных перед слогом с гласным непереднего ряда² независимо от ударения, не имеют отношения к интересующему нас здесь процессу изменения /e/ > /o/ в великорусских говорах, в том числе легших в основу русского литературного языка. Видимо, и изменение [e] > [o] (в том числе и в безударной позиции) в некоторых северновеликорусских говорах представляет собой совершенно иной процесс (в общих чертах как будто сходный с тем, что имел место в старорусском языке). Таким образом, нас будет интересовать собственно русский (старорусский) «переход *e* в *o*», который можно датировать XV–XVI вв.

Принципы диахронической фонологии требуют реконструировать отношения фонем в системе, подвергающейся изменению. Важнейшим для «перехода *e* в *o*» следует признать вопрос о соотношении /e/ и /o/ в эпоху, предшествующую изменению, в частности вопрос о том, были ли /e/ и /o/ самостоятельными фонемами ко времени перехода или они являлись аллофонами одной фонемы. От ответа на этот вопрос зависит не только выявление причин данного изменения, но и реконструкция механизма перехода.

¹ Соболевский А. И. Лекции по истории русского языка. М., 1907. С. 59–60.

² Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. С. 133–134.

Фонологические отношения между /e/ и /o/ накануне изменения

Среди историков русского языка широко распространено мнение, восходящее к работам Р. О. Якобсона, что в древнерусской фонологической системе [e] и [o] были аллофонами одной фонемы: [e] выступал только после мягких согласных, [o] — во всех остальных случаях. Исходя из этого предположения, Якобсон объяснял, в частности, изменение начального др.-рус. *је- в *о- (ср. псл. *језero > др.-рус. озёро и т. п.): поскольку [e] было невозможно в начале слова, отпадение [j] автоматически приводило к замене [e] на [o]¹. При этом, правда, остается не очень понятным само отпадение j. Заметим, что такое решение одновременно предполагает: 1) наличие *ј как самостоятельной фонемы², поскольку в противном случае нечemu было бы отпадать; 2) наличие корреляции по твердости–мягкости.

Одной из наиболее известных разработок идеи, высказанной Р. О. Якобсоном, является концепция, представленная в работах К. В. Горшковой. Вдохновленная статьей Р. И. Аванесова об истории звуков [у] и [и], которые постепенно из самостоятельных фонем превратились в аллофоны одной фонемы³, К. В. Горшкова полагает, что [o] и [e], будучи противопоставлены как самостоятельные фонемы в одну эпоху, теряли эту противопоставленность в другую эпоху, а затем вновь приобретали фонологическую самостоятельность⁴. При этом история русского языка в отношении фонем /e/ и /o/ подразделяется на три периода:

I. *До вторичного смягчения полумягких согласных* древнерусский язык имел самостоятельные фонемы /e/ и /o/, противопоставленные по признаку ряда. Сильной позицией была позиция после твердых (непалатальных) согласных, причем твердые согласные в позиции перед [e] приобретали позиционную полумягкость: [v-еzu] — [vozu]. В позиции после палатальных происходила нейтрализация по ряду, вызвавшая своего рода «изменение *о в *е»: (*poljo >) роlо > pole.

II. *После вторичного смягчения полумягких и до падения редуцированных гласных* сложилась система, при которой твердость и мягкость согласного невозможно было изолировать от заднего и переднего

¹ Jakobson R. Selected Writings. I: Phonological Studies. 2nd ed. The Hague: Mouton, 1971. P. 45.

² Хотя бы синтагматически, т. е. относительно следующего за ним *e, но, скорее всего, и парадигматически, т. е. противопоставленного *i.

³ Аванесов Р. И. Из истории русского вокализма: Звуки [у] и [и] // Вестн. МГУ. 1947. № 1.

⁴ Горшкова К. В. Из истории русского вокализма: Звуки [e] и [o] // Русское и славянское языкознание. М., 1972.

образования, т. е. от ряда, следующего за ним гласного. Гласный и предшествующий ему согласный образовали искное специфическое единство (силлабему, по терминологии Р. И. Аванесова), характеризуемое общим вокально-консонантным дифференциальным признаком бемольности или диезности. Гласные [e] и [o], равно как и твердые и мягкие согласные, оказывались в дополнительном распределении, что указывает на их принадлежность одной фонеме: после твердых согласных и в начале слова — только [o], после мягких — только [e].

III. *После падения редуцированных* — на рубеже XIII–XIV вв. — начинают складываться условия для формирования новых отношений между [e] и [o]. Впрочем, по мнению К. В. Горшковой, само по себе падение редуцированных и связанная с ним окончательная фонологизация признака мягкости (палатализованности) лишь еще больше связали [e] и [o] друг с другом. Вместе с разрушением силлабемы нарушилось и равноправие гласных и согласных в пределах одного слова — теперь дополнительное распределение характеризовало только гласные. В то же время образование закрытых слогов и формирование корреляции по твердости–мягкости вызвали к жизни «переход [e] в [o]». Однако и само изменение [e] > [ö] > [o], будучи, по мнению сторонников данной гипотезы — представителей МФШ, изменением фонетическим, а не фонологическим, не привело к фонологизации отношений между [e] — [o].

IV. *После завершения собственно фонетического перехода [e] > [o]*, когда начались изменения по аналогии, происходит фонологизация /e/ и /o/.

Итак, решающими для понимания «перехода *e* в *o*» были третий и четвертый этапы. Получается, что даже после завершения третьего этапа [e] и [o] еще не стали самостоятельными фонемами, причем ни фонологизация палатализованности, ни падение редуцированных никак не способствуют фонологизации /e/ и /o/, наоборот, еще больше укрепляют связь между ними. Однако самым слабым местом в данной концепции является объяснение фонологизации отношений /o/ — /e/ морфонологическими процессами, т. е. изменениями по аналогии. Такое объяснение противоречит положению фонологической теории, согласно которому аллофоны (для МФШ — вариации фонем) не могут подвергаться аналогическому выравниванию. Поскольку сам процесс аналогических выравниваний, связанных с переходом *e* в *o*, сомнений не вызывает, следует предположить, что уже накануне /o/ и /e/ были самостоятельными фонемами. Учитывая, что переход, согласно концепции К. В. Горшковой, был изменением чисто фонетическим и не приводил к фонологизации /e/ — /o/, полагаем, что и до данного перехода указанные фонемы были самостоятельными. Таким образом, особенности самого перехода /e/ в /o/ скорее противоречат тому, что /e/ и /o/ в предшествующую эпоху были аллофонами одной фонемы. Мы будем исходить из гипотезы о том, что /e/ и /o/ были самостоятельными фонемами накануне перехода.

Локализация изменения во времени и пространстве

Другой важной проблемой является локализация перехода *e* в *o* во времени и пространстве. Одним из первых, кто начал рассматривать переход /e/ в /o/ с фонологических позиций, был Н. Н. Дурново. Вслед за А. А. Шахматовым¹ он делит этот переход на два этапа: сначала происходит «общерусское доисторическое» изменение *e* в *ö* перед твердыми согласными (сюда же относится «переход ѿ в ѿ-округленное», отличное от *ö* из *e*), затем — «великорусско-белорусский» переход *ö* в *o*: «В ѿ переходило не только то ѿ, которое получилось из о.-сл. ѿ, ѿ перед старыми твердыми согласными, но и то ѿ, которое получилось из тех же гласных перед некогда мягкими согласными, отвердевшими до этого перехода... переход ѿ в ѿ происходил во всем в.-р. и б.-р. после утраты гласных ѿ, ѿ слабых, но закончился не везде одновременно»².

Н. Н. Дурново, видимо, рассматривает [e] > [ö] как аллофонное изменение³, которое соответственно не отражается на письме, хотя в его «Очерке» дело представлено так, что звук [ö] не осознавался потому, что в азбуке не было подходящей буквы: «В памятниках указанное изменение не могло быть отмечено за отсутствием в славянской азбуке особой буквы для ѿ; поэтому звук ѿ осознавался писцами, как видоизменение звука *e* и обозначался буквой «е»⁴. В сущности формулировка Дурново противоречива: можно понимать ее и так (в духе Шахматова), что в результате перехода возникла новая фонема [e] > [ö] = /ö/, отличная как от /e/, так и от /o/.

Относя изменение *e* в *ö* к общерусским доисторическим, Н. Н. Дурново отделяет его не только от того «великорусско-белорусского» изменения ѿ в *o*, которое главным образом и считается «переходом [e] в [o]», но, видимо, и от изменения [e] «в направлении к» [o] после палатальных согласных (древнеукраинского): «...впрочем, изменение *e* в *o* после шипящих могло быть результатом другого процесса, изменения в направлении к *o* после старых смягченных, — процесса, начало которого может относиться к эпохе до окончательного смягчения согласных перед *e*»⁵. В этом отношении его подход отличается от подхода многих,

¹ «В общерусском прайзыке перед *e*, как и перед другими гласными переднего ряда, смягчились все вообще согласные. Это *e* перешло в *ö* в положении перед... твердыми согласными.... В великорусском наречии ѿ с течением времени изменилось в *o*» (Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка. 4-е изд. М., 1941. С. 114).

² Дурново Н. Н. Очерк истории русского языка. С. 184–185.

³ Может быть, не случайно у Дурново *e* > *ö* названо «изменением», в отличие от «перехода» *ö* > *o*.

⁴ Дурново Н. Н. Очерк истории русского языка. С. 152 (раздел «Изменение ѿ в ѿ перед твердыми согласными»).

⁵ Там же. С. 152 (сноска 1).

если не большинства, историков русского языка, рассматривающих эти изменения как этапы одного процесса «перехода [е] в [о]».

Таким образом, если изменение *e* в *ö* (по Дурново) с фонологической точки зрения было аллофонным изменением, то в качестве «перехода *e* в *o*» следует рассматривать великорусское изменение *ö* > *o* (по Дурново). Древнерусское изменение *e* в *o* после палатальных, отраженное, в частности, южнорусскими (= древнеукраинскими) памятниками XI — начала XII в. (до падения редуцированных) не имеет к великорусскому переходу *e* в *o* никакого отношения. Это ясно из того, что, во-первых, «переход *e* в *o*» имел место после падения редуцированных гласных, поэтому не мог быть отражен в означенных памятниках, во-вторых, этот переход имел место в говорах, развивших вследствие вторичного смягчения корреляцию по твердости—мягкости, поэтому не мог быть отражен в памятниках именно древнеукраинских, где вторичного смягчения, судя по всему, не было. Разумеется, все это косвенные аргументы, но в своей совокупности они представляются достаточно убедительными.

Мы подошли к вопросу о связи перехода *e* в *o* с двумя крупнейшими изменениями в истории звукового строя русского языка — падением редуцированных гласных и вторичным смягчением полумягких согласных, причем многие лингвисты связывают фонологизацию противопоставления палатализованных и непалатализованных согласных с падением редуцированных гласных.

Для большинства современных исследователей несомненна связь перехода /e/ > /o/ с предшествующим ему по времени падением редуцированных. В. Н. Сидоров в 1945 г. в неопубликованном докладе выдвинул гипотезу, согласно которой «это изменение представляет собой последствие падения редуцированных: воздействие согласного на предшествующий гласный легче могло осуществиться в пределах одного слова, что могло иметь место в закрытых слогах, образовавшихся в результате падения редуцированных; с этих слогов и начинается процесс, распространяясь затем и на открытые слоги»¹. Данная гипотеза получила широкое распространение, однако принятие ее связано с определенными трудностями. Во-первых, переход /e/ > /o/ первоначально только в закрытом слоге, т. е. замена фонемы /e/ фонемой /o/ в закрытом слоге и сохранение фонемы /e/ в открытом как первый синтагматический этап фонемного изменения пока не подтверждается материалом исследованных памятников и говоров, хотя теоретически такое предположение возможно. Во-вторых, в этой гипотезе остается неясным, как происходил переход изменения с закрытых слогов на открытые. Ведь

¹ На доклад В. Н. Сидорова ссылается П. С. Кузнецов в кн.: *Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка*. М., 1963. С. 130; см. также: *Сидоров В. Н. Из истории звуков русского языка*. М., 1966. С. 3—4.

если звук [e^o], появившийся в закрытом слоге в результате лабиализующего воздействия следующего согласного, остается на данном этапе изменения аллофоном фонемы /e/, его распространение по аналогии невозможно, поскольку фонологизация аллофона предшествует так называемому аналогическому выравниванию, которое происходит уже после завершения фонетического изменения¹. Таким образом, фонологизация аллофонов происходит в недрах старой фонемы до изменения фонологического контекста. Сам же механизм фонологизации или перераспределения аллофонов остается неясным.

Современному фонологу, в принципе склоняющемуся к гипотезе В. Н. Сидорова, уже недостаточно указать только на фонетические условия «перехода *e* в *o*» (контакт с твердым согласным в границах закрытого слога). Для дальнейшего преобразования (уже на фонемном уровне) необходима перефонологизация, т. е. изменение дифференциальных признаков фонем /e/ и /o/. Если до утраты редуцированных и развития корреляций по палатализованности–непалатализованности эти фонемы были противопоставлены по признаку ряда, то после этих изменений они уже противопоставлялись по признаку лабиализованности–нелабиализованности². Соответственно главными факторами (чтобы избежать употребления слова *причинами*) изменения /e/ > /o/ признаются: во-первых, воздействие (аккомодация) следующего непалатализованного согласного (как бы условие «перехода» — фонетический аспект), во-вторых, фонологизация палатализованности и перефонологизация фонем /e/ и /o/ (как бы причина «перехода» — фонологический аспект).

В целом современные исследователи сходятся в том, что изменение [e] в [o] происходило после падения редуцированных и началось в тот момент, когда завершилась фонологизация твердых и мягких согласных, а фонетическое его содержание заключалось в том, что нелабиализованный гласный переднего ряда [e] в положении перед твердым согласным становился лабиализованным гласным заднего ряда [o]. С. Б. Бернштейн, рассмотревший изменение *e* в *o* на широком общеславянском фоне³, отметил следующие обстоятельства: 1) после падения редуцированных слогораздел не мог служить препятствием для взаимодействий соседних

¹ Мысль о том, что оттенки фонемы не могут «переноситься по аналогии», родилась одновременно с теорией фонемы. Впервые, видимо, это сформулировал Л. В. Щерба (Русские гласные... С. 16). См. также: Стеблин-Каменский М. И. К теории звуковых изменений // ВЯ. 1966. № 2. С. 69 (со ссылкой на формулировку Б. Трнки 1938 г.). Аналогичная мысль проводится П. С. Кузнецовым применительно к изменению /e/ > /o/, но несколько по иному поводу. См.: Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. С. 132–133.

² Колесов В. В. Динамическая модель и изменение фонем // Фонология. Тамбов, 1982. С. 90.

³ Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики... С. 277–280.

звуков (*ne|sla* — *nesl*); 2) переход [e] > [o] наблюдается в тех славянских языках, где противопоставление твердых и мягких согласных «достигло наивысшего развития». Таким образом, важнейшей фонологической предпосылкой перехода, а значит, появления слов типа [*l’o*], было освобождение твердости—мягкости от качества следующего гласного, т. е. фонологизация признака палатализованности.

Еще в «дофонологическую» эпоху славистики А. И. Томсон, который, правда, специально не занимался переходом *e* в *o*, высказал предположение, что процессу перехода могла способствовать лабиализованность этого твердого согласного: «...при переходе *e* в *o* (берёзу) первопричиной индивидуального изменения могло быть перенесение лабиализации от последующего твердого лабиализованного согласного (органическое индивидуальное изменение). Несколько лабиализовавшееся *e* имеет более низкий собственный звук резонатора — характерный шум гласного. Перенимающие дети могли производить почти тот же звук с незаметным различием в тембре посредством более заднего подъема языка и без лабиализации (изменение при перенятии). При дальнейшем стремлении лабиализовать собственный звук этого нового гласного также понизился бы и мог у перенимающих снова вызвать еще более заднее положение языка, пока наконец, в течение нескольких поколений, подъем языка оказался у мягкого нёба и при нем опять лабиализация, так что этот звук совпал с *o*. Возможность такого переменного действия объясняется тем, что в словах “берёзу” и “берёза” условия для лабиализации неодинаковы (только “у”, не “а” производятся с лабиализацией)»¹. Е. Ф. Будде также говорил о следующей последовательности «перехода *e* в *o*» (отличной от предполагаемой В. Н. Сидоровым): «... м’ёду появилось р а н ь ш е под влиянием лабиализованного следующего *ð*, чем м’ёд: в то время как было уже мёду, еще было м’ед и не было м’ёд»².

Однако С. Б. Бернштейн справедливо указал, что чисто фонетическое объяснение перехода [e] > [ö] > [o] влиянием твердого лабиализованного согласного недостаточно, поскольку в этом случае остаются без ответа следующие вопросы: 1) почему в польском нет перехода [e] > [o] перед губными согласными, где для лабиализации были наиболее благоприятные условия³; 2) почему переход имел место после падения

¹ Томсон А. И. Общее языковедение. Одесса, 1906. С. 256–257.

² Будде Е. Ф. Лекции по истории русского языка. Казань, 1913. С. 201.

³ Это могло быть связано с механизмом фонетического изменения: лабиализованный согласный «передает» свою лабиализацию предшествующему гласному, утрачивая ее сам, или — наоборот — утрачивает лабиализацию, передавая ее предшествующему гласному. А этот признак легче всего утрачивали переднеязычные согласные [t, d, s, z, r, n, l], перед которыми в польском и происходило изменение [e] > [o]: *żeński* — *żona*, *niesię* — *niosę*, но перед заднеязычными и губными — *cierły*, *brzeg*.

редуцированных, поскольку их утрата не могла способствовать лабиализации твердых согласных¹; 3) почему твердые согласные оказались лабиализованными только в вост.-слав. и лехитских языках? На последний вопрос ответ более или менее ясен²: потому что возникла корреляция по палатализованности. Таким образом, фонологическая предпосылка — развитие корреляции по палатализованности — сопровождалась и фонетическим следствием: развитием лабиовелярности (лабиализованности) непалатализованных согласных.

Главный вывод, к которому приходит С. Б. Бернштейн, заключается в том, что в переходе [e] > [o] главным является не лабиализация, а изменение переднего гласного в гласный заднего ряда. На это в особенности указывает польский язык: ср. перед [t, d, s, z, r, ɿ, ɿ] — [e] > [o], [ɛ] > [a], [ɛr] > [ər] и т. п., причем в польском [e] > [o] до прояснения сильных редуцированных: ср. *pies* < *ръсь. Однако С. Б. Бернштейн вовсе не касается вопроса о том, были ли [e] и [o] самостоятельными фонемами, и если да, то каким признаком они различались, а также является ли переход [e] > [o] фонологическим изменением. Впрочем, такой подход вытекает из его общефонологических установок: для него главным «героем» исторической фонологии является звук, а не *фонема* (понимаемые в духе МФШ).

Если С. Б. Бернштейн как славист, учитывая польский материал, усматривает в переходе *e* в *o* изменение гласного по ряду, то русисты традиционно делают упор на лабиализацию гласного в процессе этого изменения, привлекая обширный материал русских говоров. Отправной точкой исследователей является тот факт, что переход *e* в *o* в разной степени характеризовал говоры русского языка и проходил в них, видимо, в разное время. Ярче оно отражено в говорах диалектной зоны центра (ростово-сузdalские говоры), где наиболее последовательно было проведено и противопоставление по твердости–мягкости. Меньше других этим изменением оказались затронуты периферийные северорусские говоры, где [e] > [o], возможно, сохранилось как аллофонное вариорование по признаку лабиализованности³, а также в некоторых периферийных южновеликорусских говорах, которые знают изменение /e/ > /o/ лишь в суффиксах и флексиях, т. е. как изменение, морфонологическое по своему характеру. Отметив, что в ростово-сузdalских говорах, являющихся эпицентром «перехода *e* в *o*», данное изменение охватывает сочетания со всеми типами согласных лишь с конца XV в., а в курских, рязанских, костромских, тульских и других памятниках —

¹ Этот вопрос не совсем понятен: конечно, не могла! Они ее и утратили, передавая предшествующему гласному.

² С учетом того, что у восточных славян переход был великорусско-белорусским.

³ Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. С. 178.

даже с XVI в., В. В. Колесов объясняет такую задержку перехода /e/ > /o/ «необходимостью сначала освободить признак лабиовелярности как вариантный, а затем создать фонетически закрытые слоги»¹.

Одной из интересных работ, посвященных рассмотрению фонологических аспектов перехода *e* в *o* на основе лингвогеографических данных, является статья С. М. Треблер². Автор исходит из более или менее общепринятых в настоящее время положений: 1) переход [e] в [o] представляет собой лабиализацию [e], т. е. является обусловленным фонетическим изменением; 2) переход осуществлялся в положении перед твердым согласным независимо от положения гласного по отношению к ударению; 3) изменение в разной степени затронуло говоры русского языка и протекало в них не одновременно, в частности в ростово-сузdalских раньше и более последовательно, чем в новгородских³. Последнее обстоятельство обычно связывают с тем, что ростово-сузdalские (северо-восточные) говоры более последовательно провели вторичное смягчение полумягких согласных и развили корреляцию по твердости-мягкости. С. М. Треблер предпринимает попытку дать фонологическую интерпретацию того факта, что непоследовательность и ограниченность изменения [e] в [o] в говорах вологодского ареала, восходящих к древненовгородскому диалекту, сопровождается ограниченностью корреляции согласных фонем по ДП «палатализованность-непалатализованность». Поскольку в этих вологодских говорах лабиовелярность и полумягкость согласного обусловлены рядом следующего за ним гласного, а передние и непередние гласные возможны в одной и той же позиции вследствие отвердения согласных, С. М. Треблер предполагает фонологичность признака ряда образования для гласных фонем древненовгородского диалекта и для эпохи изменения [e] в [o].

Исходя из широко распространенных среди фонологов взглядов, согласно которым 1) «система оказывается неустойчивой, если одни и те же ДП характеризуют и систему вокализма, и систему консонантизма», 2) «в такой системе содержится необходимость преобразования, в результате которого общий ДП, закрепившись за единицами одной частной системы, перестает характеризовать фонемы другой»⁴, С. М. Треблер полагает, что 1) «закрепленность признака ряда как релевантного

¹ Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. С. 178.

² Треблер С. М. История частной системы русского вокализма с дифференциальным признаком «лабиализованность-нелабиализованность» по данным лингвистической географии (из опыта исторической интерпретации изоглосс) // Вестн. Московского ун-та. Сер. «Филология». 1978. № 5.

³ Там же. С. 38.

⁴ Даётся ссылка на работу: Мартине А. Принцип экономии... С. 155–157.

за системой гласных фонем задержала развитие в этой же фонологической системе корреляции по ДП “палатализованность–непалатализованность”», 2) «сохранение лабиовелярности согласными в данной фонологической системе обусловило отсутствие противопоставления гласных фонем по ДП “лабиализованность–нелабиализованность” и определило невозможность лабиализации [e]»¹. В данном подходе многое вызывает возражения (или, по крайней мере, сомнения) именно с фонологической точки зрения.

Во-первых, непонятно, что в данном контексте понимается под «сохранением лабиовелярности согласными в данной фонологической системе». Ведь если лабиовелярность — дифференциальный признак в системе консонантизма, то почему невозможна лабиализация [e]? Наоборот, для [e] было бы вполне естественным варьировать по нерелевантному признаку, поскольку для гласных релевантен признак ряда и нерелевантен признак лабиализованности. Что касается согласного, то для него вполне естественно переносить свой релевантный признак на соседний гласный. Таким образом, в соответствии с более или менее общепринятой теорией фонетических изменений все должно быть ровно наоборот!

Во-вторых, если еще можно обсуждать возможность или невозможность сосуществования признаков лабиализованности и ряда как релевантных в подсистеме вокализма, то утверждение, что релевантность признака палатализованности–непалатализованности в системе согласных несовместима с релевантностью признака ряда в системе гласных, представляется непродуктивным. На наш взгляд, это противоречит фактам истории звукового строя русского языка. Как могла релевантность ДП ряда гласных фонем задержать развитие корреляции по ДП «палатализованность–непалатализованность» согласных, если эта последняя возникла именно в условиях релевантности ряда гласных и, возможно, именно вследствие последовательного противопоставления гласных по признаку ряда? Таким образом, С. М. Треблер не столько объясняет причины перехода или «неперехода» *e* > *o*, сколько констатирует, приводя дополнительный материал в пользу данной точки зрения, что этот переход как-то связан с развитием корреляции по «палатализованности–непалатализованности», а возможно, обусловлен им.

В-третьих, предположение о «фонологичности признака ряда образования для гласных фонем древненовгородского диалекта эпохи изменения [e] в [o]» не согласуется с предположением о том, что «противопоставленные как разные фонемы /e/ и /o/ по признаку ряда образования в древнерусском языке старшей поры, они теряют эту противопоставленность после вторичного смягчения согласных»². Ведь переход *e* в *o* и

¹ Треблер С. М. История частной системы... С. 42.

² Там же. С. 36.

происходил после вторичного смягчения, но, по мнению С. М. Треблер, даже после этого перехода [e] и [o] еще не приобрели фонологическую самостоятельность (вслед за К. В. Горшковой она полагает, что для этого понадобился еще «ряд морфологических преобразований»). Нельзя согласиться с тем, что аллофоны могут быть противопоставлены по фонологически релевантному признаку (да и вообще противопоставлены). Таким образом, вся фонологическая трактовка интересных лингвогеографических наблюдений С. М. Треблер не представляется убедительной.

Дифференциальные признаки в процессе перехода

В связи с «переходом *e* в *o*» рассмотрим более подробно проблему взаимодействия различных ДП в фонологической системе.

Диахроническая фонология как будто выявила такие фонологические признаки, которые не сочетаются в одной системе или, напротив, тяготеют друг к другу. Допустим, что такие закономерности действительно существуют. В частности, Р. О. Якобсон, сравнивая конкретные фонологические системы, выявил для славянских языков закономерность, согласно которой исключают друг друга корреляция согласных по твердости–мягкости и политония гласных. Еще менее может вызывать возражений связь, существующая между признаками палатализованности и лабиовелярности в системах консонантизма. А. Мартине указывал на невозможность противопоставления согласных по палатализованности и лабиовелярности в одной системе консонантизма, в связи с чем развитие корреляции по палатализованности–непалатализованности сопровождается утратой ДП лабиовелярности–нелабиовелярности. Однако следует иметь в виду, что утрата лабиовелярности как фонемного признака (ДП) и утрата лабиовелярности как аллофонного признака — не одно и то же. С другой стороны, не всегда ясно, что исследователи понимают под признаком, лабиовелярности, т. е. в каком отношении находятся такие признаки как лабиовелярность–нелабиовелярность, лабиализованность–нелабиализованность, веляризованность–невеляризованность. В статье С. М. Треблер говорится о «противопоставлении» лабиовелярных и полумягких¹ согласных в таких вологодских говорах, которые не развили корреляцию по палатализованности–непалатализованности. Значит, речь здесь идет об аллофонном вариировании, а не о фонологическом противопоставлении и дифференци-

¹ Отсутствие веляризации твердых согласных воспринимается наблюдателем-фонетистом как полумягкость.

альном консонансном признаке. В системе русского литературного языка (и говорах с аналогичными системами) все непалатализованные согласные являются веляризованными¹, т. е. палатализованность—непалатализованность и веляризованность—невеляризованность в литературном языке сопровождают друг друга (находятся в дополнительной дистрибуции) и соединяются в своего рода комплексный дифференциальный признак «твёрдость—мягкость». Таким образом, фонетические признаки веляризованности и палатализованности не взаимоисключают друг друга, но не могут, видимо, в одной системе функционировать как дифференциальные. Различие между двумя системами заключается в фонологизации признака твердости—мягкости. Лабиализованность согласных в русском языке — аллофонный признак, что связано с наличием ДП лабиализованности у гласных.

Как было отмечено выше, распространено мнение, что если признак ряда является релевантным для системы вокализма, то признак лабиализованности—нелабиализованности гласного выступает как нерелевантный, и наоборот. На механическом следовании этому принципу основаны многие концепции в исторической фонологии русского языка². Полагаем, что для каждой системы вокализма необходимо конкретное решение данного вопроса. В отличие от консонантизма в системах вокализма признаки ряда и лабиализованности часто существуют как релевантные признаки. В современном русском вокализме, например, вопросы распространенному мнению, признак ряда является релевантным. С одной стороны, это вытекает из наличия оппозиции /и — /ы/, а с другой — не противоречит особенностям аллофонного варьирования. При этом никто не возражает против релевантности признака лабиализованности.

По мнению многих фонологов, в условиях релевантности признака ряда и нерелевантности признака лабиализованности гласные заднего ряда при переходе в передний ряд легко утрачивали лабиализованность, например ю > ј в праславянском языке. Видимо, речь идет о связности признаков ряда и лабиализованности в один комплексный ДП. Но было ли псл. *о лабиализованным во время данного изменения? Многие факты, в том числе заимствования в праславянский и обратно, показывают, что не было³. Могут ли гласные быть лабиализованными в системе, где признак лабиализованности отсутствует как дифференци-

¹ Твердые согласные теряют веляризацию в позиции перед мягкими согласными и тем самым часто выступают как полумягкие.

² Горшкова К. В. Соотношение вокализма и консонантизма в истории древнерусского вокализма // Славянская филология. Вып. 5. М., 1963.

³ В пользу этого, кроме известных аргументов, может свидетельствовать и утрата лабиализованности при изменении ряда.

альный? Думается, что нет. Был ли /o/ лабиализованным во время русского «перехода *e* > *o*»? Конечно, был. Переход *e* > *o* мог иметь место только при наличии противопоставления /e/ — /o/ по признаку лабиализованности и ряда. Видимо, этот переход был не просто лабиализацией /e/, но также и передвижкой *e* в задний ряд в определенной фонетической позиции — перед твердым согласным. Лабиализация [e] > [e^o] как начальный этап перехода была изменением аллофонным, которое могло и не иметь «фонологического» продолжения. Некоторые русские говоры зафиксировали только этот его этап. Переход в задний ряд — [e^o] > [‘o] — знаменовало изменение фонологическое, а значит, /e/ > /o/. Это изменение не могло иметь места в условиях нерелевантности признака ряда. В целом переход /e/ > /o/ был изменением по двум признакам, т. е., в сущности, не фонетическим изменением, а заменой одной фонемы на другую, уже существовавшую в системе. Начиная с этого момента «переход *e* > *o*» утрачивает связь с фонетическим контекстом, его обусловившим.

Итак, если можно согласиться с тем, что лабиализованность как ДП не может характеризовать и вокализм, и консонантизм, из этого не следует, что признак палатализованности как релевантный в подсистеме консонантизма и признак ряда как релевантный в подсистеме вокализма не могут сосуществовать в одной системе. Ведь это совершенно разные признаки. Палатализованность в русском языке реализуется по-разному у разных типов согласных и в целом не связана с признаком ряда следующего гласного.

Условия и механизм перехода /e/ в /o/

Несколько иной механизм и условия перехода *e* в *o* предполагает И. Г. Добродомов: «Возникшее в результате заместительной лабиализации изменение *e* в *o* (первоначально ё) первоначально ограничивалось только новым закрытым слогом: *мёд*, но *меда*, *меду*. Но в дальнейшем была обобщена позиция перед твердым согласным: все русские говоры, знающие фонетический переход *e* в *o*, обобщили на все позиции гласного *e* перед твердым согласным переход его в *o*, т. е. по образцу *мёд* стали говорить *мёда*. В других же говорах по образцу *меда* восстановилось первоначальное *мёд*¹. Собственно фонетическое изменение, можно полагать, завершилось в позиции нового закрытого слога на твердый согласный (за которым раньше следовал слабый /ъ/), а затем в процессе морфонологических изменений (традиционно — «переноса по анало-

¹ Добродомов И. Г. К вопросу об условиях перехода Е в О в древнерусском языке // Фонологический сборник. Донецк, 1968. С. 88–89.

гии»). Это понятно, учитывая, что в древнерусском языке было очень мало морфем, в которых /e/ перед твердым согласным в открытом слоге никогда не чередовалось бы с /e/ в закрытом слоге (типа *перо — перышко, желудь, желоб*). С другой стороны, ведущая роль закрытого слога на начальном этапе процесса могла бы объяснить ту легкость, с которой в русском языке осуществлялся «перенос по аналогии» в позицию перед мягким согласным. В качестве возражения можно было бы привести то, что переход [e] > [o] первоначально в закрытых слогах пока никак не находит подтверждения в памятниках письменности. Итак, согласно И. Г. Добродомову, «переход [e] в [o]» вызван заместительной лабиализацией [e] вследствие утраты лабиализованного [ъ]. Эта точка зрения отличается от трактовки В. Н. Сидорова, который вслед за Шахматовым связывал причину этого процесса с лабиализованностью согласного, закрывающего слог. В украинском языке, по мнению И. Г. Добродомова, переход [e] > [o] получил недостаточное отражение, поскольку удлинение, сопровождавшее лабиализацию, привело к дифтонгизации (а затем моноглоссии > i, u), однако дифтонги украинских полесских говоров говорят о лабиализации гласного [e].

В отличие от большинства фонологов Ю. С. Кудрявцев полагает, что искать причины перехода [e] > [o], а точнее — [e > o], следует в особенностях аллофонного варьирования, а не в фонологических отношениях¹. При этом он исходит из того, что лабиализующее воздействие на [e] последующих твердых согласных очевидно. По Ю. С. Кудрявцеву, переход [e] > [o] был комбинаторным изменением аллофонного характера. Это изменение было автоматическим и не затрагивало фонологического противопоставления мягкого и лабиовелярного слогов. Оно не противоречило закону слогового сингармонизма (вопреки В. Н. Сидорову), т. к. «при первичном переходе [e > o] гласный [e] изменял артикуляцию не на всем участке звучания, а лишь в пределах своей финали, там, где он прымкал непосредственно к лабиовелярному согласному»².

Итак, проблема состоит в следующем. Когда и в каких условиях (это, видимо, связанные вопросы) появился новый аллофон? После падения редуцированных в закрытых слогах, как думал Сидоров, в результате заместительной лабиализации со стороны выпавшего слабого редуцированного следующего слога, как считает Добродомов, или в более ранний период в результате ассимиляции/аккомодации следующему лабиовелярному согласному, как полагали Шахматов, Дурново и другие, а также Кудрявцев?

¹ Кудрявцев Ю. С. Переход [E] в [O] (функциональный и типологический анализ) // Ученые зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 719. 1985. С. 119. То же в работе: Кудрявцев, Юрий. Очерки по русской исторической фонологии... С. 78–87.

² Кудрявцев Ю. С.. Переход [E] в [O]... С. 120.

Точка зрения В. Н. Сидорова, по мнению Кудрявцева, справедлива для позднейшего — собственно фонемного — изменения. По-видимому, Ю. С. Кудрявцев полагает, что до начала «перехода» и на начальном (аллофонном) его этапе [е] и [о] фонологически (парадигматически) не были противопоставлены, или — если использовать его терминологию — противопоставлялись, но в рамках мягкого и лабиовелярного слогов, или «силлабем». При этом сам переход [е > о] представляет собой «межслоговую регressiveную аккомодацию», действовавшую в период распада вплоть до падения редуцированных и фонологизации лабиализованности. Такое «изменение могло происходить только в тот период, когда признак лабиовелярности согласных имел релевантный характер»¹. «Аллофонное варьирование по признаку “ряд + огубленность” могло иметь место в период распада праславянского языка, до падения редуцированных и фонологизации огубленности. Как показывает положение в украинском языке и свидетельствуют некоторые данные древнерусской письменности, на первом этапе варьирование осуществлялось только после палатальных согласных. Когда произошло вторичное смягчение полумягких, варьирование распространилось и на позицию после новых смягченных»². Как видим, Ю. С. Кудрявцев объединяет украинское изменение после палатальных и переход [е] > [о]. При этом он не видит, что его гипотеза находится в противоречии с тем фактом, что аллофонное изменение [е > о] после палатальных отражается на письме. «Конец этому живому фонетическому процессу положила фонологизация признака лабиализованности для гласных. После нее стали возможны различные аналогические влияния... Все это свидетельствовало о латентной фонологизации противопоставления /е/ ~ /о/, причем бывшие лабиализованные аллофоны /е/ отошли к фонеме /о/»³.

В последнем тезисе Ю. С. Кудрявцева за термином «фонологизация признака лабиализованности» скрывается всего лишь констатация того, что произошло «расщепление /е + о/ на /е/ + /о/». Учитывая, что признак лабиализованности для гласных, очевидно, был релевантным в системе вокализма, в частности, для /и/, «фонологизация признака лабиализованности» не может служить причиной возникновения противопоставления /е/ — /о/. Таким образом, предпринятое Ю. С. Кудрявцевым подробное описание механизма «перехода [е>о]» и возникновения аллофонного варьирования не приближает нас к объяснению собственно фонологического изменения (а это единственно нас интересует), которым является возникновение противопоставления /е/ — /о/. Полагаем, что ему не удалось приблизиться к реше-

¹ Кудрявцев Ю. С. Переход [Е] в [О]... С. 120.

² Там же. С. 85–86.

³ Там же. С. 86.

нию этого вопроса по той причине, что такого «изменения» вообще не было: фонемы /e/ и /o/ как были противопоставлены до «перехода», так и остались противопоставленными после него. Ошибка Ю. С. Кудрявцева заключена, с нашей точки зрения, уже в исходной посылке, когда исследователь, наблюдая и объясняя столь существенное преобразование системы, каковым было появление новых фонем (расщепление одной фонемы на две), предлагает искать причины не в фонологических отношениях, а в особенностях аллофонного варьирования. Конечно, аллофонное варьирование фонемы является общей предпосылкой, условием, даже в известном смысле причиной фонетических изменений вообще, но то, что само по себе (без учета фонологической системы) в принципе не поддается учету, — а именно таково аллофонное варьирование — не может объяснить изменения фонологической системы. Таким образом, когда Ю. С. Кудрявцев, подводя итоги своего разбора, пишет, что, как и полагал Шахматов, «причиной перехода [e > o] является влияние последующего слога с лабиовелярным согласным», он указывает в лучшем случае причину возникновения аллофонного варьирования.

Итак, Ю. С. Кудрявцев устанавливает несколько этапов изменения:

1) аллофонное варьирование после палатальных, 2) аллофонное варьирование после всех палатализованных согласных (после вторичного смягчения), 3) морфонологические изменения (после падения редуцированных и после фонологизации лабиализованности гласных). При этом главное, что остается необъясненным, — это собственно фонологическое (фонемное) изменение, т. е. то, что произошло между вторым и третьим этапами. Еще важнее, что не доказан сам факт такого изменения. Для нас ясно, что его и не было.

Но остается еще один вопрос, который важен независимо от того, как мы реконструируем отношения [e] — [o] в период, предшествующий изменению: является ли механизмом перехода [e > o] аллофонное варьирование, а само фонемное изменение синтагматическим? Ответ на этот вопрос очень важен для понимания того, что обычно называют «переходом [e] в [o]». С ответом на этот вопрос связан и другой вопрос: а что вообще означает для системы ДП, для понимания системы фонем само изменение [e] > [o]? Можно ли сделать вывод, что если [e] «переходит» в [o], то признак ряда был (перестал быть) нерелевантным для гласных? Ведь он нерелевантен только в определенной позиции. Но даже если признать, что признак ряда сменился для гласных признаком лабиализованности, как многие и полагают, то когда это произошло? Если до изменения, то это и есть «причина» перехода /e/ > /o/. Если после него, тогда это следствие. Если во время изменения, значит, это и есть само изменение, т. е. «фонологизация лабиализованности» есть синоним «перехода /e/ в /o/».

С другой стороны, если механизмом «перехода» было аллофонное варьирование, а сам «переход» был синтагматическим фонемным изменением, то это означает, что признак палатализованности—непалатализованности был релевантным, но это как будто и так все признают — связь между «переходом» и «вторичным смягчением». Возможно, в момент «перехода [e] > [o]» оппозиция твердых и мягких согласных была еще эквивалентной: это было противопоставление палатализованных и лабиовелярных.

Значительный интерес представляют, с нашей точки зрения, соображения о переходе *e* в *o*, высказанные Л. Л. Касаткиным, в частности его интерпретация материала говора с. Кожухова. Л. Л. Касаткин, видимо, разделяет мнение тех, кто вслед за Р. О. Якобсоном считает, что накануне «перехода *e* > *o*» [e] и [o] представляли собой аллофоны одной фонемы. Отмечая, что многое в «переходе *e* в *o*» еще требует выяснения, он полагает, что материал описания вологодского говора с. Кожухова может пролить свет на причины и хронологию этого перехода. По его мнению, данные говора с. Кожухова подтверждают гипотезу о том, «что переход *e* в *o* после исконно мягких согласных предшествовал такому переходу после согласных вторичного смягчения»¹. В данном говоре после этиологических *j*, ч произносится [o], а после так называемых согласных вторичного смягчения — дифтонг или дифтонгоид типа [eo, œo]. Если примерами с [o] после этиологического *j*, согласно Касаткину, можно пренебречь (поскольку первая часть дифтонга в любом случае слилась бы с *j*), то «примеры с [o] после звуков, выступающих на месте ч (часто это [ц'], так как в говоре мягкое цоканье, но также и звуки типа [ц'', ц'', ц', ч', ч''])» указывают, что «переход *e* в *o* после ч' произошел раньше, чем после согласных вторичного смягчения, поэтому мы находим в этой позиции уже только результат этого перехода — звук [o]. После же согласных вторичного смягчения можно наблюдать сам процесс такого перехода. Многообразие звуков в этой позиции как раз и свидетельствует о незавершенности перехода»².

Итак, по мнению Л. Л. Касаткина, вологодский говор с. Кожухова позволяет увидеть процесс перехода *e* в *o* непосредственно. Материал говора дает следующую картину фонетического изменения «in process»: «Гласные верхнего и нижнего подъемов в говоре всегда сохраняют элемент [у] в первом случае и [а] во втором: [у, œу, œу; а, еа, иа] и т. п. Не то наблюдается у гласных среднего подъема. Здесь можно обнаружить ряд

¹ Касаткин Л. Л. Современная русская диалектная и литературная фонетика... С. 372. См. также более раннюю публикацию: Касаткин Л. Л. Гласные одного вологодского говора, не знающего противопоставления согласных по твердости—мягкости // Исследования по русской диалектологии. М., 1973. С. 63—74.

² Там же. С. 372—373.

звуков, крайними точками которого выступают [e] и [o], между ними дифтонги и дифтонгоиды типа [[°]o, [°]eo, eo, e[°]o, e[°]]. Звуки, «промежуточные» между [e] и [o], представляют собой дифтонг или дифтонгоид, в котором сочетаются [e] и [o], т. е. обе фазы перехода, начальная и конечная. Последовательными ступенями перехода можно считать следующие: [e > e[°] > eo > e[°]o > eo > [°]o > o]. Степень продвинутости этого [o] может быть различной: это могут быть и [ö], и [ɔ], и [o], что отчасти связано со степенью мягкости окружающих согласных... Сейчас в говоре с. Кожухова переход *e* в *o* после мягких и полумягких (! — *M. П.*) согласных — живой процесс. Один и тот же человек может произнести в одном и том же слове любой звук цепочки от [e] до [o]. Однако такая возможность существует не для всех морфов¹. Трактовка Л. Л. Касаткиным «перехода [e] > [o]» в говоре с. Кожухова вызывает некоторые возражения общего и частного порядка.

Во-первых, вызывают несогласие крайний «фонетизм» в описании данного перехода и отсутствие какой-либо попытки фонологической интерпретации наблюдаемых явлений. Выявленная последовательность изменения [e > e[°] > eo > eo > [°]o > o] — совсем в духе А. А. Шахматова — абсолютно бездоказательна. Другим проявлением «фонетизма» является то, что Л. Л. Касаткину для понимания этого «перехода», видимо, не кажется существенным то коренное различие в системе и даже составе вокализма, которое наблюдается между древнерусской фонологической системой и системой кожуховского говора, а именно 1) наличие оппозиции /e/ — /o/ в последней и ее отсутствие в первой (по мнению самого Л. Л. Касаткина), и наоборот, 2) отсутствие оппозиции /o/ — /o/ в первой и ее наличие в последней.

Во-вторых, возникает серьезное сомнение в том, что процессы, наблюдаемые в говоре с. Кожухова, представляют собой то же фонетическое изменение, которое традиционно называется «переходом *e* в *o*». В исторической фонетике русского языка (и вообще в славистике) принято связывать переход [e] > [o] — и даже обуславливать его — фонологизацией противопоставления палатализованных и непалатализованных согласных. Но именно говор с. Кожухова является, по справедливому мнению Л. Л. Касаткина, говором, «не знающим противопоставления согласных по твердости/мягкости» и, наоборот, «знающим» противопоставление «передних» и «непередних» гласных фонем /i/ — /y/, /a/ — /a/, /o/ — /o/, /ɔ/ — /ɔ/, /u/ — /u/, /y/ — /y/. Это, конечно, не значит, что переход [e] > [o] в системе кожуховского говора невозможен. Не исключено, что переход [e] > [o] и фонологизация палатализованности взаимоусловлены и, являясь как бы двумя сторонами одного про-

¹ Касаткин Л. Л. Современная русская диалектная и литературная фонетика.... С. 374.

цесса — фонологизации палатализованности, происходят одновременно. Это было бы очень соблазнительным решением: переход [e] > [o] сопровождает и закрепляет оформление корреляции по твердости–мягкости. Было бы замечательно, если бы кожуховский материал можно было бы использовать для типологической верификации реконструкций русской исторической фонологии. Но дело, скорее всего, обстоит иначе.

Видимо, в говоре с. Кожухова мы имеем дело с разрушением старого звукового строя, который не знал противопоставления по твердости–мягкости и «перехода *e* в *o*». Это разрушение происходит в результате влияния системы с противопоставлением по твердости–мягкости и наличием рефлексов «перехода *e* в *o*», т. е. системы, характерной для литературного языка и большинства русских говоров. При переходе неархаического слоя говора к системе литературного языка усвоение нормы запаздывает по сравнению с усвоением системы. Соответственно новая фонологическая система (уже с противопоставлением по твердости–мягкости и с [o] после мягких согласных) наполняется старым фонетическим материалом: возникают так называемые вторичные диалектные фонетические признаки, которые и определяют своеобразие переходной диалектной системы по сравнению с системой литературного языка, через «фонологическое сито» которой исследователь-диалектолог пропускает наблюдаемый диалектный материал.

Но даже если признать, что в говоре с. Кожухова имеет место некий процесс «перехода *e* в *o*», это совсем не то — внутреннее, фонологически и фонетически обусловленное — изменение, какое обычно реконструируется для северо-восточных говоров древнерусского языка XIV–XVI вв. Если бы в кожуховском говоре происходил внутренне обусловленный переход, то — при отсутствии противопоставления по твердости–мягкости — изменение [e] > [o] (точнее, /c/ > /o/ или /'o/) автоматически превращало бы предшествующий полумягкий согласный в твердый, чего не наблюдается. С. М. Треблер, описывая также северорусский (Вологодский р-н) говор, который характеризуется «непоследовательностью в лабиализации [e]», а в архаическом слое — отсутствием этой лабиализации, а также слабой лабиализованностью [o], высказывает предположение, что «тембрально однородный [e] не только не смягчал полностью полумягкий согласный, но отсутствие изменения [e] в [o] находится в прямой зависимости от его тембральной однородности. Тембрально однородный [e], не будучи в состоянии смягчить полумягкий согласный, не мог, видимо, и измениться в [o]. Это изменение одновременно привело бы к отвердению полумягкого согласного»¹. Еще раньше аналогичные особенности были обнаружены Р. Ф. Пауфошимой в архаическом слое

¹ Треблер С. М. История частной системы... С. 45.

одного костромского говора¹ и даже О. Броком². Впрочем, был ли переход *e* в *o* во всех восточнославянских говорах, где фиксируются его рефлексы, внутренне обусловленным звуковым изменением? Во всяком случае, некоторые особенности этого перехода в восточнославянских говорах позволяют предположить, что и изменение XV–XVII вв. не было чисто фонетическим.

Л. Л. Касаткин, выстраивая цепочку плавного и последовательного фонетического перехода, обходит указанные фонологические проблемы, поскольку рассматривает изменение *e* в *o* исключительно в фонетической полоскости. Однако для понимания его точки зрения на фонологические аспекты «перехода [e] > [o]» важна критика Л. Л. Касаткиным трактовки этого перехода Л. Р. Зиндером. Но для уяснения возражений Л. Л. Касаткина необходимо изложить подход Л. Р. Зиндера, который рассматривает переход *e* в *o* не столько с точки зрения исторической диалектологии русского языка, сколько с позиций диахронической фонологии. Для Л. Р. Зиндера наш переход — лишь иллюстрация при разборе классификации фонетических изменений. Тем не менее его взгляд (как бы со стороны) представляется чрезвычайно плодотворным.

Л. Р. Зиндер подчеркивает, что с фонологической точки зрения первостепенное значение имеет различие двух типов звуковых изменений: «1) изменения, происходящие в фонемном составе слов или морфем, и 2) изменения, происходящие в инвентаре фонем языка (увеличение и уменьшение их числа). М. И. Стеблин-Каменский предложил называть изменения первого типа синтагматическими, а изменения второго типа парадигматическими. Эти различные по существу процессы не могут иметь одинакового “механизма”»³. По мнению Л. Р. Зиндера, с точки зрения механизма изменения «замена в ряде слов одной фонемы другой ничем принципиально не отличается от замены одной морфемы другой (ср., например, вытеснение в русском языке окончания именительного падежа множественного числа существительных мужского рода *-ы* окончанием *-а*). То, что синтагматические изменения имеют место зачастую в определенных фонетических положениях, не означает еще того, что они обусловлены фонетически в полном смысле этого слова, т. е. произносительно-слуховыми факторами. Здесь может действовать аналогия фонетического контекста, подобная аналогии морфологической, как это можно предположить для русского /e/ > /o/»⁴. Интересующее нас изменение

¹ Пауфошима Р. Ф. Экспериментально-фонетическое исследование одного северновеликорусского говора: Канд. дис. М., 1963.

² Брок О. Описание одного говора из юго-западной части Тотемского уезда // Сб. ОРЯС АН. 1907. Т. 84. № 4. С. 28.

³ Зиндер Л. Р. Общая фонетика. С. 240.

⁴ Там же. С. 240–241.

описывается Л. Р. Зиндером следующим образом: «Суть дела заключается в том, что при “переходе” *е* в *о* не было никакого звукового изменения; была лишь замена в некоторых случаях одной фонемы другой, уже существовавшей в языке. Естественно поэтому, что поиски фонетического механизма такого “перехода” бесплодны. Вместо этого следовало бы изучить те связи, которые существовали в древнерусском языке между фонемами “*е*” и “*о*”. А такие связи действительно имели место и выражались в сохранившемся до нашего времени общесиндоевропейском чередовании по аблautу; ср., например: *беру* — *набор*, *плету* — *плот*, *бреду* — *брод* и т. п. Может быть, это чередование неударенного *е* с ударенным *о* и было перенесено на все аналогичные по фонетическому положению случаи»¹.

Итак, интерпретация Л. Р. Зиндера предельно ясна и может быть сформулирована в трех тезисах:

1) противопоставление фонем /*e*/ — /*o*/ имело место до «перехода» и сохранилось после него;

2) переход /*e*/ > /*o*/ — это синтагматическое фонемное изменение, которое происходит в фонемном составе слов и морфем, когда звук не изменяется, а заменяется, т. е. имеет место «единовременная подстановка одного звука вместо другого»;

3) механизм изменения — аналогия фонетического контекста и морфологическая аналогия, поэтому возможны многочисленные отклонения от фонетической обусловленности.

Такой подход находится в резком противоречии с другими точками зрения на переход [е] > [о] и как общая схема представляется нам весьма убедительным. Но он не объясняет некоторых важных обстоятельств данного изменения. Во-первых, русский «переход» локализован во времени и пространстве, причем он, несомненно, как-то связан с падением редуцированных гласных и с развитием корреляции по твердости—мягкости. Эти моменты никак не проясняются в трактовке Л. Р. Зиндера. Во-вторых, его подход не учитывает того, что в славянских (даже если ограничиться только восточнославянскими) языках и диалектах имели место разные «переходы *е* в *о*», которые происходили в разное время, в разных условиях и по разным причинам (ср. украинские и великорусские «переходы»). Трактовка Л. Р. Зиндера — в силу краткости его формулировок и ограниченности задач, которые онставил, — не учитывает этого, но его подход позволяет учесть все эти обстоятельства. В какой-то степени он лучше, чем другие, объясняет именно возможность разнообразия славянских «переходов *е* в *о*», многообразия их условий и причин, в основе которых, возможно, действительно лежит морфофонологическая связь /*e*/ : /*o*/, восходящая к индоевропейскому чередова-

¹ Зиндер Л. Р. Общая фонетика. 1-е изд. Л., 1960. С. 261–262.

нию по аблautу, к которому после падения редуцированных могли добавиться новые в суффиксах и окончаниях: ср. *дубок* — *тополек*, *сладок* — *горек*, *полем* — *селом* и т. п.

Кромс того, если вдуматься, трактовка Л. Р. Зиндера не исключает в принципе возможности какого-либо аллофонного изменсния, предшествующего «переходу *e* в *o*» и подготавливающего его (в данном случае неважно, в каком конкретно языке и диалекте), а может быть, просто сопровождающего его. Л. Р. Зиндер лишь подчеркивает то, что сам «переход» как фонологическая мутация не является изменснием звука. Если в каком-либо славянском диалекте произошло «изменение звука [e] > [e^o]», т. е. имело место аллофонное изменение без изменения в фонемном составе слов, то, в понимании Л. Р. Зиндера, там не было и «перехода *e* в *o*». А такис северорусские говоры с «непереходной» лабиализацией [e], видимо, существовали. Но для говоров, легших в основу русского литературного языка, Л. Р. Зиндер, очевидно, не предполагает наличия аллофонного изменения, предшествующего и подготавливающего собственно «переход *e* в *o*». Таким образом, для него не существует проблемы, над которой уже сто лет бьются историки русского языка: каковы фонетические условия «перехода» и каков фонетический «механизм» перехода [e] > [o]?

В подходе Л. Р. Зиндера просматривается еще одно соображение общего характера. Если в результате «перехода» не возникает новой фонемы и в то же время сохраняется противопоставление /e/ — /o/, то это означает, что не было собственно фонетического «перехода [e] > ... > [o]» («поиски фонетического механизма такого “перехода” бесплодны», — пишет Зиндер), а имела место замена фонемы /e/ фонемой /o/ в конкретных словах и морфемах¹. Таким образом, нет новой фонемы — нет и аллофонного изменения, предшествовавшего фонемному. Другими словами, появление новой фонемы имеет в качестве предшествующего и подготавливающего его изменения аллофонное изменение. Если же мы имеем замену одной фонемы другой в конкретных словах и морфемах (как, например, в нашем случае) без возникновения новой фонемы, то даже если этой замене хронологически предшествовали какие-то аллофонные изменения (их существование трудно доказать или опровергнуть), сама замена с ними не связана причинно-следственными связями. Кроме того, это означает невозможность таких фонологических изменений, как перераспределение аллофонов между фонемами, т. е. «передачу» аллофонов одной фонемы другой (собственно, так часто интерпретируется «переход *e* в *o*», если считать,

¹ Оставим в стороне вопрос о том, чем отличается «фонетический механизм» изменения, поиски которого для нашего «перехода» бесплодны, от «механизма фонетического контекста», который как раз и имел место при данном «переходе».

что /e/ и /o/ до перехода были противопоставлены). Если Л. Р. Зиндер действительно так думал (а это не вполне очевидно, потому что он, кажется, четко так и не сформулировал эту мысль), то это довольно существенные для диахронической фонологии положения. Их правильность по идеи можно было бы проверить на материале какого-либо из действующих фонетических изменений («in process»), что сделать довольно сложно в силу огромного количества привходящих обстоятельств и условий. Но если эти общие положения Л. Р. Зиндера (в нашей трактовке) верны, то для понимания «перехода *e* в *o*» они, кроме всего прочего, означают следующее:

1) если все-таки данный переход подготавливается на этапе аллофонного изменения типа [*e* > *e^o*], то, значит, шла подготовка или создавались условия для возникновения новой фонемы типа /o/ (и, видимо, дело не ограничивалось лишь фонемами среднего подъема); можно предположить, что такой путь прошли некоторые северорусские говоры (ср. систему, описанную Л. Л. Касаткиным для говора с. Кожухова);

2) если никакого аллофонного изменения не было или оно не было прямо связано с последующим синтагматическим изменением, то, значит, до перехода уже существовало противопоставление фонем /e/ — /o/; ср. германские умлауты и преломления, в результате которых новые аллофоны фонологизуются (не прихватывая «чужих» аллофонов);

3) если же до «перехода *e* в *o*» звуки [e] — [o] были аллофонами одной фонемы, то совершенно непонятно, как в результате хитрой перегруппировки аллофонов внутри фонемы /e + o/ появилась фонема /o/; во всяком случае, если уж фонема /e + o/ раскололась на две новые фонемы, это никак не связано с «переходом *e* в *o*»¹.

Однако Л. Л. Касаткин утверждает, что материал говора с. Кожухова, в котором, по его мнению, происходит «переход *e* в *o*», аналогичный тому, что имел место в древнерусском языке, противоречит интерпретации Л. Р. Зиндера: «В связи со сказанным нельзя согласиться с тем, что пишет Л. Р. Зиндер о переходе *e* в *o* в русском языке. Л. Р. Зиндер считает, что этот переход представлял собой не фонетическое изменение звуков (эволюцию), а фонетическую замену (субSTITУцию). ... Фонетическая замена “происходит вследствие единовременной подстановки одного звука вместо другого” [Зиндер 1960, с. 258]. В этом случае всегда выступают только два звука: старый и новый. Если же вместо одного, “старого”, звука может употребляться целый ряд близких звуков, которые можно выстроить в цепочку, где рядом стоящие звуки отличаются друг от друга в минимальной степени, то тогда мы будем

¹ Эти наши соображения в п. 3 направлены на то, чтобы лишний раз продемонстрировать бессмыслицу реконструкции фонемы /e + o/ для объяснения «перехода *e* в *o*», — она только осложняет объяснение.

иметь дело не с фонетической заменой, а с фонетическим изменением. Так обстоит дело с переходом *e* в *o* в говоре с. Кожухова»¹.

В этом споре двух видных отечественных фонетистов мы видим столкновение двух фонологических школ и принципиально разных подходов к диахронической фонологии. Л. Л. Касаткин смотрит на фонетические изменения через призму звука. Он работает со «звуком», даже если облекает результаты наблюдения в фонологические термины. Для него, как и для других историков языка — сторонников МФШ, главный герой исторической фонологии — «звук». Л. Р. Зиндер как представитель Щербовской школы мыслит фонологически, он работает с фонемой — звуки как таковые в исторической фонетике для него не существуют, даже если он излагает свои соображения в фонетических терминах и, например, употребляет термин «звук» вместо «фонема». Для него, несомненно, главный герой исторической фонетики — фонема. Для Л. Р. Зиндера, полагаю, абсолютно неприемлем тезис Л. Л. Касаткина о том, что «если же вместо одного, “старого”, звука может употребляться целый ряд близких звуков, которые можно выстроить в цепочку, где рядом стоящие звуки отличаются друг от друга в минимальной степени, то тогда мы будем иметь дело не с фонетической заменой, а с фонетическим изменением». Во-первых, не может быть «одного, “старого”, звука» (ведь Л. Р. Зиндер, которого перефразирует Л. Л. Касаткин, говорил о фонеме, а последний говорит о звуке) — «старая» фонема была одна, но представлена она могла быть разными звуками; во-вторых, не может быть «ряда близких звуков» — могут быть аллофоны одной фонемы; в-третьих, не может быть «ряда близких звуков», которые, как полагает Л. Л. Касаткин, могли употребляться в одних и тех же словах одним и тем же носителем и которые при этом, будучи выстроены в «ряд» звуков, отличающихся друг от друга «в минимальной (!!! — М. П.) степени», укажут нам постепенный ход фонетической эволюции «звука».

Приведем еще одно рассуждение и наблюдение Л. Л. Касаткина, касающееся перехода *e* в *o*: «Известно, что фонетическое изменение не сразу после своего возникновения (Точно ли это известно? Всякое ли фонетическое изменение? И что значит “возникновение” фонетического изменения с фонологической точки зрения? — М. П.) охватывает все слова, где есть условия для такого изменения. Вначале фонетическое изменение проникает в одну группу морфов, затем в другую, пока, наконец, уже не остается материала для изменения: оно охватило все морфы, где раньше имелись для этого условия. В силу такой “неравномерности фонетического развития” создаются условия для лексикализации или мор-

¹ Касаткин Л. Л. Современная русская диалектная и литературная фонетика... С. 375. [Зиндер 1960] — это первое издание «Общей фонетики» Л. Р. Зиндера.

фологизации фонетического явления, когда изменение захватывает или, наоборот, не захватывает часть морфов, корневых или аффиксальных.

Такую морфологизацию можно увидеть и в процессе перехода *e* в *o* в говоре с. Кожухова. Произношение всех звуков цепочки от *e* до *o* наблюдается главным образом в личных окончаниях глаголов: *несёшь, накладёшь, растеёшь...* В других морфах степень [е] отмечается очень редко....

Отсутствие перехода *e* в *o* только в глагольных окончаниях отмечено во многих русских говорах, южнорусских и севернорусских. По неизвестным для нас причинам в этих говорах процесс перехода *e* в *o* остановился, не охватив эти морфы (а почему не наоборот? — *M. П.*). Какие-то, вероятно, аналогичные причины существовали и в кожуховском говоре, в силу чего переход *e* в *o* в глагольных окончаниях затянулся дольше, чем в других морфах. Однако в кожуховском говоре, в отличие от других указанных говоров, этот процесс не остановился, а продолжается, захватывая и глагольные окончания¹.

Надо сказать, что эти особенности в прохождении перехода */e/ > /o/* как раз очень хорошо понятны, если принять интерпретацию Л. Р. Зиннера. С другой стороны, предполагая наличие этапа аллофонного изменения, мы можем трактовать эти «неравномерности фонетического развития» вполне традиционно (в младограмматическом духе) — как аналогические выравнивания, а глагольные окончания дают для этого достаточно оснований. Но в любом случае это происходило только после того, как этап аллофонного изменения завершился. Конечно, все это несколько идеализированные ситуации, в реальности существует еще и междиалектное взаимодействие, распространение инноваций, влияние литературного языка и т. п. Кстати, именно последнее, как отмечено выше, мы склонны усматривать в тех процессах, которые наблюдал Л. Л. Касаткин в говоре с. Кожухова.

Великорусский переход */e/ в /o/* на восточнославянском фоне

Одним из первых четко развел несколько обычно смешиваемых «переходов» *e > o* Г. Шевелов². Во-первых, это древнерусский (= протоукраинский) переход *e* в *o* после палатальных согласных, отражаемый

¹ Касаткин Л. Л. Современная русская диалектная и литературная фонетика... С. 374.

² Shevelov G. Y. Why in Ukrainian *sl'ozы* 'Tears' but *zelenyj* 'Green', while in Russian *sljozy* and *zeljonyj*? An unresolved problem of Ukrainian historical phonology // The Slavonic and East European Review. 1979. Vol. 57. No 1; см. также: Shevelov G. Y. Historical phonology...

украинским литературным языком и диалектами¹. Во-вторых, это древнебелорусский переход² (тоже в какой-то степени древнерусский диалектный). В-третьих, собственно русское изменение (великорусское, видимо, XV–XVI вв.), которое обычно и понимается под переходом *e* в *o* в русском языке³. Кроме того, он отделил великорусский «переход» *e* > *o* от целого букета собственно украинских изменений *e* > *o* («лабиализаций»), которые обычно имели место после дентальных перед непалатализованными согласными в XVI–XVII вв. Для Г. Шевелова, который ограничился украинским материалом, важно было отделить позднеукраинские лабиализации от древнего перехода после палатальных. Однако для исторической фонологии русского языка методологически особенно важно не смешивать первый и третий из перечисленных «переходов» *e* > *o*. Их хронология и условия совершенно не совпадают, тем не менее последний часто иллюстрируют примерами из древнерусских памятников, отражающих древнеукраинское изменение.

Несмотря на то что статья Г. Шевелова посвящена главным образом украинским изменениям, которые привели к возникновению *o* после мягких согласных, т. е. ['o], а великорусскому «переходу» в статье отведено лишь несколько беглых замечаний, ее выводы и особенно сам материал, тщательно проанализированный виднейшим славистом, позволяют, на наш взгляд, пролить свет и на великорусский «переход». Сам Г. Шевелов всячески подчеркивает различия между великорусским и позднеукраинскими изменениями, но даже если в общем он прав, следует обратить внимание и на некоторые сходства, которые касаются не только времени изменения, на что указывает сам Г. Шевелов, но и условий.

Во-первых, обратим внимание на два следующих факта, касающихся того, что он называет «фонетически обусловленным изменением *e* > *o*»: 1) «Изменение происходило в юго-восточных и северо-восточных говорах. По мере продвижения на запад количество слов с новым *o* уменьшалось».

¹ «Это пример сингармонизма гласных, ограниченного двумя соседними слогами: *o* появлялся, если следующий слог содержал непередний гласный, *e* — если гласный следующего слога был переднего образования. За исключением некоторых случаев аналогического выравнивания такое распределение сохранено в современном украинском литературном языке: *жона*, но *женити*; *пишено*, но *пишениця*; *чотири*, но *четвёртий*; наличие о.-сл. палатализованных согласных (т. е. для данного времени и территории 1' и п') также предотвращало появление *o* (чёлядь, ср. с.-х. *čeljad*)» (Shevelov G. Y. Why in Ukrainian... P. 3).

² «В белорусском это результат доисторического изменения под ударением после всех палатализованных тогда согласных, если дальше не шел палатализованный же согласный: *lyod, usjo*» (Ibid. P. 12).

³ «В русском литературном (и южнорусском) изменение 'e' > 'o' произошло почти в тех же условиях, как в белорусском, но много позже, предположительно в XVII в., то есть приблизительно в одно время с украинским» (Ibid.).

ется»; 2) «Но и в центре распространения инновации, даже если выше-названные условия имели место, изменение не было вскохватывающим и во множестве слов *e* сохранялось»¹. Если второй факт свидетельствует о том, что в украинском мы имеем дело не с позиционно обусловленным фонетическим изменением («фонетическим законом» = sound change), а с заменой фонемы /e/ фонемой /o/ в определенных фонетических условиях (после мягких согласных перед твердыми), то первый может указывать на источник распространения данной инновации, а именно на великорусские говоры. Можно также предположить, что на самом деле распространялся не столько великорусский переход /e/ > /o/, сколько палатализованность согласных. При этом в украинском мягкость согласного автоматически должна была привести к замене следующего /e/ на /o/. Таким образом, Г. Шевелов прав в том, что «переход *e* > *o*» не был общим фонетическим переживанием русского и украинского языков, а в украинском при этом были и свои условия и факторы, способствовавшие переходу, в том числе и морфологические (ср. роль морфологической аналогии в украинских изменениях).

Фактически из материала, представленного и проанализированного Г. Шевеловым, следует, на наш взгляд, вывод о том, что в украинском языке вообще не было фонетического перехода [e] > [o]. То, что он называет «фонетически обусловленным изменением *e* > *o*», в действительности, с одной стороны, было изменением морфонологическим (морфологическая индукция мягкого согласного с последующей заменой фонемы /e/, невозможной после мягкого — собственно эту замену и можно в какой-то степени интерпретировать как фонетический переход *e* > *o*), а с другой — распространением великорусской инновации.

Г. Шевелов выделяет следующие фонетически обусловленные изменения *e* > *o*: 1) «Новое *o* развивалось в таких словах, где дентальный согласный, за которым следовал *e*, чередовался с тем же дентальным, после которого шел # (ноль звука): напр., *len* : *l'nu* > *l'on* : *l'nu* (позднее *l'on* : *l'onu*). Решающим изменением (the triggering change) было перенесение палатализованного согласного в позицию перед *e* из позиции перед #. Вследствие диссимилияции *e* лабиализовалось в *o* (*len* > **l'en* > *l'on*). Тот же принцип действует и в отношении совр. укр. *sl'oza*. Эволюция может быть реконструирована следующим образом: др.-укр. *sl'bza* : *sl'bzb* > *sl'za* : *slez* > *sl'za* : **sl'ez* > стар.-укр. *sl'za* : *sl'oz* (позднее *sl'oza* : *sl'oz*, с последующим вхождением формы род. мн. в модель с чередованием *o* : *i* (напр., *koza* : *kiz*), откуда совр. укр. *sl'oza* : *sliz*)»²; 2) «Фонетически обусловленная замена *e* > *o* не была ограничена только случаями с беглыми гласными. Поскольку решающим фактором в

¹ Shevelov G. Y. Why in Ukrainian... P. 12.

² Ibid. P. 7.

изменении была палатализованность предшествующего согласного, оно могло происходить — и происходило, — если источник палатализации был другой. Таким источником в ряде случаев могло быть наличие в парадигме форм с «новым ё», т. е. *i* из *ё*, за которым в следующем слоге следовал слабый *ь* (также ударный *ъ*). Примером может служить форма *s'otuj* (ср. диал. юго-зап. *setuj*). Начальный *s* был палатализованным в *sim* (<*сеть*). Перенос этого *s'* в порядковое числительное вызвало изменение *e > o*. Другие примеры: *lid : l'odu, polit : pol'otu...*¹.

Внешне фонетический контекст изменений и в русском и в украинском языках был сходным: после мягкого согласного перед твердым. Различия между русским и украинским процессами с точки зрения условий изменения, на которые обращает внимание Г. Шевелов, оказываются фиктивными: во-первых, ударение в великорусском, как и в украинском, не являлось условием изменения, а лишь наложилось на него; во-вторых, в украинском дентальность согласного, как и в русском, не входила собственно в условия изменения — просто в украинском палатализованными в тот период были только дентальные согласные. Оба этих фактора были внешними по отношению к самому «переходу» *e > o*, являлись своего рода оранжировкой изменения.

В русском и украинском совершенно различен характер отклонений от общей закономерности изменения. Если в русском переход *e > o* охватил в конечном итоге гораздо больше слов, чем это было «намечено» на фонетическом этапе изменения, т. е. имел место «перебор», то в украинском наблюдается скорее «недобор», что и позволило Г. Шевелову охарактеризовать украинское изменение как фонетический закон, но действующий на ограниченном лексическом материале (отсюда и значительное количество примеров с аффективным *'o*, чего практически не отмечается в русском): «Объем словаря, охваченного фонетически обусловленным изменением *e > o* в говорах, зависел от сохранения палатализованности согласного и от переноса (“переносимости”) этой палатализованности на родственные слова с *e* в основе. Первое широко варьировало по говорам, второе в значительной степени было делом случая. Соответственно количество затронутых изменениям слов варьирует по говорам, и едва ли где-нибудь изменение затронуло все слова, которые теоретически могли быть в него вовлечены. Кроме того, литературный украинский язык производил свой собственный строгий отбор из диалектного материала. Не удивительно, таким образом, что только часть слов, в которых имели место условия для данного изменения, осуществила его. Учитывая эти обстоятельства, интересно заметить, что там, где изменение было осуществлено, оно было проведено в строгих фонетических рамках (within established phonetic framework): после ден-

¹ Ibid. P. 8.

тальных и перед непалатализованными согласными. Таким образом, это был фонетический закон, хотя и действующий на ограниченном лексическом материале¹. Такая характеристика изменения, с нашей точки зрения, очень противоречива. Речь должна идти, скорее, не о «фонетическом законе», а о замене одной фонемы другой в отдельных словах, т. е. о синтагматическим изменении.

Современные рефлексы **e* в русском языке — это касается и литературного языка, и диалектов (с учетом, конечно, «изменений по аналогии») — показывают, что великорусское изменение *e* > *o* довольно тонко реагировало на твердость и мягкость следующего согласного. Взять хотя бы открытую В. Н. Сидоровым зависимость перехода *e* > *o* перед группой согласных с первым твердым: если последний согласный мягкий, переход не имеет места — *тёплый* : *теплится*, *дешёвый* : *дешевле*, *сёстры* : *сестрин* и многие подобные ряды форм. В. Н. Сидоров объяснял это тем, что «переход *e* в *o* в древнерусском языке происходил перед лабиализованными (или лабиовеляризованными) согласными, каковыми твердые согласные были только в положении перед гласными заднего ряда и твердыми же согласными. Поэтому естественно, что *e* не изменилось в *o* перед группой согласных, кончающейся мягкой согласной, так как согласная, находящаяся перед мягкой согласной, не была лабиализованной. Возможно, что эта согласная вместе с тем *не была также и вполне твердой* (курсив наш. — М. П.)»². Видимо, все-таки эта согласная была «вполне» мягкой. Мы имеем в виду, что независимо от артикуляторно-акустических характеристик она была фонологически мягкой. Еще более интересную и тонкую закономерность обнаружил Л. Л. Касаткин в окающих говорах. Там в первом предударном слоге после мягких согласных выступает *o*, если дальше идет группа согласных с последним твердым согласным, и *e*, если дальше идет группа согласных с последним мягким, при этом последний мягкий заднеязычный согласный ведет себя как твердый: *с'острá* — *с'естр'é* и *в'оз'орк'é* — *нъ бр'евне*³. Л. Л. Касаткин блестяще объяснил эту закономерность тем, что во время перехода *e* > *o* первый согласный сочетания был «нетвердым»⁴ перед следующим мягким переднеязычным и губным и твердым перед следующим мягким заднеязычным, так как последний не смягчал предшествующий согласный в силу того, что «мяг-

¹ Shevelov G. Y. Why in Ukrainian... P. 9.

² Сидоров В. Н. Из истории звуков русского языка. М., 1966. С. 139.

³ Касаткин Л. Л. Особенности воздействия мягкого заднеязычного, стоящего после твердого согласного, на предшествующий гласный в русских говорах // Русские народные говоры: Лингвогеографические исследования. М., 1983.

⁴ Л. Л. Касаткин не может назвать его «фонологически мягким», поскольку для него в силу принадлежности к МФШ это слабая позиция.

кость переднеязычных и губных согласных была фонологически существенна, а у заднеязычных согласных фонологически несущественна, позиционно обусловлена». Корректнее, видимо, было бы сказать, что мягкость заднеязычных была фонологически нерелевантна тогда, когда происходили древнерусские ассимиляции в группах согласных. Если переход *e* > *o* в формах типа *в оз'орк'ё* был фонетическим, то из этого следует, что он не был вызван воздействием лабиализованного согласного, поскольку *r* перед мягким *k'* заведомо таковым не являлся. В связи с этим Л. Л. Касаткин предлагает отказаться от гипотезы А. А. Шахматова (или пересмотреть ее) на условия перехода *e* > *o* в русском языке¹.

Причины и механизм перехода /e/ в /o/

Приведенные факты, касающиеся условий перехода *e* > *o* в русском языке, не противоречат тому, что, по крайней мере, в центре изменения (северовосточные великорусские говоры) это могло быть позиционно обусловленное звуковое изменение, результаты которого производят впечатление действия «звукового закона». Особенности проявления этого «перехода» в ёкающих говорах вообще наводят на мысль о непереводной лабиализации /e/, т. е. об аллофонном варьировании, которое, возможно, выходит на синтагматический уровень только в результате столкновения с фонологической системой литературного языка.

Как уже было отмечено, не все русские говоры были охвачены переходом *e* в *o* в равной степени. Наиболее ярко он охватил говоры диалектной зоны центра с наиболее последовательно проведенным противопоставлением корреляции согласных по твердости–мягкости. Меньше оказались затронуты периферийные северорусские говоры, где, возможно, сохранилось варьирование согласных по признаку лабиализованности, а также некоторые периферийные южновеликорусские говоры, которые отражают морфонологическое по своему характеру изменение /e/ > /o/ лишь в суффиксах и флексиях. При исследовании говоров рязанской Мещеры было обращено внимание на следующие явления, характеризующие фонетический строй этих говоров. Во-первых, они не отражают перехода /e/ в /o/ перед твердыми согласными (*н'ес*, *б'ер'еза*). Во-вторых, фонемы /e/ и /o/ находятся (главным образом в корнях) в состоянии как бы дополнительного распределения: /e/ — после мягких согласных (*пр'ив'ес*), /o/ — после твердых (*пр'ивос*). В-третьих, данное распределение не распространяется на некоторые падежные окончания (*пал'ей* — *з'имл'ей*). В-четвертых, /o/ и /e/ противопоставлены

¹ Касаткин Л. Л. Современная русская диалектная и литературная фонетика... С. 461.

в абсолютном начале слова (*оз'ьра — етат*). В-пятых, на стыках слов происходит смягчение конечного согласного перед /с/ (*вот' етат, из' етьва, но вот'ы йа*)¹. Приведенные факты свидетельствуют о том, что в этих говорах фонемы /с/ и /օ/ противопоставлены парадигматически, несмотря на некоторые ограничения в их дистрибуции.

Материал говоров рязанской Мещеры указывает, что фонологизация отношений /e/ — /օ/ не связана с фонетическим изменением /e/ > /օ/. Совершенно очевидно, что в этих говорах действовала морфологическая аналогия: *з'имл'ей > з'имл'ой // вадой, кул'ек > кул'ок // кусок* и т. п. В тех случаях, где не было возможности морфонологической индукции, всегда сохраняется /e/: ср. *м'ъдв'ид'ей*, но — *м'ъдв'ад'оф* (!). Соответственно сторонники поздней (после перехода *е* в *օ*) фонологизации /e/ — /օ/ могли бы предположить, что противопоставление /e/ — /օ/ после мягких согласных обязано своим возникновением действию морфологической аналогии. Анализируя фонологию этих говоров, В. В. Колесов справедливо отметил, что дело здесь не в морфологической аналогии, а в том, что парадигматическая система фонем не препятствует данному противопоставлению². Добавим к этому, что морфонологические изменения не могут происходить вопреки закономерностям фонемной парадигматики, другими словами, морфонологические изменения не могут сами по себе изменить конфигурацию парадигматической системы фонем. Таким образом, в данном случае морфонологическое изменение констатирует самостоятельность фонем /e/ — /օ/, что важно еще и потому, что сам факт аналогии не связан с предшествующим ему фонетическим изменением /e/ > /օ/, которого в этих говорах не было.

Однако рассматриваемый нами случай не исчерпывается проблемой взаимодействия парадигматической и морфонологической подсистем звукового строя. Этот пример демонстрирует нам тот факт, что морфонологическая подсистема, в ведении которой находятся процессы морфонологической индукции, и парадигматическая подсистема, которая связана с системой ДП, могут взаимодействовать только через посредство синтагматической подсистемы, в которой и реализуется парадигматическая система. Применительно к рассматриваемому нами частному случаю проблема прежде всего заключается в следующем: если говор не пережил изменения /e/ > /օ/, т. е. в нем синтагматически запрещены сочетания мягкого согласного со следующим /օ/, или — с точки зрения аллофонной подсистемы — отсутствуют аллофоны [‘օ] и [‘օ’], то каким образом в соответствующих фонетических условиях ока-

¹ Аванесов Р. И. Очерки диалектологии рязанской Мещеры. I: Описание одного говора по течению р. Пры // Материалы и исследования по русской диалектологии. Т. 1. М.; Л., 1949. С. 142–150.

² Колесов В. В. Динамическая модель... С. 70.

зываются возможной морфонологическая индукция? Процессы морфонологической индукции не могут противоречить синтагматической подсистеме фонем, поэтому необходимо предположить, что в данном рязанском говоре фонемная синтагматика допускала сочетание «мягкий согласный + /o/» ко времени действия морфонологической аналогии. Когда же и как произошло это синтагматическое (и одновременно аллофонное) изменение, которое сделало допустимыми данные сочетания? Наше предположение заключается в следующем: вероятно, после падения редуцированных искомые аллофоны [‘o] и [‘o] появились на стыках слов в связи с преобразованием слоговых границ: например, *и-зод-ѣ-ли- сѧ-сѹ-тъш-ѹ-жье-мъи-по-рты* (ПВЛ, 945 г.; ЛЛ 1377).

Возникновение новых оттенков гласных фонем заднего рода после падения редуцированных сыграло важную роль в дальнейшем преобразовании системы древнерусского вокализма. Полагаем, в частности, что и толчком к изменению /e/ > /o/ послужило появление аллофонов [‘o] и [‘o] фонемы /o/ в сандхиальных условиях. Не исключено, что существование оттенка [‘o], возникшего в начале слова перед мягким согласным, способствовало той легкости, с которой уже на ранних этапах изменения /e/ > /o/ нарушалась его фонетическая обусловленность позицией перед твердым согласным. Таким образом, чисто фонетические условия «перехода *e* в *o*» могли быстро ослабнуть. Поскольку в качестве катализатора этого «перехода», с нашей точки зрения, выступили явления, возникшие на стыках слов (образование новых оттенков фонемы /o/), то важно отметить тот факт, что именно в этом положении, т. е. в начале слова, отсутствовали соответствующие аллофоны фонемы /e/: в древнерусском языке заимствования с начальным [e] либо получали протетический йот, либо заменяли это [e] фонемой /o/. Возможно, эта «недостаточность» фонемы /e/ в начале слова в условиях изменения слоговой структуры на стыках слов после падения редуцированных, когда прохождение стыка слов оказалось возможным внутри слога и тем самым стерлось принципиальное различие между межсловными и морфемными границами, способствовала распространению новых аллофонов фонемы /o/ за счет фонемы /e/ и внутри слова. Для древнерусского слова следует отметить высокую частотность начального /o/ как перед твердым, так и перед мягким согласным. Все отмеченные выше обстоятельства делают маловероятным логически допустимое предположение, что процессы на стыках слов происходили после осуществления «перехода *e* в *o*» и подталкивались им. При этом следует также принять во внимание, что диалекты, не знающие «перехода *e* в *o*», тем не менее не заменяли начального /o/ на /e/ в положении после конечного мягкого согласного на стыках слов (впрочем, для таких диалектов может оказаться проблематичным само противопоставление по твердости–мягкости у согласных, в частности на конце слов).

Появление нового оттенка фонемы /о/ (после мягкого согласного) показывало, что такая важная синтагматическая закономерность древнерусской фонетики, как тенденция к внутрислоговому сингармонизму, прекратила свое действие: признак ряда перестал быть ведущим в оппозиции /е/ ↔ /о/ и уступил главную роль признаку лабиализованности.

Недостаток внимания к явлениям сандхи и их роли в фонетических изменениях приводит к тому, что в работах, посвященных взаимоотношениям фонем /е/ и /о/ в истории русского языка, возникновение указанных аллофонов фонемы /о/ в начале слов игнорируется. Ведущая роль обычно отводится качеству гласного следующего слога и возникновению новых закрытых слогов после утраты слабых редуцированных. Соответственно главными факторами перехода /е/ > /о/ признаются: 1) воздействие следующего непалатализованного согласного (это как бы условие «перехода» — фонетический аспект) и 2) фонологизация палатализованности у согласных и перефонологизация фонем /е/ и /о/ (как бы причина «перехода» — фонологический аспект).

В чем же различие между этой, получившей широкое признание, трактовкой «перехода е в о» и той, что предлагается нами? Согласно традиционному объяснению, толчком к «переходу» послужило изменение основного оттенка фонемы /е/ в результате лабиализующего воздействия согласного (первоначально в новом закрытом слоге):

$$[\text{т'}\text{ет}] > [\text{т'}\text{е}^{\circ}\text{т}] \approx [\text{т'}\text{от}] \\ / \text{т'}\text{ет} / = / \text{т'}\text{ет} / > / \text{т'}\text{от} /.$$

Мы же полагаем, что новый оттенок появился в недрах фонемы /о/ в результате воздействия предшествующего мягкого согласного в новом открытом слоге, который возникал на стыках слов после падения редуцированных:

$$[-\text{т'}\text{ь ота-}] > [-\text{т'}\text{ ота-}].$$

Таким образом, толчком к изменению явилось возникновение нового оттенка фонемы /о/, а не изменение старого оттенка фонемы /е/, причем в позиции, которую обычно не рассматривают в рамках изучения «перехода е в о».

Предлагаемая интерпретация в принципе не отвергает традиционный подход. Вполне возможно, что в определенных условиях (лабиализованность следующего согласного, закрытость слога) фонема /е/ получала особый оттенок [е°]-лабиализованное. Может быть, он возник сразу после падения редуцированных (что особенно вероятно в новозакрытых слогах, как полагал В. Н. Сидоров), но возможно, существовал и раньше вне всякой связи с появлением новозакрытых слогов (как думали А. И. Томсон и Е. Ф. Будде). Вполне естественным и даже необходимым было бы при этом взаимодействие сходных в собственно фонети-

ческом отношении звуков [‘о] и [е°], являющихся аллофонами разных фонем /о/ и /е/, что имело результатом конвергенцию: позиция — от [е°] (перед твердым согласным), фонетическое качество — от [‘о] (дифтонгоид заднего ряда с и-образным переходом).

Главное же заключается в следующем: когда после падения редуцированных и изменения слогораздела на стыках слов фонема /о/ получила после мягких согласных новый оттенок, он начал экспансию на оттенок [е°] фонемы /е/. Возможно, что в некоторых диалектах процесс не ограничился позицией перед твердым согласным, а распространился и на позицию перед мягким, так как новый аллофон фонемы /о/ возникал как перед твердым, так и перед мягким согласным (ср. *озеро, осень* и др.), что облегчало и действие морфонологической индукции (см. выше). При нашем подходе яснее становится связь «перехода *е* в *о*» с развитием корреляции по твердости–мягкости, поскольку наличие палатализованных согласных на конце слов, с одной стороны, указывает на развитость данной корреляции, а с другой — предполагает возникновение соответствующего оттенка на стыке слов. В некоторых севернорусских говорах, в которых отмечаются согласные неполного смягчения, одновременно находят «переход *е* в *о*» несколько иного типа, чем в большинстве русских говоров, а именно независимо от ударения. На самом деле в этих говорах не было фонематического изменения /е/ > /о/, а имела место лишь лабиализация /е/ в позиции перед твердым согласным, т. е. изменение носило аллофонный характер, хотя со стороны внешнего наблюдателя этот звук (= [е°]) похож на рефлекс /е/, возникавший после «перехода *е* в *о*» (= [‘о]), в говорах, переживших фонемное изменение /е/ > /о/.

Нам представляется, что закрепление противопоставления палатализованных и непалатализованных согласных в русском языке происходило в процессе преобразования слоговых границ на стыках слов. После падения редуцированных здесь должны были возникнуть новые открытые слоги, когда конечный согласный предшествующего слова образовал «новый» открытый (а не закрытый) слог вместе с начальным гласным следующего слова. Как известно, открытость неконечных слогов синтагмы (так называемая *рессилабация*) является яркой особенностью русского языка. Задержка с переходом /е/ > /о/, таким образом, могла быть связана именно с преобразованием слоговых границ на стыках слов. Когда мы говорим о «задержке» «перехода *е* в *о*», то мы имеем в виду его отставание от тесно связанного с ним так называемого вторичного смягчения полумягких согласных. Рассматриваемый «переход» был, очевидно, реакцией подсистемы вокализма на кардинальное изменение в подсистеме консонантизма, где возникла корреляция палатализованных и непалатализованных согласных фонем. Полагаем, что окончательная фонологизация признака палатализованности

и образование корреляции могло произойти только после полного падения редуцированных и преобразования слоговых границ на стыках слов. Сразу после этого начинается «переход *е* в *о*». Следует подчеркнуть, что данное изменение слоговой структуры синтагмы представляло собой весьма существенное преобразование звукового строя языка и требовало для своего завершения определенного времени. К этому же изменению примыкает и процесс утраты консонантных протез, которые в условиях действия закона открытого слога прикрывали начальный гласный слова, предохраняя его от взаимодействия с предшествующим гласным.

Сказанное позволяет нам несколько по-иному взглянуть на так называемый закон открытого слога в целом. В условиях действия этого закона несовпадение слоговых и морфологических (морфемных) границ было нормальным явлением, но межслоговые границы всегда совпадали со слоговыми. Ситуация изменилась после падения редуцированных, поскольку с преобразованием слоговых границ в сандхи наметилось несовпадение слоговых и межслоговых границ. В русском языке, таким образом, с собственно фонетической точки зрения закон открытого слога, возможно, так никогда и не нарушался. Фонетисты указывают, что закрытые слоги воспринимаются как некое исключение: они практически отсутствуют на стыках слов и встречаются только в конце синтагмы перед синтагматической паузой. Исследователи также отмечают слабое воздействие согласного на предшествующий ему гласный. Таким образом, закон открытого слога фонетически не прекратил своего действия в русском языке. Произошло же следующее: обязательное для предшествующего периода совпадение слоговых и межсловных границ заменилось возможностью их несовпадения. Таким образом, изменение оказывается не чисто фонетическим, а морфонологическим. Тем самым в понятие «закон открытого слога» вводится собственно фонологический, функциональный момент.

Итак, после падения редуцированных гласных в русском языке создаются такие условия, когда возникшие полезные в функциональном отношении противопоставления согласных (палатализованность—непалатализованность и звонкость—глухость) закрепляются в процессе преобразования слоговых границ на стыках слов, так как именно в сандхи происходит живой фонологический процесс взаимодействия и взаимоприспособления фонем, т. е. наиболее ярко проявляется творческий характер языка. Именно здесь в *новых открытых* (а не *закрытых*!) слогах кристаллизуется оппозиция палатализованных и непалатализованных согласных, а также появляются новые аллофоны фонемы /о/, которые затем распространяются и на другие позиции, сыграв тем самым роль катализатора в фонологическом изменении /е/ > /о/.

Глава 15

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ДРЕВНЕРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Смешение Ѳ и є в древненовгородских памятниках

Принято считать, что до XIV–XV вв. фонема /ě/, передаваемая в памятниках буквой Ѳ, сохранялась в древненовгородском диалекте. На основании данных современных новгородских говоров и древней новгородской письменности, в том числе и берестяных грамот, с XIV в. отражающих мену Ѳ и и, предполагается, что в новгородском диалекте имел место переход Ѣ > i. В связи с этим у историков русского языка давно вызывает интерес факт смешения Ѳ с є (а не с и) в новгородских памятниках XI–XIV вв. Наиболее наглядно хронология этого явления видна на примере берестяных грамот, орфография которых в последнее время была детально описана.

В XI–XII вв. для берестяных грамот в целом характерно этимологически закономерное употребление Ѳ при наличии фактов смешения Ѳ с є; с конца XII и до начала XIV в. нормой является смешение Ѳ и є, причем в подавляющем большинстве грамот є пишется вместо Ѳ; в XIV–XV вв. почти в равной степени представлены грамоты со смешением Ѳ и и и с этимологически закономерным написанием Ѳ¹. В принципе материал берестяных грамот не противоречит данным других новгородских памятников. Таким образом, интересующее нас явление — смешение Ѳ и є, точнее, написание є вместо Ѳ — особенно характерно для новгородских памятников конца XII–XIII в.

Интерпретировать рассматриваемые факты в новгородских памятниках просто фонетически как отражение дефонологизации 〈ě〉 затруднительно, поэтому вслед за А. А. Шахматовым многие современные исследователи признают их явлением графическим, но имеющим некоторое фонетическое основание, которое заключается в особенностях церковного произношения. Как известно, А. А. Шахматов объяснял передачу /ě/ (= [ie]) через є большей фонетической близостью старославянского

¹ Зализняк А. А. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). М., 1986. С. 107–108.

/č/ (= [ä]) к древнерусскому /c/, чем к /ě/¹. А. А. Зализняк в указанной работе приводит аргументы в пользу признания данного явления графическим, однако его объяснение, восходящее к точке зрения А. А. Шахматова, нельзя признать удачным. Значит ли это, что следует отбросить графическое объяснение и принять, например, предложенную недавно В. В. Ивановым фонетическую интерпретацию соответствующих написаний берестяных грамот XIII в. как отражающих говор той части древненовгородской территории, на которой уже шел процесс изменения /č/ в /e/?² Думается, что для этого все же нет достаточных оснований.

Существует и еще одно, основанное на расхождении книжного и разговорного произношения, объяснение смешения ъ и є в новгородских памятниках, принадлежащее В. М. Живову и Б. А. Успенскому. По их мнению, на новгородской территории было распространено книжное произношение, базировавшееся на разговорном произношении Киева, в котором якобы перед /ě/ всегда был мягкий согласный, а перед /e/ — полумягкий, причем оппозиция осуществлялась с помощью словового сингармонизма. В отличие от книжного в новгородском разговорном произношении перед обеими фонемами находились мягкие согласные. Этим расхождением авторы и объясняют новгородское смешение ъ и є: «Поскольку в разговорном произношении формы с є (сєло) произносятся так же, как в книжном произношении читаются формы с ъ (дъло), формы с є могут записываться через ъ (съло), а отсюда и формы с ъ могут записываться через є (дєло)»³. В этом остроумном объяснении слишком много натяжек. Во-первых, нет никаких оснований считать, что киевское и новгородское произношения различались именно описанным образом, наоборот, древненовгородская фонетическая система скорее сближалась с киевской в отношении так называемого вторичного смягчения полумягких согласных и противостояла северо-восточным русским говорам, хотя в этом вопросе, конечно, нет единства мнений⁴. Во-вторых, о каком расхождении книжного и разговорного произношения можно говорить, если книжное произношение, как утверждают сами авторы, «воспринималось через

¹ Шахматов А. А. Исследование о языке новгородских грамот XIII–XIV вв. // Исследования по русскому языку. Т. I. СПб., 1885–1895. С. 213–215.

² Древнерусская грамматика XII–XIII вв. / Отв. пед. В. В. Иванов. М., 1995. С. 38–50.

³ Живов В. М., Успенский Б. А. Оппозиция рефлексов *е и *ě в книжном произношении и историческая диалектология // Совещание по вопросам диалектологии и истории языка (лингвогеография на современном этапе и проблемы межуровневого взаимодействия в истории языка) (Ужгород, 18–20 сентября 1984 г.): Тезисы докладов и сообщений. Т. 2. М., 1984. С. 218.

⁴ См.: Shevelov G. Y. A historical phonology... Р. 171–186; Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. С. 83–95; Малкова О. В. Имел ли место вторичное смягчение согласных... С. 76–88.

призму разговорного»? Ведь это значит, что «книжное произношение» вряд ли могло возникнуть до полной дефонологизации редуцированных гласных. В-третьих, новгородские памятники того периода не столько смешивают ё и е, сколько заменяют ё на е.

Интересной представляется фонологическая трактовка новгородских смещений ё и е, предложенная В. В. Колесовым, который полагает, что в основе оппозиции /ě/ — /e/ в новгородском диалекте XI—XIII вв. лежал признак количества и она могла нейтрализоваться в слабых просодических позициях. В связи с утратой количественных различий в системе вокализма возникает опасность утраты функционально полезного противопоставления, что приводит к приостановлению нейтрализации и восстановлению оппозиции на базе нового признака подъема¹. Эти соображения кажутся достаточно убедительными, особенно если учесть, что новая оппозиция получает подкрепление в результате возникновения приблизительно в то же время новой фонемы ⟨ô⟩ закрытого.

Однако к решению данного вопроса можно, кажется, подойти с другой стороны. Именно для 2-й половины XII — XIII в. реконструируется возникновение такой особенности древнерусской графики, как использование одной буквы о для передачи двух самостоятельных фонем /o/ (открытого) и /ô/ (закрытого, напряженного, дифтонгического и т. п.). Большинство известных восточнославянских памятников не отражает противопоставления этих фонем, хотя известно немало рукописей, главным образом XV—XVII вв., в которых данная оппозиция проявляется графически с той или иной степенью последовательности. Характерно, что известные новгородские памятники, различающие ⟨o⟩ открытое и ⟨ô⟩ закрытое, не знают смещения ё и е.

В связи с рассматриваемым вопросом обратимся к графической системе, не передающей противопоставления ⟨o⟩ и ⟨ô⟩. Именно такая система представлена подавляющим большинством древнерусских рукописей и, в частности, берестяными грамотами. Очень странным и неприемлемым является вывод, к которому приходит В. В. Иванов только лишь на основании того, что графико-орфографические системы исследованных памятников XII—XIII вв. не выработали средства для передачи противопоставления ⟨o⟩ и ⟨ô⟩: «В данную эпоху эти диалекты (т. е. отраженные в исследованных им памятниках. — М. П.) знали только ⟨o⟩, восходящее как к [o] под циркумфлексной, так и к [o] под новоакутовой интонацией»².

¹ Колесов В. В. Изменение фонемы smt в древнерусском языке (К вопросу о фонологической системе гласных в древнерусском языке старшей поры) // Slavia. Roi. 35. Сел. 2. Praha, 1966. S. 177—187; Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. С. 182—184.

² Древнерусская грамматика XII—XIII вв. С. 59.

Приведем весьма показательный разговор на тему о возможностях русской графики для передачи состава фонем говора между диалектологом (М. Н. Преображенская) и грамотной крестьянкой (Р. П. Коноплевая), вологодский говор которой характеризуется наличием самостоятельных фонем ⟨ô⟩ и ⟨ê⟩:

Р. К. — Я говорю как вот мы здесь говорим.

М. П. — А как Вы различаете?

Р. К. — А вот как написано: «нужници», «лштка», «кшшка».

М. П. — А как по-городскому?

Р. К. — «лотка», «кóшка», не «кшшка». Как пишется, так «кошка», а мы говорим «кшшка».

М. П. — А в какой букве разница?

Р. К. — «О». «Кшшка» и не написать, буквы такой нету. ... «кшшка» как написать, после «кы» какую букву писать?

М. П. — Вот Вы какую напишете?

Р. К. — А никакую не написать. «Ведрш». На конце что напишем? Никак нам ничего не написать...

М. П. — Между «лес» и «день» какая разница?

Р. К. — «День» писать правильно, дак мягкий знак на конце, а здесь мы говорим как-то попрямей.

М. П. — А после «д» что писать?

Р. К. — «е».

М. П. — А в слове «лес»?

Р. К. — А «лес» после «л» не знаю, что писать. Буквы такой нету, как мы говорим. Такой и буквы нет.

М. П. — А в слове «смотрели»?

Р. К. — А я так бы и написала «смотрели». А мы говорим «смотрили».

М. П. — А в словах «печка» и «речка» разные буквы? Вот малограмотная женщина что напишет?

Р. К. — Она напишет «пецкя» и «крицкя»!¹

Как видим, вполне может существовать графическая система, где фонематическое противопоставление ⟨о⟩ и ⟨ô⟩ не находит своего выражения. В этом положении часто оказывается диалект, приспособляющийся к уже существующему алфавиту и письменной традиции. Подобные ситуации имели место у славян и при распространении письменности, созданной Кириллом и Мефодием. В славянском диалекте, который принимает графическую систему, возникшую на базе родственного диалекта, имеющего отличия в звуковом строе, происходит приспособле-

¹ Диалог записан М. П. Преображенской в дер. Арзубиха Харовского р-на Вологодской обл. в 1968 г.; цит. по: Пауфошима Р. Ф. Фонетика слова и фразы в севернорусских говорах. М., 1983. С. 80.

ние графики к новой системе фонем, причем лишние графемы могут получить новую функцию (фонетическую и/или собственно графическую, например, **ѧ** в древнерусском языке) или быть устраниены (как **ж** и **ѧж**). В противоположном случае, когда в заимствованной графической системе не хватает средств для выражения всех фонологических различий, в одних случаях эти средства изобретаются, вводятся в систему (например, йотированные буквы **ѧ, ҝ** в восточноболгарскую кириллицу), а в других — остаются невыраженными (например, в древнерусских памятниках, отражающих диалекты, которые не пережили «вторичного смягчения полумягких», палatalный ряд мог оставаться невыраженным графически), что затрудняет фонетическую «расшифровку» письменно-го источника. Аналогичную ситуацию мы имеем и с противопоставлени-ем /օ/ открытого и /õ/ закрытого в древнерусском языке и в некоторых современных северорусских говорах.

Итак, после утраты интонационных различий, что имело место, видимо, сразу после или в процессе падения редуцированных (а может быть, и до этих изменений), в системе гласных древнерусского языка, в том числе и в древненовгородском диалекте, возникла новая фонема /õ/ закрытое. В системе появилась новая корреляция по ДП напряженности—ненапряженности — /ê/ : /e/, /õ/ : /o/. Исследователи обычно отмечают параллелизм в развитии фонем /ê/ и /õ/.¹ Представляется, что по-добрый параллелизм можно распространить и на графические принципы в передаче фонем /ê/ и /õ/.² Если в графической системе, которая обслуживает фонетическую систему, различающую коррелятивные фонемы /ê/ и /e/, /õ/ и /o/, имеются особые графемы для членов одной оппозиции (например, **ѣ** = /ê/ и **е** = /e/), но отсутствуют специализированные гра-фемы для каждого из членов другой оппозиции (т. е. **õ** = /õ/ и **o** = /o/), то возможны два варианта преобразования такой системы. Первый вари-ант — найти графические средства для выражения важного фонологи-ческого противопоставления. Этот путь прослеживается в ряде памят-ников XIV—XVII вв., представляющих такие графические системы, в которых ⟨õ⟩ передается либо каморой над о, либо буквой ѿ, либо о уз-ким или о широким³. В фонологическом плане весьма показательно, что имеются памятники с каморной системой, в которых камора ставится не только над о (для передачи /õ/), но и над ѿ (новгородское Евангелие-

¹ Горшкова К. В. Очерки исторической диалектологии Северной Руси... С. 135–139; Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. С. 182–188.

² Это подтверждает и приведенный выше диалог М. П. Преображенской и Р. П. Коноплевой.

³ Зализняк А. А. Новые данные о русских памятниках XIV–XVII веков с различени-ем двух фонем «типа О» // Советское славяноведение. 1978. № 3. С. 74–96.

апракос 1-й половины XVI в.) или над ꙗ, оꝑ, ю (Великис Минеи Четыи, до 1552 г.), т. е. графически маркируются фонемы, характеризующиеся одним ДП, а именно ДП напряженности.

Второй вариант заключается в том, чтобы принцип использования графемы о для передачи /ô/ и /o/ перенести по аналогии на ꙗ, в результате чего оказывается возможным написание є = /ê/ и /c/. Такое положение имеет место в новгородских памятниках XIII в., в том числе в берестяных грамотах. Этим в данных памятниках объясняется односторонняя, как правило, замена ꙗ на є (а не смешение). Предложенное решение предполагает наличие самостоятельной фонемы /ô/ в фонетической системе говора, передаваемого посредством такой графики. А принципиальная возможность такого развития, в свою очередь, заставляет по-иному взглянуть на орфографию древнерусских памятников с предполагаемым ранним отражением дефонологизаций /ê/, например смоленских или псковских. Интересный графический параллелизм отмечается в передаче сербохорватских (штокавских) закрытых /e/ и /o/ в дубровницких рукописях XV в.: /e/ передается буквами «и», «е», «ie», а /o/ — буквами «и», «о», «ио»¹.

В то же время написания с буквой є вместо ꙗ встречаются и в юго-западных древнерусских (древнеукраинских) рукописях XII–XIV вв. М. Г. Гальченко, исследовавшая соответствующий материал, склоняется к графическому объяснению данного явления, полагая, что графемы є и ꙗ функционировали как частичные дублеты после возникновения «нового ꙗ», причем немаркированной графемой была є. По мнению исследовательницы, спорадическое появление немаркированной графемы є вместо ꙗ объясняется тем, что по сравнению с рукописями других древнерусских регионов «юго-западные» рукописи могли восприниматься как «перенасыщенные» буквой ꙗ².

Полагаем, что наше предположение о воздействии возникшей после утраты интонационных различий (видимо, незадолго до или во время падения редуцированных) фонологической корреляции напряженности на графическую систему новгородских рукописей конца XII — начала XIV в., выразившемся в написаниях є вместо ꙗ, заслуживает внимания, несмотря на несколько спекулятивный характер данного предположения. Оно может быть использовано также и при объяснении написаний є вместо ꙗ в древнеукраинских рукописях, поскольку сходная фонологическая корреляция (возможно, по другому признаку) имела

¹ Ивич П. Основные пути развития сербохорватского вокализма // ВЯ. 1958. № 1. С. 9.

² Гальченко М. Г. О написаниях с є вместо ꙗ в юго-западнорусских рукописях XII–XIV вв. // Русистика. Славистика. Индоевропеистика / Отв. ред. Т. М. Николаева. М., 1996. С. 296–297.

место и в южных диалектах древнерусского языка. Однако наиболее ярко это графическое явление представлено именно в древних новгородских памятниках.

Необходимо сделать одно примечание, касающееся замены буквы ё буквой и. Следует ли интерпретировать такие написания в новгородских памятниках XIV–XV вв. как отражение перехода /ё/ в /и/? К. В. Горшкова полагает, что непосредственного перехода /ё/ в /и/, т. е. нейтрализации этих фонем, в древненовгородском диалекте не было, поскольку «орфографические факты XV в. и данные современных говоров не свидетельствуют о сужении фонемы верхнесреднего подъема под влиянием мягких согласных, так как /и/ на месте /е/ находим и перед твердыми согласными, так же как и замену буквы ё буквой и в текстах XV в.»¹. При этом предполагается, что переход осуществился через промежуточную стадию дифтонга [ie], что с фонологической точки зрения ничего не меняет, так как «фонетическое изменение [ё:] в [и:] в новгородских говорах XV века не имело фонологического содержания: дифтонг [и:] имел те же ДП, что и [ё:] — верхнесредний подъем»². Сама по себе эта идея, может быть, и не вызывала бы особых возражений, однако возникает вопрос: на каком основании новгородская дифтонгизация древнего /ё/ датируется именно XV в.? К. В. Горшкова полагает, что эта дифтонгизация, не имеющая, кстати, по собственному ее утверждению, «фонологического содержания», отражается на письме: в одних новгородских текстах буква ё заменяется буквой и (в говорах, которые отражает такая орфография, дифтонг акустически сближается с /и/), в других новгородских текстах буква ё заменяется буквой є (в говорах с такой орфографией дифтонг сближается с /е/). Очевидно, что данная интерпретация неприемлема с фонологической точки зрения, так как аллофонное изменение не отражается на письме. Недоразумением представляется и обращение К. В. Горшковой к дубровницким рукописям XIV в., которые якобы свидетельствуют в пользу ее интерпретации древненовгородской орфографии. В дубровницких рукописях, даже писанных кириллицей, видимо, действительно имеет место колебание между с и і при обозначении /ё/ как самостоятельной фонемы. Но дело в том, что писцы Дубровника ориентировались на традиции латинской письменности, в которой не было соответствующей графемы для обозначения славянского /ё/³. Разумеется, это ситуация, принципиально отличная от той, которая наблюдается в древненовгородском диалекте.

¹ Горшкова К. В. Очерки исторической диалектологии Северной Руси... С. 131.

² Там же. С. 131–132.

³ Ивич П. Основные пути развития сербохорватского вокализма. С. 8–9.

О написании *ноугород-* в старорусских памятниках

Все необходимые факты, связанные с так называемыми *ноугород-*написаниями дериватов названия Новгорода, были изложены А. А. Гиппиусом в его статье, специально посвященной данной орфографической аномалии¹. Важнейшими из этих фактов являются следующие. Во-первых, написания типа *ноугородець*, *ноугоцкии* (< *новъгоро-родыць*, *новъгородъскыи*) и подобные появляются в эпоху после падения редуцированных гласных и так или иначе как-то связаны с последним. Во-вторых, в собственно новгородской письменности XI–XV вв. *ноу*-формы отсутствуют (наиболее ранний пример подобного написания — *ноугородъско*, — отмеченный в Новгородской Кормчей 1282 г., А. А. Гиппиус возводит к северо-восточному протографу рукописи). В-третьих, рассматриваемыми написаниями изобилует московская деловая письменность XV–XVII вв., из которой они проникают и в документы местных, в том числе новгородской, канцелярий (А. А. Гиппиус неправомерно относит к *ноу*-формам 6 написаний типа *ноугородьци* у первого писца ЛЛ 1377; это все-таки другие формы, вполне соответствующие таким написаниям этого же писца, как *протноу*, *нооу*, *жноусть* и подобные, которые отражают выпадение губного [w] перед следующим [u]², что подтверждает и отмеченные у него же написания *новугороду*, *новугородьци*).

Итак, приходится констатировать парадоксальную с точки зрения исторической диалектологии ситуацию: *ноугород*-формы появляются во 2-й половине XV в. в московской письменности, т. с. на территории северо-восточных говоров, для которых характерен губно-зубной [v], и, наоборот, до XVI в. неизвестны на территории распространения новгородских говоров, для которых характерен губно-губной [w]. Но то, что кажется парадоксальным с точки зрения исторической диалектологии, не является таковым с точки зрения диахронической фонологии. Рассмотрим отмеченный «парадокс» подробнее.

¹ Гиппиус А. А. «Ноугородцы» (Об одной орфографической аномалии в старовеликорусских текстах) // Русистика. Славистика. Индоевропеистика / Отв. ред. Т. М. Николаева. М., 1996. С. 152–168.

² Впрочем, интерпретация этих форм Лавр. лет. не столь очевидна. В. В. Колесов, например, считает, что такие написания свидетельствуют как раз о том, что в говоре писца имеет место переход [w] > [v]. Он полагает, видимо, что пропуск буквы в указывает на другой тип согласного (= [v]), отличный от более древнего типа (= [w]), который и обозначался буквой в (Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. С. 171). С таким объяснением трудно согласиться, поскольку губно-губное [w] и губно-зубное [v] фонематически не противопоставлены.

Уверенность историков русского языка в том, что **ноугород**-формы могли возникнуть только в диалекте с билабиальным [w], столь велика, что не только С. И. Котков объясняет написание **ноуго́роцкие сотни** в сказке обитателей московских слобод южнорусским происхождением писца¹, но и решительно возражающий ему А. А. Гиппиус строит свою не очень убедительную, хотя и весьма остроумную и изобретательную гипотезу происхождения подобных форм на предположении о частичном сохранении билабиального [w] в ростово-сузdalских говорах.

По А. А. Гиппиусу, фонетическими позициями, в которых северо-восточные говоры сохраняли билабиальное [w], были следующие: 1) перед сильно лабиализованным [u] (ср. выпадение этого [w] в ЛЛ 1377), а также, что особенно важно для нашего случая, перед лабиализованным [ъ]; 2) после лабиализованных гласных [ъ], [о], [у]. Особенno сильным фактором для сохранения [w] было сочетание этих условий, которое, в частности, и имело место в **новъгород**-формах.

Приведем итоговые рассуждения А. А. Гиппиуса. После установления на территории будущей Ростово-Сузdalской земли произношения [v] («местная инновация») билабиальное [w] («как рудимент старой системы») сохранялось в некоторых фонетических позициях. Что касается собственно форм, связанных с названием Новгорода, то [w] сохранялся в Им.-Вин. и Дат. (**новъгородъ**, **новоу́городоу**) и в дериватах (**новъгородъць**, **новъгородъскыи**). И самое главное: «В им.-вин. впоследствии установилось *по аналогии* (курсив наш. — М. П.) с другими падежами (кроме дат.) губно-зубное [v]. В форме дат. падежа [w] было по говорам утрачено, а в дериватах сохранилось, пережив падение редуцированных. Таким образом, для позднедревнерусского периода можно предполагать произношение [nougorodu] и [nowgorod'ec'] при нормальном для этой территории губно-зубном [v] в остальных формах парадигмы. Именно это произношение и отразилось в написаниях *Ноугороду*, *ноугородъци*, *ноугородъскыи*, закрепившиеся в отдельных писцовых школах как нормативные»². Гипотеза А. А. Гиппиуса вызывает ряд возражений.

Во-первых, не совсем ясно, как за написанием **ноугородъць** может скрываться произношение [nowgorod'ec']. Ведь [w], согласно рассматриваемой гипотезе, все-таки является аллофоном фонемы /v/ (не /w/), а аллофонные изменения, как известно, на письме не отражаются. Более адекватной нам представляется транскрипция [nougorod'ec']. Таким образом, реконструкция пережиточного позиционного [w] не дает возможности объяснить **ноу**-написания. Это становится особенно яс-

¹ Котков С. И. Московская речь в начальный период становления русского национального языка. М., 1964. С. 167–168.

² Гиппиус А. А. «Ноугородцы»... С. 164–165.

если вслед за А. А. Гиппиусом принять в качестве первой фиксации такого написания форму **ноугородъско** из Новгородской Кормчей 1282 г., по происхождению северо-восточную, возводимую им к середине XIII в. Если **ѹ** **ноугород-**написаний XV–XVI вв., когда фонема /u/ передавалась уже не диграфом, а графемой ѹ, действительно отражает бифонемное сочетание (по мнению Гиппиуса — [ow], по нашему — [ou]), то для середины XIII в., когда /u/ обычно передавалась диграфом ѹ, такое решение неправомерно.

Во-вторых, если [v] и [w] являются аллофонами (комбинаторными вариантами) одной фонемы, невозможно выравнивание [w > v] по аналогии в парадигме слова **новъгородъ** ([nowъgorodъ] > [novgorodъ] || [novagoroda]). При этом произношение Дат. [nougorodu] **ноугороду** вряд ли возникло из [nowugorodu] в результате севернорусского диалектного выпадения архаического [w]. Скорее всего, такое произношение и написание можно было бы объяснить переходом [w > u] в позиции перед согласным в говоре с билабиальным [w] вследствие морфологической ослабленности первой части, на которую обращает внимание и сам А. А. Гиппиус¹, и обобщения формы **новъ-** для Дат. Возможно и обобщение **новѹ-** в качестве первой части композита — видимо, к таким образованиям восходят формы, представленные у писца ЛЛ 1377-1: ср. **нооугородцы** 4х, **нооугородъстии** 2х (ср. у него же — **новѹгородьци**) (на билабиальное [w] указывает написание со **о**унук^и 2 случая, отражающее переход [w > u], может быть, в позиции после лабиализованного [o], с которым они составляют дифтонг).

В-третьих — и это самое важное — вызывает вообще сомнение такая реконструкция, которая предполагает сохранение [w] в позиции перед лабиализованными гласными. Специальное исследование чередования [v] — [w] на территории северо-восточной диалектной зоны показало, что «произношение билабиального [w] обычно не наблюдается в положении перед гласными в начале и середине слова», причем в тех очень редких случаях, когда в этой позиции зафиксирован губно-губной спирант, «не удалось установить какую-либо зависимость качества согласного от лабиализации соседних гласных, так как [w] отмечен в соседстве с различными гласными, лабиализованными и нелабиализованными»². В. Г. Орлова отмечает по говорам «факультативные случаи произношения /w/ в положении перед лабиализованными гласными... где /w/ иногда выпадает в интервокальном положении»³, однако

¹ Гиппиус А. А. «Ноугородцы»... С. 160.

² Липовская Н. А. Губные спиранты на территории северо-восточной диалектной зоны // Русские говоры: К изучению фонетики, грамматики, лексики. М., 1975. С. 106.

³ Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров / Отв. ред. В. Г. Орлова. М., 1970. С. 34.

трудно сказать, представляет ли это [w] самостоятельную фонему или элемент следующего гласного (в последнем случае создается совершенно иная ситуация). В южнорусских говорах, многие из которых до сих пор сохраняют [w] («как рудимент старой системы»), процесс перехода [w > v] начался, видимо, именно с позиций перед гласными¹. В позиции же оглушения, т. е. перед согласными (в том числе перед сонорными) и особенно на конце слова как раз возможен [w], что и может создать иллюзию сохранения билабиального [w] перед слабым редуцированным. На самом деле такое распределение возникло уже после падения редуцированных. Таким образом, реконструкция аллофонного варьирования, предложенная А. А. Гиппиусом *ad hoc* (для объяснения механизма появления и распространения *ноугород*-написаний в письменности Северо-Восточной Руси), равно как и сам механизм, не представляется убедительным. В то же время теоретически можно представить себе ситуацию, когда в условиях живого процесса перехода [w] > [v] в каких-то говорах старое [w] в позиции перед лабиализованными гласными (особенно после согласных) переинтерпретируется как признак лабиализованности, т. е. фонологически утрачивается, сохраняясь фонетически. Эта латентная дефонологизация не замечается внешним наблюдателем, в том числе диалектологом².

Главный вопрос, на который не может ответить эта гипотеза: почему *ноугород*-написания возникли в Северо-Восточной Руси (причем для этого понадобилось реконструировать проблематичный [w]), но не возникли в Новгороде (для диалекта которого этот [w] реконструируется вполне реально)? Рискнем предложить собственное решение, опираясь на материал, всесторонне изученный и представленный в статье А. А. Гиппиуса. То, что *ноугород*-написания названия Новгорода представлены не в новгородской, а в первую очередь в московской деловой письменности, откуда они затем могут проникать и в новгородскую письменность, заставляет предположить, что в основе этой парадоксальной ситуации может лежать междиалектное взаимодействие. В пользу такого предположения, на наш взгляд, свидетельствует тот установленный А. А. Гиппиусом факт, что «вспышка» *ноу*-форм имела место в московской письменности 70-х–80-х гг. XV в., т. е. явно в связи с присоединением Новгорода.

Следует отметить, что исследователи, различающие [u] и [w], указывают на то, что первое характерно для южнорусского наречия (в говорах

¹ О различиях между северно- и южнорусскими говорами при переходе к губно-зубной артикуляции /v/ см.: Колесов В. В. Фонетика // Русская диалектология. М., 1990. С. 50–51.

² Такой говор, возможно, представлен Рязанской Кормчей 1284 г.: ср. *в[ога]ать-сту*, *приятельство*, *стареншинысть*.

которого регулярна нейтрализация в начале слова перед согласными — [unuk], [udova] и др.), а второе — для севернорусского, причем само изменение древнего общевосточнославянского неслогового *ү в [w] в тех севернорусских (в первую очередь новгородских) говорах, которые имеют билабиальное [w], иногда объясняют именно как результат «взаимодействия новгородских и ростово-суздальских по происхождению говоров на данной территории»¹. Видимо, предполагается, что замена [ү] на [w] происходила уже после возникновения губно-зубного [v] в Северо-Восточной Руси, что, по мнению большинства исследователей, имело место еще в дописьменный период, а по мнению В. В. Колесова — сравнительно поздно, а именно в XIII–XIV, а может быть, даже в XIV–XV вв.²

Парадоксальность ситуации заключается в том, что *ноугород*-написания, отражающие произношение [nougorod-], могут быть объяснены переходом [w > ү] перед согласным в диалекте с билабиальным [w], каковым в принципе признается новгородский диалект, но в Новгороде такие написания вторичны и, как показал А. А. Гиппиус, восходят к московской приказной норме. В то же время саму московскую приказную норму трудно объяснить, поскольку для московского говора (и в целом для Северо-Востока Руси) признается губно-зубное произношение [v]. Таким образом, требуется ответ на вопрос, почему *ноугород*-написания возникли не в Новгороде, а в Москве. Видимо, мы имеем дело с лексико-фонетическим явлением, которое возникло в процессе резкой интенсификации московско-новгородских отношений и явилось следствием столкновения разных диалектных систем — с губно-губным [w] (новгородская) и с губно-зубным [v] (московская). Наиболее ярко это проявилось в том, как московские дьяки и подьячие фонетически осваивали название Новгорода и связанные с ним образования в собственно новгородском произношении, которое мы можем реконструировать как [nowgorod]. Будучи пропущенным через «фонологическое сито» московского произношения, в котором отсутствовал звук [w], название Новгорода выходило из уст москвича, который, видимо, заменял [w] более близким с его точки зрения звуком [ү], в виде [nougorod]. Соответственно это новгородское заимствование в московский приказный язык закономерно оформлялось на письме при помощи *ноугород*-написаний. В новгородской письменности такие написания возникнуть не могли, так как в новгородском диалекте [w] (фактически [ү]) — аллофы фонемы /w/, т. е. /w/ и /ү/ были разными фонемами и противопоставлялись в соответствующей позиции, а аллофонные раз-

¹ Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров. С. 40.

² Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. С. 171–172.

личия на письме не передаются. Таким образом, произношение названия Новгорода в языке московских дьяков и подьячих [nougorod], отраженное **ноугород**-написаниями, отличалось как от новгородского [nowgorod], так и от традиционного московского [novgorod]. Нельзя исключить и того, что произношение [nougorod] вследствие редкости и необычности сочетания [ou] внутри морфемы могло преобразовываться в [nагород] (ср. формы Вин. **половтора ста, половторы тысяче СИЛ**, видимо, из **половтора,-ы < полов втора,-ы < полъ вътора,-ы:**).

Итак, **ноугород**-написания можно рассматривать как результат междиалектного взаимодействия на фонетическом уровне, как результат освоения инодиалектного произношения писцами московской великоокружской канцелярии. Это явление знаменует собой начало глубокого процесса консолидации северо-восточных и северо-западных говоров и формирования общерусских норм. Процесс был двусторонним (ср. распространение новгородских форм с отсутствием свистящих на месте рефлексов 2П в склонении и, наоборот, вытеснение новгородских форм без свистящих в корнях) при определяющей роли московского говора.

Содержание

Предисловие	3
Введение	5
Часть I. Фонологические проблемы современного русского языка	18
Глава 1. Установление состава фонем	18
Глава 2. Слово и морфема в развитии звукового строя	34
Глава 3. Синтагматическая идентификация фонемы	42
Глава 4. Парадигматическая идентификация фонемы	62
Глава 5. Фонематическая самостоятельность [ы]: синхронический и диахронический аспекты	72
Глава 6. Проблема динамической фонологии современного русского языка: процесс фонологизации [ъ]	93
Глава 7. Проблема фонемных признаков в аспекте системы и нормы	107
Глава 8. Фонологические проблемы теории чередований	124
Чередование ударного /о/ и безударного /а/	135
Чередования глухих и звонких согласных	141
Другие чередования	145
Часть II. Проблемы исторической фонологии русского языка	149
Глава 9. Некоторые общие вопросы диахронической фонологии ...	149
Давление системы и «пустые клетки»	149
Функциональная нагрузка фонемы	158
Механизм фонологического изменения	164
Глава 10. Фонематический статус *j в праславянском	172
Глава 11. Фонологические и хронологические проблемы славянских палатализаций	185
Глава 12. Происхождение цоканья: фонологический аспект междиалектного взаимодействия	208
Глава 13. Фонологические и морфонологические проблемы падения редуцированных в древнерусском языке	217
Отражение редуцированных гласных на письме: проблема церковного произношения	220
Механизм падения редуцированных гласных:	

сильные и слабые позиции	227
Начало падения редуцированных гласных:	
абсолютно слабая позиция	241
Морфологически изолированные редуцированные:	
абсолютно сильная позиция	250
Диалектные особенности падения редуцированных гласных и некоторые вопросы хронологии	254
Слабые редуцированные на завершающем этапе:	
проблема «нефонематической гласности»	259
Завершение падения редуцированных:	
морфонологические изменения	265
<i>Формирование предложно-предиктивного параллелизма</i>	266
<i>Морфонологические процессы в корнях, суффиксах и окончаниях</i>	271
<i>Вокализация слабых редуцированных в суффиксах -ьск- и -ьств-</i>	274
Причины падения редуцированных гласных	280
Глава 14. Переход /e/ в /o/ в русском языке	295
Фонологические отношения между /e/ и /o/	
накануне изменения	297
Локализация изменения во времени и пространстве	299
Дифференциальные признаки в процессе перехода	306
Условия и механизм перехода /e/ в /o/	308
Великорусский переход /e/ в /o/ на восточнославянском фоне	320
Причины и механизм перехода /e/ в /o/	325
Глава 15. Некоторые вопросы фонетической интерпретации	
данных древнерусской письменности	331
Смешение Ѣ и є в древненовгородских памятниках	331
О написании <i>ноугород</i> - в старорусских памятниках	338

Научное издание

Михаил Борисович Попов

ПРОБЛЕМЫ СИНХРОНИЧЕСКОЙ
И ДИАХРОНИЧЕСКОЙ ФОНОЛОГИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА

Ответственный редактор	<i>О. С. Капполь</i>
Редактор	<i>В. С. Волкова</i>
Корректоры	<i>Д. Е. Стукалин, И. А. Шабранская, Л. А. Макеева</i>
Тех. редактор	<i>С. В. Кузнецов</i>
Верстка	<i>Г. А. Курбановой</i>
Художественное оформление	<i>С. В. Лебединского</i>

Лицензия ЛП № 000156 от 27.04.99. Подписано в печать 02.09.2004.
Формат 60×84 $\frac{1}{16}$. Бумага офсетная. Гарнитура Times. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 22,5. Тираж 300 экз. Заказ № 386.

Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11.

Типография ЦСИ
190020, С.-Петербург, ул. Циолковского, 11.